

ГАФУР ГУЛЯМ
АЙБЕК
ХАМИД АЛИМДЖАН

Советский
издатель

①

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Редакционная коллегия

*Ф. Я. Прийма (главный редактор),
И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, В. Г. Базанов,
А. Н. Болдырев, П. У. Бровка, А. С. Бушмин,
Н. М. Грибачев, А. В. Западов, К. Ш. Кулиев,
Э. Б. Межелайтис, С. С. Наровчатов, С. А. Рустам,
А. А. Сурков, Н. С. Тихонов*



*Большая серия
Второе издание*



С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ

ГАФУР ГУЛЯМ
АЙБЕК
ХАМИД АЛИМДЖАН

СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ

*Вступительная статья,
составление и примечания
А. Наумова*

Гафур Гулям (1903—1966), Айбек (1904—1968), Хамид Алимджан (1909—1944) — выдающиеся мастера поэзии Узбекистана, пролагатели магистральных путей ее развития, чье стихотворное наследие, отмеченное ярким национальным колоритом, дает широкое и конкретное представление о социалистических преобразованиях в жизни республики.

Настоящее издание знакомит с избранными произведениями трех поэтов, с неповторимой творческой индивидуальностью каждого поэта.

ТРИ ПОЭТА

Поэтическая карта Советского Узбекистана богата именами крупными и яркими, и тому, кто захотел бы совершить путешествие в эту страну поэзии, можно предложить немало маршрутов, немало знакомств с мастерами, чей путь уже завершён и чье наследие давно стало поэтической классикой и для читателей, и для исследователей. Почему же именно Гафур Гулям, Айбек, Хамид Алимджан? . .

Дело не только в том, что эти три поэта принадлежат к числу основоположников узбекской советской поэзии, пролагателей главных ее путей, что большинство созданных ими произведений, в свое время заслуживших общее признание, и сегодня остается во многих смыслах образцами. Дело еще и в том, что, поставленное рядом, творчество их способно как бы *обозначить* весь обширный творческий диапазон узбекской советской поэтической классики, богатство ее палитры, многообразие ее творческих индивидуальностей. «Мне трудно и вообразить себе, — вспоминает народная поэтесса Узбекистана Зульфия, — и людей и поэтов более разных, чем, к примеру, весь углубленный в себя, медлительно-прекрасный Айбек, постоянно и самозабвенно щедрый в работе, — и Гафур Гулям, с его почти импровизационным, размашистым даром, который внешне как бы воплощают иные его неровные, захлебывающиеся, все стремящиеся вобрать в себя строки, Гафур с его привычкой работать авралом, закончить — и отрешиться, словно прямо-таки необходимо разом свалить с себя тяжесть невысказанных, толпящихся внутри слов. . . И рядом с ними Хамид Алимджан, человек уже и вовсе иного склада, очень целенаправленный, знавший всегда пределы и работы и своих возможностей перед нею, строгий к строке и к себе самому, умевший так вынашивать в себе строфы, что они потом «выпадали», как кристаллы из раствора. . . И все эти мастера. . . делали одно, общее, даже точнее — *единое* дело. . . »¹

¹ «Биографии замысла». Беседы с мастерами узбекской литературы, записанные Александром Наумовым, Ташкент, 1974, с. 131.

«Гафур Гуляма знаете, конечно! Мой адрес даст в Ташкенте каждый встречный...» — в этих строчках известного стихотворения «К нам приезжайте погостить, друзья!» нет ни преувеличения, ни похвальбы. Гафур Гулям родился и прожил жизнь в Ташкенте, и в этом, уже миллионном в его позднюю пору городе все действительно знали не только его имя, но и его дом на улице Арпа-пая, на границе старого и нового города, знали его самого: знали и в лицо и как личность, личность замечательно колоритную, вокруг которой сложился даже некий фольклор, включавший и острые гафуровские словечки, и множество веселых поучительных историй, повторяемых по всему Узбекистану. Недаром и сам Гафур шире большинства своих современников — узбекских поэтов — был известен за пределами республики: законный полпред родной поэзии в общесоюзной и мировой литературе.

И в самом деле, личность и творчество Гафура Гуляма нерасторжимы — так полно отразилась в его стихах и прозе яркая его индивидуальность, так тесно слиты он сам и то, что вышло из-под его пера.

Редкостная открытость, щедрость — и в то же время мудрая осмотрительность; неподдельный пафос — и растущие тут же дрожжи веселого лукавства; напряженнейшая работоспособность — и вечная готовность к мальчишескому озорству... Казалось, он удивительным образом соединял в себе облаченного в белое почтенного старика в затененной чайхане, который поражает витиеватой отточенностью суждений о жизни, мудростью, сплавляющей воедино опыт собственной жизни и опыт веков, — и прокаленного солнцем молчаливого дехканина, с его тяжким кетменем и неустанной ритмичностью движений на самом припеке; вдохновенного оратора — и веселого остролова, неутомимого организатора тоев, с лукавой искрой в черных, преувеличенно серьезных глазах... В нем, как в прославленном Насреддине Афанди, как бы заключались все, кого можно встретить в узбекском доме, городе и на базаре; но было в нем и нечто сверх того: он, по выражению старого Рабле, был «извлекателем квинтэссенции». Все лучшее, типичнейшее отстаивалось, огранивалось в нем, прежде чем отлиться в стихотворные строки. Как у каждого большого и своеобразного поэта, стихи явственно отражали его манеру мыслить, говорить, двигаться, его неизбывную жажду вобрать в себя жизнь, со всеми ее проявлениями, вобрать — и заново выложить людям: смотрите, вот она какая, яркая и неиссякающая, вот он, мой народ, умный, работающий, прекрасный, создающий новый мир!

Гафур Гулям родился в 1903 году, в бедной семье. Отец его, однако, был человеком не только грамотным, но и страстным любителем поэзии, который сам пробовал импровизировать стихи под аккомпанемент дутара. По свидетельству самого поэта, в доме его отца бывали и Муками, и Фуркат, и Асири, и некоторые другие известные литераторы. Однако отца, а вскоре затем и мать Гафур Гулям потерял еще мальчиком и очень рано испытал гнетущую бедность, тяжесть подневольного труда, груз забот о младших сестренках. «Я родился, — вспоминал он, — в пределах старого, отжившего царства, которое еще не сознавало, что обречено, и по-прежнему копило в кучах вековые ценности и тысячелетний мусор. Моя собственная судьба тоже заключала достаточно контрастов. Беззаботное буйство детских игр — и раннее сиротство. Скучные часы учебы — и сладкие минуты собственных открытий. Сотни веселых проделок в базарной сутолке — и яростный шаг в толпах шестнадцатого года. Свинцово-тяжкая мальчишечья работа (ученик наборщика в типографии) — и сияющие миры книг. Опасные шепотки по углам — и пушечный гул революции... Меня, как и каждого, сформировали впечатления детства. Но от многих других я отличался, вероятно, особым талантом помнить: образы, краски, коллизии пережитого сохранялись во мне во всей неприкосновенной яркости и силе. И потому детство — страшные и смешные, темные и пестрые картины ушедшего мира — надолго осталось для меня главным впечатлением и мерилom. Его не мог полностью заслонить и новый мир, родившийся на глазах; как бы увлеченно ни говорил я об этом новом, старое неизменно вставало рядом, хотя бы как трагический или пародийный контраст».¹

Осенью 1916 года тринадцатилетний Гафур поступил учиться в так называемое «русско-туземное училище», которое вскоре, после смерти отца, пришлось бросить. Он работает наборщиком в типографии, позже идет учиться на педагогические курсы, и уже с 1919 года — с шестнадцати лет — работает учителем начальной школы. В 1923 году двадцатилетний учитель принимает участие в открытии первой школы-интерната «Урфан». В том же году происходит весьма знаменательное событие его жизни: публикуются первые его стихи! То есть, конечно, первые отданные в печать, потому что действительно первые он написал еще лет тринадцати: «Отец видел плоды моих лирических усилий, но показать, должно быть, никому не решился...»² По-видимому, стихотворные попытки делались и в последующие годы, но рукописи эти не сохранились.

¹ «Биографии замысла», с. 6—7.

² Там же, с. 9.

Первое напечатанное стихотворение Гафура Гуляма называлось «Дети Феликса» и было посвящено тысячам сирот, бездомных и беспризорных, которым Советская власть стремилась дать новую, великую семью — социалистическое общество. Тема, тогда профессионально близкая молодому поэту, несомненно была близка ему и биографически: она пробуждала в памяти годы его собственного раннего сиротства и через два десятилетия вновь отозвалась в одном из самых проникновенных и самых прославленных стихотворений Гафура Гуляма «Ты не сирота» (1942).

Второе стихотворение поэта, напечатанное в том же 1923 году, называлось «В чем красота?». «Исчерпывающий ответ на роковой вопрос, поставленный заглавием, едва ли в нем содержался, — не без юмора вспоминал много лет спустя Гафур Гулям. — Но когда его опубликовали — два или три дня я чувствовал себя у истоков истины и на вершине славы. Не диво — писал я к тому времени уже давно; напечатанные наконец строфы были праздником — и признанием».¹

Год спустя Гафур становится секретарем комсомольской организации в ташкентском губнаробразе, начинает активно сотрудничать в прессе и с головой погружается в широкую общественную и журналистскую работу. В жару этой работы и определяется окончательно его характер как литератора. Колоритный портрет молодого Гафура Гуляма оставил известный украинский писатель Иван Ле, встретившийся с ним как раз в ту пору: «...в полупустыне Яз-Явана должен был строиться один из первых инженерно-спроектированных оросительных каналов. Нас, строителей, была группа в несколько человек, и в ташкентском губкоме пообещали: кто-нибудь, знающий эти места, да притом еще и русский язык, будет прикомандирован к нам на время поездки. Этот «кто-нибудь» оказался юношей лет на семь или восемь моложе меня, и, по правде сказать, его первое появление меня слегка разочаровало: неужто не могли отыскать кого посolidней?.. Парень был высок, строен, с удлинненным, красивым, внимательным лицом и большими тяжело-пристальными глазами, смотревшими из-под очков. Он представился звучно и решительно:

— Гафур Гулям! — и сразу деловито и увлеченно заговорил о поездке... Он хорошо, хотя и с сильным акцентом, говорил по-русски, и минут пять спустя я поймал себя на том, что беседую с ним тоже увлеченно и совсем запросто, как со старым знакомым. В его лице, в его эмоциональной напористости, во всем, что он говорил, обнаруживалось нечто значительное и покоряющее... Сам Га-

¹ «Биографии замысла», с. 9.

фур... отнюдь не был яз-яванским уроженцем... но знал обо всем, что нас интересовало или могло бы заинтересовать, столько, словно занимался этим долгуя жизнь. И говорил он удивительно ярко, на каждом шагу вставляя в речь поговорку или образный оборот, поражающие своей меткостью...

— Мне кажется, — сказал он вдруг посреди разговора ... — мне кажется, товарища инженера надо познакомить не только с землей, но и с хозяином той земли — с народом, с наманганскими узбеками. Были в Наманге? Старинный город ... город-кишлак ... Настоящий Узбекистан!

Мы, конечно, выразили полную готовность к такому знакомству. Но кто нас будет туда сопровождать? Да конечно он сам, Гафур!.. Мы почувствовали себя смущенно... надо ведь и совесть иметь: у человека своих дел хватает...

— И свои дела успею сделать! — сказал Гафур решительно. — Все надо успевать...

Позже, за годы многолетней дружбы, я понял, что в этом и сказался весь Гафур: всегда готовый безрасчетно, казалось бы, тратить себя... на какие-то общие и общественные дела, на нескончаемое общение с людьми. Впрочем, так ли уж безрасчетно? Нет, он, бесспорно, знал... что жизнь возвратит ему сторицей, сотнями золотых строк...»¹

Окунувшись в журналистику, молодой Гафур продолжал, однако, писать много стихов. Газеты, которые то и дело посылали его в командировки, требовали своего — оперативных жанров. Молодой литератор много ездит, в блокнот его попадают яз-яванские ирригаторы и каршинские хлопкоробы, ферганские виноградари и тамдынские чабаны. Один за другим появляются его очерки, статьи, фельетоны, а позже — и рассказы. «Стремительный ритм, в котором я жил, лишь повторял темпы общего *наступления*. Мы шли походом на пустынные земли и старый быт, на неграмотность и неурожай. Энтузиазм встречал и яростное сопротивление: пьянящие успехи соседствовали с кровавыми драмами... Шла борьба, и мир вокруг представлялся мне гигантской штабной картой, где пустые кружочки у названий постепенно заполняются живыми лицами и картинами...»²

К концу 20-х годов Гафур Гулям уже настолько овладевает русским языком, что читает русскую классику и современную литературу буквально запоем. И самым ярким литературным впечатлением, важнейшим поэтическим уроком его молодости оказывается

¹ Иван Ле, О поэте и друге. — В кн.: Гафур Гулям, Стихи, М., 1971, с. 3—5.

² «Биографии замысла», с. 10—11.

Маяковский. «Обыденная речь, с ее сегодняшними, жаргонными, еще не обкатанными литературой словечками, — и ораторский пафос лозунгов; недвусмысленная газетная простота — и словно поднятые своим творительным падежом на дыбы, едва укрощенные ритмом метафоры; патетика архаизмов — и веселая дерзость заново сконструированных слов... И все это образовало единый сплав, органичный — и столь необходимый эпохе. Правда, структура его была непроста, но стоило раз ее постичь — и стих уже естественно читался, легко угадывался во всех своих изменчивых обличьях. Словом, здесь было то, к чему я на своем языке тщетно нащупывал путь, отчаиваясь и порываясь снова...»¹ — вспоминал Гафур Гулям.

В этот период влияние поэтики Маяковского — явное, сильное — испытали многие крупнейшие поэты наших национальных литератур, в том числе, конечно, и узбекской. И все же пример Гафура Гуляма может быть, наиболее характерен — по крайней мере для литературы узбекской. Вероятно, проводником этого творческого воздействия послужило не столько даже чтение Маяковского, сколько предпринятые молодым поэтом переводы его стихов на узбекский язык. Это помогло ему понять их поэтические законы изнутри, *технологически*. Воссоздавая в сфере родного языка новаторскую поэтическую технику русского поэта, отыскивая эквиваленты его неологизмам (что, по признанию Гафура Гуляма, далеко не всегда удавалось), узбекский мастер нащупал пути и приемы собственного новаторства — и не только в области поэтической техники.

В литературной биографии Гафура Гуляма этот период учебы у Маяковского, высшей точкой которого послужил перевод поэмы «Во весь голос», чрезвычайно важен, ибо непосредственно за ним последовало создание поворотной для творчества Гафура Гуляма поэтической вещи — стихотворения «На путях Турксиба» (1930). Автор так рассказывает об истории его создания: «Я ездил на строительство Турксиба дважды, написал два очерка о поездках, и тема казалась мне «отработанной». Но какое-то время спустя воспоминание о стройке снова зацепило меня. Было это, помню, вечером, я только что проводил товарища — он в свою очередь отправлялся в такую поездку; я был взбудоражен прощанием и собственными рассказами о Турксибе. Товарищ, ехавший туда впервые, жадно слушал, я рассказывал с подъемом — и вдруг сам заметил, что прежние впечатления складываются в иную, более сжатую и яркую картину.

Бредя с вокзала по темному тоннелю мостовых, перекрытых тяжелыми сводами листвы, я почуял приближение стремительной и

¹ «Биографии замысла», с. 11—12.

мощной волны слов. Она родилась, наверное, где-то далеко, в океане несчетных наблюдений и беглых мыслей, и лишь теперь докатывалась до меня с грозным и радостным нарастающим гулом. Я еще не понимал, что это за волна, и, охваченный жадным ожиданием, чуточку ее побаивался — но отчетливо помню место, где она меня настигла: средину узкой темной улочки с единственным освещенным окном, перечеркнутым вторгшейся с улицы веткой, а за нею, в глубине комнаты, виднелся под хрустальной люстрой пустой стол. . .

Я писал в своих очерках о людях стройки — о пестроте лиц и наречий, которая сливается во впечатление редкостного единства; о небывалом размахе работ; о самой степи, которая то лежит, как серо-желтая всклокоченная простыня на необъятном ложе, и ждет, пока ее встряхнут и перестелят заново, то вскидывается рассерженной дикой кошкой, то оборачивается до жути белым снежным покрывалом; писал об «осуществлении вечной мечты» — как пойдут или уже идут первые поезда. . .

Теперь же эта гигантская степь представилась мне пространством Времени. На проблескивавшие мгновения я видел — словно двойным наложением — как сквозь памятные картины стройки движется какой-то караван, погибающий в столбе смерча; или гикающая конная орда; или муравьиные полчища переселяющихся племен; или вовсе пустая, неподвижно убегающая степь, беспредельная, как небытие. . . И волна слов ударила в меня. Они налетали, повторяясь или вторя друг другу, в каком-то явном, но не сразу уловимом ритме, и я вдруг понял: да это стихи! Стихи. . . но каких я еще не писал никогда. Они повторяли уже не тот привычный шаг знакомых размеров — неизбежную память чужих строк, — а неровные порывы ветра, топот толп, хлопанье полотнищ, мерный или сбивающийся перестук копыт, резкую дробь барабана. . . Я отдался этому ритму; я легко заполнял его словами — образы проходили перед моим взором. Я чувствовал только, что эти складывающиеся куски надо остановить (они все летели и повторялись у меня в мозгу) — непременно надо остановить. . . не то волна пролетит и останется одна пена. Бумаги, как назло, со мной не было, только газета в кармане, и я стал огрызком карандаша записывать на узеньких полях, потом прямо по печатному тексту, лишь бы вытолкнуть из головы одни строфы и дать место другим. . .»¹

Этот образец на редкость точного и образного самоанализа не только раскрывает перед нами механизм творческого «мирного взрыва», благодаря которому из годами копившихся жизненных наблюдений, из многих творческих попыток, поисков формы, уроков

¹ Там же, с. 13—14.

чужого мастерства, которые, казалось бы, бесследно канули в пропасть памяти, — возникает вдруг нечто качественно новое, воистину некое произведение бесчисленных и неприметных величин. . . История написания «На путях Турксиба», как она рассказана Гафуром Гулямом, важна еще и в том смысле, что перед нами здесь конкретный пример учебы поэта у иноязычного мастера, а в конечном счете — одной литературы у другой, рождение в недрах молодой литературы нового и *своего* художественного слова (ведь ритмика и манера этого произведения лишь в принципе напоминают поэтическую структуру Маяковского, живая же поэтическая «плоть» гафуровского стиха вполне самобытна и рождена стихией живой узбекской речи), рождение нового художественного взгляда на жизнь и историю своего народа. . .

«На путях Турксиба», кстати сказать, было первым в узбекской поэзии произведением, где история видится автору как бы с огромной высоты, с высоты своей эпохи. Этим художественным открытием воспользовались многие узбекские поэты, с той или иной долей таланта и творческой самостоятельности продолжавшие Гафура Гуляма или подражавшие ему. Оно послужило истоком того особого жанра «свободной» поэмы, который только сейчас занял ведущее место в узбекской поэзии (поэмы Рамза Бабаджана, Хамида Гуляма и др.).

Вскоре Гафур Гулям создает стихотворения «Готов стать знаменосцем» (1930), «Нурмат и Саври» (1931), «Узбекистан» (1932). Во всех этих вещах было нечто от эпики, как и в «На путях Турксиба», хотя даже и по нынешним представлениям — а не только перед лицом тогдашнего представления о «дастане» — они отнюдь не были поэмами в собственном смысле слова. Но то были сгустки впечатлений, за каждой строкой как бы крылся эпизод: «Эпос моего опыта, — говорил впоследствии поэт, — стоял за ними в молчаливом и сдержанном отдалении». ¹ Впрочем, недалеко было и до поэмы — в начале 30-х годов создается «Кукан» (1930—1934), одна из первых колхозных поэм в узбекской, да и во всей советской литературе. Замысел этой вещи, о которой нам придется еще говорить, исходил из той документальной стихии, в которой Гафур Гулям-газетчик существовал уже добрый десяток лет.

Вторая половина 30-х годов проходит для Гафура в большей степени под знаком прозы. Вслед за созданными ранее циклами рассказов появляется ряд небольших повестей: «Ядгар», «Нетай» и другие. В 1939 году Гафур Гулям создает «роман своего детства» — знаменитого «Озорника».

¹ «Биографии замысла», с. 15.

И только годы войны — горькие, трагические, великие — вновь целиком возвращают его поэзии. «Настоящее, переполненное ожиданием и горем, заполняло душу. Непрестанное напряжение то и дело смертельно подсакивало, как при коротком замыкании: гибли люди, которые казались частью твоей собственной жизни, в перечне оставленных городов звучали драгоценные сердцу имена. Роковые удары молнии все внутри озаряли немислимо мощным светом; и то, что виделось в этом свете, обожженное, но уцелевшее, надо было тут же претворить в слово. Всем вокруг грозили такие удары, и нужно было показать: главное — уцелеет, а в самой остроте боли — зародыш надежды. Пожалуй, никогда больше мне так не писалось, как в те годы, разве что во времена „Турксиба“». ¹

Большинство стихотворений этих лет вошло в книгу «Иду с Востока», которая в 1946 году была удостоена Государственной премии СССР и принесла автору широкую славу — не только всесоюзную, но, в сущности, и мировую. Рассказывают, например, что стихи из этой книги советские актеры с огромным успехом читали на концертах, которые организовывались в Америке для сбора денег в пользу борющегося с фашизмом советского народа. Мощный пафос, яркая публицистичность, сплавленные воедино с образным, метафорическим и философским началом, — вот характерные черты этой одной из «главных книг» Гафура Гуляма. «О стихах этой книги, — утверждал поэт, — я могу говорить долго: любое из стихотворений помнится мне со своей особенной, трудной историей — и счастливым концом: ведь оно написано. . .» ²

Одно из центральных стихотворений книги и, может быть, одно из известнейших стихотворений Гафура Гуляма вообще — «Ты не сирота», чье название и рефрен в годы войны стали пословицей, посвящено героической узбекистанской эпопее спасения тысяч и тысяч сирот войны, что явилось одним из главных тыловых подвигов Узбекистана. Толчок дало газетное сообщение, но материалом послужили «страшные эшелоны», которые поэт в числе прочих встречал на ташкентском вокзале — «чистилище, куда дети поступали из ада войны», картины товарняков, где «за дверями вагонов живые малыши лежали вперемешку с умершими», и, с другой стороны, *очереди*, в которых люди стояли, ожидая «права на усыновление этих умирающих, вшивых, покрытых коростой ребятишек». Поэту вспоминалось: «. . . во мне ожила полузабытая горечь собственного сиротства — и тут же претворилась в чувство благодарности и неизмеримого облегчения, словно разрешилась и навсегда замолчала

¹ Там же, с. 25.

² Там же.

незапамятно давняя, привычная боль... И в самом деле: мне явилось свидетельство такой человеческой общности, противостоящей бедам, насилию, смерти, какая была просто невысказана во времена моего детства...»¹

«Ты не сирота» вызвано к жизни конкретными впечатлениями, которые как бы наложились на давние воспоминания и картины. История других стихотворений книги не всегда столь «прямолинейна». Иной раз, вспоминал поэт, в основу вещи ложилась какая-то общая мысль, которой еще только предстояло стать картиной, образом, ощущением — воплотиться с помощью ритма... Так явилось на свет известное стихотворение «Время» (1945).

«Где-то во второй половине войны, ближе к концу, приехавший с фронта племянник моей жены капитан Хамидулла Хусайнов привез в подарок трофейные часы... я витиевато поблагодарил, сказал, что с ними не расстанусь, — и спрятал их в стол. Было у меня какое-то не то брезгливое, не то суеверное ощущение: увидев часы, я прежде всего подумал, что вот носил их какой-то немец... фашист... убитый к тому же... Так они и лежали у меня до мая сорок пятого, когда, в разгар победных торжеств, я случайно на них наткнулся... я... почувствовал, что могу надеть их теперь... Произнося тост на каком-то тое... я сказал, что недаром у меня на руке трофейные часы: раньше они отсчитывали время врагу, а теперь считают наше время! И, усаживаясь с пиалой вина в руке, ощутил, что за немудреной этой мыслью кроется что-то большее, чем застольный тост... что-то важное... что-то, что набухает и растет внутри. Ну, конечно — Время: его и олицетворяла маленькая машина у меня на руке. Наше время... И, однако, то был слишком общий символ: он вмещал все. Предчувствие строки, которое уже было зашевелилось во мне, снова поникло, как обманутая случайным теплом ветка. Несколько дней потом во мне появлялись, бродили и исчезали строфы: их было много, и все — о разном. Они сталкивались, как глыбы взорванного льда в ледоходе, ломая друг друга и расходясь в стороны. Необходимость стихотворения уже созрела во мне, но образ Времени был еще как бескрайняя водная гладь: я стоял на одном берегу и не видел другого...

Как-то утром, после полубессонной ночи, я вышел в город, побрел по улицам — и оказался у дверей книжного издательства. В литературной редакции сидело двое: один из моих друзей-редакторов и девушка-корректор. Я машинально поздоровался, машинально отвечал на вопросы; девушка сидела ко мне в профиль, и я обратил внимание на ее огромные пушистые ресницы. Они поднимались и

¹ «Биографии замысла», с. 26—27.

опускались, как крылья бабочки... Я снова взглянул: бабочка опять взмахнула крыльями, мигнула... и я едва уловил этот *миг*. Да вот же она, вторая граница вечности, начало начал!.. Разве это не живой образ мгновения... мановение ока?.. И первая, ключевая, так долго мучившая меня строфа, найти которую казалось уже невозможным чудом, таким же, как сотворить из воздуха нечто материальное, — эта строфа вдруг явилась сама и, словно праздничный фейерверк, взорвалась в небе моего воображения. Я попросил бумаги и, ничего больше не слыша и не видя, принялся записывать...

Много лет спустя я написал еще одно стихотворение о Времени и о часах. Оно так и называется — «Машина времени» и тоже рождено зрелищемдвигающихся стрелок на маленьком циферблате. Но это совсем другое стихотворение, и написалось оно легко, потому что — опять-таки! — исходило из очень конкретного впечатления... Как-то при мне на улице стало худо пожилому человеку. В аптеке, куда его занесли в ожидании «скорой помощи», он потерял сознание. Лежа на скамье, он казался покойником, а я заметил на откинутой руке его часы: они шли как ни в чем не бывало... Я представил себя на его месте: в конце концов, и мне не так уж долго остается... Я взглянул на *свои* часы. Меня не станет, а они будут идти... даже завод не кончится, а это я накручивал пружину. Мучительно тоскливая мысль. Никто не может понять: как это *меня* не будет? В детстве — не веришь; к старости — привыкаешь, но понять все равно невозможно. Невозможно, пока из лучин тоски не выплывет спасительное сознание: «мое», которое останется, остается не только *после* меня, но и *от* меня. Как при жизни я был частицей живущего общества, так и после смерти останусь частицей прожитого времени, а его нельзя уничтожить. Забудется? Пусть! Ведь не совсем же. Разве живой я был известен и нужен *всем* на земле?.. Я останусь — в том, что мною сделано; с именем или без имени — не в этом суть: я останусь!..

«Скорая помощь» увезла старика, а я уселся в аптеке и записал стихи на куске оберточной бумаги; аптекарь, верно, узнал меня — он посматривал искоса, и во взгляде его смешивались почтение и жалость...»¹

В том широком и безусловном читательском признании, которое получила книга «Иду с Востока», поэтическая работа Гафура Гуляма как бы почерпнула новый мощный импульс: в последующее десятилетие он работает в поэзии много, легко, широко. Он всегда в гуще событий, и его блистательное умение откликаться на них

¹ Там же, с. 27—30.

мгновенно («сколько помню себя, я всегда работал для газет»¹) проистекало отнюдь не из одной «оперативности». Быть в гуще событий — значило для него прежде всего быть в людской гуще: в уличной толчее, или на строительной площадке, на месте свершения народного подвига. Он как бы аккумулировал чувства массы, и они становились для него своими, бурлили в нем и выплескивались в стихотворные строки. Недаром он и в старости, по его собственному признанию, писал только «залпом»: работал с рассвета максимум до полудня, исписывая с необычайной быстротой страницу за страницей. После полудня застать дома его было уже нельзя: он уходил в город, если не шел в редакцию, и бродил по улицам, вступал в разговоры, читал мгновенно собравшейся аудитории свои давние или только что написанные стихи... Так он проверял себя, да и читать стихи вслух он очень любил — любил, должно быть, видеть на лицах слушателей отзвук своих строк. Декламировал он прекрасно, и многие в Ташкенте, конечно, помнят его голос... Он не хотел и не мог заключить себя в узкопрофессиональные рамки — он был не только человеком письменного стола, но в полном смысле *человеком из народа*.

Одна из страничек «гафуровского» фольклора повествует: однажды Гафур Гулям крайне возмутился, обнаружив в какой-то критической статье, что его назвали «врожденным талантом». «Что такое «врожденный талант»? — ворчал он, сидя в глубоком редакционном кресле. Кто-то из бывших рядом возразил с подобострастной вежливостью: «Ну как же! Разве вы, Гафур-ака, не поэт от рождения? Разве перед вами в юности стоял вопрос: «Кем быть?» Гафур Гулям взглянул зло и сказал с уничтожающим презрением: «Вопрос «Кем быть?» не стоит только перед хамелеоном!»²

Себе мастер задавал этот вопрос до самого конца. Он не боялся ломки собственных канонов, к которым иные столь привержены. Оттого так и удивили многих его стихи последних лет, вошедшие в книгу «Итог», — удивили как стихи не «гафуровские», не похожие на то, что он писал прежде, забывая, что и прежде он ломал и отбрасывал выработанные приемы, манеру, ритмику, когда они переставали отвечать его мироощущению, тому материалу жизни и души, который в нем накопился. Примером может послужить хотя бы тот же «Турксиб»...

В лучших стихотворениях «Итога» обнаруживаешь за словами, строчками, строфами такое процеженное сквозь годы проникновенное знание жизни, такую мудрую грусть, всегда оборачивающуюся

¹ «Биографии замысла», с. 33.

² «Гулистон», 1974, № 2, с. 8 (на узбекском языке).

в конце концов улыбкой надежды и утешения, что все эти размышления старого поэта о себе, о своей прожитой жизни, любви или работе оказываются как бы откровениями о человеке, жизни, работе, любви вообще. «Итог» — книга, увы, во многом пророческая, хотя, когда писались последние стихи, всего за два-три месяца до смерти, Гафур Гулям о ней, казалось, и не задумывался, а был, как всегда, полон забот, планов, энергии.

Умер он 10 июля 1966 года, успев отметить свое 63-летие, к которому и задумал подготовить «Итог». Самой напечатанной книжки он уже не увидел: она вышла посмертно.

В те же месяцы, когда дописывался «Итог», Гафур Гулям писал: «За мою жизнь мне присвоили немало почетных званий — вероятно, куда больше, чем я заслуживал, — и грех не сознаться: я ими горжусь; как бы там ни было, а они свидетельствуют о не совсем зря прожитой жизни. Но когда вспоминаешь о столетнем певце Фирдоуси, который один сделал то, что под силу разве что десятерым большим поэтам, а сам весь век выпрашивал, да так и не выпросил нищенского пособия; или о мудрейшем шейхе Саади, который прожил свою жизнь до самой смерти, так и не отмеченный никаким лауреатством, — становится немножко стыдно. Не слишком ли нас теперь хвалят при жизни? Конечно, приятно ходить в живых классиках, но, дорогие мои коллеги по пантеону, как бы это не повредило нам на том неллицеприятном суде, куда неизбежно призывают нас потомки. . .

Ей-богу, иногда невредно подумать об этом. Да, мы живем и работаем для сегодняшнего дня, но ведь наша задача в том и заключается, чтобы извлечь из него и показать людям, что после них *останется*, как бы ни трудилось над ними время. . .»¹

«Я всегда работал»,² — сказал он как-то в 50-х годах. Незадолго до смерти он выразился иначе: «Я всегда учился. . .»³ Говорил он, конечно, об одном и том же.

2

Пригородный автобус, шумный, раскалившийся за день, ушел, и мы остались посреди тишины, неожиданной и почти прохладной. Пыльная улочка подымалась от шоссе на пригорок, упираясь в багровую стену заката. Одинокий малыш волочил в пыли бумажного змея. Наверху улочка поворачивала; в лабиринте глиняных заборов

¹ «Биографии замысла», с. 33.

² Там же.

³ Там же, с. 35.

и недостроенных дач мы едва отыскали нужные ворота. Наступил прозрачный, чуть розоватый час меж заката и сумерек. Айбек и его жена сидели под навесом, пристроенным к скромному дачному домику: нас ждали. . .

Между тем небольшой дворик, засаженный фруктовыми деревьями, словно раздвинулся в сумерках. Персики отошли в темноту, их листья, скрюченные, как стручки, и свисающие десятипальными горстями, старательно прятали нежные акварельные плоды, покрытые едва заметным пушком, как щеки гаремных красавиц. Яблони, напротив, подвинулись к дому. В свете, падавшем из окон и двери, их ветви упрямо тянулись вверх, словно в ротфронтовском приветствии; на ветвях обильно белели яблоки. . . Что-то похожее на их старого хозяина чудилось в этих молодых яблоневых деревьях — что-то трогательно щедрое, стройное, открытое. Вот он сам сидел перед нами, — ему трудно было говорить, но из скупых прерывавшихся слов видно было: художническая мысль, яростная и добрая, по-прежнему пылала в нем, одолевая тяжкую болезнь и годы, рвалась наружу, торопясь воплотиться в строки. . .

Кто-то назвал его очень точно: «рыцарь творчества». Работавший неустанно и самозабвенно, даже тяжело больной, как в последние полтора десятилетия жизни, он неизменно сохранял нескудеющую молодость духа, меру во всем, что им написано. Расцвет его лирики приходится на два периода: на первое и на последнее десятилетия его творческой жизни. И последние стихи его так же ясны, прозрачны, как и ранние: ни единой ноты надрыва, болезненности, — огромное чувство красоты. . .

Айбек (настоящее его имя — Муса Ташмухаммедов) родился в 1904 году в Ташкенте, в бедной семье. Учился он сперва в старом мактабе, а с 1918 года — в начальной школе «Намуна». Затем поступил в Ташкентский педагогический техникум и после окончания его в 1925 году некоторое время работал учителем. Позже около двух лет учился в Ленинграде (1927—1929 годы), вернулся в Ташкент; в 1930 году закончил экономический факультет Среднеазиатского государственного университета, преподавал в нем, затем занимался исследовательской работой, работал издательским переводчиком и редактором вплоть до начала Великой Отечественной войны.

Писать он начал очень рано и еще школьником, с 1923 года, стал печататься. В школьные же годы он познакомился с восточной классикой: самое сильное впечатление оставили в нем Навои и великий азербайджанец Физули. Они-то и дали ему первые уроки в поэзии. Между тем поколение Айбека вошло в сознательную жизнь вместе с революцией, и те грандиозные сдвиги и перемены, которые для людей старшего возраста были ломкой всех жизненных норм,

Сделались для этой молодежи нормой. Темпы были стремительные, каждый день являл что-нибудь новое, газеты и митинги переводили жизнь на язык лозунгов, и время подсказывало поэзии темы и ритмы, отнюдь не соответствовавшие традиционным формам и их медлительной и громоздкой образной системе. Но иных средств поэтического выражения еще не было. Новое содержание механически отливалось в старые формы. С этого начинал и юный Айбек в своих первых стихах для газет.

К поискам лирической простоты впервые обратили его, как он сам говорил, страницы новой турецкой поэзии. Айбек познакомился с ними, будучи уже студентом техникума. В Баку издали тогда несколько сравнительно молодых турецких поэтов — Яхью Камала, Резу Тауфика, Абдулхака Хамида; они и попали в руки начинающего узбекского литератора. Издания эти поэт сохранил до старости. «О вещах очень важных и сложных можно было, оказывается, сказать совсем просто; чтобы выразить весь бушевавший внутри тебя напор чувств, всю глубину лиризма, не надо было непременно облачаться в пышные одежды — так же, как не обязателен на тебе шелковый халат, чтобы сказать девушке: «Люблю». А главное — приметы повседневной жизни, обиходная речь, которые, казалось, должны были свести на нет всю возвышенность и обаяние поэтического мира и потому не допускались туда, как простой народ — во дворец, на деле как раз и несли с собою подлинное обаяние».¹

Это открытие, которое теперь может показаться весьма наивным, тогда, для юноши, воспитанного на сложной иерархии классических форм поэзии, медлительном церемониале повторяющихся метафор, изысканной «вежливости» стиля, было несомненно открытием большим и важным. И на некоторое время вызвало обратную реакцию на все, чему он «поклонялся» до той поры. Стихи, написанные в школе и техникуме, составили первый сборник Айбека «Чувство» (1926). «Первая книжка — событие для каждого, — вспоминал Айбек в старости, — но я знал уже, что писать надо совсем по-другому. В следующем году я поехал учиться в Ленинград, начал всерьез заниматься русским, знакомиться с русской и мировой классикой, и «открытия» ринулись на меня ошеломляющим потоком. Среди них, однако, нетрудно выделить самое для меня важное: им — по крайней мере в поэзии — было знакомство с Александром Блоком. Если не считать Навои (к которому я потом вновь вернулся, созрев уже не для ученического, а для настоящего понимания), Блок навсегда... остался моей главной поэтической привязанностью. Меня поражает в нем лирическая наполненность каждой строки;

¹ «Биографии замысла», с. 39.

настрой его внутреннего мира сказывается в любом слове. Блок как никто ощущал мгновенность жизни, но самое это ощущение умел сделать долгим, вечным, — и, читая, вы оказываетесь к этой вечности причастны. Между тем он не превращает своего настроения ни в слишком четкую мысль, ни в чересчур ясную картину: оно остается настроением, намеком, но потрясающе точным в своей лирической, образной приближенности.

Знакомство с Блоком, вероятно, чувствуется уже во втором моем сборнике — «Флейты сердца»; всерьез же то, чему он научил меня, проявилось — с большей или меньшей долей самостоятельности — в третьей книжке стихов, объединившей стихи ленинградского периода. Она называется «Факел» и вышла в тридцатом году.

Русскому читателю может показаться странным, что, говоря о встречах с русской поэзией, я умолчал о Пушкине; должен сознаться: по-настоящему я открыл его для себя много позже. Это было летом тридцать шестого года, накануне пушкинского года... я работал над «Евгением Онегиным», за который взялся не без страха: слишком велика и ответственна была задача. Но по мере того как я «влезал» в текст, страх проходил, началось страстное, поистине «запойное» увлечение. Уже озорные и шеголеватые строфы первой главы, перебивавшиеся вдруг пронзительной нотой («где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил»), несли с собою ощущение такой эпической полноты и вместе такой изобразительной точности, что это мастерство, в своей внешней предельной простоте, вызывало слезы на глазах. Конечно, я не раз читал «Онегина» и до того, но, переводя, неизбежно задумываешься над каждым словом, фразой, строкой, и я впервые «всем нутром» ощутил за ними гигантскую работу поэзии, бездонную глубину знания жизни. Тем летом я писал и свои стихи, составившие позже «Чимганскую тетрадь» в книге «Песня солнца». Среди них есть стихи о пушкинской поэзии...

Впрочем, «пушкинская пора» относится уже к другому периоду моей писательской жизни. Первый, начальный, окончился для меня вместе со сборником «Факел». Кстати сказать, с тех пор, с тридцатого года и до пятидесятых, у меня не вышло ни одного сборника лирики. Она как бы отступила на второй план перед поэзией сюжетной, перед собственно поэмами, за которыми последовала уже и проза.¹

В творчестве Айбека удивительна постепенность, гармоничность развития — стилевого, жанрового, — естественность и постепенность нарастания глубины анализа жизни. Каждая следующая его вещь,

¹ «Биографии замысла», с. 40—42.

каждый следующий этап творчества вырастает из предыдущего, как росток из зерна. С начала 30-х годов Айбек создает ряд сюжетных поэтических произведений, ряд поэм, которые как бы развивают некоторые темы его лирики. И лирика понемногу уступает им место. «Пушкинский» год Айбека — работа над переводом «Евгения Онегина», о которой он рассказывает так проникновенно и точно. Влияние этой работы на оригинальное творчество Айбека действительно трудно переоценить. Если в пору этой работы создается замечательный «чимганский» лирический цикл, который включает блистательный «Наматак» и некоторые другие первоклассные стихотворения, то это все «последний всплеск» его лирического творчества раннего периода. Год спустя появляется поэма «Навои» (1937) — важная веха на литературном пути Айбека. Не только потому, что это бесспорно лучшая его поэма 30-х годов; не только потому, что она реализует центральную тему творчества Айбека — тему Навои, о которой мы поговорим особо, но и потому, что вообще в ряду крупных поэтических произведений Айбека она занимает особое место. Некоторые исследователи рассматривают ее как эскиз к будущему «главному» роману Айбека, как «пристрелку к образу». Это верно лишь отчасти. Поэма самостоятельна по замыслу и — в особенности для своего времени — оригинальна по построению. Это «портретная» поэма — в ней, в отличие от прежних поэм Айбека, по существу нет событий, да и биографии как таковой: это «остановленное мгновенье» жизни великого Алишера, дневник одного дня. Казалось бы, лирическое дарование Айбека проявило себя здесь в большей мере, чем эпическое. И все же — это вещь сюжетная. Сюжетная, ибо случайные как будто бы штрихи характера, обрывки событий в конечном счете выстраиваются в некую психологическую историю героя, историю характера, которая, конечно, и есть не что иное, как сюжет. Читателя не оставляет ощущение некоей «автобиографичности» поэмы. Недаром Айбек говорил, что его собственная жизнь порою кажется ему романом, где Навои был главным действующим лицом, а он сам — только второстепенным персонажем. И хотя проблемы прозы Айбека выходят за рамки этого разговора, тему «Айбек и Навои» в ее реальном объеме обойти здесь нельзя. Писатель свидетельствовал позже: «Навои был спутником почти всей моей сознательной жизни, начиная со школьных лет, когда я впервые услышал и запомнил его строки и рассказы о нем самом. И то и другое поразило меня. И с тех пор я постоянно слышал и читал Навои и о Навои, хотя заслуживающие доверия издания или списки найти было непросто. Теперь я понимаю, что народная память давно уже признала за Навои то место величайшего национального поэта,

которое наша литературная наука присудила ему, правду говоря, с некоторым опозданием...

...Начиная с тридцать первого или тридцать второго года я принялся систематически собирать материалы, относящиеся к Навои, и к тридцать шестому году закончил довольно объемистую исследовательскую работу... В тридцать седьмом я написал поэму «Навои»... «Мерою всех вещей» был для меня образ Навои.

Некоторые критики утверждали (или по крайней мере намекали), что он несколько идеализирован. По совести, я не могу с этим согласиться. Конечно, я любил моего героя. Но, положив руку на сердце, могу сказать, что, рисуя его, я старался ни в чем не погрешить против истории, не пытался что-либо замолчать или представить в искусственном свете. Я уже говорил, что мое личное, «человеческое» отношение к Навои, в сущности, только отражало то, которое сложилось в народном сознании.

В самом деле: жизнь Навои, в общем, нам хорошо известна. Она изобилует многими превратностями, многими взлетами и падениями, но сам Навои как человек неизменно оставался на высоте. Он не подличал ни чтобы добиться власти, ни чтобы сохранить ее; ему, бесспорно, сослужили службу давние личные отношения с султаном Хусейном Байкарой, но обаяние его личности, глубина его ума были, по-видимому, и без того слишком очевидны. Его имущественное положение избавляло его от необходимости идти на многие унижения и не одобряемые совестью шаги, неизбежные для бедняков, даже если они были люди незаурядные; но в то же время его личное бескорыстие, щедрость, широта души — вне всяких сомнений. Когда все это соединяется в одном человеке, у скептиков невольно рождается мысль, что им подсовывают идеализированного героя. Но что делать, если такова историческая правда? В жизнеописании Алишера действительно нет «темных мест» — в дурном смысле этого слова...

Может быть, литература была для Навои наилучшей *формой* творчества, и потому, под конец жизни, когда все другое ушло из его рук, он отдался поэзии не только с радостью, но и с душевным облегчением. Но я всегда был уверен, что ключ к его биографии, подлинная суть его натуры состоит в том, что он был *человеком действия*; только при этом он был еще наделен неотступной «привычкой мыслить». Для него было внутренней потребностью осмысливать и стремиться усовершенствовать все, с чем он ни сталкивался: поэтическое искусство и государственную власть, положение народа и архитектуру столицы... Ничто из того, что побывало в его руках, не должно было уйти, не изменившись к лучшему. Люди должны оставлять след на земле — должно быть, говорил он себе; нет,

не чье-то одно горделивое «я», хотя и каждое «я» имеет право на бессмертие; не одно «я», а именно *люди*, все, кто жил вот на этой земле в этот вот отрезок времени. . .»¹

Когда познакомишься с этими признаниями старого мастера, трудно отделаться от ощущения их автобиографичности — такую взволнованную, страстную, личную окраску они несут. Но и помимо этих признаний, с тысячами узбекских читателей поэмы «Навои» происходило то же: многое из того, что Айбек говорил о Навои, они начинали относить к нему самому. Отчего это происходит? Оттого ли, что Айбек как писатель растворил себя в своем герое? Или, напротив, растворил своего героя в себе? Или действительно в их личностях и биографиях существуют некие параллели? . .

В Ташкенте рассказывают, как Айбек однажды уплатил сумму государственного займа за всю свою махаллю (квартал). Старейший узбекский критик и литературовед Хамиль Якубов вспоминает, как однажды, в годы войны, он оказался вместе с Айбеком на базаре. Они проходили мимо ряда, где торговали коврами, и какая-то бедно одетая женщина продавала туго свернутый ковер — далеко не новый, сразу видно было. Айбек подошел к ней, спросил: «Сколько?» Она суетливо заговорила, что муж на фронте, четверо ртов — и назвала сумму немалую. Айбек, не торгуясь, вынул деньги и отдал женщине. Она схватила деньги, стала благодарить, заплакала даже — ушла. Развернули ковер — он оказался потертым, с прожженной в самой середине дырой! «Что ж ты хоть не посмотрел?» — сказал Якубов. «Потому и не посмотрел, — сказал Айбек, — и так видно было, что за ковер. . .» — «Так зачем ты купил?» — «А если бы не я — кто бы у нее купил? А ей деньги оч-чень нужны. . .»² Трудно не вспомнить при этом рассказе об Алишере, который однажды заплатил налог за всех бедняков своего города, и другие свидетельства щедрости Навои. Еще труднее для знавших Айбека представить себе, что в этих его поступках было нечто показное. Таков он был, таков был его герой, две эти яркие личности, и вправду на редкость близкие друг другу — размахом и щедростью таланта, высокими гуманистическими устремлениями, погруженностью в творчество, ролью своей в процессе становления молодых жанров родной литературы — каждый в свою эпоху, разумеется.

Айбек умер летом 1968 года. Вскоре после его смерти, предвзяв публикацию нескольких его стихотворений последних лет, Зулфия писала: «Печать личности большого мастера обнаруживается на его творениях особенно ярко, когда сам он — уходит. Может

¹ «Биографии замысла», с. 51—54, 57.

² Запись из архива автора.

быть, потому, что тут впервые подводится некий итог; или оттого, что в этот момент острый, болезненный луч памяти разом вырывает из сумерек черты умершего мастера и стремительно оживающие контуры его творений. Так случилось с Айбеком. Мне кажется, одна из характернейших его черт — щедрость, щедрость человеческая и творческая. Печать этой щедрости — свойства необычайно богатого внутренне человека — лежит на всем, что он оставил. И сам стиль его таков — полновесное богатство фразы, которая не боится точки и не ставит ее судорожно там, где вот-вот кончится запал. Должно быть, он никогда не испытывал опасения исчерпать свои силы. . . »¹

3

Автобус стремительно идет по широкой бетонке, навстречу наплывают и уносятся назад все новые, бесконечные поля: зеленые или коричневатые, в седых колокольчиках хлопка, с линиями тополей, похожими на приближенные нарочно горизонты, с темными спинами хлопкоуборочных машин и уютными пятнами поселков. . . Обычный, мирный пейзаж хлопковой осени. Обычный, если не знать, что едешь по Джизакской степи — недавним мертвым пустырям, обжигаемым суховеями, не знавшим воды, кетменя, зеленого убора. И только при подъезде к самому Джизаку, когда возникают над зеленым пейзажем почти неожиданные желто-бурые горы, начинаешь представлять себе, каким был этот край до того, как воля и руки узбекских дехкан, подвигнутых партией и Советской властью, преобразили его нелюдимую природу.

За стремительно обстраивающимся Джизаком есть колхозный поселок, нынче почти слившийся с самим городом. Центральная его улица упирается в подножье горы. Здесь родился Хамид Алимджан; здесь, перед мемориальным зданием, стоит теперь его бронзовый бюст. Это отсюда унес он в мир большой поэзии и зоркую приглядчивость деревенского паренька, живущего рядом с природой, и неистребимую крестьянскую любовь к родной земле, впитанную с молоком матери, и резко контрастные впечатления стремительных перемен, на его глазах совершавшихся на этой земле, и привычку, потребность неустанного каждодневного труда, и тот мощный дар песнопения, то извечное внимание к смыслу и музыке слова, которое в любом крае присуще прежде всего самому народу.

¹ З у л ь ф и я, (Вступление к публикации переводов из Айбека). — «Правда Востока», 1968, 7 декабря.

В шестнадцать — первое напечатанное стихотворение, в тридцать пять — трагическая случайность автомобильной катастрофы. Всего лишь девятнадцать лет работы, включая учебу, становление, поиски; годы зрелого творческого труда, редкого по своей напряженности, и деятельности общественной, организаторской, тоже исключительной по интенсивности, в иную пору, казалось бы, отбравшей у творчества все время... Младший современник и Гафура Гуляма, и Айбека, и Уйгуна, но равноправный их соратник, работавший подчас и в явно опережающем темпе, он ушел в расцвете, и созданное им давно уже обрело черты наследия, когда их творчество все еще продолжалось, росло, менялось, поражая читателей новым видением, неожиданными обличьями поэтической формы. И, однако, то, что он оставил, то, что он сделал в литературе, так обширно, так весомо исторически, так непреходяще в своей невянувшей художественной силе, что закономерно стоит сегодня рядом с поэтическим наследием и Айбека, и Гафура Гуляма, которым было отпущено на четверть века больше и жизни и работы. Должно быть, это и имел в виду Гафур Гулям, когда, почти два десятилетия спустя после смерти Хамида, обращал к нему свои проникновенные строки:

Ты не изведал странной правды той.
Не знаешь ты, что это значит — старость.
Тебе навечно молодость осталась
с ее недостижимой высотой.
И ты оттуда
всё глядишь на нас,
так, словно бы и требуешь и просишь,
и хоть вовек упрека нам не бросишь —
его как будто держишь про запас. . .

(«Воспоминание о друге»)

Хамид Алимджан родился в 1909 году, в бедной семье, в четырехлетнем возрасте потерял отца. В 1916 году семилетний мальчик был свидетелем зверств, которыми сопровождалось подавление Джизакского восстания царскими войсками. С раннего детства, от матери своей Камилы и деда Мулло Азима, слышал он множество народных сказок, дастанов, песен. Впоследствии он вновь сознательно обратится к фольклору — и как собиратель и исследователь, и как мастер к своему драгоценному материалу, но несомненно основы его творческого отношения к фольклору были заложены тем детским восприятием. Мальчик рано начал изучать русский язык. В 1918 году он поступил в открывшуюся в Джизакс неполную

среднюю школу, затем пбехал учиться в Самарканд, сначала в училище, а позже в университет.

В сентябре 1925 года газета «Зарафшан» опубликовала стихотворение начинающего автора «Кто-то». Три года спустя вышел первый сборник стихов Алимджана — «Весна». Поэту еще не исполнилось и двадцати. Много лет спустя и Айбек в своей статье о Хамиде Алимджане, написанной сразу после его гибели, в 1944 году, а за ним многие другие исследователи, в том числе и Салах Мамаджанов, автор, пожалуй, наиболее обстоятельной и значительной работы о творчестве Алимджана, подчеркивали «символичность» этого названия. В самом деле, «Весна» вышла, когда автор переживал свою раннюю, «весеннюю» пору. Ей соответствовал настрой сборника: оптимистический, романтически приподнятый, настрой победоносной уверенности, столь свойственный эпохе и поколению. Большинство стихотворений книжки посвящено, однако, вовсе не времени пробуждения природы, и не столько даже «человеческой весне» — молодости, со всеми ее счастливыми обретениями и радостными трудностями, такими общими для всех и такими трогательно *своими* для каждого: «задачей поэта было воспеть иную весну — ту, которую его великий современник Владимир Маяковский назвал „весной человечества“». ¹ Стихия романтической публицистики, с ее открытой категоричностью формулировок, характерной для молодости; безоглядность, естественность стремления вперед, атмосфера взлета, старта, даже и сегодняшнего читателя, полвека спустя, заражающая своим эмоциональным напряжением, — все это определило шумный успех книги у тогдашней узбекской молодежи. Она увидела за этим свои настроения, мысли, выраженные смело и сильно. И пусть образы героев Алимджана — юных бойцов гражданской войны, первых комсомольцев, молодежи тоже отнюдь не мирных послереволюционных лет — были зачастую одноцветны, плакатны, попросту иллюстративны по отношению к иным лозунговым строчкам книги, но суть-то в том, что для автора психологическая их индивидуализация не столько была, может быть, еще и недоступна, сколько просто не важна! Плакатность тут скорее заданная: цельность и нацеленность стержневой мысли явно существеннее конкретных черт героев или обстановки. Потому что рассыпанные в стихах там и сям, словно бы и помимо намерения автора, реалистические черточки пейзажа и быта, какая-то случайно как бы проскользнувшая пронзительно-лирическая нота, безупречно точная строка — свидетельствуют уже и в этих ранних стихах Хамида Алимджана, что

¹ С. Мамаджанов, Мир поэта. Очерк жизни и творчества Хамида Алимджана, Ташкент, 1972, с. 6.

дарованию его все это было свойственно с самого начала, и его глаз художника, пусть пока и неопытный, уже тогда улавливал все это и вплетал в программную поэтическую ткань. И несомненная и весьма откровенная метафоричность названия, свойственная, кстати сказать, большинству алимджановских поэтических сборников,¹ теперь в обратной перспективе, раскрывается куда полнее применительно даже не к содержанию этой отдельной книжки, а к характеру «взросления» поэзии Алимджана в целом.

Вначале ее тематический кругозор, от стиха к стиху, от книги к книге, рос по мере расширения возрастных горизонтов самого поэта: его герои, его проблемы как бы выросли вместе с ним. И в то же время, при всем очевидном расширении тематики, это был путь не только *от себя* к миру, но в не меньшей степени и через мир *к себе*, к бесценному, понемногу открываемому материалу собственного духовного опыта. Внешне это была эволюция от плакатности — к психологическому анализу, от лозунговости — к лиризму: путь, как мы видели, общий для многих подлинных поэтов эпохи. И своеобразие алимджановской дороги отразило его человеческое своеобразие, во многом определившее и характер его таланта.

Очень точно говорит об этом, вспоминая Хамида Алимджана, один из ближайших его друзей и поэтических единомышленников, выдающийся узбекский лирик Уйгун: «...я встретился с ним в самом начале его — и моего — творческого пути... Помню, я очень скоро почувствовал: в этом юном поэте — Хамид был на год моложе меня, в тогдашнем нашем возрасте разница заметная! — в этом общительном юноше, умевшем бесшабашно веселиться, есть какой-то рубеж внутренней сосредоточенности, за который проникнуть не просто... Казалось, перед его внутренним взором стоит некая цель, не практическая, а отвлеченно-идеальная, и он бережет для нее главные свои силы.

Он был вовсе не чужд честолюбия, веселой бравады, самоуверенности, неизбежно свойственной талантливому и не обойденному успехом юноше; он гордился нашей ранней популярностью — мы слыли тогда модными поэтами; охотно и уверенно выступал. Но по случайным репликам в наших с ним разговорах, по каким-то штрихам поведения, по тому, наконец, *как он работал*, я скоро разглядел за этой внешностью трепетное, влюбленное *служение* слову. Служение — иначе не скажешь. Его священной целью была литература, и он всегда, каждый день и каждую минуту, был готов к какому-то будущему, *главному* труду. Как он умел работать! Не

¹ И на это было обращено внимание критики. См., например, в указ. книге Мамаджанова (с. 105, 119) о названии второго поэтического сборника Х. Алимджана «Огненные волосы» (1931).

только над листом бумаги, но и на ходу — дни напролет. Как он вынашивал, лелеял — и как потом подчас жестоко перекраивал взлеянную строфу! И куда девалась его насмешливая снисходительность, которой он часто щеголял при посторонних, если начинался *настоящий* разговор о литературе.

Меня несказанно поражала в этом, в сущности, очень самолюбивом человеке его готовность признать несовершенство того, что им написано. Он всегда знал, что можно *написать лучше*: так самозабвенно верил он в безграничные возможности слова, строки, поэзии.¹

Эта редкостная творческая целеустремленность, это столь рано проявившееся стремление к художественному совершенству, к художественной точности («Что такое... стиль? — заметил Гафур Гулям. — Максимальное приближение твоей фразы к твоей мысли...»²) отчетливо сказались уже во второй поэтической книге Хамида Алимджана — «Огненные волосы», вышедшей менее чем через два года после первой. Если «Весна» была своего рода поэтическим призывом к молодежи или, может быть, высказанной от ее лица *заявкой* на будущее, то пафос «Огненных волос» — уже в *показе* свершений молодой республики. Лучшие стихи книги — именно о жизни, а не по поводу жизни. Из их строк встают перед нами живые человеческие образы, конкретные, точно уловленные приметы реальных событий, зримые, по-своему повернутые картины родной природы, в чье будущее активно вмешивается человек-строитель... Словом, это уже не плоскость плаката, а как бы стремительность кинокадра; не формула лозунга, а выпуклость, трепетность и многозначность метафоры. Метафорическое богатство книги начинается уже с блистательно найденного названия, за которым чудятся и косы солнечных лучей, и пламенные языки флагов, сияющий ореол новой жизни. И эта метафорическая насыщенность как бы удваивала, утраивала смысловую насыщенность строки. Мастерство этого молодого автора — в 1931 году, в момент выхода «Огненных волос», Хамиду Алимджану было немногим больше двадцати одного года! — удивляет. Может быть, оно особенно проявляется как раз в том, что возросшая образная и «информативная» нагрузка строк отнюдь не усложнила их внешне — стихи так же просты, музыкальны, доходчивы... Чеканность, отточенность, выношенность каждой строфы поневоле заставляет воображать себе мастера, который эти последние полтора года посвящал себя одной этой книге. Ничего похожего! Годы пребывания в Самарканде до предела заполнены не только писани-

¹ «Биографии замысла», с. 97—98.

² Там же, с. 35.

ем стихов, но и гигантской, неустанной газетной работой. Та же газета «Зарафшан», которая опубликовала его первое стихотворение, в течение нескольких лет почти ежедневно публикует его статьи — пропагандистские и литературно-критические, рецензии, очерки, фельетоны, рассказы. В промежутке между «Весной» и «Огненными волосами» у Хамида Алимджана выходит еще и прозаическая книга «Утренний ветер». И все это совмещается с интенсивнейшей учебой, с активным участием в дискуссиях, в работе литературного объединения «Кзыл калам».

Окончание учебы в Самарканде и переезд в Ташкент обозначили для Алимджана начало нового, важнейшего биографического и творческого этапа. «Хамид, — вспоминает Уйгун, — приехал в Ташкент следом за мной. . . Время было скудное; бумаги не было. Мы писали на длинных узких обрезках, которые брали в типографии. Но писалось нам хорошо; наверное, поэтому и у меня и у Хамида навсегда сохранилось пристрастие к узким, длинным бумажным полоскам. Разница характеров все-таки сказывается — хотя бы в мелочах. Я исписывал множество черновиков, складывая их грудой, пока из написанного вылущивался окончательный вариант. Хамид поступал иначе: он вооружался резинкой и стирал строки, заменяя их новыми, так что черновики оставались лишь у него в голове. . . Но одно у нас было *общее*: неприязнь к скорописи. Не то чтобы нам не приходилось писать стихи или статьи в один присест: бывало такое. Мы ведь были не только поэты, но и журналисты. Но это никогда не становилось для нас нормой. . .»¹

В Ташкенте Хамид Алимджан с головой погружается в культурную жизнь узбекской столицы. Он работает сначала в комсомольской газете «Еш ленинчи», затем в журнале «Курилиш». Потом переходит из редакции журнала в отдел литературы научно-исследовательского института культурного строительства, где одним из первых в республике разворачивает активную работу по собиранию и записи фольклора. И продолжает свой неустанный литературный труд. Летом 1935 года он женится на Зульфие. «Когда, после женитьбы, — вспоминает Зульфия, — мы поселились вместе, передо мною с каждым днем, с каждым часом стал раскрываться человек и строгий и очень добрый. Человек большой внутренней культуры, которая проявляла себя и в железной самодисциплине, и в столь же неукоснительной внимательности к окружающим. . . В нашей общей комнатке стояла лишь постель да его письменный стол. Он работал за ним каждый день — что бы в тот день ни происходило: собрания, дискуссии, мушоира (творческое состязание поэтов), свадьба или

¹ Там же, с. 100.

похороны — ничто не являлось помехой. Время работы — раннее, утреннее — было для него священо и *необходимо*: должно быть, не поработав за письменным столом, он не чувствовал, что день его действительно прожит... работа была первой заповедью, и теперь я понимаю, что и когда он отдыхал, «турбина» его мозга и души вертелась не вхолостую. В сущности, даже отдых с книгой в руках был для него своего рода «пассивным творчеством» — я это отчетливо поняла, просматривая впоследствии его многочисленные блокноты, переполненные карандашными записями о прочитанном, по поводу прочитанного и мелькающими там и сям пометками будущих собственных замыслов: здесь их, как искры, высекали чужие образы и мысли. Словом, это была гигантская подготовительная работа, которая прекращалась только в часы собственно творческие. Вот где был секрет его постоянной творческой готовности!...»¹ «Он не доверял наитию, — продолжает Зульфия, — хотя, конечно, многократно переживал и благодарно помнил те особые минуты, часы, дни, когда пишется легко, как бы чудом. Но он умел сам творить чудеса и не любил их дожидаться — сын своей страны, своего века, эпохи рукотворных чудес. Недаром, приступая к большой вещи, он сперва как бы проверял себя и свой замысел: делал набросок, эскиз в виде либо очерка, либо небольшого стихотворения...»²

30-е годы как раз и были для Хаида Алимджана порой приступа к большим вещам, а затем и самой работы над ними — теми крупными произведениями, которые, наряду со зрелой лирикой, с регулярным теоретическим осмыслением литературного опыта в статьях и выступлениях, послужили одной из важнейших, определяющих вех становления в узбекской советской литературе метода социалистического реализма. Было бы, вероятно, чересчур опрометчиво — после приведенного рассказа Зульфии — определять даты зарождения тех или иных замыслов Хаида Алимджана. Как и у всякого большого художника, замыслы эти возникали на скрещении многих или, во всяком случае, нескольких впечатлений, воспоминаний, размышлений, картин, и точка такого скрещения иногда впоследствии ускользала, может быть, из памяти самого автора. Зато очевидны периоды, когда те или иные замыслы получали пищу для своего развития, чтобы затем прорасти, как зерно.

Можно предположить, например, что работа в республиканской комсомольской газете, не только собиравшей богатую информацию о жизни молодежи республики, но и получавшей тысячи писем от юношей и девушек из городов и колхозов, понемногу внедряла

¹ «Знамя», 1979, № 11, с. 233.

² Запись из архива автора.

в сознание поэта некое общее представление, некие характерные черты, как бы предварительные «словесные портреты» новых героев, типичных представителей новой, пробивающей себе дорогу жизни. И услышанная однажды поэтом история Зайнаб, героини его будущего центрального произведения «Зайнаб и Аман» (1938) — колхозной девушки, награжденной орденом Ленина за самоотверженный труд на хлопковых полях, — легла на хорошо подготовленную почву. Общее представление слилось с конкретным обликом! Как раз вероятность такого слияния, близость такого совпадения Хамид Алимджан и проверял, по-видимому, очерком «Зайнаб», который предварил работу над поэмой и послужил для нее первоначальным эскизом. Эта проверка своей творческой памяти живой жизнью отнюдь не свидетельствовала о недостаточности художественного воображения. Нет, за этим стояло все то же стремление к высокой художественной точности, о котором мы уже вели речь, опасение подменить правду правдоподобием и то исключительное сознание ответственности поэта перед обществом за каждое написанное слово, которое отличало Хамида Алимджана смелоду. В этом смысле творческая история поэмы «Зайнаб и Аман» — пример, может быть, самый важный и наглядный, но отнюдь не единственный в поэтической биографии ее автора. Можно думать, что таков вообще был внутренний путь каждого его серьезного замысла, каждой значительной вещи.

Точно так же и начатая в первой половине 30-х годов работа Хамида Алимджана по собиранию фольклора — известно, что он участвовал в ней и как организатор и участник экспедиций, а позже как исследователь — дала материал и толчок для создания таких вещей, как «Айгуль и Бахтияр» (1938) и «Семург» (1939). Живые впечатления от исполнения дастанов прославленными бахши, от сказок, записываемых участниками экспедиций в далеких кишлаках, от непосредственной расшифровки записей — контаминировались с теми давними образами, которые прочно вошли в сознание маленького джизакского мальчугана еще задолго до того, как он научился читать. Эти два слоя не просто дополняли друг друга, накладывались один на другой: в чем-то они, бесспорно, не могли совпасть — и сталкивались, соперничали друг с другом в памяти и воображении поэта. Из этих столкновений рождалась необходимость заново истолковать социальный смысл, психологическую глубину, человеческую достоверность этих столь безыскусных по видимости образов, этих необычайных подвигов, этих наивных чудес, которые вторгались в судьбы героев так же властно и преобразующе, как поэтическая метафора в текучий материал каждодневного бытия.

Документальная стихия новой жизни — и старинная народная

ска́зка; страстная публицистика о насущных проблемах дня — и проникновеннейшие строки о шекспировской Офелии, словно о целавно погибшей подруге; упорная идейная борьба, кованные формулы теории — и живое общение с людьми, — из этих разнородных компонентов складывалось, сплавлялось то органическое единство, каким явилось и доселе открывается нам творчество Хамида Алимджана. Его мощная личность и была тем горнилом, которое сплавляло все это воедино. Недаром Зульфие представлялось в молодости, что «какая-то турбина работает в нем, без усталости вырабатывая мыслительную энергию!»¹

В 1939 году Хамид Алимджан становится ответственным секретарем Союза писателей Узбекистана и остается на этом посту до своей гибели в 1944 году. Годы эти в особенности показали Хамида не только как выдающегося художника в пору зрелости, но — в не меньшей степени — и как замечательного организатора, собирателя литературных сил республики. Благодаря работе, с первых дней развернутой им в Союзе, литераторы республики, разноязыкие, разновозрастные, различного человеческого и творческого опыта, очень несхожих устремлений, впервые почувствовали себя принадлежащими общему делу. Душой этого дела был Хамид — от него исходила атмосфера высокой заинтересованности, нацеленности на кардинальные темы времени, причастности к живой, стремительной жизни, а главное — практическая инициатива поездок, выступлений, деятельности творческих секций, диспутов... Эта сторона его работы имела для истории узбекской литературы значение, может быть, не меньшее, чем его поэтические книги. Борьба за «возрождение» Навои; борьба за Хамзу — да, именно борьба, ибо, как ни странно это сегодня слышать, было время, когда буржуазные националисты пытались «присвоить» своему лагерю его творческое наследие; работа по сохранению и популяризации фольклора... Это была не чисто организационная или чисто научная деятельность, — в ней имелись и свои человеческие аспекты: Хамид Алимджан, например, добился того, чтобы старикам бахши были выделены средства к существованию, дали секретарей...

Вероятно, суть его организаторских успехов заключалась в том, что и на своем посту руководителя он влиял на литературный процесс именно и прежде всего как *художник* — как мастер, обладавший особенно широким общественным кругозором, идейной зоркостью. Богатство наблюдений, замыслов, планов множилось в нем на широту души, — оттого он так щедро и делился этим богатством с товарищами. Именно делился! И всегда готов был — это вспоми-

¹ «Знамя», 1979, № 11, с. 232.

нают и сверстники и ученики — с редким бескорыстием включиться в обдумывание, обсуждение чьих-то планов и замыслов... А ведь, правду говоря, эта щедро расходуемая творческая энергия, эти накопления из «записной книжки памяти» нужны были ему самому — он был интенсивно работающий писатель!..

И, может быть, именно теперь наступал для него период самой напряженной работы: грянула война. Гигантский груз горя и гнева; не признающая отказа необходимость мужества; небывалая острота задач, встающих перед каждым и всеми... И перед литературой — не в последнюю очередь. 22 июня 1941 года застало Хамида Алимджана в Москве. 24 июня он публикует первое военное стихотворение «Песня победы». За три военных года он создает четыре книги стихов — «Мать и сын», «Когда цветет урюк», «Возьми оружие в руки», «Вера» — и обширное драматическое полотно «Муканна». Это — кроме постоянных выступлений в прессе, стихотворных посланий бойцам-узбекам, сражающимся на фронте, труженикам, самоотверженно работающим в тылу; кроме огромной организаторской и партийной работы, регулярных поездок на фронт, в колхозы...

Произведения Алимджана военной поры представляют интерес чрезвычайный — и не только потому, что большинство их принадлежит к высшим достижениям его таланта, но и потому, что черты, характерные для его творчества вообще, для его мировоззрения и мировосприятия, проявились здесь с особой рельефностью: то время напряжения всех сил отчетливо выявляло главное в каждом.

Это — романтическая напряженность каждой вещи, проявляющая себя и в ритме («вялость ритма — вялость души», — записал он однажды в блокноте), и в той фонетической инструментовке, которая позволяла ему подчас в ударных строчках и строфах достигать почти колокольного звучания; и в образном строе, где каждая метафора, каждое сравнение, кажется, одною лишь уздой точности удерживается на грани безудержной гиперболы; и, главное, в том особом настрое души героев, в котором мощный оптимизм, основанный на непоколебимой вере в правоту дела, соединяется с постоянной готовностью к подвигу во имя этого дела.

Еще одна черта особенно отчетливо являет себя в этих поздних произведениях Хамида Алимджана — его *интернационализм*. Черта, конечно, естественная для общественного и партийного деятеля, который представлял самую передовую в мире интернационалистскую идеологию, для писателя, которого, в сущности, вырастили, «вскормили» две национальные культуры — узбекская и русская и который сам внес потом громадный вклад в развитие их коренных взаимосвязей. Но для Алимджана интернационализм был основой мировоззрения. В его понимании, в его восприятии мира он противостоял

вообще всему, что ломает, обездоливает, разобщает людей — будь то мракобесие ислама или чудовищные догмы фашизма, национальное унижение или классовое неравенство. Все это стояло для него по одну — по *ту* сторону. Сошлемся на «Муканну». Разве случаен выбор этого героя, этого отрезка истории из многих подобных, где шла борьба народа против иноземных захватчиков, созвучная событиям Великой Отечественной? Но, это ведь было еще и *антиисламское* восстание. . . А «Слезы Роксаны»? Это уже, правда, пример не столь явный для сегодняшнего читателя, но люди 40-х годов понимали отлично, какой это был вызов мракобесам — похоронить украинскую девочку на мусульманском кладбище — и какое торжество человеческой общности. . .

Столь же отчетливо проявлялась и другая важнейшая черта творчества Хамида Алимджана: его психологическая точность, его *выстроенность* — касалось ли то целого характера на протяжении крупной вещи или лирической передачи мгновенного впечатления, мысли на пространстве строфы. На его страницах читатель не рискует провалиться в «воздушные ямы» смысловых, сюжетных или психологических пустот. Вряд ли нужно и говорить о том, каким важным шагом вперед было это в литературе, которая в течение веков, за немногими исключениями, не признавала сюжета как средства психологического анализа, а свои жанры и художественные открытия строила на основе скорее традиционно-устойчивой, замкнутой образной *системы*, нежели художественного *метода*, предполагающего все новые и новые изобразительные возможности. Это и был один из тех важнейших шагов, которые молодая узбекская советская литература сделала в сторону социалистического реализма, наиболее плодотворного творческого метода. И эта черта творчества Алимджана была как бы продолжением его человеческих свойств, его удивительной способности продумывать наперед жизнь и поэзию.

Как рассказывает Зульфия, «Хамид менее всего походил на поэта-гуляку, каким, к сожалению, слишком многие представляют себе вдохновенного лирика. Он был работник, *мастер*, который блистательно знал свое дело, но не любил показывать, как говорит пословица, *половину работы*. Как-то, помню, я восхитилась тем, что он так много знает стихов наизусть, и свои — любую строчку, любой стих, хотя бы и самый давний — может прочесть, даже если его разбудить посреди ночи. Он искренне поражался моему удивлению:

— Да что вы говорите? . . . Да как же я могу их не помнить, ежели, прежде чем записать, я их повторил, повернул так и эдак — сотни раз? . . . Они небось оставили у меня в мозгу след поглубже морщин самой древней старухи! . . .

Во время писания второй своей книги, которая шла у меня легко, но как-то все не удовлетворяла меня по-настоящему, я спросила Хамида:

— Почему это стихотворение у меня никак не кончается? На какой строфе ни остановись, можно продолжать дальше!

Он засмеялся:

— Это потому, что вы в каждом стихотворении хотите говорить сразу обо всем, а это никак нельзя... И потом, знаете ли, стихи надо... начинать с конца...

Тонкость и точность этого совета я вполне поняла и оценила не сразу. Для Хамида важна была абсолютная обдуманность вещи: отправляясь в путь, он должен был знать, куда идет, иначе сама дорога сразу становилась для него бессмысленной и ненужной. Цель стихотворения, то маленькое открытие, которое выкристаллизовывается для читателя в какой-то, может быть, одной строфе или строке, для самого Хамида должна была быть видна с самого начала...»¹

Хамид Алимджан погиб в самом расцвете сил, — как ни шаблонно это выражение, тут и впрямь иначе не скажешь. Когда внимательно изучаешь его наследие, когда открываются важные или случайные приметы, по которым узнается его личность, начинаешь представлять себе, как много он, должно быть, унес с собою обдуманного, почти готового, только еще не родившегося на свет. Конечно, впереди у него были многие высокие свершения.

4

«...Трудно вообразить себе людей и поэтов более разных...» В самом деле, читатели этой книги даже и при первом, беглом чтении убедятся в справедливости этих слов. Факты биографии, черты характеров, донесенные современниками, показывают нам личности на редкость несхожие: в своем стиле жизни и работы, в своем мировосприятии и общении с этим окружающим миром, в самом характере своего самовыражения. И когда обращаешься к их стихам, легко обнаруживаешь эти уже знакомые нам особенности и черты. И видишь, что поэзия Гафура Гуляма, которой свойственны и шутливость, и неожиданно пронзительная нежность, и язвительность, все-таки до конца принадлежит трибуне, а поэзия Хамида Алимджана, столь же глубоко и полно вовлеченная в современность и живущая в ней, выглядит уже иной, ибо при всей внутренней

¹ «Знамя», 1979, № 11, с. 234—235.

страстности не признает ораторского обнажения приемов, не любит показывать диалогическое развитие своей лирической мысли, а стремится дать ее читателю в отточенной завершенности, в чуть холодноватой, но играющей всеми красками чеканной отделке стиха. И наконец, лирика Айбека, с ее неизменной прекрасно-осенней ясностью и внутренней свободой, которая большею частью воспринимается как идущий из глубины души монолог, как признание с глазу на глаз, признание искреннее и высокое своей искренностью и полнотой. . .

Конечно, несходство этих поэтических индивидуальностей выступает прежде всего в лирике, где авторские «я» предстают нам непосредственно, нередко в роли прямого собеседника, не растворяясь в героях рассказываемых историй.

Иное дело — поэма.

Настоящий сборник наглядно демонстрирует, какое место занимала она в творчестве каждого из трех мастеров. И как раз сопоставление их путей в этом жанре позволит увидеть не только все разительно несходное, что было заложено в их самобытных дарованиях и реализовалось в поэтической их работе, но и то, как они при этом «делали. . . общее, даже точнее — единое дело. . .»

Это общее их дело в молодой узбекской советской литературе — становление нового, социалистического гуманизма, подлинной психологичности, овладение искусством показывать человека изнутри, показывать *самого* человека, и уже через него — все перемены, события, свершения, которым он в конечном счете причина и творец. Отличаясь по своим творческим устремлениям, они выразили разные стороны этого процесса, а в чем-то и разные его *ступени*.

Истоки современной узбекской поэмы лежат в далеких веках; из древности пришел и термин, обозначающий этот современный поэтический жанр, — «дастан». Применительно к образцам старой поэзии — в литературе и фольклоре — термин «дастан» обозначал эпический жанр, являющий собой, как правило, обработку сказочных сюжетов и легенд, исторических или псевдоисторических преданий. В узбекской классической литературе, не знавшей художественной прозы как таковой, дастан сыграл роль на редкость важную и неоднозначную. Это был и литературный поэтический эпос, обретший национальную самостоятельность и самобытность в творчестве Алишера Навои, а стало быть, сыгравший к тому же огромную роль в деле становления национального литературного языка; и своеобразный «рыцарский роман», позднее создавший почву для возникновения реалистических повествовательных жанров (таковы, например, многочисленные прозаические переложения дастанов, так называемые «народные книги», которые пользовались огромной по-

пулярностью и, несомненно, подготовили кажущееся почти чудом стремительное развитие узбекской реалистической прозы).

Эта «большая» поэтическая форма не только оказалась прародительницей всех эпических жанров узбекской литературы, но и первенствовала среди них безраздельно. Характерно, что она считалась и наиболее «престижной» для любого поэта (вспомним, как гордился Навои уже тем, что решился обратиться к монументальному жанру своей «Пятерицы», равно как и тем, что «за короткое время» завершил эту работу) — вплоть до революции, а по существу — и в первые пореволюционные годы. Естественно, что именно в ней, отработанной, устоявшейся, и были сделаны первые попытки воплотить тематику и пафос великих революционных перемен: первые дастаны советского периода, созданные на современную тему, принадлежат тем самым знаменитым узбекским сказителям — бахши Фазылу Юлдаш-оглы («Маматкарим-палван», «Джизакское восстание»), Эргашу Джуманбульбуль-оглы («Товарищ Ленин»), Пулкан-шаиру («Мардикёр»), — от которых были записаны позднее важнейшие тексты народного эпоса («Алпамыш», дастаны цикла Гороглы и т. д.).

В пору становления молодая советская узбекская литература интенсивно брала уроки у русской классики, у крупнейших мастеров русской советской прозы и поэзии. Но, может быть, именно в жанре поэмы она пошла наиболее самостоятельным путем. Совершился великий социальный поворот. Напиравший материал стремительно менявшегося, яростно работавшего сегодняшнего дня, материал живой, конкретный, переполненный фактами и лицами, требовал воплощения в емкой поэтической форме. Зеркальные отблески стихотворных скороспелок не удовлетворяли этой необходимости — запечатлеть новые и цельные характеры, разрешение новых и острых коллизий. Дастанная традиция, древняя, но, как мы видели, еще достаточно жизнеспособная, была наготове. На перекрещении такой традиции и такой социальной необходимости и возникла современная узбекская поэма.

Характерную в этом смысле творческую историю своей первой поэмы «Джантемир» (1931) рассказывает Уйгун: «В колхозе неподалеку от Ташкента я познакомился с бывшим чабаном. Имя его — Джантемир — Железная душа — шло к нему удивительно. Огромный, но без намека на излишества в отлично вылепленной фигуре, с медным от загара лицом — он казался отлитым из металла... Неграмотный пастух, он увидел дорогу к правде прежде сельских грамотеев. Наделенный от природы ясным умом... он за всю жизнь не совершил ничего, что унизило бы человека в человеке — пусть и в недруге...»

Я уже был достаточно профессионалом, чтобы смотреть почти на все вокруг как на предмет литературы. И все же поначалу мой профессиональный взгляд потерялся в простодушном восторженном впечатлении. Только некоторое время спустя, в городе, то и дело вспоминая о нем, я вдруг представил его героем новой вещи. Сперва я не определил ни размеров, ни жанра. Я стал набрасывать вещь кусками, строчками. Наконец, вырисовалось обширное повествование... Я сохранил не только имя героя, но и все, что узнал о нем. Моим был только рассказ — и отношение к герою: романтическое отношение, при всей строгой документальности. Может быть, я впервые увидел въявь одного из той когорты простых людей, которые вкуче и совершили поворот колеса истории...

Кажется, поэма о Джантемире была в своем роде первой в нашей поэзии. Я имею в виду *документальность поэтической вещи*...

Конечно, сама по себе близость к материалу жизни еще не определяет и не меняет жанра. И все-таки именно для поэтического повествования документальность казалась особо противопоставленной: она как бы предполагала такое неизбежное приземление героя, которое отменит самую природу поэтического творчества.¹ В классическом дастане изображался *«идеальный герой в исключительных, если не сверхъестественных обстоятельствах, и автору — был ли то народ или отдельный поэт — оказывалась решительно ни к чему реальная география или история. Конечно, он отталкивался от живых чувств, но творил легенду»*.² Так было в классическом дастане — так было, конечно, и в первых советских дастанах, сложенных сказителями.

Здесь же все оказывалось наоборот: «легендарной» была сама жизнь, а «идеальный герой имел паспорт»! Действительность, ее реальные чудеса теперь попросту обгоняли воображение, как аэропланы — ковер-самолет. Именно эта небывалая и подлинная действительность рассеивала вековые духовные миражи, свергала в умах власть сверхъестественного и возводила на престол практические созидательные устремления человека. И это породило, в сущности, специфику не одной узбекской поэмы, а всей советской литературы конца 20-х — начала 30-х годов, ее приверженность к яркому документу, выпестованному Горьким.

Если поэма «Джантемир» и была «первой в своем роде», то очень скоро оказалась не единственной. В том же, 1931 году, к примеру, появилась «Девушка-тракторист» Хусейна Шамса; в том же, 1931 году опубликован и первый вариант «Кукана».

¹ «Биографии замысла», с. 95—96.

² Там же, с. 96.

Пожалуй, Гафур Гулям был прав, когда, невзирая на предшественников, называл «Кукана» первой колхозной поэмой в узбекской поэзии; здесь действительно впервые показана не просто человеческая судьба, а главный конфликт тогдашнего кишлака: единоличник и колхоз. Герой поэмы, бедняк Кукан, замордованный и приниженный всей жизнью, которую вел сызмала, не в силах постичь совершавшуюся в стране социальную перемену; мулла и бай для него по-прежнему хозяева села. В голове у него не укладывается, что он сам может стать хозяином жизни, что новая, Советская власть — его собственная, а конфликт с нею — для него все равно, что конфликт с самим собою. И действительно: именно через такой внутренний конфликт он и выходит в конце концов на верную дорогу. . .

Кукан был фигурой типичной, но этот, казалось бы, простой характер не поддавался прямолинейному обобщению; психологический перелом, совершившийся в нем, объяснить было нелегко. И автор, с его богатейшим знанием фольклора, поставил своего героя в центр сказочного дастана, надеясь, как он потом сам признавался, что «сказке все под силу» и что она позволит «переключить неожиданности характера в неожиданности сюжета». Тем более, добавлял он, что «не требовалось нарушать главный закон сказки: ведь у моей истории и в жизни был хороший конец!»¹

Такой угол зрения художественно оправдан и закономерен: вспомним «Страну Муравию» А. Т. Твардовского, где для очень схожего, в сущности, героя была выбрана такая же «сказочная» дорога. Но автор «Кукана» не удовлетворился своим первоначальным художественным решением. В первом варианте поэмы, по его словам, конфликты «и в самом деле решались со сказочной быстротой». И, едва напечатав этот первый вариант, поэт принимается за коренную переделку поэмы. В итоге появляются фактически «две поэмы — одна о Кукане-батраке, другая — о Кукане-колхознике. На прежнем материале, — вспоминал поэт, — я старался теперь раскрыть психологический поворот. . . под фольклорной одеждой поселить правду образов. . .»² И разница вариантов, разумеется, не в расширении текста и прибавлении подробностей; разница здесь — как раз в подаче материала; то есть материал чисто фабульный, внешне-событийный (пусть и ловко скомпонованный из мотивов плутовской или волшебной сказки) осмыслен теперь психологически — через перемены, сдвиги в сознании героя. . .

Вдумываясь в смысл этой коренной переделки, мы легко

¹ Там же, с. 17.

² Там же.

обнаружим, что успех ее оказался не только частной творческой удачей поэта. Переработка эта, по существу, была прямым одолением той самой классической дастанной традиции, в русле которой конфликты и «решались со сказочной быстротой». Конечно, под этой быстротой вовсе не следует подразумевать краткость собственно повествовательного времени — напротив, дастные повествования обычно весьма пространны; речь идет, точнее, о *легкости* одоления любых преград и препятствий, — легкости, достигаемой за счет каких-нибудь чудесных средств, вместо выявления — в пути, в борьбе, в поиске — действительных внутренних возможностей героя. Именно с такой легкостью Кукан в первом варианте поэмы из темного бедняка-неудачника стремительно превращался в «героя», сильного и удачливого победителя социальных врагов и враждебных обстоятельств. Потому-то переделка поэмы и была таким важным и наглядным шагом.

В отличие от уйгуновского Джантемира Кукан, по свидетельству Гафура Гуляма, не имел одного, конкретного прототипа: их было у него множество — темных, запуганных дехкан, которых автор встречал в своих многочисленных журналистских поездках. «Я сам, беседующий с героем, — вспоминал он позже, — не случайно изображен на обложке... издания поэмы». ¹ Это «я сам», несомненно во многом идущее от Маяковского, учеба у которого так много значила для молодого узбекского поэта, здесь особенно характерно.

С одной стороны, это как бы внешняя фиксация того личностного момента, который вообще неизменно присутствовал в яркой гражданской поэзии Гафура Гуляма, во многом определяя ее стилистические особенности, и противостоял в его стихах нередко грозившей захлестнуть их риторике. С другой же стороны, — и это главное, — здесь, в «Кукане», это «я сам» оказывалось бесцеремонным публицистическим вторжением современной конкретности — в авторском лице — в устоявшуюся структуру классического сказочного дастана. И вторжение это сыграло куда большую роль, нежели документальность как таковая. Документальность, в сущности, легко могла быть поглощена дастанной стихией и обращена ею, так сказать, в свою веру. Вспомним признание Уйгуна о его отношении к герою — «романтическом, при всей строгой документальности». Легко себе представить эту романтичность, помноженную на средства классического дастана. Но сам автор, «беседующий с героем» (а ведь действительно беседовал, и не только на обложке, но и в самой поэме!), уже исключает всяческие чудеса фабулы и характера: поэт — живой свидетель *неложности* повествования. Этот «я сам»

¹ «Биографии замысла», с. 16.

взламывает устарелые жанровые перегородки (ведь для восточного сказителя, в отличие, допустим, от русского сказочника с его, пусть и шуточной, присказкой: «И я там был...» эффект авторского присутствия — явное табу: он-то повествует о безусловной *давности!*), сносит пристройки вековых традиционных условностей вокруг главного здания — возрождает жанр к новой жизни.

После «Кукана» вернуться в старые жанровые рамки было бы уже просто невозможно, да и подражать самому «Кукану» — бессмысленно: требовался шаг очевидно новый — к поэме собственно современной. Шаг этот сделал Хамид Алимджан в поэме «Зайнаб и Аман».

Подлинность, документальность жизненного материала, легшего в основу «Зайнаб и Аман», оказалась весьма «долговечной». Замечательно, что очерки о Зайнаб Амановой публиковались в узбекистанской периодике еще два десятилетия спустя после очерка самого Хамида Алимджана о героях будущей поэмы! Но при всей важности ее для поэта (о чем уже говорилось выше), при всем последующем интересе многочисленных исследователей и почитателей поэмы — в самом произведении эта документальность важна куда меньше: она вовсе не используется здесь в качестве инструмента достоверности, как, скажем, образ автора в «Кукане», — она остается всего лишь фактом творческой истории вещи, а художественная задача решается совсем другими средствами. Внешне на этом новом витке жанр как бы возвращается к объективированному повествованию: цель ведь уже не в том, чтобы лично засвидетельствовать достоверность своего полуфольклорного героя. Снова в поле зрения лишь сам герой, но не его внешняя биография. Как раз внешнего действия, главным образом и заполнявшего классический дастан, в поэме очень мало. Предмет изображения — история *внутренней* жизни Зайнаб, история того, как она пришла к решимости сломать привычный канон обычаев и взаимоотношений, строить по-своему свою, уже как бы заранее определенную этим каноном человеческую судьбу, отстаивать свое право на любовь, собственную личность, неразрывно связанное для нее с правом на свободный, вдохновенный труд. В этом — в *объективной психологической правде живого характера* — и состоял прежде всего интерес поэмы и для самого Хамида Алимджана, и для его читателей, страстно и каждодневно решавших для себя те же проблемы, что волновали Зайнаб.

Этому подчинена и вся стилистическая структура поэмы: лирические отступления, размышления, даже прямые обращения к читателю, столь частые здесь, пропизывающие всю ткань поэтического повествования, прямо не связаны с личным авторским опытом — они

уже как бы отцежены, отделены от него, афористически обезличены, И нетрудно увидеть, как этой художественной задаче отвечал сам характер дарования Хамида Алимджана, тот свойственный ему су- губо индивидуальный творческий процесс, который многие недаром называли *кристаллизацией* стиха: долгое вынашивание в памяти строк и строф, так, чтобы они еще до перенесения на бумагу освобождались от всего случайного, и не только от неточных или ненужных слов, но и от случайных примесей «не работающего» на основную задачу настроения или впечатления. . . Эта неощутимость авторского «я», своего рода «отстраненность» личного авторского мира поэта от окончательного текста в конечном счете и создавали в строке или отрезке поэмы тот необходимый привкус летописной объективности, который мы ощущаем и сегодня.

Впрочем, не может ли показаться такой ход рассуждений нарочитой схемой, если мы вспомним, что уже после «Зайнаб и Амана» Хамид Алимджан создает свои написанные на основе фольклора сказочные поэмы «Айгуль и Бахтияр» и «Семург»? Едва ли, — в его творчестве они так же мало были рецидивом сказочного дастана, как и пушкинские «Сказки» — рецидивом «Руслана и Людмилы» после уже законченного «Евгения Онегина». То было всего лишь возвращение к ранним истокам; характерно, что «Айгуль и Бахтияр», например, написана на основе народных сказок, записи которых появились в печати позже самой поэмы. Несомненно, что поэт слышал их в изустной передаче, и скорее всего — в детстве. Именно эта тяга зрелого мастера к народно-поэтическим родникам, к демократическому духу фольклора особенно естественна. И, может быть, еще более характерен в этом смысле пример старого Айбека, который в последней своей поэме обращается к той самой народной легенде, которую он оставил за бортом творчества, когда, в расцвете сил писал свой знаменитый роман об Алишере Навои.

Айбек. . . Какова же была его роль в становлении жанра? При жизни поэта, случалось, говорили об «отрешенности» иных страниц или периодов его творчества. Говорили несправедливо: все созданное им адресовалось и всецело принадлежало его времени, а на события и проблемы эпохи Айбек — поэт, прозаик, публицист — откликался быстро и прямо. И все же, когда сопоставляешь его с крупнейшими современниками в узбекской литературе, внешние поводы для таких упреков как будто бы обнаруживаются. Вспомним раннюю гражданскую поэзию Гафура Гуляма и Хамида Алимджана, а рядом — столь часто посвящаемую «вечным» темам любви, смерти, духовного самоутверждения — лирику первых книг Айбека. . . Нужды нет, что она демонстрирует пронзительную зрелость таланта, удивляющую в столь молодом поэте! Иных смущало то обстоятель-

ство, что Айбек мог, скажем, в 1942 году, посреди бедствий и напряжения небывалой войны, написать стихи о мотыльке, гибнущем «в чаду бензина» («Бабочка на асфальте»), хотя для знающих его проникновенную военную лирику это свидетельствует лишь о редкой щедрости души и широте мировосприятия. Наконец, его известная приверженность к теме исторической, к материалу прошлого...

Айбек, бесспорно, шел своим путем, но творчество его было всегда частью общего литературного процесса. И вклад Айбека, как это можно увидеть и на примере его поэм, носит особый и весьма примечательный характер.

Пожалуй, никто из узбекских поэтов 20—60-х годов не работал в жанре поэмы так много, как Айбек. Первая поэма — «Мечь» — создана им в 1933 году, последняя — «Гюли и Навои» — закончена в год смерти, в 1968-м. То, что он — после прозы, в ущерб лирике — вновь и вновь возвращался к этому жанру, симптоматично. Вероятно, именно здесь Айбек ощущал какие-то свои особые возможности; или, может быть, именно в технике поэмы он выработал те специфические приемы, которые, так сказать, облегчают поиск статуи в каменной глыбе, обостряют видение в извечной борьбе мастера с материалом? Недаром кто-то заметил, что стиль — это оптика сознания... И в самом деле, в тех поэмах Айбека, которые относятся к числу лучших — «Мечь», «Навои», «Девушки», «Хамза», — ощущается некое несомненное единство построения, стилистических приемов, всей атмосферы повествования.

С другой стороны, достаточно сравнить любую из них, скажем, с «Зайнаб и Аманом», как сразу обнаруживаются различия. Ткань поэмы Алимджана распадается на чередующиеся и разнородные по сюжетослагающей функции отрывки, подглавки: одни — повествовательные, так или иначе подвигающие действие вперед, другие — лишь как бы «обдумывающие», фиксирующие пройденный отрезок. В поэмах же Айбека перед нами, как правило, сплошная текстовая ткань, где лаконичные описательные или повествующие фразы естественно продолжают как бы раскавыченной прямой речью. Чьей?.. У Алимджана «думающие» подглавки безусловно авторские, хотя автор тщательно избегает в них интонации «от первого лица». У Айбека (в поэме «Хамза») иное:

Котенок солнца дремлет на ковре.
Чайханщик прикорнул у самовара.
Поэт сидит с сынишкой, тянет вяло
зеленый чай. Жаль, все на богаре.
Он нынче из Коканда, так что есть и
что рассказать им.

Или (в поэме «Навон»):

Он поворачивает к дому.
Жизнь. Старость. Утро.
Нет конца! . .
Почтительный седой садовник
Его встречает у дворца.
Заря ли так пылает яро,
Кидая блики на поднос,
Иль эту россыпь алых яблок
И впрямь
старик ему поднес? . .

Да ведь это не что иное, как выхваченные из потока мысли героя — *внутренний монолог!* . . Нужно ли объяснять, каким непривычным приемом, стилистическим новшеством был бы он тогда и для молодой узбекской прозы, — что же говорить о поэзии? И не экономная ли работа этого приема, не эта ли лаконичность (столь ценная особенно в стихотворном повествовании), когда один штрих жеста рисует сразу и действие и героя, не это ли естественное и ненавязчивое *обнажение* психологии героя, достигаемое средствами простой разговорной речи, и были открытием Айбека в поэме?

Впрочем, дело не в одном этом. Тексты айбековских поэмы пропиты нитями метафор, точных сравнений, разом рисующих весь пейзаж или обстановку сцены, или облик персонажа: «кочан чалмы», «кривых дорог упрямая спираль, как штопор, откупоривает горы» . .

Но вот (в «Хамзе») образ иного плана:

А между тем уже померкла синь,
и в сумерках
 звезда над миром встала,
унылое бредет обратно стадо,
и вновь над ним
 гнусавит муэдзин. . .

Образ? Да нет же — рядовая зарисовка вечернего кишлака! Вспомним, однако, что кишлак этот только что обличен героем поэмы как гнездо мусульманских духовников, опутавших и лишивших воли забитых дехкан, — и снова вообразим себе неприятную зарисовку: гнусавый крик муэдзина, плывущий над темной кишлачной улицей, по которой навстречу этому крику бредет покорное, тупо покачивающее головами коровье стадо. В этом медленном «кинокадре» нам открывается весь строй предложенной метафоры, открывается с такою ясностью, как будто на глазах читателя этот кадр мгновенно сменился и по той же пыльной улице, под тем же гнусавым голо-

сом, так же покачивая головами, течет тупая человеческая толпа. . . Типичная кинометафора! . . Но, может быть, мы приписываем Айбеку то, чего он вовсе не имел в виду?

Что ж, вот другая сцена — из поэмы «Мечь»: в чайхану, где сидит герой поэмы Халходжа, является хмельной байский сынок Хашим, который отнял у Халходжи любимую, — является, чтобы вдобавок еще поиздеваться над парнем: он вытаскивает из кармана и предлагает ему деньги, пусть-де споет за это песню. . . о потерянной для него Лейли! . .

Халходжа рванулся, как дикий бык, —
и кулак байваччу настиг.
Был удар, ей-ей, как удар судьбы!
И, безжизненнее убитых,
байвачча свалился долой с супы,
рассыпая веер кредиток.

Эта денежная пачка, только что в руках у байваччи пахально олицетворявшая его могущество, а теперь бессильно рассыпавшаяся пустыми бумажками рядом с уже поверженным и, может быть, убитым Хашимом, вырастает как бы на глазах, и «веер кредиток» крупным планом заполняет экран воображения! Нет, отнюдь не случайно эта деталь, как и соседствующая с нею: Халходжу тут же хватает полиция, и вот уже:

Равнодушный ко злу и благу,
он идет меж саблями наголо,
как идет на трон иль на плаху.

Разве случайны эти вдруг явившиеся перед нами и вырастающие до размеров жуткого символа «сабли наголо»? И разве не характерно, что, в то время как обычные, «умозрительно» воспринимаемые, проходные детали метафор рассыпаны по всей ткани повествования, — *эти* воображаемые тропы, эти незримые «кинокадры» рассчитанные на особую обостренность восприятия, являются как раз тогда, когда действие доходит до кульминации и читательское воображение начинает работать все активнее и острее? А если пойти еще дальше, то и само характерное строение повествовательной ткани айбековских поэм — не есть ли оно всего лишь сценарий, где зрительный ряд сопровождается закадровым голосом героя? . .

И все же прямые связи между кинопоэтикой и поэтикой айбековских поэм вряд ли возможны, хотя молодой Айбек жил в пору ярких опытов метафорического кинематографа и был, конечно, знаком с его шедеврами. В действительности дело здесь, скорее, в другом. Поиски путей к подлинно реалистическому изображению чело-

века, особенно человека нового, социалистического, изображению его таким, каков он есть (в чем и состоит смысл метода социалистического реализма), требовали от мастеров молодой литературы решительной перестройки тех художественных жанров, которые пришли из прошлого. Такова была, в частности, и форма старого дастана, переплавленная совместными усилиями крупнейших мастеров узбекской поэмы — Гафура Гуляма, Хамида Алимджана и Айбека, каждый из которых внес свою важную долю в рождение нового жанра (причем каждый — сознательно или неосознанно — учитывал при этом творческие достижения своих соратников). Таков был и груз традиционных образов, та сложная сеть бесконечно повторяющихся, нанизывающихся друг на друга тропов, которая понемногу превратила старую поэтическую систему, связанную с арузом, из живого организма в метафизический лабиринт. Она цеплялась за новую поэзию и после отказа от аруза; удушающая умозрительность ее образов настоятельно вынуждала искать какие-то иные пути разного воплощения. И Айбек здесь, возможно, пошел дальше других. Интуитивно или сознательно он пытался нащупать выход в таких прежде всего *зрительно* воспринимаемых метафорических построениях. Пришел ли он к этому с помощью кино или независимо от него — это уже, в сущности, неважно. Но именно на этом пути диалектика детали и целого в художественном замысле оборачивается подлинным отказом от натурализма. Восприятие метафоры как бы удваивается: зрительный образ, фиксирующий вначале лишь некое внешнее подобие, тут же обнаруживает за собою глубину символа, а главное, активно вовлекает в решение этой образной — в конечном счете идейной задачи — самого читателя!

Это, пожалуй, и есть та новая ступень, на которую Айбек поднимает жанр поэмы. Если Гафур Гулям в «Кукане» заставляет читателя пока только поверить в историчность героя, а Хамид Алимджан в «Зайнаб и Амане» позволяет сверстникам своей героини как бы сверять с нею пути духовного становления, то Айбек вовлекает читателя в самый процесс художественного и идейного осмысления эпохи. И это — за счет все более полного и глубокого проникновения в мир героя, в мир человека эпохи.

Итак — три поэта. Та живая жизнь, в которую они нас ведут, непроста, разновозрастна, многолика, многоцветна — и все же на редкость целостна. Потому-то она и живая, подлинная жизнь народа, породившая их самих.

Александр Наумов

ГАФУР ГУЛЯМ

1. ЗИМА И ПОЭТЫ

За последний месяц в отдел литературы и искусства редакции газеты «Кзыл Узбекистан» поступило 103 стихотворения, озаглавленных «Зима», «Снег».

Похоже, что нынешняя зима
 так и не соберется в дорогу.
Похоже, что вся земля на себя надела белую тогу.
Всё в жертву зиме принесено —
 все темы и все надежды.
У всех поэтов — «Снег» да «Зима».
 Всё скрыли снега одежды.
Вот хут наступил, за ним — хамаль,
 пошли трактора по пашням.
А души наших лириков спят,
 укрытые снегом вчерашним.
Вороны уж каркать забыли. К чему орать им одно
 и то же?
Поэты справляются с этим и так,
 совесть их, видно, не гложет.
Трава уже выросла. Хлеб взошел. А тут всё зима...
 Ну, право,
друзья, пожалейте ворон, прошу!
 Оставьте им их забаву.

1929

2. НА ПУТЯХ ТУРКСИБА

Очень стар,
 незапамятно стар
 этот путь...
Здесь Руми Искандар,
кровопийца Чингис,
 и Джучи-ягуар,
 и Тимур,
 всё живое губя,
 крови требуя,
 крови требуя,
как буран горячи,
поднимая мечи,
 пронеслись,
нанося за ударом удар.
 Очень стар,
 незапамятно стар
 этот путь...
Здесь народ-каландар,
 миллионы рабов и сирот,
 открывая со стоном
почерневший от горя и голода рот,
обреченные,
 немошные и униженные,
через выжженные
 просторы земли,
 спотыкаясь, в оковах прошли,
насекомым подобно, в пыли поползли,
 хлеба требуя,
 хлеба требуя,
 как за муки единственный дар.
Очень стар,
 незапамятно стар
 этот путь...
Сколько вер,
 провозя свой товар,
 Кон Фу-цзы,
 толпы лам и ислам,
караванами
 по солонцам и барханам,
 восклидая во славу бурханам
 и в бубны брящая,

жертвы требуя,
жертвы требуя,
здесь, вот именно
здесь прошли с обещанием рая
и с угрозой неслыханных кар.
Здесь поставил один
на оплечьях
гор окраинных
башен убор.
А другой — вывел свода шатер
не из камня,
а из черепов человеческих.
Третий, бешено яр,
пожирая простор,
как пожар или мор,
пролетел
и полмира кладбищем простер
от волны Далай-Нора
по далекий Памир.
Власти ради своей,
славы ради неистовствуя,
все они,
все они
здесь прошли вереницами хмар...
Очень стар,
незапамятно стар
этот путь...
Порождение древнего мрака,
хищник,
окровавленной короной
венчанный, —
по единому знаку
руки его
страны
дыханьем сжигал аждыхар, —
от Пекина и Ханки до Рума и Киева
и от Ганга до камских булгар,
поднимая знамена,
гремя в барабаны,
здесь прошел
и пропал,
сгинул, как наваждение чар.

незапамятно стар
 этот путь...
Но отныне на нем лишь один властелин —
 богатырь,
тот, что слил воедино
 Туркестан и Сибирь
и бескрайнюю ширь —
 от далекого Улан-Батора
 до Москвы и бухарских чинар —
в пашни, в пастбища и в сады превратил.
Очень стар этот путь...

Но теперь по нему,
 грохоча во сто пар
своих победоносных колес,
мчится зычноголосый
 колосс-паровоз,
извергая дыханием пламя и пар,
 как скакун легендарный тулпар,
вместо шпал
 суеверий каноны топча,
в даль вонзая, как два огневые меча,
 два могучих луча
 своих фар.

Очень стар,
 незапамятно стар
 этот путь...
Но теперь по нему —
 от людей обездоленных
 Индостана и Афганистана —
поздравления и пожеланья побед,
 вдохновенный привет

от миллионов
 наших друзей
вслед стальным караванам
 к нам летят
 из-за океанов
 и пустынь, что мертвее

Сахар...

И теперь по нему,
 по пути, что так стар,
где усталый навьюченный нар
сквозь жару, и снега, и степной ураган,
 через марева фата-морган,

от колодца к колодцу
под звон бубенца
по пустыне,
качаясь, шагал месяца,
вереницей летят эшелоны,
мчатся хлеб, и железо, и лес, и руда
днем и ночью, как неотвратимый,
бессонный
в грудь врага устремленный удар,
чтоб скорее покончить с врагом
навсегда,
чтоб исчезла беда навсегда без следа,
чтоб не запахом крови и гари,
а свободой дышали степные ветра,
овевая счастливые наши года,
лишь порою в сказаньях
о грозном «вчера»
говоря, как домбра
и дутар...

1930

3. ГОТОВ СТАТЬ ЗНАМЕНОСЦЕМ

1

Эх, почему
не пришлось мне родиться
вместе с поколением
бойцов-партизан?!
И мне,
на коне бы,
летащем как птица,
мчатся с ними
в бой-ураган.
И мне бы
вброд
с боевым эскадронам
переходить ледяные воды.
Отважным, как Фрунзе,
лихим, как Буденный,
биться за счастье народа...

теперь орал, как пугливый ишак:

«Пропали!

Пропали!

Пропали!»

Асфандияр,

беглец Джунаид,

Абдулла — разбойник беспутный...

Где укрыться?

Земля горит,

всюду волнение,

всюду смута.

Но не был я,

не был в ту грозную пору

Красной Армии

рядовым знаменосцем!

Ах, как погнали

английскую свору

и всех курбаши,

и прочих японцев!..

8

Ладно!

Прошедшие десять лет

дали мне разум,

отвагу дали.

Я был слабосилен,

разут,

раздет.

Теперь я крепче стали.

И это кстати, —

для мощи страны

тысячи тысяч таких нужны.

Силу мою

воспитала Партия.

Она прозорливым

сделала парию,

гордым сделала

и могучим,

как Гауризанкар,

уходящий в тучи.

Жгучими искрами полон кремень.
Бывают мечты
 большие
 и куцые.
Разве не может
 завтрашний день
сделаться днем
 мировой революции? ..
Я бы тогда
 беззаветно, как надо,
сражался за счастье всех людей
рядовым солдатом,
безвестным солдатом,
погибшим за искру мечты своей.

4

Эй, рабы
 Африки чернокожей,
Европы,
Азии,
всей планеты!
К вам обращаюсь,
 вас тревожу,
Слушайте, слушайте
 слово это.
Дамаска, Басры
 сироты, вдовы,
мужи Марокко,
львы Сиама,
будьте готовы,
будьте готовы
водрузить над миром
 алое знамя!
Сплотив для победы
 сердца и души,
руки
 в пожатье братском сплетая,
Вал Искандара
 в прах разрушим,
вернем свободу народам Китая.

Хваленая роскошь
Соединенных Штатов
только для избранных —
для богатых.
На месте всех этих
«монте-карл»,
где бесятся с жиру
и травятся,
для тех,
кто кровью в боях
истекал,
построим
светлые здравницы.
В борьбе за победу
рассвета над ночью,
за то, чтоб свободу
увидеть воочью,
чтоб счастьем над миром сиять —
каждый крестьянин,
каждый рабочий
готов
знаменосцем
стать.

1930

4. НУРМАТ И САВРИ

Нурмат и Саври в своем доме живут,
и тесно им тут,
и скучно им тут,
но жить в коллективе — зазорно для них,
хоть мало дает им их труд.

Сапожник Нурмат целый день в закутке
то с шилом в руке,
то с дратвой в руке.
И, отдых забыв, от зари до зари
по дому хлопочет Саври.

Не хочет кустарь-одиночка Нурмат
вступить как собрат

в рабочий отряд,
не хочет вмешаться в большие дела,
хоть сам своей жизни не рад.

Саври, пробудившись в каморке от сна,
немыта, грязна,
суетится одна —
она постирать, приготовить обед,
убрать за коровой должна.

Ребенок в своей колыбельке кричит,
похлебка кипит,
корова мычит,
и волосы дыбом встают у Саври —
она точно ведьма на вид!

Едва она примус свой старый зажгла —
застряла игла,
и в комнате мгла,
и мечется снова по дому Саври,
на мир и на жизнь свою зла.

С досады Саври закурила чилим,
и стелется дым
по стенам сырм...
Что ж делать теперь ей! Кури не кури —
тоску не разгонишь, Саври!

А ночью воротится пьяный Нурмат,
и стекла звенят,
и слышится мат —
с веревки в испуге сорвется телок,
ломая гнилой палисад.

И муж избивает веревкой Саври:
«Эй, черт подери,
молчи, не ори!»
Неграмотны оба — ведь им, беднякам,
не снились во сне буквари!

Однажды вбежал он и крикнул: «Жена!
Послушай, жена,
плясать ты должна!

Здесь фабрика обуви будет теперь,
сегодня открылась она.

На фабрику эту с тобой мы пойдем
и будем вдвоем
сидеть за станком.
Довольно ютиться по жалким углам!
Бросай и кастрюли и хлам!

На фабрике много машин и станков —
лишь скажут нам: «Шов!»,
а шов уж готов!
Не нужно глаза или руки трудить —
в машину вставляется нить!»

Неделя прошла, и уж в цехе Нурмат,
работать он рад
две смены подряд.
Из первой полочки Нурмат, говорят,
жене покупает наряд!

В их доме приветливо, чисто, светло,
сверкает стекло,
и сердцу тепло,
и грамоте стала учиться Саври...
Хорошее время пришло!

«Шермат будет школьником в этом году,
Дильбар же в саду, —
я сам отведу!
Так, — молвил за ужином как-то Нурмат, —
приучим детей мы к труду!»

Теперь они дружны: забот у них нет,
в столовой — буфет,
готовый обед...
Нурмат и Саври уже не кустари,
теперь отдохнула Саври.

Заботы, заботы, сбивавшие с ног, —
кумган, котелок,
корова, телок.

Очаг не горит, а Саври перед ним
не курит свой дымный чилим.

И в жизни их словно развеялся дым:
Нурмат стал другим —
совсем молодым.

По праздникам он уж не бьет фонари,
не пьет, не ругает Саври.

На фабрике мастером стал он, да, да!
Ударник труда,
он первый всегда.

И в соревнованье он всех победил —
Саври своим мужем горда.

С работы веселый приходит Нурмат:
«Идут ли на лад
дела у ребят?»

Дильбар научилась уже лопотать,
и в школе отличник Шермат.

Нам в новую жизнь открывается дверь —
всё краше теперь,
всё наше теперь —
и радость, и смех, и сиянье зари,
все наше сегодня, Саври!

1931

5. УЗБЕКИСТАН

Видел я
бескрайние пустыни.
Видел я
волнение морей,
град весенний,
что в полете стынет,
и самум,
летающий всех быстрее.
Видел извержение вулкана,
и тайфун,
и взрыв грозы в горах, ..

я узнал сиротство
очень рано,
ночи одиночества
и страх.
Пережил
жестокостей немало,
окруженный вражеским кольцом,
стрелами исколотый,
бывало,
я встречал врага к лицу лицом,
Я дышал
орлиной полной грудью,
брал за перевалом перевал.
По пустыне знойной,
по безлюдью,
по горам горбатым
кочевал.
В старой тибетейке
и в чарыках
я проделал многоверстный путь,
чтоб в далеких реках
и арыках
посвежее воду зачерпнуть.

С палкой из тяжелого иргая,
с гордым сердцем
и пустым мешком,
по ущельям и горам шагая,
сколько стран я обошел пешком!

В раннем детстве
я играл
с котенком,
перепелок
бил
из озорства.
А позднее
кровь запела звонко,
от любви
кружилась голова.
Мне казалось:
и земля и небо —

всё
огнем мечты озарено.
Жизнью
и последним ломтем хлеба
я бы с мамой поделился,
но
когти злобно разрывали тело
только что родившейся любви —
догорело
всё, что пламенело
и кипело
в молодой крови. . .
Охранял я по ночам
ворота,
в кузнице,
где горны горячи,
я работал
до седьмого пота,
я менял профессии без счета,
доводилось даже быть лунгчи.
На базаре продавал фисташки,
не давала мне судьба поблажки. . .
Но пришел я
к сути откровенной
избранного мною ремесла.
И нашел я
место во Вселенной,
где весна навеки расцвела,
где закон
построен человечно,
где звучит
светло и безупречно
песни полнзвучная струна, —
это наша юная страна.

Родина
добра и дружбы стойкой,
разгромив жестокого врага,
занята
неутомимой стройкой,
ей покорны
степи и тайга.

Ей покорны
топи и снега.

Крепость
нашей всенародной веры
мы от всех изменников спасли.
Нашей силе нет числа и меры.
Мы сильнее
всех стихий земли.
Прошлого прогнившие основы
рушатся, шатаются, скрипят.
Видя мир
просторный,
светлый,
новый,
рыцари доллара плохо спят.
Глухо закипающим вулканом
гнев народов зреет изнутри.
Не удастся
лицемерным странам
заслонить
растущий свет зари.
Рабство,
одинокчество,
сиротство
мы уже забыли навсегда.
От былого мрака
и уродства
в сердце не осталось и следа.
Коммунизма светит нам звезда.
На горах,
в пустыне
и на море —
мы на вахте,
мы стоим в дозоре,
к Родине
живой любви полны.
В остром шлеме
вместо тубетейки,
в шахте,
на далеком перешейке,
на несчетных рубежах страны
по ночам не спят ее сыны.

Каждое дыханье наше слито
в трепетное облако одно,
чувство с чувством
сплетено и свито
и вовек не может быть разбито,
сломано
или осквернено.

Я певец трудящегося люда,
сын великой солнечной страны.
В гордой книге
о советском чуде
строчки три и мной сочинены.
Цвет надежды для всего Востока,
для десятка подневольных стран,
расцвела и поднялась высоко
Родина моя —
Узбекистан.

1932

6. ПОМНЮ

Посвящается моим комсомольским годам

Заплутавшим снежинкам
в ночи
никуда не податься.
В оголтелой бессоннице
ветер весенний
охрип.
Снова номер знакомый —
«5420» —
алым юности флагом
выбрасывает архив.
Снова звездам звенеть,
словно горсти
подкинутых градин.
И полям запевать.
Зацветающим веткам —
белеть.
Это полночь апреля
меня представляет к награде

и у сердца кладет
комсомольский мой
старый билет.

Здесь вся юность моя
обозначена
постранично.

Здесь начало мое,
непокорная прядь
у виска.

Гнев и мощь баррикад,
юной веры
простор безграничный
оживают во мне,
словно взявшие крепость
войска.

Солнца лиц наших
жизни светили,
как плоти садовой.

И сердец наших пенье
гремело
куда ни пойдешь.

И горели зрачки,
словно черные зерна
задора,
и земля убегала,
искрясь,
из-под наших подошв.

От любой мертвечины,
от нечисти,
жадной и подлой,
мы отчаянно чистили
землю и небеса,
и,
аллаху
к хвосту
присобачив дырявые ведра,
в закоулки бывшего
его
загоняли, как пса!

В этом зданье, что высим, —
не наших ли рук
работа?..

Наш раскованный разум
и душ
небывалый размах!..
Путь лежит перед нами,
как поле аэропорта, —
он для взлета готов
и от поздних дождей
не размяк.
Пусть корит сединой меня
взгляд сожалеющий
чей-то,
и морщина легла,
как подвѣденная черта.
Но со мной неизменно
моя комячейка:
наши гордые годы
тишайшим векам
не чета!
Слышишь, трубы поют?
Слышишь,
встали в строю миллионы?
Это всё впереди.
Это всё
повторится со мной.
Это ленинской мыслью
и именем окрыленный,
всех
душой молодых
собирает в ряды
комсомол!
Видишь,
завтра рождается —
алым окрасилось небо?
Слышишь, трубы гремят —
словно к павшим
пробиться хотят?..
Я с тобой, комсомол!
Нам дороги в грядущее
нету,
кроме той,
небывалой,
которой повел нас Октябрь.

1933

7. УЗБЕК-НАМЕ

(Пролог)

Твое подножье — громады гор,
замыслы гениев давних лет.
Чтобы в образ мне твой вместить простор,
красок у нас на палитре нет.

Как смысл глубочайший борьбы твоей
в скупых стихах уложу?
От земли к зениту, от солнца к земле —
твой путь. . .
Как о нем расскажу?

Быть может,
усилья Истории всей
мощи равны твоей.
Рулевой великого корабля,
громадного, как земля. . .
Партия Ленина,
чтобы тебе

достойную славу воздать,
я древний узел
былых наших бед

в поэме хочу развязать.

О том, что предками
пройденó,

что пережито давно.

О том, что как будто ушло
навсегда,
но не ушло от суда,
ибо, свободу и жизнь возлюбя,
мы познали самих себя.

Прекрасна моя родная земля,
плоды дарящая нам.

В арыках, желтая, словно мед,
течет вода по садам.

*

Как по весне над садами
наши гремят соловьи!
Прыгают — с камня на камень —
звонкие наши ручьи.

Если упорно трудиться,
вставши в предутренней мгле,
что ни посеешь — родится
на благодатной земле.

Скажешь: «Эдем расцветает —
плата за наши труды...»
Что же душа вспоминает
прошлое, бурю беды?

*

В берег бьет пунцовой гривой
сырдарьинская вода.
«Если девушка красива,
помни: ждет ее беда».
Так вот жертвой хищных стала
красота земли моей.
Рать за ратью наступала
всё жаднее и лютей.

Что цвело, что было юно,
всё растоптано, в крови,
от Сайхуна до Джейхуна
и долин Кашкадарьи.

Древний пращур насмерть бьется,
изнемог от тяжких ран.
И струей багряной льется
непокорный Зеравшан.

Что ты видишь в темных безднах
давних, смолкнувших веков?
Кости, ржу мечей железных,
гниль, обломки черепов.

Там, где серые барханы
сонно льются по степям,
шли захватчики хаканы,
море бедствий гнали к нам.

То не кровь ли отражалась
на вечерних облаках?

Ночь глухая не кончалась
в прошлых, проклятых веках.

Средь пустынь лежат руины
наших древних городов,
Глыбы пыльных плит старинных —
как надгробия веков...
Слышишь: там, из-за туманов
Туркестанского хребта,
низкий грохот барабанов, —
то Чингизова орда.

И над прахом страшных боен,
златом череп оковав,
Темучин — свирепый воин —
пил, вино и кровь смешав.

Все нас грабить были рады —
гунны, Чин, Юнон, Иран.
Шел на нас, не знал пощады,
Зулькарнайн,
от крови пьян.

Как дракон, объемля дали,
он дошел до Сырдарьи,
но отпор жестокий дали
и ему отцы твои.

Лишь развалины остались...
За грозой неся грозу,
здесь Ирадж и Тур сражались,
Афрасьяб, Рустам, Барзу.

И царю Бахраму Гуру
не промолвим мы похвал,
если с предков наших шкуру
он последнюю содрал.

Оттого и мятежами
повесть прошлого полна...
Помни время:
встал над нами
вождь отважный — Муканна.

И в Багдаде сам наместник
 пред восставшими дрожаи,
ради воли, ради мести
 цепь народ мой разорвал.

Муканна погиб,
 пропало
всё, что мы спасли тогда.
И во мгле ночной
 вставала
вражья злобная звезда.

Словно море, необъятна
 бездна темная судьбы!
На сто лет вернись обратно
 к страшным годам
Кутейбы.

Тот — залитый кровью витязь —
 молвил, меч подняв кривой:
«Покоритесь! Изогнитесь,
 словно месяц молодой!

Поклонитесь Мухаммаду!
 И за то святой Эдем
вам откроется в награду,
 а иначе — гибель всем!»...

*

Кутейба,
 хоть по-тюркски и звался
 «Верблюжьим седлом»,
но свободный народ
 непривычен ходить
 под ярмом.

Враг разрушил Байкенд,
 Самарканд, Бухару, Фергану.
Кровью залил, разграбил
 прекрасную нашу страну.

Он за каждую голову
по сто дирхемов платил,
чтоб сердца устрасить,
из голов пирамиды сложил.
И в тенистых садовых аллеях
он, вместо плодов,
на могучих деревьях повесил
детей, стариков.

Чтобы золото прятать —
добычу кровавой руки —
шить велел он —
из человеческой кожи мешки.

Гибла древняя наша культура...
Рушилось всё.
Гибли сотни Сино
и тысячи Зебинисо.

И опять снаряжали враги
за походом поход.
И не выдержал натиска
вольнолюбивый народ.

Погибали защитники...
Таял оплот наших сил.
Говорят, Кутейбу приближенный
однажды спросил:

«Что ты скажешь,
когда твой черед подойдет умирать?»
— «Я три слова скажу:
„Убивать! Убивать! Убивать!“»

Кровь и ужас принес этот зверь
нашим мирным полям.
...Так вот волей-неволею
приняли предки ислам.

Только скоро с посулов его
позолота сошла
и на души железная, тяжкая цепь
налегла.

Нам веками внушали
 смиренье, покорность и страх.
Но великой надежды зерно
 не погибло в сердцах. . .

1936

8. МАЙСКОЕ

Тюльпаном
 свои лепестки
 раскрывает блокнот.
Ломается строчка —
 кривая
 на графике сердца.
Строфа — словно голубь:
 подбросишь —
 и пух отряхнет,
и ветра глотнет,
и в синь унесется.
Минуют минуты,
 и долгие дни унесут,
но время
 страницей
 ложится
 на письменный столик.
Да, слово ловило
 эпохи прославленной
 суть, —
ты жил гражданином,
 влюбленного сердца историк!
Взметайся, страница,
 взметайся,
 как маленький флаг,
и с пламенем алым
 на улицах Мая
 сплетайся.
Свети нам, как лампочка —
 не как припрятанный клад,
и током
 от мощной энергии вска
 питайся.

Свети кишлаку,
и заводу,
и в каждом доме —
рассеивай тьму
от Каспия
и до Аму!
Врываясь к потомкам
в сердец золотые ворота —
живи, о страница!..
Мы оба — живучей породы.

1936

9. МАВДЖУДА

Еще в твоей памяти горечь бывшего жива:
четыре сиротки и мать, молодая вдова,
всё время в труде, но на корку хватало едва.
Тебя вековая томила нужда, Мавджуда.

Вращался весь мир наподобие веретена:
голодные дни и унылые ночи без сна.
Судьба, точно пряжа, была и скудна и темна...
Как нити, мечты обрывались всегда, Мавджуда.

Челнок по основе летел, и худая рука
соседа была, как челнок, и суха и легка.
Бывало, следишь за работой ткача старика, —
и медленно тянется дней череда, Мавджуда.

Укутана в бархат богатого казия дочь.
За жалкую плату служить ей должна день и ночь
вдова, чтоб детей прокормить и нужду превозмочь.
Богатых и бедных извечна вражда, Мавджуда.

Всё это — печальная повесть минувших времен.
Теперь кипарисом свободы твой путь осенен.
Заботу партии, шелком октябрьских знамен
повиты твои молодые года, Мавджуда.

Навеки здоровья лишились и сна богачи.
Светило с небес на свободных бросает лучи.

В безводной пустыне забили живые ключи.
Зажглась над тобою свободы звезда, Мавджуда.

Ты ловкой рукою приводишь в движенье станки.
Задорно сверкают в глазах у тебя огоньки.
Струится, как плавные волны свободной реки,
поток твоего молодого труда, Мавджуда.

Ткачиха искусна, красива, проворна, ловка.
Подруги ее разодеты в цветные шелка.
И песня о счастье звучит, широка, глубока.
Наполнены ею сады, города, Мавджуда.

Прядешь ты надежную нить небывалой длины,
но более прочную нитью сердца скреплены.
Ты — славная дочь трудовой обновленной страны.
Республика наша, как ты, молода, Мавджуда.

В тебе отразилась великой Отчизны краса
и солнце ее, озаряющее небеса.
На выборах дружно тебе отдадим голоса.
Недаром Отчизна тобою горда, Мавджуда.

1937

10—11. ДВЕ ПЕСНИ

1

Я по дальней дороге, рыдая, пойду —
ты останешься, плача, в печальном саду.
Мы две горлинки малых, два слабых птенца,
и разлука меж нами — как путь без конца.
Ах, печаль моя, пыль да полуденный жар,
каково мне — расскажет дорожный комар.
Я же — песню спою про тоску да жару,
каково на дороге тому комару.
Ах, спроси не меня, расспроси мудреца,
каково нам, скитальцам, в пути без конца...

Бурная речка, бушует поток,
 как перебраться, не знаю.
 Кляча — как мощи, а путь мой далек!
 Мне не добраться, я знаю.
 Щебень извел мою клячу вконец,
 сам наглотался я пыли.
 Стал я желтее, чем тот огурец,
 что и сорвать позабыли.
 Эй, тонкобровая, выгни дугу,
 душу до дна осуши мне.
 Дом твой белеет на том берегу...
 Кинусь — не жалко души мне.
 Что привело меня к вашим местам?
 Сам я не знаю и плачу.
 Белым мелькает твой тоненький стан —
 шелк или ситец на платье?
 Нету для речки ни ночи, ни дня,
 пеной поток захлебнулся.
 Ах, неужели он лучше меня —
 тот, что тебе приглянулся?
 Вижу кувшин я на том берегу,
 вижу кувшин золотой я.
 Только руки протянуть не могу,
 взять и наполнить водою.
 Трудно кипящий поток переплыть,
 легче — дорожкой гладкой.
 Смелость нужна тут, не жалкая прыть,
 смелость нужна без оглядки.
 Страннику, милый, отвага нужна.
 Хочется выпить? Так пейте до дна!

1939

12. ПРОВОДЫ

Ты, жизнь моя, стала ясна, как алмаз.
 Ты, жизнь моя, с солнцем навек подружись.
 За всё, что ты сделала в мире для нас,
 тебе я до смерти признателен, жизнь.

Под славной звездой все в нашем роду
рождались. Я эту звезду и пою.
Волна революции в Пятом году
качала, как мать, колыбельку мою.

В тот день, как столетье отпраздновал дед,
а внук его в школе за азбуку сел,
разнесся на весь возмущившийся свет
сигнал революции — Ленский расстрел.

Мой дед был рожден в год, когда из Москвы
бежал Бонапарт в потрясенный Париж.
Ты, дед мой, под саваном чистой травы
Давно уж в объятьях безмолвия спишь.

(Джура, ты друзей рассмешил бы легко,
сказав им: «Уж внучек за книжкой сидит,
а дедушка в люльке спеленат лежит».)
Молчи, что столетье меж нами легло.)

Случайность ли это? Глупцам ли на смех
рассказ мой о том, как мы начали жить?
Но нет, не случайность, — я знаю, нас всех
борьба нанизала на счастья нить.

В году двадцать третьем родился мой стих,
и сын мой родился в просторах земли.
В сознании детищ обоих моих
года проходили, пространства цвели.

Мой стих рос с тобою в родимом краю,
теперь ты стал взрослым, мой смелый солдат.
Пусть рядом с тобою в поющем строю
и стих мой шагает, как друг твой и брат.

Случайность ли это? Глупцам ли на смех
рассказ мой о том, как мы начали жить?
Нет, нет, не случайность, — я верю, нас всех
любовь нанизала на счастья нить.

Я помню, стихи для тебя я писал,
певучие строки вязал для тебя,

сидел на плече меньший брат твой Усар
и слушал стихи, свой кушак теребя.

Спросил меня: «Скоро ли Гитлер умрет?»
— «В день лучшего праздника в нашей стране».
— «А праздник когда?» — «А когда наш народ
фашистов раздавит в священной войне».

Всегда удивляться я буду, друзья,
случайностям нашей семейной судьбы.
В тот день, когда враг хлынул в наши края,
созрел мой Джура для военной страды.

Лети же, мой сокол отважный, вперед!
Тебе восемнадцать исполнилось лет.
Тебя наша партия в битву зовет.
Тебя осеняют знамена побед.

Я в возрасте Пушкина. Враг мой, держись!
Но здесь не дуэль, здесь возмездье и суд.
В дуэли — лишь смерть. А в борьбе нашей —
жизнь.

Свободу войска наши миру несут.

Усар, успокойся, — наш праздник придет,
и Гитлер умрет, и ненастье умрет.
На битву в священный поднялся поход
великий, свободный советский народ.

Окончится счастливо начатый бой,
с народом наш мудрый отец говорит.
Будь стойким и храбрым, мой сын, — над тобой
священное знамя Отчизны горит!

1941

13. ЗИМА

Стужа. Сорок два градуса ниже нуля. . .
Только! Из хрустала на потоках мосты.
Ветры быстры, как свет. Снег летит с высоты
и, кружась, бесконечные кроет поля.

И под-вьюгой гудят великаны леса.
Это русской зимы несказанной краса!

Лед на окнах — иглистые ветви арчи.
Струны перебирает в избе паренек,
и ворчит и клокочет с борщом чугунок,
поднимается хлеб, зарумяняясь в печи.

Дом что полная чаша колхозный, родной...
Это наша зима над счастливой страной!

Сруб колодца — подсвечник оплывшей свечи.
Вот и девушки шумно бегут за водой.
Наклонись и прислушайся к жизни самой —
Чу, как песен весенних играют ключи!
Как весной, здесь любовь и зимою в крови.
Это русский январь — покровитель любви.

За окном — сорок два. Пятилетний Олег
с горки катится мимо отцовских ворот.
В шубке, в валенках, стужа его не берет.
И смеется он весело, падая в снег.
Щеки — будто заря умывала сама.
Он — сын русского! Это — родная зима!

Минус сорок два градуса... Гитлер кричит:
«Отступленья причина — мороз и зима...»
Но причина — народ, мощь руки и ума!
И Советское Информбюро говорит:
«Вот — машина войны потеряла чеку,
и зима помогала, была начеку!»

Похвальбой о «победах» во всех кабаках
и себя и лакеев своих убедя
и в объятиях у проституток найдя
свое счастье, поганцы в смоленских снегах
замерзают сосульками тухлой воды.
И зима беспощадно заносит следы.

Хорошо бы, кичливо топорща усы,
грабить, красть без помех, обжираться и пить,
хорошо б на ночлеге костры разводить,
мазать салом гусиным беспечно носы...

Но ведь ясно, как в зеркале ясно сейчас,
что в России зима хороша не для вас!

Полководцы у нас закаленные есть,
в свою пору у нас и зима — генерал!
До зимы вы хвалились пройти по Урал,
а теперь вы боитесь голов не унести?
Ваше завтра — могила и вечная тьма.
Вам могильщиком будет такая зима.

Пред великим походом народа всего —
добродушной улыбки библейский потоп.
Я с копытцем водицы сравнил бы его,
затерявшимся среди заброшенных троп.
Это хуже потопа, беда для врага.
А зима наша и холодна и долга!

Минус сорок два градуса... Только! Как свет,
бурекрылая армия наша быстра.
Страшен гнев ее! Сталь ее шашек остра.
Ни пощады врагу, ни спасения нет.
Впишем пламенем в книгу истории мы
дни начала победы, дни этой зимы!

1942

14. ЖДУ ТЕБЯ, СЫН МОЙ

На пути караванном, в седых ковылях
верблюжонок стоит... Караван его где?
Красный отблеск зари на усталых глазах,
слезы, слезы плывут, как круги по воде.

О, как он сиротлив и похож на меня,
неподвижного в серой дорожной пыли...
Солнце! Зоркое солнце! Лучи наклоня,
об ушедших на битву мне вести пошли.

От Юпитера и до песчинок морских
нерушима твоя лучезарная власть,
и среди неоглядных сокровищ твоих
и ресница не может бесследно пропасть.

Прошлым летом, когда собирали инжир
и медовые дыни лежали горой,
и сиянье плодов заполняло весь мир, —
проводили мы сына любимого в бой.

В нем созрело достоинство предков монахов.
Он, как я, горделив, младших братьев собрал,
обнял каждого, встал на пороге, затих
и к родимой земле поцелуем припал.

Он вернется, мой сын, победителем к нам,
он придет! Окончена будет война!
К его черным, как ласточки крылья, бровям
не пристанет в пути и пылинка одна.

Но отец я! По древнему праву отцов
я тоскую без вести о сыне моем.
Жду его — чуть послышится цокот подков.
Жду его — чуть поднимется пыль за холмом.

И лишь только мелькнет чей-то конь впереди,
«Вот он едет!» — беззвучно себе говорю.
Неподвижно стою на широком пути,
неотрывно на запад багровый смотрю.

Вечерами, когда мы за пловом сидим,
многолюдная вся соберется семья,
только место твое остается пустым,
остается нетронутой доля твоя.

И бывает, усталая мать невзначай
по привычке протянет тебе пиалу, —
отвернусь я к стене. И остынет мой чай.
Мать уйдет и тихонько заплачет в углу.

Может, в небе твоя покатишься звезда,
может, в эту минуту далеко от нас
ты упал на снегу. И уже никогда
не откроешь веселых мальчишеских глаз...

В эту ночь, до зари не смыкая ресниц,
я Бедиля читал. И забылся в тоске.

И волшебная музыка тихих страниц
оживала, звучала в саду вдалеке.

Ветерок на заре, как дыханье твое,
пробежал по листьям недочитанных книг,
и чистейшим, как ртуть, стало сердце мое,
стали мысли прозрачными, словно родник.

Взял я серп и садовые ножницы взял
и пошел по тропинке, что к саду вела.
И, увидев меня через низкий дувал,
вслед за мною невеста твоя побрела.

Пусть деревья в саду вырастают у нас,
пусть цветы распускаются, солнце лоя,
пусть слезинки, застывшие в сумраке глаз,
в ожерелье нанижет невеста твоя.

И победа придет! И когда поутру
я услышу, что едут джигиты домой,
ароматные персики все соберу,
положу их в корзину горой золотой.

И пойду босиком по намокшей траве
с неохватной корзиной янтарных плодов,
словно солнце неся на своей голове,
на дорогу — встречать долгожданных сынов!

Кушай персики, сын! Поспевали не зря,
круглобоки, румяны, покрыты пушком,
каждый персик — улыбка, и каждый — заря,
и росинки еще не просохли на нем.

К этим сочным плодам ты губами прильни,
как ребенок во сне к материнской груди,
только косточки эти смотри сохрани —
на родимой земле их опять посади.

И когда вы с подругой в саду молодом
под деревьями будете рядом сидеть,
тихо с матерью, оба седые, придем
на счастливые лица детей поглядеть.

1942

15. ТЫ НЕ СИРОТА

Разве ты сирота? ..

Успокойся, родной!

Словно доброе солнце,

склонясь над тобой,

материнской,

глубокой

любовью полна,

бережет твоё детство

большая страна.

Здесь ты дома,

здесь я стерегу твой покой.

Спи, кусочек души моей,

маленький мой!

День великой войны —

это выдержки день.

Если жив твой отец —

беспокойная тень

пусть не тронет его

среди грозы и огня.

Пусть он знает:

растет его сын

у меня!

Если умер отец твой —

крепись, не горюй.

Спи, мой мальчик,

ягненок мой белый,

усни.

Я — отец!

Я, что хочешь, тебе подарю,

станут счастьем моим

все заботы мои.

...Что такое сиротство,

спроси у меня.

Малышом пятилетним

в десятом году

грел я руки свои у чужого огня,

полуголый

таскал по дорогам

нужду.

О, как горек

сухой подаяния хлеб!

О, как жестки
ступени
чужого крыльца!
Я, приюта искавши,
от горя ослеп,
и никто
моего не погладил лица...

Испытал я,
что значит
расти сиротой.
Разве ты сирота?
Спи спокойно, родной...
Пока старый охотник —
кочующий сон —
на меня не накинул
волшебную сеть,
гордой радости —
чувства отцовского полн,
буду я
над кроваткой твоею сидеть,
над головкою
русой твоей, дорогой,
и смотреть на тебя,
и беречь твой покой...

...Почему задрожал ты?
Откуда испуг?
Может, горе Одессы
нахлынуло вдруг
иль трагедия Керчи?
И в детском уме
пронеслись,
громыхая
в пылающей тьме,
кровожадные варвары,
те, что тебя
не добились случайно,
живое губя.
Может, матери тело,
родимой твоей,
с обнаженными ранами
вместо груди,

и руки ее тонкой
порывистый взмах —
предо мною
в твоих беспокойных
глазах?
Я припомню
смятенные эти глаза,
когда ринусь в смертельный,
решительный бой.

За слезу,
что по детской щеке
проползла,
за разрушенный дом,
за пожар и разбой —
отомщу я врагам
беспощадной рукой!
Этот Гитлер —
ублюдок,
не знавший отца,
он не матью —
подлой гиеной рожден,
отщепенец понурый
с глазами скопца —
цену детства
как может почувствовать он?

Этот Гитлер —
навозный коричневый жук,
плотоядно тупые усы шевеля,
захотел,
чтобы свой
предназначенный круг
по желанью его
изменила земля,
чтобы людям
без крова
по миру блуждать,
чтобы детям
без ласки людской умирать.
Но земле выносить его
больше невмочь!
... Спи спокойно, мой сын.
Скоро кончится ночь!

Долго ль в юность войти? .. Первой встречи вино,
черных глаз колдовство и газелей поток...
Комсомолки, не смейтесь — не так уж давно
отшумел и Гафуровой юности срок!

Мы женились — жена оказалась щедра:
осыпала детьми, как богач серебром.
И спасибо жене дорогой — детвора
превратила в шумливый скворечник мой дом.

А иной и полюбит соседскую дочь,
да крупинку сурьмы ей купить — недосуг,
смотришь — всё прозевал! И в глазах — день
и ночь
паутину плетет сожаленья паук.

Вы — созвездье счастливого жизни моей,
неразлучные спутницы: мать, и жена,
и сестра, и дочурка — всё женщина! С ней
неразрывно душа моя сопряжена.

Без метлы запустенье и мерзость в домах;
поцелуев не знавший — подобен кроту.
Жизнь без женщины милой — пирушка впотьмах,
и вино без нее опреснеет во рту.

Я скажу откровенно, всем сердцем любя:
без тебя и поэтом не стал бы Гафур,
потеряли б окраску цветы без тебя
и остался б от музыки звуков сумбур.

Мед несладким бы стал, несоленою — соль,
мир пришел бы, лишенный тебя, к тупику.
Камню только неведомы радость и боль,
а любовь на земле — одному ишаку.

Если мы тебя спутницей не назовем,
нам природа суровый свой вынесет суд.
Если жить и трудиться не будем вдвоем,
в прах рассыплется жизни священный сосуд.

Выше гор взнесены наши головы ввысь,
и не рушит их горе, не клонит их страх.

Видишь — молнии нашего гнева зажглись
в твердо сжатых руках и в орлиных бровях.

Ливнем слез может хлынуть на землю туман,
до макушки окутавший Гауризанкар.
Но небес не обрушит немецкий таран,
солнца в яму не сбросит Адольф-янычар!

Как огонь и как мышление наше и речь,
что вошли навсегда в человеческий мир,
как преданья, в которых навеки сберечь
мир сумел имена «Александр» и «Кир», —

так и наша борьба, жертвы, подвиги, кровь,
может быть, даже наши с тобой имена —
в сердце дальних потомков зажгут к нам любовь,
обессмертят на вечные нас времена.

Натерпелись мы горя! Но дух наш окреп.
Нас в совместном труде закалила судьба.
Славься, честно добытый насущный наш хлеб,
славься, пот, за работою стертый со лба!

Древний миф об Адаме для нас — чепуха:
труд — не божье проклятие нам за грехи,
но уж если была у Адама соха,
то и Ева шагала у ручки сохи.

Ты не только мне Евой — Зулейхой была,
ты — Мария, Марьям, мать пророка Исы.
И не ты ль подлила в мои песни тепла,
воплощенная в облике Зебинисы!

Ты — Ширин. Ты со мною в борьбе и в труде.
Ты давала мне столько дерзанья и сил,
чтоб канал прорубил я в гранитной гряде,
чтоб дракона свирепого я поразил. . .

1942

17. ПРОЩАЙ

Памяти товарища Ахунбабаева

Как соловей оглохший,
с еще трепещущей ветки
срываясь, летит далече,
родную рощу покинув,
так нмя твоё живое
уходит от нас навеки,
чтоб надписью стать немою
над памятною могилой.
Лежит на подушке смерти
твоя голова седая.
Слышишь,
ота,
любимый?
На слабость мою не сетуй!
Плакать я разучился,
сражаясь и созидая,
но кладезь слез мне открылся
снова
с минуты
с этой.
Словно горе легче
под радужной пленкой влаги.
Жгучая соль скорби
ненадолго
в ней растворится.
Опустят чёрные плечи
траурные флаги,
и будущего дверца
взору души растворится.
И всем существом почую:
с волшебных гор Фархада,
из Ферганы благодатной,
где рай творят дехкане,
с политых полей Хорезма,
из садов Самарканда
лёгкий ветер веет —
добрым твоим дыханьем!
И всем существом услышу:
в мудрой старца речи,

И гордость в душах наших
 горькую сменит горесть —
 гордость страной,
 тобою,
 тем, что ты жил на свете.
 Ты снова пойдешь по жизни —
 простой,
 справедливый,
 сильный,
 зорко всё подмечая,
 пусть и не видимый всеми.
 Потрогаешь землю на пашне,
 погладишь облачко в сини,
 добрую вестью с фронта
 войдешь в города и в семьи.
 Ты был добротою полон —
 широкою добротою:
 я видел,
 сколько ошибок
 глаза твои нам прощали.
 Каким ты открытым смехом
 смеяться умел на тое!..
 Зато и в бою открытом
 к врагам не знал пощады.
 «Республика — на фронте,
 хоть пушки бьют в отдаленье!» —
 так говорил ты,
 фразу выковывая жестом.
 «Будем драться,
 покуда
 с земли, что прославил Ленин,
 ветер следы не сдует
 за самым последним фашистом!»
 Ты слышишь,
 ота,
 любимый?
 Мы выполним завещанье!
 И те, что тут, на Востоке,
 и те, что идут на Запад.
 И вновь тишина вернется,
 ушедшую замещая,
 и мы спугнем ее снова
 последним,
 победным залпом,

и взглядом помянем павших,
 что с нами быть могли бы,
 но, землю защищая,
 в земное вернулись лоно, —
 и молча соберемся
 у тихой твоей могилы,
 и каждый тебе поклонится
 самым низким поклоном!..
 Какое время настанет,
 когда мы покончим с адом...
 Какие деревья вырастут!
 Какие дома!
 И дети!..
 Солнечная республика
 сказочным станет садом —
 такой ты ее и видел,
 топча росу
 на рассвете.
 Какие напишут поэмы
 о новых Ширин и Фархаде!
 Их тебе не услышать,
 а как торопил поэтов...
 Показать бы тебе хоть строчку —
 нет, не лести ради:
 радостно
 взгляд твой увидеть,
 о сокровенном поведав!..
 Любил Фергану,
 гордился
 Ташкентом — светлой столицей,
 но верил:
 стократ прекрасней
 сделаться улицам этим!
 «Работайте, украшайте —
 воздастся за всё сторицей.
 Вам самим воздастся —
 не только вашим детям!»
 Глядел на светлые зданья
 грядущих годов —
 на те, что
 встанут над нашим сегодня,
 над прошлым
 веков обнищаньем...

Будут
 былью живою
 мечты твои и надежды!
 Будут,
 ота,
 любимый!
 Это мы обещаем...
 Молча стоит над гробом
 март,
 похожий на осень.
 Капельки слез
 не держатся
 в тумане, плечом задетом.
 Шар ошалело вертится,
 ремя разболтанной осью.
 В последний раз
 шагаем
 за первым своим
 президентом.
 Неправедный суд окончен:
 смерть
 приговор
 утвердила.
 Прощай,
 ота,
 любимый!..
 Не ведает время пощады.
 Но слышишь?
 Весна восходит
 за серым облачным дымом!
 Встречей в всках обернется
 нынешнее прощанье.

1943

18. МОЯ ЗОЛОТАЯ ЗЕМЛЯ

Как вернувшийся с поля победы отец,
 с дорогими подарками осень пришла.
 С караваном верблюдов, с напевом домбры,
 с одеяньями яркими осень пришла.

После трудной дороги распахнута грудь,
паутинки в кудрях иль седин серебро...
С хитрецей добродушной глядела она
на нескитанное, на земное добро.

Если летний скворец, прорезая простор,
прямо к солнцу взлетел над моей головой,
будет осень ясна и дарами щедра,
и щедроты ее пригодятся зимой.

Если старый пастух, охраняя стада,
слышит шелесты ранних осенних дождей,
то весенней порой много новых ягнят
золоторунных пройдет по просторам степей.

Станут льдинками струи сентябрьской воды,
станут капельки пота ценней жемчугов,
если полные спелой пшеницы мешки
взгромоздятся до неба к созвездью Весов.

Над равниной тягучий плывет аромат,
закипает в котлах виноградный шербет.
Кто, шербета вкусив, выпил это вино,
проживет девяносто, не менее, лет.

А в тенистых беседках сокрыты листвой
и рубины, и яхонты, и янтари.
То сокровище, тающее на губах,
прохлаждается в утреннем блеске зари.

Это прячет под листья тугой виноград —
сорок пять разноцветных сладчайших сортов.
Будь здорова, моя золотая земля,
осененная тихою сенью садов!

Говорят, что за яблоко только одно
изгнан был из эдемского рая Адам.
Дорогие собратья! Спешите гурьбой
к нашим красным, как вешние зори, плодам.

Сто пятнадцать сортов разных яблок у нас.
Розмарином, ранетом корзины полны.

Наше яблоко — символ великой любви,
в нем, прозрачном, грядущего зерна видны.

От предместий Ташкента до горных вершин
вижу хлопковый жемчуг среди свежей листвы.
Поле, полное белого хлопка, шумит
в бликах солнца, в сиянье большой синевы.

Изумрудными пальцами держит оно
золоченые чаши с кипящим вином,
в этих чашах дарующий силы нектар.
Мы его в честь победы, друзья, разопьем!

В честь того, что хорошей осенней порой
долг свой выполнил славный узбекский народ
и с полей по широким дорогам своим
караваны отборного хлопка ведет.

Будь здорова, моя золотая земля,
в изобилие своих многоцветных плодов!
Будь здоров, человек, счастлив будь, человек,
славься, мудрый народ мой, во веки веков!

1945

19. ВРЕМЯ

*Капитан Хамидулла Хусаинов
подарил мне часы.*

Мгновенье! В твоих глубочайших просторах
и розы раскрыты, и жизнь мотылька.
И могут погаснуть в течение вдоха
те тысячи звезд, что горели века.

Из красного тяжкого золота скован,
качается маятник жизни часов.
Одно колебанье его золотое
рождает созвездия новых миров.

Вот юноша смотрит возлюбленной в очи,
мгновенье дано, чтоб ответ увидеть,

а миг, когда губы к губам прикоснутся, —
всей долгой супружеской жизни печать.

Раскрыта

судьбы золоченая книга,
сверкает своей многоцветной красой.
В ней труд, и любовь, и служение людям —
величье взволнованной силы земной.

Как в капле воды отражается небо,
так мира грядущее — в наших зрачках.
Победного века огромное солнце
несем на задымленных битвой руках.

Размерно звучанье кремлевских курантов,
наполнен событиями каждый их звон:
родился герой, новый город построен,
народ от насилия освобожден.

Когда мы взметнули

над черным рейхстагом
священное знамя победы своей —
мгновенная первая вспышка салюта
воздвигла бессмертное право людей.

Великое время! Великие миги! . .
Цени их, о друг мой, достойной ценой,
чтоб каждая строчка из жизненной книги
могла величаться
царем-строкой.

И если ты хочешь, чтоб в гуле столетий
гремело бы имя твое по ветрам —
не жги храм Дианы вослед Герострату,
а строй человечества солнечный храм.

Пусть только кирпич ты внесешь по стропилам,
он — твой, и твои капли пота на лбу. . .
Построим торжественный памятник общий
мгновеньям,
вершащим столетий судьбу!

...Будь щедрым, мой кравчий!

О, дай мне, Гафуру,
глоток многолетнего жизни вина...
Мгновенье огромно и неповторимо.
Живу я, и жизнь моя солнцем полна!

1945

20. РАЗУМ И ПЕРО

Перо, пустой чуждайся фразы,
не отставай и не спеши!
Ты подчиняешься приказам
народа доблестной души.

Гераклу, связанному в яме,
подобен разум в путях тьмы.
Принес нам Ленин ясный самый
свет, озаряющий умы.

Ты наделен чудесной властью,
поэт, петь вольным языком.
Воспой же нам дорогу к счастью
и мудрый ленинский закон.

Когда с народом связь ослабла,
забудь о песнях и молчи.
Ищи в цветах полей и яблонь
от вдохновения ключи!

Не торопись, перо стальное, —
ты у народа в толмачах.
Я вижу небо над странюю —
в горячих ленинских лучах.

Когда от жизни изобильной,
друзья, я смертью буду взят,
пусть над холмом моим могильным
перо, как знамя, водрузят.

1945

21. ТАШКЕНТ

(12 ноября, 6 часов утра, 1946 г.)

Заря на темный небосвод живую краску льет,
Венера, ясная звезда, светлеет поутру.
И воробьиныш на стрехе готовится в полет,
и в ранних хлопотах снует старуха по двору,
и ото льда вода в арыке синяя с утра,
и побелели кудри трав от инея с утра.

Суворовцев высокий дом с асфальта подобрал
свою разостланную тень, и вновь светла панель.
И фанфарист: «Подъем! Подъем!» — надувшись, заиграл,
и Саша щеткой что есть сил шерстит свою шинель.
В весенней утренней заре такая бодрость есть.
И в маленькой его груди кутузовская гордость есть.

Лишь час назад начав свой путь на площади Ходры,
трамвай прогрохотал перед крыльцом у нас.
И круглый месяц, чтоб заснуть тихонько до поры,
с трибуны неба, побледнев, скатился и угас.
С «Текстиля» слышен бас гудка — настал работы срок.
И шум Бозсу издалека доносит ветерок.

Как длинный черный караван меж солнечных лучей,
плывет мазутный жирный дым, а хлебокомбинат
всю ночь без устали шумел, и от его печей
струится сытости, тепла и счастья аромат.
Угля трещат в печи торцы, уж хлебы подошли.
В райпищеторге продавцы прилавки подмели.

Окутавший аэродром серебряный туман,
рыча, пропеллеры секут и режут на куски.
И самолетов косяки плывут из дальних стран.
Над изобильною землей пути их высоки.
«Снесите, соколы, от нас друзьям большой салам.
Москва? Кавказ? В счастливый час летите, братья,
к нам!»

Машины, раздвигая лбом сияющий рассвет,
гудят на весь Узбекистан, друг друга обходя;
и хлопок, бел, как горный снег, как яблоневый цвет,
плывет меж стен, на облака немного походя.

Для сбора хлопка горожан на помощь ждет кишлак.
Их провожают до полей Салар и Куркилдак.

Показывают три часа вокзальные часы,
с московской точностью состав доставил паровоз.
И путники спешат узлы поставить на весы.
С прибытием, друзья! Экспресс вас хорошо доведет?
Широкогрудый город мой, встречай своих гостей!
Дорожную усталость их водою смой скорей!

Напротив дома моего — специалистов дом.
За этим вот большим окном живет мой друг Попов.
Минула ночь, а лампы свет не гас в проеме том.
Работе преданный, Попов ей жизнь отдать готов.
Заря сквозь музыку в окно вплывает, заалев,
сегодня за ночь музыкант из нот соткал напев.

Почти по-заячьи пуглив у акушерки сон.
Дремоту робкую у ней забота гонит с век.
Раздался вдруг младенца крик, — о, как прекрасен он!
Сегодня в ночь на белый свет родился человек.
С утра над городом плывет как бы далекий гром,
и в общий хор свой голосок принес родильный дом.

На улице поднялся шум. В чем дело? У Олмас,
смеясь, чернила пролила шалунья Хадича;
бегут учиться школяры, уже девятый час.
Я и не спал еще, а ночь дотлела, как свеча.
Дневное солнце поднялось на высоту копья.
И начинается пир труда рабочая семья.

Как поцелуй одного не хватит на всю жизнь,
так этот стих, что поцелуй, и сладостен и мал.
Но утра моего заря позолотила высь,
еще день жизни впереди, он только что настал.
Его сокровища трудом себе добуду я.
Писать стихи, писать стихи до ночи буду я.

Твоя заря, родной Ташкент, прекрасна для меня.
Как друг, ты примешь всё мое и мне свое отдашь.
Теплей весны твоя зима, а ночь светлее дня.

Я не сменяю ни на что тебя, мой древний Шаш.
Узбекистана красота, веселья чаша ты.
Востока светлое окно, столица наша ты.

1946

22. СНЕГ

Снег падает и падает в саду,
летучий, легкий, словно пух гусыни,
застыли горы, тишина в долине,
иль это небосвод линяет синий
и осыпает чистую слоду?

Глаза прищуря, выйдешь на крыльцо:
всё стало светлым, пышным, незнакомым,
а ступишь на дорожку перед домом —
и станешь сам бесшумным, невесомым,
как рой снежинок, веющих в лицо.

Все краски летней радуги забудь —
сплошная белизна перед глазами,
слилась земля с седыми небесами,
а сад расцвел колючими цветами,
блестит, играет, хочет обмануть.

Как будто пыль алмазная летит
сквозь тонкое, невидимое сито,
всё серебром чешуйчатым покрыто,
и белой шалью, жемчугом расшитой,
одеты плечи девушек-раakit.

Смотри, как слезы детские чисты,
крупинки снега на ладони тают,
в глазах завеса зыбкая блистает
и белую мерлушкой оседает
на берега, дувалы и кусты.

Красавица ли равнодушно рвет
ненужное любовное посланье?
Бесшумен снег, как тихое прощанье,

и всё ровней становится дыханье,
и сердце больше ничего не ждет.

Желтея, точно масло в молоке,
повисло солнце в пелене туманной,
кругом застыли сказочные страны,
и легкий рой, алмазный, шестигранный
мерцает на моем воротнике.

...А к ночи прояснело. Млечный Путь
искрится, как тропинка снеговая.
Сажусь к столу. И, как снежинок стая,
слова и мысли кружатся, сверкая...
И, строчки торопливые слагая,
мне до утра, наверно, не уснуть.

1946

23. ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ В НОВОМ ГОДУ

Кем ты был,
 кем ты стал,
 чем богата душа твоя?
О сердце, дай полный отчет,
 ничего не тая!
Есть в крови твоей
 притязанье на первенство.
Радуга — твоя соперница.
Ты оспариваешь у нее
лучезарность,
 сердце мое!
Как сияет, горит по весне
солнце в капле —
 солнце во мне!
Благодатна сладость жизни!
 Она
и в крупице соли
 заключена.
Ждет под снегом весну фиалка.
Спит земля, дыша тяжело,
спят снега на земле вповалку,

а ячень, лишь станет тепло,
 язычок свой вытянет,
 влаги жаждая.

Всѐ и вся — бытие,
 клеточка каждая.
 Скрыта в атомах мощь вулканов злая.
 В электрический волосок
 тайну рек
 вгоняет воля людская,
 разноцветен
 и одноцветный цветок.

Всюду жизнь — ее напряженье.
 Сам покой — загадка движенья.
 Среди размышлений,
 полных радости
 сокровенной,
 тает ночь, —
 я светлей не знавал ночей.

Излученьем действительности,
 как лучами рентгена,
 я пронизан весь
 до мозга костей.

Триста биений сердца
 до Нового года.

Жизни равно
 биенье одно.
 Каждый кирпич
 нами созданного
 мира свободы —
 это наша душа.

О мой мир,
 за твоё торжество
 я отдам всё своё сердце.
 Всё биенье его.

Новый год мы встречаем...
 В эту ночь друзья прилетели.
 Старый год оставляет
 Новому году на память
 очень многое —
 всё, что мы сделать успели.

Словно том недочитанный
 с павлиньим пером меж листьями.

Пирамиды, сфинксы...

Навои, Аристотель...

и сонмы

древних песен —

не вечные образцы
достижений на нашей планете.

О дыханье современников,
ты лишь одно способен
обновить на звезде нашей древней
воздух тысячелетий!

О битва кровопролитная,
в которой
мы победили, —
испытанье терпения
и мужества
нашего стана!

Знамя
каждой нашей дивизии
в силе
написать
кровью павших
тысячу новых дастанов!

Фархадгэса огни —
как драконовых глаз
горенье,
как сверкающий водопад.
А берега Сырдарьи —
словно том
из собрания
исторических сочинений, —

приходи и читай
от зари и до новой зари.

Счастье истинное —
та земля, где родился ты,
где трудился.

Мать, цветник, колыбель,
мастерская твоя, пот со лба...

И могила твоя в день кончины твоей,
то, чем жил, чем гордился, —

вот она,
мать-земля твоя...

Совесть твоя и судьба!

На земле твоей
осуществлены
права,
составляющие гордость
каждого человека,
поднята высоко твоя голова.
Счастлив ты,
носящий
имя узбека.

Партии
спасибо!
Партия — источник света!
За нее бокал
поднимаю
этот!

1947

24. СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ

Посвящается второй годовщине Победы

Нынче в пять, на рассвете,
в окно заглянула луна,
ложе ночи сполна
застелила серебряной тканью,
а собаки не лают... Кругом тишина.

Ночи,
жизни изнанка,
бытия половина вторая,
вы таким послужили подспорьем
нашим трудным и яростным дням!
А теперь
мы вдвойне
оценить вас сумели —
мы, не спавшие
тысячу триста ночей...
О, такое не снилось
и Шехерезаде!

Нынче спим по ночам.
Долгожданная наша победа

простирает над нами
два светлых, могучих крыла,
осеняет и сны,
и творимые нами дела,
а бумага бела,
и нельзя не писать мне про это. . .
Тебе не в чем, земля, упрекнуть нас.
Два года прошло.
Мы ничуть не забыли
святое свое ремесло:
украшать этот мир!
И из крови, тебя запятнавшей,
вырастают тюльпаны,
и хлебом засеяно минное поле,
из недавних развалин,
белея,
встают города. . .
Навсегда.
Этот мир неделим!
Убеждаемся снова и снова —
неделим, как само это краткое слово.
Неделим наш народ
в небывалом единстве своем,
солнца свет неделим,
и вода в убегающих реках,
неделима отчизна
в душе человека,
неделима и песня,
которую все мы поем. . .
Неделим этот воздух
и легкое это дыханье.
Только хлеб
для гостей
мы ломаем на дастархане! . .

Словно свет на воде —
ожидание в нашей душе.
Но становится прошлым
медлительное сегодня,
долгожданное завтра
полновластно вступает в права,
вот уже и черешня поспела,
ей от роду — два,

мы ее посадили в том мае,
в день девятый. . .

И правда — два года прошло!

Сколько их впереди,
этих радостных лет созиданья!
Мы садовники мира,
но мужество в наших руках,
и история знает:
ссориться с нами — непросто.
Подоткните же полы,
рукава закатайте —
наступило великое время труда!
Наше мужество, наше единство
и наша земля —
вот на чем мы стоим,
вот где вечное наше богатство.

Нашей юной победе — два года.
Они — как два светлых крыла,
осеняющих светом
творимые нами дела.
И бумага бела,
и нельзя не писать мне про это. . .

1947

25. БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ

Ворвалась мне в жизнь — и всё смешала
вдруг бесцеремонная весна.
Как букет из весен — из фиалок
я букет поставил у окна.

Отвлекают розы неучтиво
от работы помыслы мои.
Принесли весенние мотивы
в сад без позволенья соловьи.

Прискакавший на гнедом баире,
друг на свадьбу звал меня с утра.

Это тоже оттого, что в мире
воцарилась вешняя пора.

Что ж, когда уже спасенья нету
от вторжения весенних див,
я решил прибавить в мире цвету,
новых роз на клумбах насадив.

Старость — враг для чувств неугомонных;
всё же мне пока еще не сто!
Пара горлинок бесцеремонных
свила под окном моим гнездо...

1948

26. ЧЕРНИЛЬНИЦА

Когда-то Навои, воздав хвалу каламу,
забыл чернильницу... Но в темноте ночной,
о черноглазая, прищурившись упрямо,
ты скромным зеркальцем блестяшь передо мной.

Хочу, чтоб капелька в тебе любая стала
горящей, словно кровь отважного бойца.
Ты славу громкую моим стихам стяжала,
сама ж молчальницей осталась до конца.

В любом моем труде есть и твоя частица,
ты, помогая мне, ночами не спала.
Хоть с виду ты черна, но нечего стыдиться, —
ведь главное, чтоб мысль всегда была светла.

А в яростные дни, когда война пылала
и жгучим мщением душа была полна,
порой об извергах писать ты не желала:
«Уж не настолько, — говорила, — я черна!..»

...Стихи дописаны. Спасибо, дорогая!
Чернила кончились? Давай я подолью.
Вдвоем трудились мы. Тебя я поздравляю,
а выйдет книга — книгу подарю.

1948

27. ПОЛЮБУЙСЯ НА УЗБЕКСКИЕ КРЫШИ

Словно праздника флаги — узбекские крыши!
Полюбуйся, как принарядились, глянь:
кумача и атласа не сыщется краше.
В мире мастера нет, чтоб соткал эту ткань.

Тополя уже сбросили весь свой пушок,
все ягнята заблеяли,
все верблюды слиняли.
Хорошо, что поэтом на свет я пришел, —
благодатью весны
удивите меня ли?

Коксултан и зеленый урюк — для ребят.
Нет забавы древнее и лучше весною.
Пусть мальчишки мелькают в листве и рябят.
Я — под деревом.
Это местечко — за мною.

«Вот развилкой камышины, как соловья,
с крыши ловко словлю эту мелкую сливу.
Всё прекрасно, но бабушка кличет моя —
мыть в тазу —
и ругается нетерпеливо».

Новый саженец или скворец-старожил —
здравствуй, юность!
Душой никогда не черствею.
Я однажды всё это уже пережил
и подписку даю: с молодыми в родстве я.

Амальгамою с зеркала, нет, не сошла
та почтительность к юности,
не сократилась.
Разве молодость — выстреленная стрела?
Вопреки всем присловьям она возвратилась.

Если шкуру тигровую гладят рукой,
что она для живого ревущего тигра?
Ах, с какою охотою весь свой покой
я б сменял у природы на детские игры!

1918

28. ВОЛОСЫ

Стали мои волосы жидки и белесы,
их как будто ветер с головы унес. . .
А моя дочурка, пока расчешет косы,
целый вечер мучается, сердится до слез.

А порой по-модному волосы уложит
и собой любит в зеркале тайком.
Посмотрю на это — досада сердце гложет,
словно цветничок мой испорчен сорняком.

Мне в карман расческа попала по ошибке,
я сперва не понял, подумал: как же так? . . .
А жена ответила, не сдержав улыбки:
«Это сын твой старший надевал пиджак».

Сын — того же роста, только чуть потоньше,
как же так он быстро успел меня догнать?
А ботинки носит уже на номер больше —
будет он по жизни широко шагать!

На детей люблюсь, счастья им желаю,
их густые волосы треплет ветерок. . .
Сам же перед зеркалом иногда вздыхаю:
надо мной смеется беззубый гребешок.

1948

29. КОВЕР

Ткачихи имя на ковре найду,
читая разноцветные штрихи.
Я растопил в чернильнице звезду,
чтоб написать лучистые стихи.

Я долго жду — пусть новый день, горя,
прогонит ночи беспросветный гнет.
Начало жизни — светлая заря.
Начало счастья — солнечный восход.

Раскрыл тетрадь. Вдруг там, на берегу,
зарделось небо. День сверкнул в реке;
как луч восхода от цветка к цветку,
перо стремится от строки к строке.

Пусть будет отражен здесь, под рукой,
в безбрежности стиха весь белый свет.
Смеется девушка, встав над рекой.
Река, искрясь, смеется ей в ответ.

1948

30. ЛЕТО

Проходит лето.

Тот, кто скажет: «Вот,
жаре конец» и всё, —

мне жалок тот.

Достойно лето слов иных.

О нем

писать пристало огненным пером.

Писать о вишнях спелых, как заря.
О том, что молодость прошла не зря.
Звенит в лугах ее напев простой,
как дуновенье ветра в летний зной.

Встань на заре.

В рассветный выйди сад —
деревья, просыпаясь, шелестят.

Ты ветвь привил —

гляди, как расцвела!

В ней робко дышит розовая мгла.

Здесь соловьиной трели чистый звук
прерывистой свирелью грянет вдруг.
И ты замрешь.

И тишина кругом,
и только розы зыблются огнем.

Как золотая пуля с высоты,
шмель, прогудев, свалился на цветы.

Чилляк созрел,
его прозрачна гроздь
и косточки-зрачки видны насквозь.

Наполнен лаской каждый летний день.
Благодарим мы царственную тень
за холодок,
за лиственную дрожь,
за то, что персик
сам с восходом схож.

Блестит хлопчатник, как скопление звезд.
Масудахон проходит вдоль борозд.
Кусты к ней мягко и покорно льнут,
поклон свой благодарный отдают.

Ты погостить приехал в Маргилан —
природа накрывает дастархан:
корзины слив,
подносы миндаля
тебе несет колхозная земля.

Люблю я, наработавшись за день,
к дувалу тихо прислонить кетмень
и на кошме,
сев рядом, с кем дружу,
есть не спеша горячую гуджу.

Я тем горжусь,
что сам пшеницу жал,
зерно молот
и в печь хлеба сажал,
что землю я воспел в стихах моих, —
там слово «труд» мне ближе всех других.

...Позор тому,
кто лето напролет
жил тунеядцем за народный счет.
Таких мы гнать немедленно должны,
лентяй нам враг —
нам трутни не нужны!

Земля богатство нам дает сполна,
но знай,
 ухода ждет всегда она, —
сняв урожай,
 бери кетмень опять,
чтоб вновь колосьям силу набирать.

Гляжу в окно.

 Летят на глинозем
плоды джиды серебряным дождем —
роняет сад осеннюю парчу. . .
Дастан о лете я писать хочу!

1948

31. ОСЕННИЙ САЖЕНЕЦ

Багряный лист ложится наземь ровно.
Не выгнать воробьев из-под застрех.
Долбит на ветке хмурая ворона
ребятами не сорванный орех.

Сороки бодро на жнивье стрекочут,
проскачет суслик, спрячется в норе,
петляет кролик между мокрых кочек,
пуглив и бел — утеха детворе.

Всё спит в саду. Ни грозди винограда.
Укрыты лозы — им в земле тепло.
Спят яблони у глиняной ограды,
вода в ручье — как жидкое стекло.

Лениво солнце. Бронзовым подносом
среди ветвей как бы висит оно.
Оно к земле обращено с вопросом:
«Взойти ли, нет?»

— «Я сплю. Мне всё равно. . .»

Но он не спит — старик с широким станом,
наш добрый дед, наш Миршакар-ота.
В руке кетмень. Садовник неустанно
хлопочет возле юного куста.

Еще не скоро саженец привьется,
еще не скоро принесет плоды,
их старику отведать не придется,
но знает он: не пропадут труды!

Садовник смертен — то закон природы,
но у народа нескончаем век:
не для себя — для внуков, для народа
в саду работой занят человек.

1918

32. СЛОВО ЧЕСТИ

Как велик мой народ!
О величии предков потомкам
говорят города,
что древнее седых пирамид,
полустертая надпись
на древнем хорезмском обломке
о преданиях нашей
земли говорит.

И когда в старину,
возводя минарет или насыпь,
наш мудрец логарифмом
рассчитывал прочности их,
предки черчиллей всяких,
что мнят себя высшею расой,
не умели еще сосчитать
даже пальцев своих.
И когда нашей тканью
свою наготу прикрывали
народы Востока,
то предки
сегодняшних «важных господ»,
эти все англосаксы,
не знали и не представляли,
что такое хлопчатник
и как он растет.

Но нигде, никогда
не кичились мы древнею славой,
хоть мы больше, чем те господа,
похвалиться б могли. . .
Братством наших республик
народ мой гордится по праву,
тем гордится, что сам он
хозяин родимой земли.

И вот эта свобода,
и дружба, и братство
не по нраву пришлись
джентльменам иным,
им не нравится мир наш
и наше богатство,
наша древность и молодость наша
не нравятся им.

Как они бы хотели
расправиться с нами,
заковать нас в оковы,
чтоб мы не поднялись опять,
и, как негра на хлопковом поле
в своей Алабаме,
им под ржанье шерифа
хотелось бы нас линчевать.
Но о чем бы врагам ни мечталось,
чего б ни хотелось,
хлопкороб не уронит кетмень,
что держать он привык.
Мы угроз не боимся,
мы заняты делом,
хоть и слышим вдали
поджигателей яростный крик.

Но не в силах их вой погасить
беговатские топки,
и колеса турбин от него
не замрут никогда.
Этот крик не заставит
сомкнуться коробочки хлопка,
всё мы видим,

всё слышим
и не прерываем труда!

Славься, наша Отчизна,
земля золотая,
в белой пене снегов,
в белой пене полей.
Славьтесь, люди труда,
мастера урожаяев,
чье искусство
старинных преданий древней.

1948

33. ДИПЛОМ

Тихую ночью, звездною ночью
мир перед взором до дна раскрыт. . .
Юношу вижу: строг, озабочен,
над книгами он до утра сидит.

То не резец на гранитных плитах
врезает надпись на сотни лет, —
это в мозгу, в извилинах скрытых,
врезается знания светлый след.

Страницы шуршат, и весенней ночи
всё глубже становится тишина. . .
Нашел наконец! Из тысячи строчек
именно эта ему нужна.

И словно в единственной строчке этой
все тайны вселенной заключены:
жгучей, слепящею вспышкой света
мысли внезапно озарены.

Тихо вокруг.
Темнота сгустилась,
и, как невидимое крыло,
ласково будущее склонилось,
за плечи юношу обняло.

Нет, не напрасны его усилия,
такого большая дорога ждет,
близится день, и, расправив крылья,
он устремится в первый полет! . .

В зачетной книжке ряды пятерок —
это ступеньки вчерашних дней.
Уже он диплом защищает скоро,
и берег будущий всё видней.

Всё впереди: и борьба с рутинной,
и неудачи, и торжество! . .
С гордостью, как на достойного сына,
будет страна глядеть на него.

Светает. . .

Работою увлеченный,
всю ночь не сомкнул он упрямых глаз. . .
Вот он уже молодой ученый,
всходит на кафедру первый раз.

А сердце стучит горячо, тревожно:
отныне науке всю жизнь отдай! . .

Отец постучался в дверь осторожно,
входит:

«Сынок, остывает чай. . .»

1948

34. ПОЕТ ПОЛЬ РОБСОН

Дрожит небосвод, потрясенный рычанием
льва, —

Поль Робсон поет
на подмостках среди площадей.
И в песне могучей гремят огневые слова
о горьком бесправье,
об участи черных людей.

Поет свою песню сын черного негра-раба,
и в ней возникает сознание народа само,
в ней горе и ужас,

в ней вечных скитальцев судьба,
в кварталах Гарлема до смерти влачащих ярмо.

Звучат в этой песне
и страсть, и надежда, и гнев,
и весть о грядущем,
и отблески будущих лет.
Да, солнце взойдет, вековечную тьму одолев,
и в хижине дядюшки Тома настанет рассвет!

Когда, подчиняясь послушно веленью души
и знамя надежды в сознание своем водрузив,
сажусь я за стол
и перу повторяю: «Пиши!» —
грядущего солнце горит предо мной, как призыв.

У каждой страны
свой обычай, свое естество.
И собственный строй,
до которого дела нам нет.
Кто лезет к соседу подглядывать тайны его,
тот будет ему уже враг,
а не добрый сосед.

Вблизи Уолл-стрита
огромное кладбище есть.
Здесь гангстеры заперли клад золотой под замок,
и волю народов хотят схоронить они здесь,
чтоб мир на земле никогда воцариться не мог:
теорию расы они повторяют в наш век,
чтоб ссорить народы,
но верить в их расовый бред
глупей, чем искать среди льдов Арарата
ковчег,
где будто бы плавали с Ноем
Сим, Хам и Яфет.

В колониях мучатся люди уж множество лет:
индус, и малаец, и негры —
у всех на виду.
У рабовладельцев английских к ним жалости нет
и совести меньше,
чем влаги в горящем аду.

Суд Линча над неграми
длится столетья подряд.
Не знаю: какой негодяй его выдумать мог?
Но дым от костров,
где несчастные негры горят,
для белых мерзавцев милей, чем сигары дымок.

«Господством над миром»
и «образом жизни» своим
гордится и хвастает американский банкир.
Но это пустые мечты,
что растают как дым:
вовек не допустит господства Америки мир!
Народы внимают:
великий Поль Робсон поет!
И песня —
предвестник великих и мирных побед.
Тьму доллара солнце рассеет —
под ветром свобод
и в хижине дядюшки Тома настанет рассвет!

1949

35. НАШИ СТАРИКИ

Эти белые бороды расчесывают ветра.
Эти чистые думы — как утренняя заря.
День трудовой начинается с самого утра:
присматриваясь, проверяя и на заметку беря,
песенки монотонные тихо поют старики.

То, что было и сплыло, жизненной смыто рекой,
ведомо им, как орехи на дереве, наперечет.
Их ожидает долгий, заслуженный ими покой.
В почете и уважении жизнь стариков течет.
Точно чай с леденцами, ласку пьют
старики.

Тысячу месяцев жизни, полных забот и труда,
отпировав с ровесниками, с теми, с кем он рос,
приумножив доходы, увеличив стада,
целое стадо овечье он отводит в колхоз.
«Даже пери не знает того, что знает старик».

Смысл тысячелетия слышен в его речах.
Поступь его внушительна, как у слона-самца.
Опыта всенародного он итог и очаг.
Мудрость сокровенная в нем видна до конца.
Общество украшает старик.

Горница — как фарфоровая — так чиста и ясна.
В узелках, узелочках скоплено столько добра!
Редкостного гороха, богарного семена.
Семечки летней дыни обертывает кожура,
розового хлопчатника половина кулька.

Сколько знают умельцы, как премудры отцы!
Клад их воспоминаний ученого поразит:
арбузы в годы Рыбы слаще, чем в годы Овцы.
Тля виноградникам нашим в этом году не грозит.
Молодой ученый слушает старика.

Словно руке — монетка, послушна наша земля
мудрому хлопкоробу с белой бородой.
То с отцовскою мощью он разрыхлял поля,
то с материнскою нежностью их поливал водой —
много потратил труда.

Что же удивительного, если опыт его
колышками золотыми наш урожай подопрет,
и ни жара, ни холод не сделают ничего:
мы соберем достаточно в плохой и хороший год.
С хлопком будем всегда!

На огромных картах доброй, тучной земли
зелень целует почву, колени свои преклонив,
С рокотом готовности машины ее облегли,
окружили просторы наших полей и нив,
как скатерть самобранную.

Сыновья и дочери, молодки и молодцы
стелют дни и ночи, как большие ковры,
чтобы на них ступили их дорогие отцы,
знанием изобильны, опытом мудры,
радуясь и празднуя.

Белые-белые бороды раскачивают ветра,
полевыми дорогами шествуют старики,
состоянием хлопчатника интересуясь с утра.
Добрые вести про осень приносят нам старики.
Хлопка вдосталь добыто!

Сколько труда упорного каждый кустик таит!
Сколько ума и силы в каждую завязь вложено!
Радости урожая нам испытать предстоит,
эта нежная песня нынче уже сложена
братством науки и опыта.

1951

36. КАПЛЯ МЕДА

Друг, в капле меда вся весна
отражена, как в капле мир:
так пахнет яблоня, нежна,
так пахнет сладостный инжир.

В ней сок, в ней сок наверняка
ириса, груши, миндаля. . .
Ей принесла издалека
все запахи весны земля.

А может — севера пчела
через сестер передает
за сотни верст, в страну тепла,
как эстафету, сладкий мед.

Ведь есть рябины горечь в нем,
смолы сосновый аромат. . .
Горжусь я тем, что весь мой дом
в цветах. Что сам сажал я сад.

Взяв мед в стране, где снег и льды,
быть может, Арктики герой
услышит аромат джиды,
посаженной моей рукой.

И я собрал всё для людей:
цветы, любовь и вешний звон.
И светлый мир в строке моей,
как в капле меда, отражен.

1953

37. ДЕТЯМ

Глаза детей — души моей светильник.
В моих ушах не молкнет детский смех.
Малыш воркует — и ветра притихли,
и громы смолкли — никаких помех!

Малыш ступает по земле неровно,
от пяток-слив смешной петляет след,
но этим начат путь его огромный,
его большие сто счастливых лет.

Капризы, игры, смех и слезы рядом. . .
О радость дома, с чем тебя сравню?
Держу ребенка — выше нет награды! —
и никогда его не уроню.

Пусть это слабость, но такая слабость,
которая нам силы придает:
люблю волос ребячьих кучерявость,
над чистотою глаз — бровей полет.

Ребята, вы для нас — очей зеница,
вся наша жизнь — защита ваших лет,
мы — ваша крыша, дом, игра, больница,
над вашим сном — любви бессонной след.

Пока, малыш, еще не стал ты взрослым,
пока лепечешь первые слова,
скачи беспечно по лужайкам росным,
где так мягка зеленая трава.

Беспечно веселись — нам ждаться не в тягость.
Но верим мы, что вырастешь, и вот

не дрогнут плечи, ощущая тяжесть
по эстафете принятых забот.

Вы — наши корни, дети, наше завтра,
чинары наши и карагачи;
следим, чтоб вихрь вас не сломал внезапно,
чтоб гром войны не загремел в ночи.

На вас глядеть отрадно нам и любо,
мы вас всей силой помыслов людских
храним, как тридцать два здоровых зуба,
как чистый жемчуг из глубин морских.

И пусть порою наши дни суровы,
мы строим мир, достойный вас во всем.
Так будьте же красивы и здоровы,
чтоб жить красиво и достойно в нем!

1954

38. ЛУЧШАЯ МОЯ СТРОКА

Как мотыльки, мои ребята
весь день порхают во дворе.
Их раскрасневшиеся лица
светлей, чем небо на заре.

Один закашлялся случайно —
и я встревожен, я смущен.
Другой опять исчез куда-то, —
гляжу с испугом: где же он? ..

Ах, мотыльки мои! Вы краше
тюльпанов в нашем цветнике.
Ну где же спрятались вы снова,
в каком укромном уголке?

Так целый день на ваши игры
любуюсь я исподтишка,
и ваше свежее дыханье —
как лучшая моя строка!

1955

39. ВЕСЕННЕЕ УТРО

(Ода стране труда)

Грудь, как у юноши,
 песне тесна...
Вырвется слово —
 пух тополиный!
Дивным цветеньем восходит весна,
переливаясь,
 как перья павлина.

Сутки
 мы жаждем истратить до дна —
труд пронизало сознание свободы.
И на исходе каждого дня
славим
 грядущее утро работы.

Утром
 в саду, благовонно-сыром,
в собственный след наступаю стопую.
Каждый рассвет
 говорит мне: «Салом...»
Э,
 да, никак, мы знакомы с тобою!..»

Родина — полная чаша стихов.
Звонко плеща,
 проливаются строки.
Пенный напор нашей силы таков —
чаши краями
 мне кажутся сроки!

Время проходит сквозь нас,
 как руда,
в жажде стократного обогащенья.
Кличут Отчизну
 Страною труда —
право, точнее
 нет обращенья...

Завтра
сравнится ли с нашим вчера?
Но непреложная связь
не прервется.
Сладостный пот трудового чела —
это
цена золотая
червонца!

Всё у нас зиждится общим трудом.
Двое,
что долго друг друга любили,
соединились, создали дом —
хлеб преломило в дому
изобилье.

Суть уваженья сыновнего
в чем?
Старый обычай не обветшает:
сын,
как ни стал бы высок и учен,
годы труда
в старике уважает.

Труд охраняет меня от беды,
полнит приветами
ящик почтовый.
Больше не кинется из-за спины
напасть,
кулак подымая пудовый!

Девушка вслед мне
машет платком:
в труд ухожу,
как летчики в небо! . .
И в начинанье каждом благом
мысль о работе
царствует немо.

Прячет без счета грудь, как гранат,
зерна желаний,
планов,
заботы.

Слышишь, как завтрашний полдень гранят,
опережая график,
 заводы?

Слышишь, как, лопаясь, почки палят?
Пламя зеленое рвется из почек.
Мерно шмели гудят на полях:
там трактора
 о грядущем хлопочут.

Если поэтом себя ты нарек —
в путь!
 Но не думай:
 «Доля легка там. . .»
Щедр на работу,
 как солнце,
 народ, —
ты же назвался
 его делегатом!

Помни: ты голос гордой страны,
право на труд охраняющей строго.
Всё подчиняй зову страды:
мысли и чувства,
 планы и сроки.

О, не пора ли в тень перейти
вам,
 что бездумно строфы печете? . .
Не потому ли мы впереди —
завтрашний день
 держим в расчете?

Не потому ли кровь горяча,
живы в душе Ильичевы заветы,
и понимает без толмача
мир
 это звонкое слово —
 «Советы»! . .

Грудь, как у юноши,
 песне тесна,

слова рожденье
уста опалило.
Дивным цветеньем восходит весна,
переливаясь,
как перья павлина.

День золотистой пряжи напрял,
вторя
рукам золотым
человечьим.
Будь, как чинара, крепок и прям —
будешь и ты,
как она,
долговечен.

1955

40. ПРАЗДНИЧНОЕ ПИСЬМО

Великая славная дата,
великий суровый рассвет! . .
В тот год незабвенный, ребята,
мне было четырнадцать лет.
Былое. . . Порою ночной
как пропасть оно предо мной.

А школа? . . Какая там школа?
Без хлеба подчас, без огня,
оборванный, чуть ли не голый. . .
Судьба не ласкала меня.
Да что там! В тот памятный год
был горестным весь наш народ.

Война. Боль утрат каждодневных,
разор, безнадежность, тоска.
Голодные стонут деревни,
голодные бьются войска.
Руины, пожаров огни. . .
Когда ж отпылают они?!

Но Ленина передовые
вступились за нашу судьбу,

за всех угнетенных впервые
на смертную вышли борьбу,
Рабочие в бой поднялись,
крестьяне стеной поднялись,

багряное подняли знамя,
и в огненный день Октября
взошла, засияла над нами
свободы святая заря.
И в пламени этой зари
пропали, сгорели цари.

Стал пылью престол самодержца,
поверженный Октябрем. . .
Навеки тогда мое сердце
пленил революции гром.
Доныне опять и опять
я счастлив ее воспевать.

Великая партия наша
меня повела за собой.
Всё горькое стало вчерашним,
судьба — благодатной судьбой.
За всё, что она мне дала,
хвала ей, великой, хвала!

Ребята, вы знаете, кто я.
Для вас я и друг ваш, и дед.
Питомец советского строя,
дарящего радость и свет.
Возлюбленной родины сын,
наставник, поэт, гражданин.

Моя беспокойная доля
была не ровна, не гладка.
Я не был учащимся в школе,
не ждал с нетерпеньем звонка.
Но я, рукава засучив,
лепил для нее кирпичи.

С другими рабочими рядом
для вас я построил ее.

И не было краше награды
за трудное детство мое.
Для вас, дорогие друзья,
и жизнь и работа моя.

Поэтому я вам известен,
поэтому близок я вам.
В строках моих солнечных песен
учу я вас добрым делам.
Чтоб, радуясь, родина-мать
спасибо могла вам сказать.

Поэтому ваши удачи
душе моей — нежный букет,
поэтому счастьем охвачен
ваш старый наставник-поэт.
Для вас, дорогие, для вас
все дали открыты сейчас.

Не надо дивиться, что в праздник
я вашею радостью рад.
Пусть судьбы разительно разны —
один у нас счастья парад.
И если я с вами в строю —
я лучше, я чище пою.

Пойдем в авангарде парада,
звонящие голоса.
Взлетит ваша песня, ребята,
под самые небеса.
И выше, в надзвездный зенит
мечта ваша гордо взлетит.

Великому Ленину слава,
он в наших сердцах живой.
Он в наших делах величавых
на линии передовой.
Кто к счастью привел свой народ,
во веки веков не умрет.



Гафур Гулям



Гафур Гулям

Да здравствует партия наша —
великий творец Октября!
Блистай, разгорайся всё краше,
бессмертной победы заря!

1955

41. ТРУДОВАЯ ВЕСНА

Друзьям моим — пионерам

Опять возносятся щеглы,
в девичьих косах — серьги тала,
и дни,

 немыслимо щедры,
всё прибывают неустанно.
Просторы длинные земли
пестрят

 веселыми стадами.

Несут на север журавли
свое певучее страданье.
И сад по-новому запах.
Чуть солнце встало

 над равниной —
пополнить зимний свой запас
народец вышел
 муравьиный. . .

Арык,

 сухой еще вчера,
водою полнится проточной,
и сладкий пай

 спешит пчела

забрать

 из чашечки цветочной.

Дружок, прислушайся!

 С утра

везде продолжен труд вчерашний.
Гудят, как пчелы, трактора
весь долгий день

 на дальней пашне.

Потом смолкает, весь в огнях,
поселок ближний под горою,
и только бляеные ягнят
еще доносится порою. . .

Ну что ж!

Давай и мы, дружок,
примкнем к работе этой спорой.

С лопатой

выйдем на лужок
или участок перед школой.

Нам надо,

чтобы каждый вник:

мы деревце посадим сами.

Сухой алфавит наших книг
дополним азбукою сада.

У дерева — десятки лиц!

Ствол препоясал

белый пояс.

Нанесена на каждый лист
весны затейливая повесть.

Тут всяк по-своему одет —
весной,

и летом,

и зимою.

Учись, дружок! . .

Отец и дед

вот этой вскормлены землею.

Арыки в солнечных огнях
бегут куда-то, полдню внемля, —
как сотня ласковых ягнят,
пересекают

нашу землю.

Им напоить поля дано
и усладить веселым пенъем
лежащее в земле зёрно:
грядущий хлопок

в колыбели.

1956

42. ПОЭТ — ПОЭТУ

Памяти Самеда Вургуна

День ото дня всё ярче в небе моей страны
звезды труда и славы светятся с вышины,
всё дальше несет поклажу — историю многих стран —
медленный, нескончаемый времени караван.
Не только жестокою повесть крови, борьбы и слез —
он к нам голоса поэтов из древних времен донес.
Всюду — в степях раздольных и в крепких объятьях
гор —
поэзии вольный голос слышится до сих пор.
Где сохнет любви источник — нет счастья, нет красоты,
где смолкнут стихи и песни — нет радости, нет мечты,
но светочи вдохновенья сильнее, чем тлен и тьма, —
вот почему поэзия вечна, как жизнь сама!

Долго сжимал нам горло ислама тугой аркан,
ржавчиной наши души едкий покрыв обман.
Думали слуги аллаха, что смогут в конце концов
навек упрятать в клетку смелую мысль певцов.
Но тусклой, свинцовой тучей солнца не потушить,
заветные струны сердца угрозами не заглушить.
Упрямо, как с гор весною клокочущие ручьи,
текли соловьев-поэтов газели и рубаи.
Бессмертны, как жизнь, остались, чтоб вечно
дружить с людьми,
торжественные поэмы премудрого Низами...
О мой по крови близкий, по духу родной поэт,
не хватит ли вспоминать нам о горестях прежних лет?

Вечно живи в народе, звонкий певец труда,
будь как в небе славы утренняя звезда,
будь, как душа ребенка, доверчив, чист и пытлив,
будь, как глаза героя, бесстрашен и прозорлив,
будь бескорыстно щедрым в строгом своем труде,
и слово твое правдивое отклик найдет везде!

Враги из-за моря скалятся — стая голодных львов,
нас запугать пытается их разъяренный рев.
Но побеждает в схватке не ярость, а правда —
ленинской мысли пламя, ленинская мечта!

Мы долго брели вслепую, пока не зажглось во мгле
солнце алмазной правды — единственной на земле.
С тех пор мы крутым и трудным, но самым прямым путем
к орлиным вершинам счастья народы свои ведем.
Победоносное знамя крепко мы держим в руках,
слава деяний наших будет сиять в веках,
и направляет силы наших умов и рук
мудрая партия Ленина — лучший наставник и друг.
Партией ты воспитан, партией вдохновлен,
вот почему твой голос так звучен, горяч, силен.
Горной рекой гремит он, вливается в нашу жизнь —
твой вдохновенный голос, славящий коммунизм.

В сердце перебирая лучших друзей моих,
с гордостью имя Вургуна я назову среди них —
с ним я в одну эпоху боролся, любил, творил,
с ним я до поздней ночи о будущем говорил.

1956

43. ГРАНАТ

В руке я держу наманганский гранат,
на маленький глобус похожий,
в нем лучшие соки узбекской земли
под яркой, бугристой кожей.
А станешь за зернышком зернышко есть —
граненые, словно рубины,
багряною влагой они освежат
души утомленной глубины.
Любой, кто заглянет в мой дом или сад,
становится гостем желанным, —
сегодня собратья мои по перу
сидят за моим дастарханом.
Пришли они запросто нынче ко мне,
как ходят соседи к соседу,
и слушают яблони в старом саду
застольную нашу беседу.

Горжусь вашей дружбой, создатели книг,
созвездье певцов и ученых,

ведь каждая книга — открытье миров,
лучами любви озаренных.
По-братски сидят в нашем тесном кругу
и гости из стран зарубежных,
и мы говорим о сегодняшних днях,
суровых, прекрасных, мятежных.
Над всею землей, через гребни хребтов
и грозную зыбь океана,
листки из тетради свободы несет
могучий порыв урагана —
листки телеграмм, долгожданных вестей,
туман разрывающих в клочья. . .
Да здравствует утро свободных времен,
да сгинут исчадия ночи!

Порой хоть немного захочется мне
от жизненных бурь отрешиться,
и в солнечной комнате с веткой в окне
шуршат мотыльками страницы.
Подобно Хафизу, тончайшим пером,
склонясь над заветной тетрадью,
о мирном досуге, вине и любви
пытаюсь газели слагать я.
Но вихри эпохи врываются в дом:
мне видятся джунгли и скалы,
вьетнамская девушка в форме бойца
нахмурила брови-кинжалы.
Я стар, для сражений уже не гожусь,
но сердце клокочет упрямо:
проклятье убийцам, позор палачам
и слава героям Вьетнама!

Сидят за моим дастарханом друзья,
день ясный, осенний, погожий,
в руке я держу наманганский гранат,
на маленький глобус похожий.
И я обращаюсь к гостям дорогим,
к созвездью певцов и ученых,
чьи книги пылают лучами надежд
и кровью сердец раскаленных.
Как дедов молитвы, как песнь матерей,
как внуков младенческий лепет,

как волны могучей моей Сырдарьи,
как птичий восторженный щебет, —
так будет, клянусь вам, и чист и правдив
мой тост перед дружеским тоем:
добро к нам пожаловать в гости, друзья,
дома и сердца вам откроем!

Я сам эти пышные розы сажал,
и вы посмотрите: любая
могла бы в девичьей прическе пылать,
достойно ее украшая.
И каждый бутон в этом скромном саду —
как сердце в тоске ожиданья,
как знак, что друзей я забыть не могу
и братского жажду свиданья.
Индийский ученый, арабский поэт,
добро к нам пожаловать в гости,
докучное бремя забот и тревог
на этом пороге отбросьте.
Различие наций, одежд, языков —
для дружбы ничто не помеха,
я вам на большом караванном пути
желаю большого успеха.

Души я открою для вас тайники,
мой жребий поистине светел:
одною дорогой с народом я шел
и правду великую встретил.
Всё в жизни познал я: и радость и скорбь,
с врагами смертельные схватки,
а нынче счастливую старость свою
встречаю в почете, в достатке.
В руке я держу наманганский гранат,
на нашу планету похожий.
Сидят за моим дастарханом друзья, —
что может быть в жизни дороже?
Цветите, сады, наливайтесь, плоды,
сердец умножайся богатство!
Да станет земля — наш чудесный гранат —
планетою дружбы и братства!

1958

44. РАЗГАДКА СНА

Ты видел яркий сон и хочешь знать разгадку?
Приснилась радуга — большая радость ждет.
Приснился бурный дождь — быть миру и достатку,
пышнее станет сад, быстрее созреет плод.

Чудесен был твой сон, и это не случайно:
он отражает чувств и мыслей чистоту.
В ком нет ни зависти, ни лжи, ни злобы тайной,
у тех и сны светлы, как яблони в цвету.

Весна расщедрилась: поля — в зеленых волнах,
по пояс выросли пшеница и ячмень,
роса на клевере блестит в лугах привольных,
где тучные стада пасутся целый день.

И для хлопчатника отличная погода:
чигит уже взошел, окучен и полит.
Пусть план прибавили нам с нынешнего года,
богатый урожай наш дружный труд сулит.

Ты видел бурный дождь? То мощными волнами
живых народных сил клокочет водопад.
Ты видел радугу? То ярко перед нами
грядущих радостей все семь цветов горят.

Конечно, жизнь — не сон. Но если по порядку
расскажешь мне о нем, нетрудно дать ответ.
Взгляни вокруг — и сам найдешь его разгадку:
цветет твоя земля, могуч ее расцвет.

Да, радуга и дождь — хорошая примета,
но и без вещей снов сегодня ясно нам:
дорогой радости, труда, добра и света
народы движутся к счастливым временам.

1958

45. ПОДРУГЕ

Мы встречаем весну, дорогая, с тобой —
в чутком трепете веток,
веселых ветрах.
Вот ступает она невесомой стопой,
расстелив дастарханы
тюльпанов и трав.
Что мы знали когда-то с тобою
весной?
Прелесть роз,
соловьиная трель
да звезда. . .
С той поры мы в ней смысл угадали иной:
мы ведь люди труда,
мы ведь люди труда!

Только с ним начинается лучший мой стих,
только с ним
для тебя наступает весна. . .
Ты вчера семена принесла мне в горсти:
«Посмотри,
превосходные семена!»
И в руке твоей смуглой семян этих горсть —
точно завтрашний день моей светлой страны.
Да, я вижу по ним — ты сегодня не гость,
ты хозяйка
вот этой идущей весны!
И мне чудится: вот он встает, урожай,
и опять,
и опять нам с тобой не до сна. . .
Расцветай же улыбкой,
работай,
дерзай —
видишь, рядом весна,
голубая весна!

1958

46. ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Дышат праздничным ароматом
хлопка низкие облака,
голубые садов громады
осень золотом облегла.
В этом радостном изобилье,
добрым соком полня стакан,
положить и мы не забыли
нашу долю на дастархан.

Всенародные караван
за широким земли столом —
с хлебом движутся караваны
казахстанских автоколонн.
И украинских и сибирских
урожаев течет река —
и далеких плодов, и близких
благодатные вороха.

Осень валит могучим валом —
а казалась на вид скромна! —
и обилием небывалым
не вмещается в закрома.
Из того, что труд наш нажил,
полевая взрастила даль, —
долю выделим братьям нашим,
не промешкав, отправим в дар...

Ветер бродит с мыслью с единой —
ароматы вдохнуть полней —
и едва шевелит седины
на висках хлопковых полей.
И над этой возней мышинной,
годовой завершая круг,
друг за другом идут машины —
продолжение умных рук.

Видишь радостных лиц сиянье?
Наши девушки за рулем!
Мы труда и счастья слиянем
нашу память в века прольем.

И не здесь ли, скажи, начало
одоления дальних вершин,
что веками наш гений чаял
и сегодня лишь совершил?

Стала близкой на ощупь лунность,
поглотила болезни мгла!..
Жаль, что наша с тобою юность
в том участвовать не могла,
Жаль, что донизу, сдается,
нашей жизни заполнен лист..,
Что же сердце, как прежде, бьется
перед светом девичьих лиц?

И с вниманием неослабным
прочитать спешит наяву
в книгу нашей хлопковой славы
вновь дописанную главу...
О, как пышно садов громады
осень золотом облекла!
Добрым, праздничным ароматом
дышат белые облака...

1958

47. К НАМ ПРИЕЗЖАЙТЕ ПОГОСТИТЬ, ДРУЗЬЯ!

Когда вы будете в Узбекистане,
то, как бы вы с дороги ни устали, —
я знаю, каждый звать вас в гости станет
радушными, нелживыми устами, —
но в первый дом входите в мой, друзья!

Гафур Гуляма знаете, конечно!
Мой адрес даст в Ташкенте каждый встречный.
В мой дом входите, я вам рад сердечно!
Без проволочек — жизнь так быстротечна —
ко мне шагайте, я вас жду, друзья!

Мой садик — ваш! Пусть только скрипнет
дверца!
На грядках зелень мяты, кинзы, перца,

Вот свежая вода, вот полотенце,
а вот открытое вам настезь сердце!
И в сад и в сердце вас пушу, друзья!

Над огородом я для вас трудился,
всего к столу нарвать распорядился!
Куда б хозяин иначе годился?
Жаль только вот, шафран не уродился,
а остальное — ваше всё, друзья!

Цветов хотите? И цветы есть тоже,
то цвета неба, то на кровь похожи,
то все в росинках на прохладной коже...
По нашему обычаю, заложим
по красной розе за ухо, друзья!

Ковер постелем и, чтоб слаше отдых,
подушки бросив в шелковых разводах,
прогнав печаль, забывши о невзгодах,
на языках пятнадцати народов
споем, что в голову придет, друзья!

Кто детям рад, кто без детей скучает,
зятьев и снох в придачу получает,
а там и внуков на руках качает...
Под детский крик по пиалушке чая
до ужина не выпить ли, друзья?

Я в юности еще пришел к решенью:
дом без детей — как стол без угощенья,
как шар земной без вечного вращения!
За шумный дом свой не прошу прощенья!
Мы сами будем в нем шуметь, друзья!

Вином и мясом пахнет синий воздух.
Стол — как земля, а вы вокруг — как звезды!
Вот наш инжир, вот винограда грозди!
Лепешки теплые, пока не поздно,
я по куску вам отломлю, друзья!

Горит очаг, смешав в домашнем дыме
дыханье сада с ветерком пустыни.

Вот персики с бочками чуть седыми,
но раньше их давайте взрежем дыню!
Мы в этом не раскаемся, друзья!

Теперь, когда уже всерьез сидим мы,
отведайте самсы, казы, нарына!
Пусть их названья непереводимы,
но чтобы суть понять, необходимо
их все подряд попробовать, друзья!

Вино у нас домашнее, густое,
в нем слиток солнца плавает в настое.
Есть предложенье, самое простое:
без лишних слов кувшина дно пустое
в кратчайший срок исследовать, друзья!

Вот вносит Мухаррам, моя супруга,
два блюда с пловом, два горячих круга!
Она прикладывает к сердцу руку,
и не спеша плывет от друга к другу,
и к плову приглашает вас, друзья!

А после плова, за зеленым чаем,
мы к берегу поэзии причалим:
Фуркат, и Пушкин, и Джами вначале,
ну а потом, друг другу отвечая,
и что-нибудь свое прочтем, друзья!

Есть ваши книги у меня на полках,
есть и мои. Взгляните втихомолку:
писал я много, жил довольно долго,
и сколько их, я сам не знаю толком,
пусть, если захотят, сочтут друзья!

Я заболтался! Время пролетело!
Душа бы вечно бодрствовать хотела,
но, к сожаленью, спать желает тело...
Ночуйте здесь! Мы быстро это дело
устроим каждому из вас, друзья!

Кто помоложе, тем ковров наносим,
кошму в саду, под абрикосом, бросим,
молодоженов на чердак попросим:

в Узбекистане ведь такая осень,
что простудиться мудрено, друзья!

Итак, устами старого поэта
я вас зову, прошу запомнить это.
Пусть издали, пусть даже с края света,
хотите — осенью, а не боитесь — летом
к нам приезжайте погостить, друзья!

1959

48. СВЯЩЕННОЕ ВРЕМЯ

Опять зарею
 звонкий слог навеян.
Опять о вас
 под сердцем бьется стих,
бесценных дней бесценные мгновенья
в бескрайнем море
 быстрых лет людских!

И тополей тяжелые колонны
листву роняют,
 как слова с пера,
и, видно, вправду
 строчкою коронной
тетрадь украсить — самая пора...
Мое неповторимое столетье,
припомнишь ли? ..
 Пятнадцать лет назад

о Времени
 на медленном рассвете
стихи слагал я,
в тихий выйдя сад...
Пятнадцать весен минуло!
 Пятнадцать
июлей

 в жарких сгнуло песках.
Земля листвою успела запятнаться
пятнадцать раз,
 и шли снега пятнадцать
бессонных зим,
 не тая на висках...
О время, время,
 что за шаг нам нужен,

чтобы, забвенью злomu вопреки,
опять ступить на берег тот минувший,
за эту ширь

стремительной реки?

Тогда солдаты, что остались живы,
шли по домам,

развеяв ураган. . .

И стал солдатом нового призыва
их

у дверей встречавший

мальчуган!

О, если б годы, как гранат, я выжал —
их алый сок, наполнивший бокал,
взметнул бы строки

гор высоких выше,

поэтов сделал

равными богам!

На ласковом отчизны небосклоне
всегда разлито доброе тепло.

Кто перед горем голову не склонит —
легко усвоит

света ремесло:

из горечи, которой нет предела,
из черноты поруганной земной
слепить весну

и роще поределой

опять вернуть могучий дух лесной.

И —

где судьба кровавая играла —
нарезать пашни,

расселить рои

и новое обличье Сталинграда
прозреть сквозь дым

и ужасы руин. . .

О славная истории страница!

Мы трудно жили, годы торопя,
но что,

скажи,

с тем подвигом сравнится,

что вписан

нашим мужеством

в тебя?

Ты наши дни заслуженно воспела
как новую истории весну,
вновь города вознесшую из пепла,
поля войны

вернувшую зерну.

И время, что повелевало всеми,
летя стрелой,

тащась ли, как арба,
мы до конца смирили —

строю,

сея,

осуществив высокие права!

О гордая эпоха покоренья:

огонь звезды —

как ближний свет окна...

Смотрю на молодое поколение:

какая воля мир познать до дна!

Где та луна, что нас с ума сводила,
всплывая

над загадочной страной?..

Как мяч футбольный, древнее светило

к ним повернулось новой стороной!

Где тайна мира,

та, что нас томила

в чужих глазах,

в страницах редких книг?..

О, мне сдается: те секреты мира

все

азбукою сделались для них!

Им всё теперь под синей крышей неба

сулит и дарит добрые дары,

и воле их ни в чем преграды нету —

в песках пустынь,

в волнах Амударьи!..

О время, время, где твой миг коронный,

твоя непревзойденная пора?..

Вновь тополей тяжелые колонны

листву роняют,

как слова с пера.

Летит,

летит листва навстречу полдню,

и память наплывает на меня.

Так ясно деда собственного помню:
он искры высекает

из кремня. . .

Горит чорак, как дьявольское око,
под крышею угарно и темно,
и бабушка моя, вздохнув глубоко,
опять берется

за веретено. . .

Я трижды славлю мощный ток Фархада
и голубое топливо Газли —

тот жар земли,
что, одолев преграды,
мы в каждый дом теперь перенесли;
я славлю хлопка белые громады,
из пестрых тканей

девушек наряд
и, гордою увенчанный наградой,
сменивший веретенца комбинат;
я славлю

мир природы покоренной,
тебя я славлю,
гордая пора! . .

И тополя, как времени колонны,
листву роняют
строчками с пера.

1960

49. ДОЧЕРЯМ МОИМ — ШЕЛКОВОДАМ

По всей земле, вдоль пашен и воды,
встают посадок юные ряды,
бойцы весны, грядущие сады,
зеленая награда за труды, —
встают, чтоб сделать край наш краше.

Хоть солон пот, рождает сладость труд!
Вот маленькие яблони растут,
алча, урюк и груша встанут тут,
тал — вдоль арыков, вдоль обочин — тут. . .
Растут, чтоб сделать край наш краше!

Тутовника повсюду — без числа!
Кто говорил: не знаем ремесла
мы, кроме хлопка?

Скромность мне мила...
А шелк узбекский? Все ведем дела
мы так, чтоб сделать край наш краше.

Чтоб семя вглубь пустило корешок,
чтоб хлопок к свету вышел на вершок —
труда, заботы сколько!

Так и шелк...
Повсюду труд! Верней я не нашел
пути, чтоб сделать край наш краше.

Вот шелководы-девушки: глаза —
как сгустки ночи. Талия — лоза!
Из нитей шелка сплетена коса...
Смотри: они и есть земли краса,
а трудятся, чтоб сделать край наш краше!

Как с чувствами мне образы сроднить —
с чем шелковода труд могу сравнить?
Поэт из сердца тянет песни нить —
так и они живую шелка нить
растят, чтоб сделать край наш краше.

Зато и слава им по их делам.
Везде известен тонкий их талант,
о них слагает песни Маргилан,
и я, старик, воспеть бы их желал
за то, что край наш делают всё краше...

1960

50. ВОСПОМИНАНИЕ О ДРУГЕ

Хамиду Алимджану

Опять стоит ночная тишина,
и в тишине я вспоминаю снова
тебя, веселого и молодого,
и нашей молодости времена.
Луны катился древний самокат,

и мы стояли, точно дав обеты,
перед порталом мощным Улугбека,
и ночь дарила древний Самарканд.
Нам так о многом думалось тогда,
но в тишине казалось лишним слово,
и мы друг друга понимали,

словно

нам мысль прочесть не стоило труда.
О, где ты, где ты, мой старинный друг?
Как полземли, легла в ночи разлука.
Я твоего вчера увидел внука —
и точно время выронил из рук. . .
Да, нам о многом думалось тогда —
и верь, Хамид,

мы многое свершили!

И все-таки смотрю я не с вершины,
а снизу вверх

на юные года.

Что делать, брат? Пора сознаться в том,
что есть предел

крылатым упованьям.

Шагаем вверх, и где-то перевалим,
а там уже

и под гору идем. . .

Ты не изведal странной правды той.
Не знаешь ты, что это значит — старость.
Тебе навечно молодость осталась
с ее недостижимой высотой.

И ты оттуда

всё глядишь на нас,

так, словно бы и требуешь и просишь,
и хоть вовек упрека нам не бросишь —
его как будто держишь про запас.

Что делать, брат мой? . .

Но зато, взгляни,

вокруг теснится молодость другая —
творя, и восхищаясь, и ругая,
как то и суждено ей искони.

О, эта свежесть замыслов и слов!
Всё выполнить — и всё задумать снова,
И время повторяется, как слово,
и сны кипят,

и жизнь — превыше снов. . .

Как нам когда-то, всё-то им с руки!
Простим случайные пренебреженья.
О брат мой, это наше продолженье —
мой,

да и твои ученики! . .

Им дарит ночи

новый Самарканд,
но так же полон обещаньем воздух,
и, как для нас когда-то, мчится в звездах
луны неугомонный самокат.

И вновь бредет над миром тишина —
великая, бессонная, немая,
предчувствуя, провидя, принимая,
как женщина,

грядущим тяжела. . .

1960

51. ПЛАТА ЗА СОЛЬ

Помню дедовский жалкий надел
шириною с танап,
на земле неполитой
кустарники тощие хлопка.
От работы у бабушки
не разгибалась спина. . .
В поздних сумерках ужин —
горшок кукурузной похлебки.
Урожая не хватит,
чтоб саван старухе соткать,
всё уходит на подати
да на уплату закята.
В жаркий день для питья
никогда не хватало глотка,
но вода разливалась, журча,
у соседей богатых.
Сколько слез подсмотрел я. . .
Не молкнут в сиротских ушах
вздохи робкие жалоб,
что мир этот плохо устроен.
Вижу темные лица,
печаль, безнадежность в глазах,

слышу стон веретен
и глухой перестук маслобоен.
За стеною
работа тяжелая ткацкая шла,
ну а мне на штаны
даже бязи куска не хватало.
Дочь от оспы единственная
у ткача умерла.
Медлил он и вздыхал, —
видно, силы от горя не стало.
У плотины мираба
бадейками хлюпал чигирь,
как скрипел он,
в движенье слепым ишаком
приводимый...
Прославляю наш день,
предо мной — необъятная ширь!
Но порой
оглянуться на прошлое необходимо.

1961

52. ПЕРВОМУ КОСМОНАВТУ

Мы о небе издревле мечтали и пели.
Ты вступил на его голубые ступени.
Ко всему, что веками поэты слагали,
ты прекрасную песню добавил, Гагарин!
Было небо загадкой, а стало задачей, —
штурм высот поднебесных победою начат.
Человеку достойно быть сильным, крылатым,
он — гигант, человек, а не крохотный атом!
До прекрасной Зухры нам осталось немного —
станет путь до нее караванной дорогой.
Караванным путем к звездам двинутся люди,
Так хотим мы идти. Так идем. Так и будет!

1961

53. НАЧАЛО ЛЕТА

Я хочу написать о начале чудесного лета,
чтобы строчки журчали, струясь, как прозрачный ручей.
Я вручу базилик со словами любви и привета
тем, кто в сад мой войдет, пожелав мне
безгорестных дней.

Полюбуйтесь на мир, как душа моя щедрый, широкий,
на сури отдохните под сенью раскидистых ив.
Или в сердце войдите, не надо стоять на пороге,
я приму вас радушно, в почетном углу усадив.

Дастархан изобилья раскрою бутон за бутонем,
не скупясь угощу долгожданных гостей дорогих,
как подружка заветной подружке, немного смущаясь,
шепотком расскажу о мечтах и желаньях моих.

Посмотрите на эти прелестные саженцы тута.
Сотни дней не прошло, а уже завязались плоды.
Прикоснешься слегка и сияешь, как майское утро.
Если цель благородна — не будут напрасны труды.

Тут подарит плоды розовато-жемчужного цвета.
Мы их «балхом» зовем, «марвартоком» ферганцы зовут.
Он подспорье семье, украшение лучистого лета.
Не ленитесь, друзья, посадите в саду своем тут.

Ароматная, с запахом амбры, мерцает клубника,
первозданно сладка, точно жаркие угли красна.
Нет, не угли. На губы красавицы нежной взгляни-ка.
Вот с чем схожа и цветом, и сладостью нежной она.

Положу на хрустальное тонкоузорное блюдо
темно-красные ягоды лучшей черешни моей.
Кто отведаст это пурпурное сочное чудо,
скажет: «Нет на планете черешни вкусней и сочней».

И за вишни, друзья, похвалите хозяина сада.
Съешь — и спросишь себя, не попал ли ты случайно в рай.
Девять ягод раздавишь, положишь кусок рафинада,
чаю в чашку нальешь — несказанный получится чай!

Гнется медное блюдо под гнетом сладчайших урючин,
точно шарики меда, лежат они желтой горой.
Стрелка каждой ворсинки сверкает, как маленький
лучик,
как летящая мысль, как росинка рассветной порой.

Всюду нынче в избытке созревшие сладости эти.
Вся отчизна — цветник, в каждый сад можно гостем
войти...
Небольшую газель я хотел сочинить на рассвете,
а прошелся по саду — и вышла поэма почти.

1961

54. УЧИМСЯ ДУМАТЬ

Мухтарджан спросил
у своей шестилетней сестренки:
«Мунисхон, а скажи по правде:
ты думать умеешь?»
Мунисхон удивленно взглянула на брата,
хмыкнула, вздохнула
и, наконец
(конечно, чтоб выиграть время, —
о, женское это лукавство!),
спросила:
«А как это — думать?»
Мухтарджан посерьезнел,
свел брови на переносье
и показал:
«Вот, я думаю...»

«А о чем ты думаешь?»
— «У-у, о многом!
Вот... была бы... гора мороженого,
или целый казан каймаку,
или весь наш сад — из одной черешни,
или сыр — во-от такой, как дом...»

У Мунисхон потекли слюнки.
«О-ой! — сказала она. —
Подожди, братик,
я тоже попробую:

вот... была бы хоть одна кукла,
чтоб не портился сразу завод!
И чтоб она меня видела,
даже если закроет глаза...»

«Придумала тоже!
Тебе еще надо учиться!
Вот, например, хочешь быть мамой?»
— «А ты?» — растерянно говорит Мунисхон,
ресницами хлопая,
точно бабочка крыльями.
Мухтарджан сердится:
«Я ж не девчонка!
Это девочки могут быть мамами,
Вот вырасту до пятисот лет —
стану отцом!»
— «И дочка у тебя будет?»
— «Будет сто дочек!»
— «А как их будут звать?»
— «Всех будут звать Мунис!»
— «Ой-ей! — говорит Мунисхон. —
А я, когда буду мамой...
У меня будет тыща мальчиков,
и всех будут звать Мухтар!»
— «Ой-ей!» — говорит Мухтарджан
и, довольный, щелкает языком.
А из водопроводного крана
тихонько течет вода,
и сад негромко шумит,
и двое моих малышей
понемногу учатся думать.

1961

55. БУКЕТ МИРЗАЧУЛЯ

Прохладой Сырдарья неспешно дышит,
пропахла дыней степь за пядью пядь.
Сад весь в цвету, письмо для солнца пишет
в сто тысяч листьев. О любви опять,

Земля кругом, земля — не хватит взгляда.
И мысль, как ток летящая, как свет.
Им для начала слиться было надо,
чтоб всё вокруг постичь, держа совет,

чтобы песчаный, лунный лик пустыни
стал всех земных на радость не скупей.
В простом быту есть вещи непростые,
чтоб их познать, из глубины испей. . .

Шла замуж за Юлдаша-тракториста
в Баяуте хлопководка Латофат,
и жар от их любви пылал на триста
окрестных верст, и пелась песня в лад.

И новобрачных круг гостей согласный
смущал безбрежьем дружбы и родства,
и предсказал им старец седовласый
по веку счастья. Пусть их сложат в два!

А в хрустале пылали розы немо,
что ни бутон — в яйцо величиной.
То был не стих в шесть строчек, а поэма,
покамест не написанная мной.

И старика рябого, безбородого
спросил я: «Чьи взрастили их края?»
— «Хоть дом их — наш совхоз, а нянька я,
не перечешь мне всех колен их рода.

И если есть до поисков охочие,
так тут и выбор полный, и простор:
их маточники из Москвы и Сочи,
из Киева и Бостандыкских гор! . . .»

И разомлел сосед мой и распелся:
«В них всё слилось, всё свой нашло уклад —
роса лесов, рябины сок и персика,
рассвет над рожью, над волной закат. . .»

Ты прав, старик, прав, соловей в ударе.
Прав, мастер от мотыги и поэт.

у пчел ученых уточни,
 как пахнет твой цветник!
 Устрой беседку. Всю вьюнком
 обвить ее не грех.
 Ну вот и всё. Еще взгляни,
 нет ли каких прорех.
 Цветник твой мал —
 всего с ковер!
 Но это ничего.
 Он на страну твою похож —
 так ты взрастил его.
 И будешь часто отдыхать
 ты в этом уголке
 и сладко родиной дышать
 в душистом цветнике!

1961

57. НУ И ЧТО Ж...

Эта девушка — радуга, солнце само.
 Я увидел ее у ворот СамГУ.
 Скинуть годиков тридцать бы! Да не могу.
 Значит, сердца я распахнуть не смогу?

Нет, не так-то я прост, чтоб просто уйти.
 Говорю, чтобы ей уста отворить:
 «На изюмный базар как, скажите, пройти? ..» —
 Вот что я говорю. А что говорить?

Нежно-нежно звучит в ответ голосок —
 ветерка самаркандского утренний вздох:
 «На изюмный базар? Ай, узбек! Вот простак!
 Среди белого дня заблудился, чудака. . .»

В этом городе я от рожденья живу.
 Знаю каждую улицу, каждый дом.
 Только — пусть говорит, даже, может, бранит,
 я навряд ли о том пожалею потом.

Лишь бы слушать ее, лишь бы видеть ее...
Ну а что тут поделывать, раз это так?
Самаркандская звездочка, да, я влюблен.
Ну и что ж?

Полюбил.

Ну узбек...

Ну простак...

1962

58. ВЫМПЕЛ

Это — знамя науки и знамя победы для всех на планете.
В горн трубит Прометей: просыпайтесь, живые,
уже вы не дети!
Это — факел над миром, до дна осветивший
зрачки человека,
наше «Здравствуй!» Луне, встреча старого века
и нового века!
Нас веками свет лунного диска манил в неизвестные
дали.
Верим, сбудется всё, что мечтатели-предки до нас
загадали.
Это — чудо: частица советской земли прикоснулась
к Луне желтолицей.
Праздник в каждой семье, и в деревне любой,
и в столице.
Мысль летит среди звезд, мысль спешит, обгоняя
светила.
Мысль бездонную тьму бесконечных галактик для нас
осветила.
Алишер Навои, вдохновляясь, глядел на Луну и писал,
за страницей страницу листая,
Я, Гафур, может статья, строку завершив,
на Луну — отдохнуть перед новой строкою —
слетаю...

1964

59. ВИШНЯ

Уж если хочешь ты узнать ей цену,
к ее рубинам руку протяни,
перелистай неспешно Авиценну,
на наманганских девушек взгляни.
Так благодатны земли Намангана,
так сочно кровь здоровая красна,
что вишня здесь и созревает рано,
и поражает аlostью она.
Кровавит губы плод ее бескровный. . .
Когда же оторвусь я наконец!
Болит язык, припухли губы, словно
всю ночь я целовался, как юнец!
Вишневый сок, живительная влага,
прости мои смятенные слова,
искрись, вливайся в кровь мою на благо,
пока она, вишневая, жива.
А вишенки мои в саду — всё выше.
И я желаю другу своему:
«Пусть твое счастье множится, как вишни!» —
немалого я пожелал ему.
Сухая вишня нам зимой отрада —
люблю ее чистейший аромат.
Вишневое варенье! Тоже надо!
Поэт варенью, как ребенок, рад.
Дочь сада, вишня, дай припасть губами
и за такую жадность не кори.
Хотя б на миг разбереди мне память,
пожаром лета сердце уколи!

1964

60. УЧЕНОМУ ПРИЯТЕЛЮ

Ты встречался с нами нередко
и говаривал неспроста:
«У Мешхедского минарета
вся обязанность —
красота!»
Что рассказывал ты,
о чем нам?
Речь текла твоя, как ручей.

«Цель учености — быть ученым!» —
вот был смысл твоих речей.
Ты в какой-то блистал пляеде,
чем-то славился, может быть,
но заслуги твои, приятель,
мы успели перезабыть.
Позабыли и взгляд твой вещей,
важность в голосе и в руке. . .
Точно так забывают вещи,
в старом сложенные сундуке.
Ибо память

 не купишь саном —
гордый нрав у нее и злой.
Расстилагется бекасамом
на воде

 керосинный слой,
но подуеет недалгий ветер,
чуть подымет волну вода —
и от пышных расцветок эгих
не останется и следа.
Я не знаю, ты ждал того ли,
откровенно гордясь собой,
только вряд ли б ты был доволен
незавидной такой судьбой.
А чего же и ждать иного?
Есть у жизни свой потолок.
Не воротится к людям снова
тот,

 кто воду в ступе толук.
Если попусту жизнь минуеет —
кто поверит ей, что была?
Ну а прожитая минута —
пуля, выпущенная из ствола.
Дешев воздух, которым дышишь.
Только видел я на веку:
вянут розы,

 покуда пишешь
предисловие к цветнику.
В нас свой опыт

 народ посеял.
Так пускай теперь в свой черед,
точно малые зерна в землю,
наши знанья идуеет в народ.

Мы — точильщики
вечных лезвий!
Нам подсказано неспроста:
«Смысл знания — быть полезным.
Знак величия —
простота».

1964

61. СОРОКАЛЕТЬЕ

Сорок лет.
Сорок дней или сорок веков?
Время меряют разной мерою.
Время ходит за плугом —
и роет окоп.
Время движется быстро —
и медленно.
Дни сливаются в годы,
как в реки — ручьи.
Но ведь цифры
не просто вы сложите.
Сорок лет!
Вы сначала узнаете:
чьи? —
лишь потом
оценить вы их сможете.
И бывают такие эпохи,
когда
точно чудо
случается с числами.
Так потомками
бурные наши года
за столетья
нам будут засчитаны.
Нет, нам жить не пришлось,
о событиях моля! . .
О эпоха моя
удивительная!
Изменяла ты мир,
наполняла моря
там,

где воду лишь каплями
видели.
Разрубала ты нити
старинных тенет,
находила решения скорые,
и вставал,
и язык обретал континент,
немотой вековечную
скованный. . .
Выводила к бессмертному свету
из мглы
ты народ мой,
судьбой обокраденный.
Маяком ты поставила
в центре земли
край мой,
темною бывший окраиной!
Сорок лет
он грядущему отдал сполна,
не утратив задора
и смелости,
и хлопковая в кудрях его
белизна —
то не возраста признак,
а зрелости!
Сорок лет —
разве это года стариков?
Но сравнимся мы опытом
с дедами —
столько всяческих мы
посбивали оков,
столько дел на веку
переделали.
Сорок лет —
точно сорок волнующих лент,
Поколенья
в них всмотрятся
дальние. . .
Ибо, край мой,
стоять тебе тысячи лет —
славной частью
великого здания!

1964

62. ПОЮ ВЕСНУ

Над землей моей синева
удивительной глубины.
Кроет землю мою трава
изумрудней,
 чем изумруд!
Все мы смертны,
 но знаю я:
краски радостные весны
сохраним на земле навек,
и вовек они не умрут.
Говорят мне, что стал я стар,
говорят, что болтлив поэт,
повторяется, мол, старик,
только слово ему давай...
Что ж,
 и впрямь я воспел весну
много раз за десятки лет,
но дивиться я не устал
твоей щедрости юной,
 май!
Сколько вижу вокруг детей,
сколько радостных глаз и лиц,
сколько новых цветет садов,
сколько новых домов стоит!
Говорю я себе порой:
«Если б видел это Ильич!»
Отвечаю я сам себе:
«Он предвидел это,
 старик!»

1964

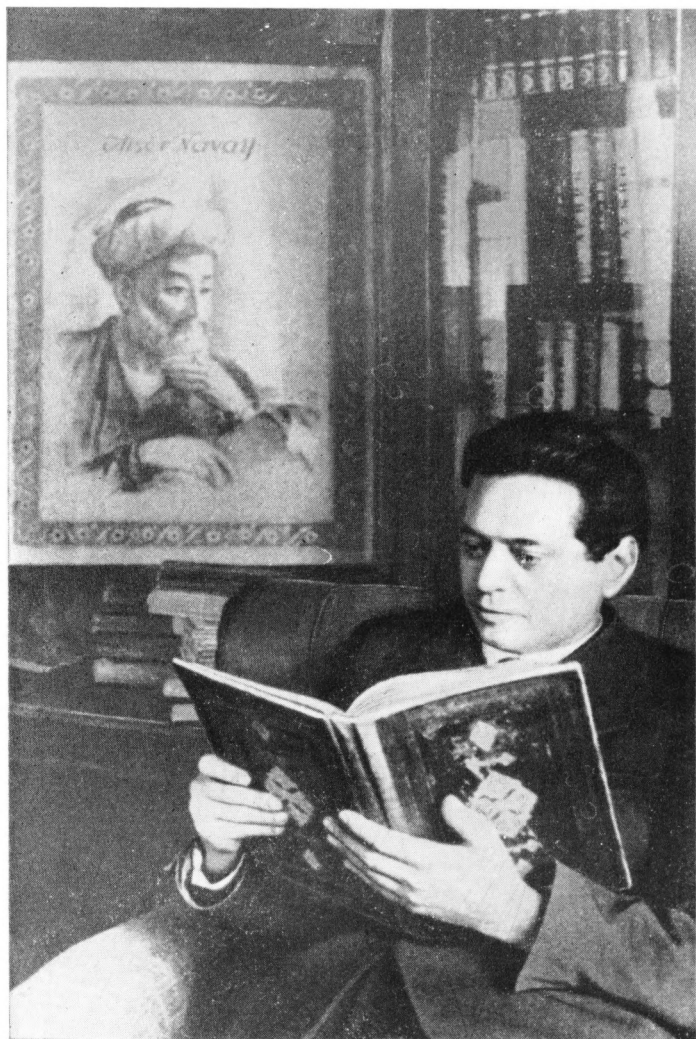
63. АФГАНСКОЙ ДЕВУШКЕ

Стюардессе рейса Герат — Кабул

Я не знаю и сам,
 засветить я смогу ль
эти строки
 ну хоть
 в половину накала,



Айбек



Айбек

рассказать о тебе,
как хотел бы,
Мохгуль,
черноглазая девушка
из Кандагара.
Я не знаю,
сказать о тебе я смогу ль,
если ты мне сама не поможешь,
Мохгуль!

Самолет нас вознес,
как крылатый Гырат,
по воздушному мосту
над полночи адом,
где огни,
уплывая по кругу,
горят,
а секунду назад
еще были Гератом. . .
Как на облако,
облокотившись на гул,
ты легко
в микрофон говорила,
Мохгуль. . .

Как он шел тебе,
синий костюм стюардесс!
Словно в нем
для рекламы
тебя написали.
Словно не на земле родилась ты,
а здесь —
прямо в этой вот форме
под небесами.
Наш Гырат многосильный
крылами махнул.
Ты ко мне подошла,
наклонилась,
Мохгуль. . .

Я же думал:
столетьями долгими
нас

принижали
 вершители судеб Востока.
 Лишь в мечтах нас
 Гырат этот сказочный нес
 над жестокою правдой
 на крыльях восторга.
 И не смею сказать в этих строках,
 Мохгуль,
 как принизили женщин Востока,
 Мохгуль!..

Разорвавших
 проклятья извечного
 круг —
 вас немного еще!
 Но отважная горстка —
 словно ласточки воли
 для тысяч подруг
 в их домашних зинданах,
 в селениях горских...
 Знаю:
 свет нашей воли
 зажегся, могуч, —
 и лучи его
 ты уловила,
 Мохгуль!..

Где-то слева,
 внизу,
 начинался Кабул,
 растекаясь в долине
 неясным сияньем,
 может быть,
 и не видным еще никому
 в этом черном
 немыслимом ночи зиянье.
 Я не знаю,
 тебя повстречать я смогу ль...
 Будь же счастлива,
 вольная птица — Мохгуль!

1964

64. РУССКОМУ БРАТУ

Русский брат! Слушай голос мой. Снова и снова
обращаю к тебе благодарное слово,
ибо строк не найти

и не выдумать од,
чтобы всю благодарность излил в них народ.
В нашем доме советском, в семье нашей — старший,
нам учителем,

другом,
сратником ставший,
сколько отдал ты сердца, и сил, и ума,
чтобы счастье, как солнце, вошло к нам в дома!
Всем, что сам ты имел, поделился ты с нами.
Ты пришел к нам — и знание нес ты, как знамя,
и о том неустанно заботился ты,
чтобы кончилась

долгая ночь темноты,
чтобы трубы заводов и фабрик трубили,
наполнялись каналы, вращались турбины,
закромов у дехкан не осталось пустых
и сады подымались
на месте пустынь. . .

Русский брат, ты победе учился недаром:
стал солдатом ты снова —

и стал командармом
в тот трагический год, когда, ядом богат,
в наши земли заполз он, коричневым гад.
И народное море, что гневом бурлило,
докатило возмездья волну

до Берлина
и, в боях пронеся, вознесло на рейхстаг
нашей общею кровью пропитанный стяг!
Мы и сами иными в сражениях стали.
Так рождаются в пламени качества стали.
Так рождается из общих потерь и побед
песня дружбы,
которой прекраснее нет. . .

И навек благодарны мы русскому брату
за великую правду, партийную правду,

что однажды навеки открыла нам свет
наших нынешних,

прошлых

и будущих лет.

Русский брат наш! От сердца поэта — спасибо.

Сколько уст говорят тебе это «спасибо»!

Мы — с тобой! Нашим вечным вожатаем будь.

Мы — с тобой! Вот наш вечный,

единственный путь.

1964

65

Я уходил от песен и любви,

свой прошлый путь

припоминая трезво.

Я уходил от песен и любви,

все беспокойства

как ножом отрезав.

День впереди лежал, горяч и прян,

без бурь,

и грез,

и сложностей подспудных.

Путь впереди

бежал, как рельсы, прям.

без помыслов и замыслов беспутных.

Я шел и вел победу в поводу,

нам под ноги

сама легла дорога...

Но где-то вдруг,

у финиша в виду,

меня нашла извечная тревога.

И то ли даль причиной, то ли боль —

тень облака на солнечной дороге —

меня настигли песни и любовь

нежданно

на последнем повороте...

Стоит жара.

Опять стоит жара.

164

На клумбах розы
вянут,
вянут,
вянут...
Но схлынул жар,
прохлада ожила —
смотри:

они во всей красе воспрянут!
А в сущности, уже ведь прожит день...
И не цвести —
к земле клониться надо.
Но от стены ложится наземь тень,
и в ней — итог,
и ясность,
и награда.

И розы к тени тянутся,
и в ней
их светлый контур
обозначен резче,
и кажется — слышнее и сильнее
в тени
благоуханные их речи.
А где-то уж открыты врата,
но,
отдыхая под ночным дыханьем,
они, пока сгустится темнота,
еще подарят мир
благоуханьем...

1964

66. ГОДЫ

Очень разными были годы,
мне отпущенные так щедро.
Возвышались они, как горы,
или прятались,
как ущелья;
были жадны и были бедны,
были пышны и были голы,
обступали меня, как беды,

А гроза бушевала. Летели депеши:
долгожданная казнь завершилась успешно!
Но в поспешности этой убийцы забыли,
что убили поэта —

стихи не убили,
и забыли,
что песня достанется струнам,
что убитый — навеки останется юным!

Песни смерть не коснется.

Вина — не скостится,
Палачи, ваша доля казнить —
и казниться!

А стихи по земным разойдутся дорогам,
и сердца перед ними несметные дрогнут,
и к песчаной площадке тропа проторится,
и на сотнях наречий

строфа повторится,
и бесчисленным песня достанется струнам,
и убитый —
навек останется юным!

1964

68. ПОБЕЛЕЛИ ВОЛОСЫ ТВОИ

Жене моей, Мухаррам

Побелели волосы твои,
выцвели, как синева в зените.
Как их под косынкой ни таи —
стали хлопком смоляные нити.
Так привычна эта седина,
но всмотрюсь — и странно мне немного:
неужели вправду так длинна
верности

высокая дорога?
Побелели волосы твои...
Отчего ж мне помнятся так ясно
эти ночи, розы, соловьи —
юности нетронутые яства?
Знаю я, что больше не вернуть
той весны в урюковом угаре.

Но неужто впрямь мы отшагали
нам с тобой определенный путь?
В зеркала зрачков моих смотри —
отражением тебя утешу:
в этом мире
мы с тобой — всё те же,
хоть и белы волосы твои. . .

1964

69. ЗУЛЬФИЕ

В день ее рождения

Тебе, подруга
друга моего,
соратница на ниве нашей трудной,
свой яркий свет
к сверканию его
прибавившая, к славе обоюдной, —
скажу: благословенна седина,
что явлена
высокой жизни знаком!
Приход наш одинаков —
и, однако,
дорога в жизни
разная дана. . .
Мы ж,
в разные рожденные года,
рожденья день
один провозгласили:
тот день,
когда над смутною Россией
заря свободы встала навсегда! . .
Пусть льется свет из твоего окна
и добрый дом твой
полнится гостями, —
и вновь и вновь привычными устами
пригублю я
отличного вина. . .

1965

70. МЕТАНИЕ ЯБЛОКА

(Песня хорезмских девушек)

Мои косы волнисты, как волны Аму,
а зрачки от волнения зыбче волны.
Эй, джигит! Еще яблока я никому
не бросала по правилам старины.

Прямо к сердцу хорезмской девчонки стартер
подключи, комбайнер! Это сердце — огонь.
А язык у хорезмской девчонки остер.
Что, не веришь мне, Джуманияз? Ну-ка, троны!

Там, где хлопок, нельзя хлопотать без души,
а в твоей нынче столько любви и добра...
Матназар, так кого же ты выбрал, скажи,
черноглазый, с бровями — как шерсть у бобра...

Если это — красивая Мамашариф,
не тревожься, по девушкам взглядом скользя.
Вас и в песне и в наших сердцах поживив,
завтра будем женить и взаправду, друзья!

Когда кончено дело, приходит пора
спелых яблок, цветов и счастливой любви.
Пусть метание яблок всего лишь игра,
я тебе его брошу не в шутку. Лови!

1965

71

Как два магнита в тягостной войне,
две сущности

сражаются во мне.

И каждая

всего меня манит,

как эту сталь звенящую —

магнит...

Снова девушки где-то запели,
 вышел месяц
 на темный порог.
 Вдохновенье, капризная пери,
 обмакни мне в чернила перо.
 Подскажи мне слова дорогие,
 чтоб не память,
 что зла и слаба, —
 чтоб сердца затвердили другие
 эти лучшие в мире
 слова.

Ночь сверкнула слезою падучей,
 развернулась звезда, как строка.
 Рыжий месяц сражается с тучей,
 подымая ее
 на рога.

Вдохновенье, капризная пери,
 подскажи мне такие слова,
 чтобы вечно их
 девушки пели,
 голос счастья слышав едва.

1965

73. МАШИНА ВРЕМЕНИ

В прах земной дано нам превратиться.
 Но когда настанет этот час,
 жизни празднество не прекратится,
 как бы ни оплакивали нас.
 И когда в постели я застыну
 в смертном искупительном поту
 или,
 болью яростной застигнут,
 где-нибудь на камни упаду, —
 неизбежность не зови несчастьем,
 попусту словами не части,
 не срывай с холодного запястья
 всё еще идущие
 часы.

Кажутся безжалостными вещи,
мирно продолжающие жить.
Кажутся безжалостными вежи,
мерно отмеряющие жуть.
И в молчанье тикает смешливо,
не боясь, что кончится завод,
времени послушная машина —
кладбище
и кладезь всех забот.
Но подумай: он не нами начат,
этот мир, родившийся из тьмы.
Время продолжается —
и, значит,
в чем-то продолжаемся и мы.
Не кляни оставшиеся вещи
в этот некончающийся миг:
сделанное нами —
долговечней
и куда моложе нас самих.

1965

74

Я отдал жизнь не званьям,
не чинам
и не уйду в безмолвие,
покамест
то зданье,
что с народом начинал,
грядущему
свой облик не покажет.
Я не уйду в безмолвие,
пока
для этих плеч
еще осталась ноша,
и — рядовой
бессмертного полка —
я буду жив,
покуда буду нужен!

1965

75. НИЧЬЯ

И с пошлостью, и с подлостью людской
сражаюсь я

за шахматной доской.

Не кровь из ран — тупая боль в висках.

Зато войска — бессмертные войска!

Не гром угроз, не восклицаний медь:

мой ум бессонный —

мой разящий меч...

Враги мои упорны и сильны:

коварства кони, тупости слоны.

Их лозунг — ложь, их знамя — белый флаг.

Я бью их в лоб,

они меня — во фланг.

Я не боюсь, ведь я не тех кровей,

но

жду их справа, а они — левей!

Рассыпались — и вновь они в бою...

Своей считают

партию мою!

Мне говорят: «Послушай, не срамись.

Ну что тебе? Иди на компромисс.

Ты только посмотри, какая рать!

Ну разве их тебе переиграть?

Что за беда,

коль путь чуть-чуть кривей?..»

Нет, не умею. Я не тех кровей!

Через поля надежды и тоски

пройду я из конца в конец доски,

промучусь дни и недосплю ночей,

но партии

не кончу я ничьей.

Страшней, чем это,

нету

в мире зла:

на «Чья взяла?»

ответ: «Ничья взяла!»

Пускай, кто хочет, сводит жизнь к нытью.

Пускай, кто хочет, сводит жизнь

вничью.

Я не пожму руки у подлеца.
Я осужден сражаться
до конца!

Мне говорят, мне снова говорят:
«А что в конце? Ничейный результат. . .»
Мне говорят, что буду я — не я,
когда придет
последняя ничья. . .

Но я в лицо ей крикну, что она
лишь издали всесильна и страшна!
И я скажу ей:
«Вот мой прах земной,
а все-таки
ты зря пришла за мной!
Я не терпел бахвальства и нытья —
и я не твой,
великая Ничья! . . .»

1965

76. ХУРДЖУН

Жизнь — не ровная нитка на веретене,
не бесстрастное в небе паренье.
Время жизни — хурджун на верблюжьей спине,
пополам поделенное время.
Над загадкой
недаром трудились умы.
Ты, в седле восседающий,
ведай:
наше прошлое — в той половине сумы,
а грядущее наше — вот в этой.
Настоящему
места в суме не найти. . .
Половины меняются в весе.
Берегись: и в конце и в начале пути
тяжело сохранять равновесье.
Не дано
настоящее взвесить весам —
так уж есть это, любо ль, не любо.

Но пойми:
 настоящее — это ты сам!
Это ты
 погоняешь верблюда.

1965

77. УТРО

Плывет дымок над низкими домами,
уходит ночь, оставив влажный след.
Звезда едва истаяла в тумане,
заря венчает
 пепельный рассвет.
Конь вороной стреножен и обуздан,
в ночных полях он нагулялся всласть,
и свежестью и аlostью арбузной
заря по краю неба разлилась.
Родятся тени, протянувшись длинно.
Неузнанный,
 в них где-то спрятан зной.
Седая не по возрасту долина
манит к себе неясной белизной.
Ткет солнце осторожными руками
свой белый день,
 а пряжу прят восток.
И тянутся лучи, основа ткани,
и белые поля,
 ее утók...

1965

78. В ГОРАХ

Горный ключ отпирает мне сердце.
Глухо щелкает старый замок.
Поднимается вверх по соседству
чуть заметный
 прозрачный дымок.

В старом платье своем некрикливом
вновь арчи

 принимают весну
и, лепясь по кривому обрыву,
выпрямляют его кривизну.
Стоит чуть отойти от машины —
и предстанет игрушкой она.
И величье, и трудность вершины
только здесь

 понимаешь сполна.
На тропинку я вышел — и вижу,
как наверх по ней дальше идти.
А в машине

 и впрямь уже выше
не проделать и метра пути.
Ни колеса, ни слава, ни ссуды
не заменят усилий твоих.
Лишь одно ты и можешь отсюда —
на своих подыматься двоих.
Так целительно снега соседство,
высота непреклонная круч!
И легко

 в мое старое сердце
входит горный
пронзительный ключ. . .

1965

79

Вечер тени стирает с окон.
Выйду в сумерки,
 в сад сойду.
Птица юности, ловчий сокол,
ожидает меня в саду.
Пахнет в воздухе дикой мятой,
месяц в облаке утонул.
И кусты низки и косматы,
как киргизских коней табун.
От прохлады ли, оттого ли,
что сменяется зыбкость тьмой, —

жаркой жаждою, хищной волей
наполняется голос мой.
Так и кажется, что от крика
дрогнут сумерки
и, маня,
там, за садом,
как степь открыта,
вновь раскинется
жизнь моя! . .
И стоят вдоль обочин вишни,
в белой пене цветов по грудь,
точно девушки в белом вышли
проводить меня в новый путь.
И у самых ли звезд, высоко ль,
иль у веток, где тень крива,
птица юности, ловчий сокол,
простирает
свои крыла.

1965

80. ОСЕННЯЯ СТРАНИЦА

1

Чуть ветер деревья сутулит
и песен несет разнобой.
Краса нарядившихся улиц
с рассвета
открыта толпой.
В чернеющем кружеве веток
так празднично
листья пестрят.
Открыто братается с ветром
торжественный флагов парад.
Победа! . .
Сегодня про это
на все нам напомнят лады
эфир и газеты,
поэты,
докладчики и тамады.
Смолкают тревожные были,
прогнозов дурных суета,

и радости изобилье
свои надевает цвета. . .

С невиданно ранней победой
с утра

час поздравил эфир.

И мы понимаем, что это
не климат нам милость явил.

Что как ни считайте по году
количество солнечных дней

и как ни хвалите погоду —

но дело

в итоге

не в ней.

Хоть пафос излишний и ложен,

но дело-то все-таки в том,

что подвиг невиданный вложен

в любую

из выданных тонн.

И труд, освященный веками,

судьбу этой битвы решил,

и сделано это

руками

и силой

людей — и машин.

2

Страда на исходе. Однако
по-прежнему осень строга.

В предвестии зимнего знака

торопит обозы страда.

Всё смолкло — как в штиль перед бурей.

И пестрым расцветкам вослед

один воцаряется —

бурый

земли отдыхающей цвет.

Почет победителям воздан.

Прозрачны поля и пусты.

Сложившим оружие войском

стоят на них хлопка кусты.

Не просят ни солнца, ни влаги

за ратный

немеренный труд.

Последние белые флаги
лоскутьями где-то мелькнут.
Страда на исходе! . .
Но где-то,
посевам дорогу торя,
зачинщики новой победы,
идут на поля трактора.
Им ясно, что в песне победной
конца настоящего нет,
пока не опустится

белый
зимы торжествующей цвет.
Страда на исходе. И всё же
с повестки еще не снята.
Дорогами и бездорожьем
по-прежнему правит страда.

3

В страду я поездил немало,
особенно в эту страду.
Немало дехкан мне внимало,
ловило дыханьем строку.
И я, как они, не в обиде
на нынешний щедрый октябрь.
Я столько услышал, увидел —
до лета

обдумать хотя б!
Картин непоказанных части
мне некий механик крутил.
И я размышляю всё чаще
о сущности этих картин.
Да,
в технике шаг наш не робок.
С людьми же — иной поворот.
А трудится в поле не робот —
живой человек, хлопкороб.
Рожай славословья пудами —
их подвиг не будет раздут.
Я видел,

какими трудами
бунты на хирманах растут.
Чего она стоит, победа, —

об этом подумай,

поэт.

А в строчках о золоте белом
особенной важности нет.

И всё же скажу — не от скуки,
не просто словечком блесну:
какие же

чистые руки
такую творят белизну!
Не только тропическим летом —
руками наш хлопок согрет,
и, значит, действительно в этом
побед и успехов секрет.

1965

81. РОДИНЕ

О Родина, земля, отчизна золотая,
ищу тебе слова,

руду свою дробя. . .

В залитый солнцем мир мечтою залетая,
я с детства

матерью

именовал тебя.

Я знал, что от тебя — тепло души и тела,
и воздух в легких весь,

и сила слов и мышц;

и если пелось мне — то это ты мне пела,
а если я лечу —

ты мой полет стремишь!

И спетой песни звук, воды испитой сладость
останутся в душе,

навек в нее запав;

и, силу мне даря,

ты не простишь мне слабость,

коль растрянжирю зря

бесценных дней запас! . .

И шли года мои.

А их немало было!

И май надежд моих

сменил июль забот.

Снял урожай сентябрь.
 И поздний час пробило.
 Дохнуло январем: итог подводит год.
 Мать-родина, но ты ведь
 тоже стала старше!
 И радость и беда
 в прошедшем стали в ряд. . .
 А я гляжу вокруг — и вижу: ты всё та же!
 Да что я говорю — моложе во сто крат!
 Сверкают юностью электростанций очи,
 и гребень из лучей —
 над чащею лесной.
 И желтизну пустынь,
 и пятна почвы тощей
 смываешь ты с лица хлопковой белизной! . .
 О мать моя земля, Отчизна золотая,
 твой самый малый вздох
 я мыслью стерегу.
 И в давние года мечтою залетаю. . .
 Но «мама» говорить неловко старику!
 И я горжусь тобой!
 Так дочь гордишься,
 что превзошла отца блистательной судьбой.
 О Родина, ты впрямь мне в дочери годишься,
 и разве старику
 угнаться за тобой?
 Но слышу я в ответ:
 «Тебе ль в тиши усесться,
 Гафур,
 и ждать, чтоб век
 твой садик посетил?
 Покуда реки жил в твое впадают сердце,
 пусть тают на висках
 снега твоих седин!»

1966

Песни народной стенанья, и боль,
 и задыханья, и вскрики. . .
 Все боли, что были до нас с тобой,
 в ней непостижно скрыты.

Блеснет драгоценно пословицы смысл —
крупинка в море песчаном. . .
А тысячи судеб просеял и смысл
времени ток беспечальный.

Слово — страж,
разрешитель от уз,
друг или враг коварный. . .
Тысячи тысяч страждущих уст
веками его ковали.

И лишь потому той песни звук
в нас отзовется болью,
что сотни сердец из мрака зовут
их горькой упиться любовью.

И лишь потому сомнения тьму
порой рассеет присловье,
что сотни умов подсобят твоему
правду рассорить с ложью.

И лишь потому твои слова
к людям доходят в силе,
что до тебя их в муках сперва
тысячи произносили.

1966

83

Как шелуха слетают ложь и зависть,
трамвай уходит,
где забот битком,
когда во мне таинственная завязь
опять,
опять становится цветком.

И всё равно, темнеет иль светает
и
сотенная иль пятак в горсти,
когда во мне нежданно расцветает,
чему потом
над временем цвести.

1966

84. САД

Просыпается под вечер сад,
продремавший весь день в отдаленье.
Тянет тени навстречу —

и сам
мне свои представляет деревья.
Я гляжу на громадный чинар
и считаю года его тщетно.
Он таким же, как я, начинал,
только как же он

вымахал щедро!
Возраст тополя старше, чем мой,
но растет он, не дряхл, не увечен,
аистиною тонкой чалмой,
точно праведник некий, увенчан.
И деревья стоят на смотру,
возвратясь из полуденной Мекки,
а жара выплавляет смолу
из разохшейся

старой скамейки.
Как ее древесина смогла
столько лет
сохранять свои соки! . . .
Вот и старая грусть, как смола,
выступает из сердца на солнце.
Но теперь, в поколение втором,
чувства старые

ясны и строги.
Застывают они янтарем,
превращаясь в прозрачные строки.
Не спешите ж предать их суду,
если старое сердце солгало
и, тоскуя в вечернем саду,
утешенья пустого взалкало. . .

1966

85. ЧАСЫ СТУЧАТ

Вторглось время в жилище мое.
Как сердечник —
в цеху и за чаем —
вечно чувствует сердце свое,

так я времени ход
замечаю.

Честны чувства, и мысли чисты,
но,

минуты упрямо считая,
всё стучат в моем доме часы,
приговор безымянный читая.
В пору спелых янтарных кистей;
зим,

раскинувших снежные сети;
среди комнаты, полной гостей;
в опустелом моем кабинете;
за вечерней вознею внучат;
за дневной суетой телефонной —
чуть задумаюсь, слышу: стучат! —
отбивают

секунд перегоны.

Ни на день не замрут, ни на час,
не боясь ни жары, ни озноба.
Засыпаю — и слышу: стучат!
Просыпаюсь — и слышу их снова.
В шуме полдня, в полночной тиши —
в них одна неизменная нота.
«Поспеши, — говорят, — поспеши,
нам стучать остается

немного. . .»

Срок заложен в железном мозгу.
Это век мой уходит из дому.
Удержать я его не могу —
лишь наполнить могу

по-другому.

Как ни тщись, как ни морщи чело,
как умело ни строй предложенье,
удержать не дано ничего,
лишь поверить дано

в продолженье. . .

О часы! Ну и пусть.

Ну и пусть!

Не считайте,

что всё сосчитали.

Долгий путь позади, добрый путь,
и его

не измерить часами.

И на этой равнине земной,
где так трудно дорога торится,
то, что прожито, пройдено мной,
хоть продолжится — не повторится.
Ибо, рад я тому иль не рад,
но за истину эту в ответе:
я живу только раз, только раз,
но зато

и один я вовеки!

Пусть без счета блещут имена —
сабли, выхваченные из ножен:
был неполон бы мир без меня —
как и я без него

невозможен. . .

Так пускай, не колдуя с числом,
если чьи-то исчерпаны сроки,
переводятся стрелки часов,
точно стрелки

железной дороги.

Пусть извечная длится езда,
поглядим на нее беспристрастно.
Мы сойдем. . . Но идут поезда
через время,

как через пространство.

И когда от свобод и от пут
я уйду в притяженье земное,
добрый путь, я скажу,

долгий путь

всем,

в дороге оставленным мною!

1966

86

Цветок опавший превратится в плод.
Упавший плод оставит в мире семя.
Всесильна жизнь! Но настигает время
тех, кто замыслил
круговой поход.

Забудь слова, что в сердце ранят нас.
Живи один, безмолвно и покорно.

185

Пусть без тебя рождают всходы
зерна
и снова снег скрывает их от глаз.

Живи один — и ты умрешь один,
ты весь умрешь, и тень не сохранится,
и не оставит пыльная страница
следа твоих кудрей или седин.

И не метнут стрелу, как лук тугой,
уста,
что о тебе сказать могли бы,
И ввек не осенит твоей могилы
то дерево,
что посадил другой.

1966

87

Ты — как слово.
Как ветер.
Как ветвь,
протянувшаяся под ветром.
Я держу пред тобою ответ
и сознаться боюсь себе в этом.

Мне б стоять и стоять на ветру,
в беспричинной и радостной верс.
Но едва его в доме запру —
умирает его дуновенье.

После бурь выпрямляется сад —
ветвь, что сломана,
не разогнется.
Я беру мое слово назад —
да оно уж ко мне
не вернется.

1966

Оцени, осени меня, осень,
я по праву и возрасту твой.
Я из тех, кто дарует колосьям
превосходство
над сорной травой.

Я пешком прошагал по дорогам
и, минуя последнюю треть,
ожидая от жизни немного:
ясным взором
ее досмотреть.

Пожелтела вода по арыкам,
и земле воздают за труды
щедрым золотом в купах урюка,
серебром скуповатым джиды.

Мне бы тоже иного не надо,
и за труд неизмеренный мой
я хотел бы такой же награды,
когда стану
вот этой землей.

1966

Месяц молодой, мой старый друг,
вот и вновь мы встретились с тобой.
Кто-то звезды выронил из рук
в белый дым
над черною трубой.

Захлебнулась сонная вода,
сонный перепел умолк в кустах.
Всё, как было в давние года.
Все и так — и словно бы не так.
Старый тополь стонет над водой.
И деревьям
старость тяжела.

Ствол гудит, как черный столб пустой,
закипает в листьях тишина.

Так листвы обильно серебро,
что его хватило б на двоих!
Видно, взяли у него ребро,
никого взамен
не сотворив...

Месяц молодой, мой старый друг,
вновь ты поднял тонкие рога,
как козленок, выбежав на луг,
где паслись седые облака.
Ты ныряешь в воду —
и у ног

вдруг
на миг
становишься похож
то ль на чей-то брошенный клинок,
то ль на кем-то выроненный ковш.
Вот блеснул,
пропал,
ушел на дно,
в темную лекарственную муть...
Только выплывать тебе дано,
ибо ты
не можешь утонуть!

Сколько встреч мы помним и разлук:
был я мальчик, стал старик седой,
месяц молодой, мой старый друг,
старый друг мой, месяц молодой...

1966

90

Сдало сердце — как мотор в полете.
Поздно хорохориться и врать.
В пахнувшей лекарствами палате
я лежу,
и пульс считает врач.
Только что он может,
этот доктор!

Сдал мотор —
и в черные пруды

я вот-вот

с последним жалким вздохом
упаду с огромной высоты.

Нет, я смерти не привык бояться.

Но сейчас загружен я, как ТУ.

Сколько разных жизней разобьется,
если я в полете упаду!

Доктор, доктор,

помоги пилоту,

дай мне до посадки дотянуть...

Заполняет медленно палату

темная,

дурманящая муть.

Звездный дождь сквозь плоть мою несется.

Дальний путь метели замели.

Сердце, словно гаснущее солнце,

медленно обходит вокруг земли.

Что тут делать горькому отвару,

шприцу с осторожной иглой?..

Проявив безумную отвагу,

доктор наклонился надо мной.

И не то я чувствую,

не то я

вижу эти страшные труды:

доктор мой копается в моторе,

сам вися над пропастью беды.

Вот уже и сброшена со счета

ужаса дурманящая муть...

Доктор, доктор,

кто бы мог еще так

смерти виснущей

в лицо взглянуть?

Тень крыла ровней плывет над степью,

сам простор

приветственно поет...

Весь в поту, живой лежу в постели.

Доктор,

продолжается полет.

1966

Эти песни не хотят на пенсию,
в толчею собраний сочинений,
под опеку дошлых комментариев,
вынюхать способных

всё на свете.

Эти песни не хотят на пенсию —
есть у них еще глаза и руки,
и еще живет между лопатками
холодящий ветерок полета.

Эти песни не хотят на пенсию —
им еще работать

и работать. . .

1966

А женщина похожа на Луну.
Так нам твердили много сотен лет,
что мы в плену иллюзии, в плену,
которому конца и края нет.
А женщина похожа на Луну,
и свет ее — земной, заемный свет.

О луноликая моя, клянупу
всю ложь, которой верил столько лет!
Я снова, снова к памяти прильну,
как паранджу, сорву с нее запрет
и свет пролью на истину одну:
мы дни проводим рядом,

день ко дню,

и лишь когда идет наш век ко дну,
мы видим, кто

дневной нам дарит свет!

Пускай предмет походит на предмет,
но, образом однажды становясь,
он в мире откровений и примет
иную устанавливает связь.
Лгала, лгала нам древних строчек вязь!

О нет, моя обиженная, нет,
ты вовсе не похожа на Луну! . .
Я видел фотографию одну.
Там след веков — как равнодушья след,
в красе там нет тепла — там жизни нет!
И как же смел я верить столько лет,
что ты, любовь, похожа на Луну!
Прости меня, я долго жил в плену
нам лгущих преднамеренно примет. . .

Прости меня: я был рожден в плену,
которого для вновь живущих — нет.

1966

93. АХ, НЕ ПЛАЧЬ, МОЕ СЕРДЦЕ

Ах, не плачь, мое сердце, над теми,
кто ушел под цветы,
под траву.

Снова солнце в зеленое темя
поцелует чинары листву.

Не с того ль ты всё помнишь о том же,
не затем ли печаль нам дана,
что с тобой нам когда-нибудь
тоже

эта доля и даль суждена?

О, какие далекие дали
между нами и ними легли
в ту минуту, когда насыпали
мы на них

эти метры земли!

Эти метры, не знавшие меры,
расстояния в целую жизнь,
эти тяжкие камни — приметы,
что под ними

ничто не лежит. . .

Ах, я знаю, не в том и беда ведь,
что слезами любовь полита
и что горе нас камнем придавит,
точно свежую землю —

плита.

Мы клянемся, что будет сквозь годы
так же

эта минута видна,
только память уходит, уходит,
как из мертвых арыков вода.

Не забвенье и не примиренье —
их

от нас отделяет, живых,
точно горы, обычное время,
что прожить мы успели без них.

Имена превращаются в тени,
над могилами косят траву,
и во сне лишь мы плачем над теми,
кто так дорог нам был

наяву.

И опять вспоминаем о том же,
и печаль потому нам дана,
что когда-нибудь, где-нибудь

тоже

эта доля и нам суждена.

1966

94

Мы не видим, как хлопок цветет:
проезжаем в горячую пору,
чтоб,

вставая, едва рассветет,
до заката работать,

до поту.

И не помним, придя на поля,
с белизною вступая в сраженье:

и у хлопка
 бывает пора
голубого, как небо, цветенья. . .
Мы немало удобств завели,
оседлавшие век горожане.
Отгорожены мы от земли
телефонами и гаражами.
Но, хоть дедов кишлак и далек,
всё же правило живо простое:
тот,
кто хлопок и хлеб нам дает, —
он и дарит наш мир
 красотою.
Посмотри ж на земные плоды
не беспечным ценителем пищи —
и в рождении их красоты
и свое ты начало отыщешь.
И припомнишь, идя на поля,
на свиданье
 со снежным свеченьем:
и у хлопка бывает пора
голубого,
 как небо,
 цветенья. . .

1966

95

Нам тоже в чью-то память перейти.
Но завтра
 есть у нас еще, покуда
несделанное наше — впереди,
как некое
 отсроченное чудо.
Пока еще не отдана на слом
та кузница, где мы разводим пламя,
пока еще мы
 завтрашним числом,
а не вчерашним
 помечаем планы.

193

Нам тоже в чью-то память перейти.
Пускай же нас грядущее оплавит,
чтобы всегда мы были впереди,
когда бы нас

ни воскресила память;
и, брэнное обличье потеряв,
страхнув его, как ношеное платье,
мы,
как скелеты черные дерев,
весной бы снова облекались плотью.

Нам тоже в чью-то память перейти.
И что там в ней ни сгинет, ни потонет,
еще мы друг для друга — впереди,
не торопись,

мы встретимся, потомок!
Нам долгая обещана пора,
и эту власть спасают от сверженья
живущие на кончике пера
восторг и боль,
надежда и свершенье...

1966

96. ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕЛЬ

Дуновенье любое — любви дуновенье.
Словно тень, обгоняет слова
вдохновенье.
Не из славы сплетаю непрочную сеть —
я ловлю на уду
золотое мгновенье.

Розу — за ухо, сердцу на память — газель:
миллионам влюбленных мое подношенье.
Я воспел наше утро, и полдень воспел —
вдохновись,
мое сердце,
вечернею тенью!

Сорок внуков сегодня у стройной моей...
Хочешь до ста дожить —
набирайся терпенья!
Я хотел этот трепетный вечер воспеть —
разве даром Гафур
звался мастером пеня?..

1966

ПОЭМЫ

97. КУКАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КУКАН - БАТРАК

1

Так было иль не так, начнем рассказ.
Жил в Чусте хлебороб Маманияз.
Аллаха чтил, имел земли клочок,
где пробегал арычок — ручеек.
Был вдов, уныло дожил до седин.
Одна отрада — подрастает сын.
Решив, что лучше не вступать в колхоз,
колючкой жалкой свой клочок обнес.
И вместе с сыном, одинок и хил,
надсаживался до потери сил.
Он не был, честно говоря, умен:
хотел, чтоб сын таким же был, как он.
Однажды он сказал: «Кукан, сынок,
я, кажется, не в шутку занемог.
Дрожу, как тал трухлявый на ветру,
сдается мне, что скоро я умру.
Ты слушай, что я говорю, не плачь,
останется тебе: земля, омач,
бычок, упряжка, домик наш, арба —
достаточно для божьего раба.
Веди хозяйство бережно. Женись.
Дом без жены не дом, и жизнь не жизнь.
Вот так. . . Сумеешь — землю прикупай.
Старайся стать таким, как Шарифбай.
Что невдомек — не делай наугад,
спроси у тех, кто знает, кто богат:

у бая, у муллы. . . Плохого нет — от мудрых мудрый выслушать совет. Ну вот и всё», — вздохнул Маманияз. Потом пришел его последний час.

Оставшись без отца, Кукан сперва не знал, как быть. Кружилась голова: всё прожито, кормов пропал и след, пучка сухой соломы в доме нет. Подумал, потомился, а потом пошел за наставленьем в байский дом. Два раза поклонился и сказал: «Шариф-ака, что делать, я пропал! Скажите, как мне справиться с бедой. Отец мой умер, стал я сиротой. Поминки, саван — вот и пуст карман, хоть в петлю лезь: ни денег, ни семян!» — «Ну, это пустяки, — ответил бай, — найдем тебе деньжат, не унывай, но знай: посеешь хлопок — пропадешь. Работы много, а дохода — грош. Пшеницу сей. Посеешь по весне, потом две трети урожая — мне. А деньги вот. Ну что ж, бери, Кукан!» Так бай заманивал юнца в капкан. Кукан замялся: «Взять или не взять? Взять не хитро, сумею ли отдать?» Минуту помолчал, махнул рукой, сказал: «Посмотрим!» — и ушел домой. Подумал: «Если вдруг неурожай — бай всё отнимет, обездолит бай». Продал халат, продал большой казан, купил полмеры луковых семян. Решил поглубже землю бороздить, решил прополку чаще проводить. Сказал себе: «Коль хорошо пойдет, тогда женюсь на следующий год». Изматывался, не жалея сил. Отсеялся, шалаш соорудил. Сидит и сторожит. . . А для чего? Кто столько лука купит у него? И не купили. Заработал грош, хоть урожай и вправду был хорош.

«Беда, — сказал бедняга, — ах, шайтан!
Каких же мне теперь искать семян?
Спросить, узнать. . . А у кого узнать?
Бай оскорблен — не станет отвечать. . .»

Не зная, посоветоваться с кем,
так маялся Кукан. А между тем
колхозники уже не раз, не два
беседовали с ним: «Эх, голова!
Уперся на своем, как в землю врос.
Тебе давно пора вступить в колхоз.
Для бедняков таких, как мы и ты,
колхоз — осуществление мечты.
Когда мы вместе, кто сильнее нас?
А кулачью уже не́ долго час.
Решайся, парень. Станет общим труд —
пустыни цветниками расцветут».
Но был упрям Кукан. Все «нет» и «нет»,
«Я буду жить, как мой отец и дед».
И, вспомнив кстати о словах отца,
пошел к мулле. Склонился у крыльца,
прочел вечернюю молитву «шам»,
сказал: «Святой отец, я с просьбой к вам.
Затмила мне глаза незнания тень.
Что сеять мне: пшеницу иль ячмень?»
Вздыхнул и так, чтоб увидал мулла,
рублевку положил на край стола.
Мулла благословенье пробубнил,
раскрыл Коран и сказку сочинил.
Сказал: «Велик аллах! Внимай, Кукан.
На твой вопрос мне дал ответ Коран.
Устами бога так глаголет он:
«Кто сеет просо — будет награжден».
Усвоил речь? Уразумел — о чем?
Уснешь ни с чем, проснешься богачом»,
И заключил, дурача простака:
«Аминь, да будет жизнь твоя легка!»

Пришел домой обманутый Кукан.
Взял в долг у друга пять пудов семян.
Посеял просо, чтоб ему сгореть!
Изныл душою, желтый стал, как медь,

Земля была, как жизнь, тоща и зла,
взяла все силы, горсточку дала.
Не хватит даже долг вернуть. Беда!
А впереди — морозы, холода. . .
Но если взял — отдай. Таков закон.
Кукан скорбел: зачем родился он?!
Уж лучше камнем быть, лежать в пыли,
чем жить крестьянином — рабом земли.
Но плакать да стонать — какой же толк?
Вновь продал часть пожитков, скинул долг.
Потом, чтоб худо-бедно, как-нибудь
до теплоты, до лета дотянуть,
с корчагами расстался, с хомутом. . .
Так оголяя двор, сарай и дом,
порою сыт, порою натошак,
дождался вешних дней Кукан-бедняк.
Сказал: «Что сеять, сам теперь решу.
Ни у кого совета не спрошу».
И выбрал репу. Хороша к столу
и на продажу, а ботва — волу.
Опять залез в долги, семян купил,
опять трудился до потери сил,
а результат — о господи! — опять
такой, что впору лечь и помирать.
Повез на рынок ворох чуть не с дом,
и хоть бы кто-нибудь спросил: «Почем?»
Вокруг смеются: «Караул! Вайдот!
Мы репу кушали в голодный год.
Иль ты соскучился по той поре,
рехнувшись на своем пустом дворе?»
Язвят, подкусывают так и сяк.
Совсем лишился головы бедняк.
Пошел, вола навьючил и — айда
в далекий путь. Куда? А вот куда.
Был у него знакомый Кулунтай,
жил в Вуадиле. Не сказать, что бай,
но не из бедных. Вкусно пил и ел,
поскольку маслобойкою владел.
Кукан нанялся на зиму к нему.
Крутил машину, поджидал весну.
Весной в кишлак вернулся и опять:
«Что посадить? Как семена достать?»

Вот тут-то бай Шариф, неждан, незван,
пришел к бедняге: «Как живешь, Кукан?
Ой, вижу, подсекла тебя нужда!
И это всё — твои земля, вода.
Томишься, маешься уж третий год. . .
Отдай их мне, избавься от забот.
Стань у меня издольщиком, Кукан,
не пожалеешь, будешь сыт и пьян.
Посеешь на земле морковь и маш,
оставишь долю, девять мне отдашь.
Ну что замылся? Соглашайся, брат,
к зиме получишь сапоги, халат.
Чем не житье? Хоть в стужу, хоть в грозу
сиди и попивай себе бузу».
Понасулил, с три короба наплел
и, усмехаясь в бороду, ушел.
Кукан помаялся еще денек
и согласился. Устоять не смог.
Поставил снова на поле шалаш.
Посеял — вырастил морковь и маш.
И что ты скажешь! Неудача вновь.
Маш — точно камень, несладка морковь.
И — недород. Произвели дележ —
с одной десятой с голоду умрешь!
Быть может, бросить землю и бежать? . .
Нет. Так себя не станешь уважать.
Опять на маслобойку? Нет, не так.
Там прижился уже другой батрак.

И вот доел он маш, доел морковь,
стал желт и тощ, как потерявший кровь.
А тут — зима. Земля белым-бела.
Махнул рукой: «Пойду продам вола!»
Повел, погнал скотину на базар.
А вол — совсем скелет, хоть и не стар.
Кого прельстит? Найдется ль вертопрах —
взять эту грусть на четырех ногах?
Один съязвил: «Да разве он живой?
Он — призрак, тень, ручаюсь головой!»
Другой сказал: «Покуда не подох,
задаром я бы взял. Уж больно плох!»
Тут маклеры вмешались: «Покупай!
Откормишь — станет гладким, точно бай!

А ты продай, но много не проси,
а то упустишь, боже упаси!»
Кукан подумал: «Чтоб не прогадать,
за три червонца надо бы вола продать».
Но так как он совсем не ел с утра,
два попросил, отдал за полтора.
Всего лишь? Да, не более того.
Но лучше что-нибудь, чем ничего.

2

Прошло немного дней. Взволнован Чуст.
Большая весть у всех не сходит с уст.
Еще сто пять дехкан (да-да — сто пять!)
колхозниками захотели стать.
Кишлак шумит, гостей из центра ждет.
В день смерти Ильича назначен сход.
Предсельсовета ходит по дворам,
к середнякам заходит, к беднякам,
зовет и женщин, не одних мужчин.
У нас теперь для всех закон один.
Кукана встретил. «Как живешь?» — спросил.
Поговорил и тоже пригласил.
Но вот и день настал, и час настал.
Повсюду заспешили стар и мал:
«Скорей, друзья, скорей, уже вот-вот
приедут гости и начнется сход!»
Собрали бедняков, середняков,
собрали молодых и стариков.
Всех работяг собрали на майдан.
Явился, озираясь, и Кукан.
Стал с краешку, оперся на дувал.
«Не уставать вам!» — вежливо сказал.
И услышал: «И ты не уставай.
Что стал в стороночке? Сюда давай.
Ну как у бая? Роскошь? Благодать?»
Кукан молчал, не зная, что сказать.
Дул быстрый ветер, трепетал врастяг
багряный с траурной каймою стяг.

Вдали заметно за клубилась пыль,
к майдану подкатил автомобиль.
«Приехали! Приехали! Ура!» —
ликуя закричала детвора.

Приехавшие не спеша сошли,
к столу президиума подошли.
Предсельсовета встал и встретил их.
Сказал: «Вниманье!» — и майдан затих,
«Собрание трудящихся крестьян
открыто!» — услышал бедняк Кукан.
И тут оркестр колхозный заиграл
великий гимн «Интернационал».
Все поднялись. Торжественна, сильна
лилась, лилась мелодии волна.
Потом, когда последний звук затих,
один из хлопкоробов молодых
сказал, затронув души и сердца:
«Товарищи, в честь Ленина-отца
одну минуту молча постоим».
И стало тихо-тихо... Недвижим
стоял Кукан. Растроган, удивлен,
едва от слез удерживался он.
Всё было ново, всё наперекор
тому, что видел он до этих пор.
Кто вел собрание? Батрачка. Вот она
спокойно поднялась, ловка, стройна,
сказала всем: «Сейчас начнет доклад
инструктор из райкома Халмурад».
Рукоплескания, приветный гул.
Встал парень в кожанке, вперед шагнул,
Заговорил. В словах — задор, призыв,
Кукан внимал, дыханье затаив.

«Товарищи! Прошло уже шесть лет,
как умер Ленин, но его завет,
его дела, мечты его размах —
не в наших ли стремленьях и делах?!
Объединясь, идя его путем,
мы людоедам-баям сердце рвем.
Везде у нас кипит ударный труд.
Растут заводы, фабрики растут.
Гиганты эти каждый день и час
ударных темпов требуют от нас.
Ишаны, баи строят козни нам,
шипят, язвят, желают розни нам.
Пускай! Мы тоже не лежим, не спим,
Наш каждый трактор — оплеуха им.

Распашем, унавозим все поля —
богатый урожай вернет земля.
Коль станет сплошь колхозным наш кишлак —
мулла увянет, скрючится кулак.
Кто он — мулла? Он груз, что тянет вниз,
петля на шее, байский блюдолиз.
Прочь этот сор! Пусть будет чистым дом,
пусть нашим другом станет агроном.
Товарищи! Весна уже вот-вот.
Что даст ткачам колхозный хлопковод?
Пора, давно пора нам перестать
у заграницы хлопок закупать.
Растрчивать свой золотой запас
на тех, кто явно точит нож на нас!
Пусть ни одной полоски поливной
не будет незасеянной, пустой.
Чтоб каждый, кто бы нам ни угрожал,
увидел нашу силу — урожай.
И, проиграв бескровный этот бой,
задохся бы от ярости слепой.
Вы знаете: среди союзных стран
найлучший хлопкороб — Узбекистан.
В единстве братском став сильней вдвойне,
миллионы тонн должны мы дать стране.
Понять, в чем суть колхозов, не хитро:
совместный труд, совместное добро.
Но, если будем мы дружны и впредь,
мы всех врагов заставим онеметь.
Ведь, силу многих воедино слив,
становится гигантом коллектив.
«Твоя земля, моя земля» — не жизнь.
Для блага всех разрушим все межи! . . .
Товарищи! Наш уровень возрос:
еще сто пять хозяйств войдут в колхоз.
Вы сами тут решите, как вам быть.
Но наш совет — не надо сил дробить.
Разумнее всем новым ста пяти
в уже сплоченный коллектив войти.
Хотя бы — «Кзыл Курган». Тогда бы он
и вправду мощным стал, как бастион.
Тогда бы он за множество заслуг
прославился на сотни верст вокруг.
Вот так, друзья. Могучий наш союз,

не оступясь, любой поднимет груз.
Да, Ленин умер. Умер, но живет.
Его дорогой мы идем вперед.
Мы ленинцы. Он с нами — вождь и друг.
Штурвал машин не выпустим из рук!»

Так он закончил речь, и всё кругом
потряс рукоплесканий гулкий гром.
Потом, советуясь, как быть, как жить,
другие тоже стали говорить.
Сначала вышел острый на язык,
видавший много бед батрак Разык.
Сказал: «Мы всей душою за колхоз.
Что видел я у бая, гол и бос?
Трудился, набивал ему амбар.
Ему был плов, а мне от плова пар.
Все наши баи так. Шариф, Ильхам,
Саид, Наби, Кудрат, мулла Бахрам.
От чьих трудов у них что хочешь есть?
Коней не счесть, коров, овец не счесть,
угодий не обмерить поливных. . .
Всё это нами добыто для них!
Довольно! К дьяволу! Пришла пора
самим взять вожжи своего добра.
Себе — свой разум, свой умелый труд.
А баев — прочь! Пусть баи глину жрут!
Их надо ликвидировать как класс.
Земля — для тех, кто трудится. Для нас.
Но враг упорен. Враг не сдастся сам.
Он лезет к беднякам, к середнякам,
морочит их, вливает в уши ложь:
«В колхозе зло. В колхозе пропадешь!»
И что скрывать! Порою их аркан
не зря летит. Вот, например, Кукан.
Спросите-ка его, как он живет,
как мыкается он четвертый год.
А что причиной? . . На свою беду —
у бая, у муллы на поводу.
Юн, зелен, опыта в хозяйстве нет.
Пришел к Шарифу: «Дайте мне совет».
Ну и пропал! Что есть у парня? Пыль:
вол полусдохший и омач-горбыль.
А ходит в чем? А ну, бедняга, встань.

Пять лет уже он носит эту рвань.
Хоть раз бывал он сытым? Нет. И что ж?
Нейдет в колхоз. Вот как дурманит ложь!
Мы знаем их слова: «Толпа слепа.
К добру не может привести толпа.
Зачем колхоз? Зачем артельный труд?
Где много пастухов, там овцы мрут».
Лгут хитрецы. Сулят не жизнь, а рай.
«Ты только землю, — говорят, — отдай».
А ну, Кукан, сейчас при всех ответь,
не так ли ты попал к Шарифу в сеть?»

Кукан стоял, потупившись, краснел.
«Я кончил», — объявил Разык и сел.
Потом поднялся, покосясь на стяг,
женоподобный, средних лет толстяк.
Он так сказал: «Эй, постыдись, Разык!
Совсем ты уважать людей отвык.
Ты на Шарифа зря не нападай.
Шариф-ака — почтенный, добрый бай.
И зря муллу ты пачкал так и сяк.
Смотри. . .» Но досказать не смог толстяк.
«Умолкни!» — раздалось со всех сторон.
— «Торгаш поганый! Убирайся вон!»
— «С дружками вместе — с баем и муллой
в одной могиле сгинь, пузырь гнилой!»
— «Теперь уж мы не батраки, не те,
что, всех боясь, томятся в нищете!»
— «А кто тебя пустил сюда, паук?!»
И тут же, в десять иль двенадцать рук,
схватили цепко и, намяв бока,
с майдана вытолкали толстяка.
И снова речи, реплики. . . И вот
пришел и заявлениям черед.

Азиз. . . Надыр. . . Астанакул. . . Баймат. . .
Ладоней гром, приветствий водопад.
Вступивших вписывают в чистый лист. . .
Тут встал один партийный активист
и, вскинув руку, предложенье внес:
«Пусть Ленинским зовется наш колхоз!»
И снова будто шквал потряс майдан.
Потом Разык сказал: «А что ж Кукан?

Так в нищете и проживет все дни? . .
А ну-ка, сам откликнись, кашляни!»
Кукан замялся, думал, оробев:
«Вступив, не навлечешь ли божий гнев?
Не запятнаешь ли грехом души? . .»
Но всё ж решился, выдохнул: «Пиши!»
И рукавом халата вытер пот. . .

Кукан навек запомнил этот сход.

3

Чует на подъеме. В прошлом — время бед.
Единоличников здесь больше нет.
Нет кулаков. Их выгнал коллектив.
Мулла Бахрам, Наби, Саид, Ариф
лишь вспоминаются порой, как сон.
Фундамент новой жизни возведен.
За быстрый рост, за славные дела
колхозу Ленина везде хвала.
Крестьяне — молодежь и старики,
те, что и ныне молодо крепки, —
хлопчатник вырастил на целине,
большой подарок сделали стране.
Верны заветам Ленина-отца,
сверх плана дали сотни тонн сырца,
Египетских семян у них гора.
Коней у них сменили трактора.
Всё обновилось. И батрак Кукан
теперь уже не тот простака Кукан.
И не батрак уже, а тракторист.
Исчезла робость, ум, как утро, чист,
достаток в доме. Всё, что нужно, есть.
Ешь хоть весь день, когда захочешь есть,
Где круг не мал, там и доход не мал.
Кукан поздоровел, улыбчив стал.
Женился ровно год тому назад.
Довольны оба. В доме добрый лад.
Ребенка ждут в начале ноября —
и счастливы. Сияют, как заря.
Мечтают: кто родится? Он? Она? . .
У них уже готовы имена.
Для девочки — как песня: Пахтаой.

Для мальчика — Пулат, чтоб был стальной.
Э, кто бы ни был, скажем: «В добрый час!»
Мы ленинцы. Заря светла для нас,

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КУКАН-КОЛХОЗНИК ТОВАРИЩЕСКОЕ ПИСЬМО

Сперва напомним, кто такой Кукан.
Колхозник. Я писал о нем дастан.
Он горемыкой жалким прежде был,
наивным простаком, невеждой был.
Батрачил, проливал потоки слез,
покуда, к счастью, не вступил в колхоз.
Но вот беда! Хоть мы с ним и друзья,
так вышло, что его обидел я.

В те дни, когда он был еще бедняк,
прощаясь, мы уговорились так:
«Чтоб не прервалась нашей дружбы нить,
чтоб классовых врагов вернее бить,
в сторонке от борьбы, ленясь, не спать, —
подбадривать друг друга, навещать.
И что ж?! . Нет, нет, я не оставил фронт,
я не молчал, набравши воска в рот.
В борьбе эпох безжалостно, остро
разило недругов мое перо.
Но в жаре схваток, в суматохе дел
я побывать у друга не успел.
А мог бы. . . Слова не берут назад.
Сказал — исполни. Каюсь, виноват.
Забыл. Не знал о друге ничего.
И вот — письмо. Из Чуста. От него.
Письмо такое: «Молодец, поэт!
Выходит — честной, верной дружбы нет.
А ну-ка вспомни, кем я был, кем стал,
когда ты обо мне писал дастан?
На нищенском клочке, трудясь, как мул,
бесплодно, бестолково спину гнул.
На маслбойке, чтоб ей сгинуть, был,
последних сил лишаясь, масло бил.

Батрачил у Шарифа-кулака,
узнал, как доля рабская горька.
Ходи в отрепьях, в холоде ночуй.
Захочешь есть — давись, объедки жуй.
Потом, поэт, я встретился с тобой,
с надеждой, с новой встретился судьбой.
Ты и твои друзья сказали мне:
«Вступай в колхоз, трудись на целине».
«Когда молотят на большом току —
охвостьев нет», — внушили бедняку.
Я внял советам. А затем, поэт,
уехал ты, и всё — пропал и след.
А мы ведь, помнишь, в дружбе поклялись.
И не на час, не на день, а на жизнь.
Вот так-то, друг поэт. . . Раз пять иль шесть
случалось мне стихи твои прочесть.
Читал взахлеб. Но тут же, что скрывать,
ругал твое уменье забывать.
А дочка-говорушка Пахтаой
выпытывала: «Это кто такой?»
Ну ладно, друже, собирайся в путь.
Не прогадаешь, есть на что взглянуть.
Всё ветхое давно пошло на слом.
Как говорится, слоник стал слоном.
Колхоз в расцвете. Сыт, обут, одет.
Имамы не в почете, баев нет.
Жизнь бьет ключом. Наполнен каждый час.
Я убежден, что, побывав у нас,
ты сочинишь еще один дастан.
Ну, до свиданья. Жду. Твой друг Кукан».
Прочел я это, жарясь, как в огне,
как будто оплеуху дали мне!
Что возразить? .. Забыв про все дела,
я стал конем, грызущим удила.

В КОЛХОЗЕ

Вперед, верблюдов желанья, вперед!
Помаявшись, собрался я в поход.
Запасся крепким вещевым мешком,
взял флягу, хлеба взял, пошел пешком.
Свищу, пою, шагаю широко.
Прозрачен воздух, дышится легко.

Пускай привал далёко, ничего!
Приду, увижу друга моего.
Побуду, погощу, потом опять —
перо, бумага, чай. . . Писать, писать!
Но вот окончен путь. Передо мной
украшенный трудом простор земной.
Рядки, рядки — без края, без границ,
прямые, как сорок девичьих косиц.
В коробочках упругих каждый куст.
Посмотришь — скажешь: в нитках крупных бус.

Еще посмотришь — сразу видно, он
с любовью, с уважением взращен.
И все они, несметные, цветут,
стократно оправдав упорный труд.
Как зелень их чудесна, как сочна!
Ее краса красе небес равна.

А вот и те умельцы-мастера,
чья добрая забота так щедра.
Проворны руки их, верны сердца.
Их этот мир без края, без конца!
За пояс полы подвернув, идут.
Поют. Задорно, весело поют:

«Едут с хлопком караваны, яр, яр!
Бусы девушек багряны, яр, яр!
Кто живет без коллектива, яр, яр!
Тот не может быть счастливым, яр, яр!
Ароматом дышат розы, яр, яр!
Расцветает сад колхоза, яр, яр!»
Скорей, бодрей пошел навстречу я,
сказал: «Салам, не уставать, друзья!»
Обрадовались, тискают бока:
«Салам! Салам! Где пропадал, ака?
Как дети? Как семья? Здоров ли сам?»
— «Здоров, спасибо», — говорю друзьям.
«Ой, неужели это ты, Кукан?»
Едва узнал его. Усат, румян.
Пудов на пять детина. Грудь бугром.
Рубаха — ластик, голенища — хром.
Сажеными шагами подбежал,
почти до боли крепко руку сжал.

Сказал с усмешкой ласковой: «Ну как?
Не будь письма, ты б не пришел в кишлак?
Работы, говоришь, невпроворот?
А здесь у нас забот не полон рот?»
Потом мы с ним пошли в руке рука
в колхозный клуб, что в центре кишлака.
Там был детишек целый караван.
«Они здесь временно, — сказал Кукан, —
мы строим для колхозных малышат
отдельные и ясли и детсад».
Тут к нам девчушка-крошка подошла,
за шею Куканджана обняла.
Туга, кругла, как золотой ранет.
Глазенки черные, чернее нет.
Кукан сказал ей: «Дядя — в гости к нам.
Знакомься, дочка, говори салам».
Как славно было на нее смотреть!
Свет глаз моих, как шелковая сеть,
окутал нежно с головы до ног
чудесный этот молодой росток.

Затем, когда мы вышли, Куканджан
вернулся вновь на полевой хирман.
А я, поотдохнув, решил пока
взглянуть на новый облик кишлака.
Да, много сделал Ленинский колхоз,
как в сказке, он три эти года рос!
На каменистых землях, на буграх
построил новый мир. Какой размах! . .

Корыстный мир бесстыден и нелеп.
Где честные дела, там честный хлеб.
Вот цифры урожаев на щите —
свидетельство о сбывшейся мечте.
Сто, полтора ста, двести шестьдесят. . .
Три года роста — доблести парад.
Да, тут умно организован труд.
Тут нету зря потраченных минут.
И здесь не на пуды — на тонны счет.
Вот он, свободный труд, свободный взлет!

Но дальше, дальше! . . Новый скотный двор.
Стоят быки — красавцы наподбор.

Крутые лбы, прищур багровых глаз.
Породисты, надменны. Экстракласс!
А вот — крольчатник. Ух ты, сколько их
молочно-белых, серо-голубых. . .
Но тут меня окликнули: «Салам!
Кукана видели? Надолго к нам?»
Я посмотрел — Халпош, его жена.
Но изменилась как! Бойка, полна.
На свадьбе, помню, стебельку под стать,
сидит, молчит, не смеет глаз поднять,
Теперь не то. Сказала тотчас мне,
что трудится в колхозной ошхоне.
Что на обед Кукан придет домой
и будет очень рад поесть со мной,
«Прошу, не опоздайте!» — и ушла,
сославшись на служебные дела.
Я дальше зашагал. Увидел склад,
Мешки тугие, полные лежат.
Пшеница. Золотистое зерно.
Тут закурить мне захотелось, но,
случайным взглядом по стене скользя,
прочел я надпись: «Здесь курить нельзя!»

Н О В Ы Е Л Ю Д И

Какие жители, таков кишлак.
Над сельсоветом вьется алый флаг.
Дома, как будто вышли на парад,
белым-белы вдоль улицы стоят.
Легенды блекнут, легендарна быль.
Здесь высились бугры, вихрилась пыль,
Но честного труда обильный пот
недаром пролил доблестный народ.
Тут каждый занят хлопком, стар и мал,
Для всех он тут заботой главной стал.
Ударничество здесь впиталось в кровь.
Здесь труд надежен и крепка любовь,
Кто скажет, что в колхозе этом есть
пятнающие трудовую честь,
летающие, как тля, из края в край,
чтоб ухватить побольше каравай?
Таких здесь нету! Здесь, гордясь трудом,
не покидают свой родимый дом.

Здесь на большое дело сплочены
не только для себя — для всей страны.

Спадает зной. Добреет, блекнет день.
Литого солнца золотой кетмень
всё ниже, всё краснее — и пропал.
Пылает горизонт, прозрачно ал.
Снежок луны украсил небосвод.
Гудит карнай, крестьян домой зовет.
И вот они идут, богатыри.
Их лица в алых отблесках зари.
Глаза ясны, задорно-звонок смех.
Тут все за одного, один за всех.
Им не нужны молитвы и мечеть.
Идут, поют. . . Давайте с ними петь.
«В пышных россыпях белого золота,
веселитесь и радуйтесь молодо.
Шире площадь хлопковых плантаций,
зерновые пускай потеснятся.
Вместо ветхих училищ-развалин
строим сотни просторных читален.
Вместе в поле мы, вместе за партами.
Нас ведет большевистская партия!»

Куда их путь? Дневной закончен труд.
Они сейчас в столовую идут.
Им хорошо. Смеясь, острот клинки
умело скрещивают остряки.
Да, о былом никто здесь не скорбит.
Культурно дело их, культурен быт.
Пришли, умылись. Тут царит Халпош.
К ней в ошхону неряхой не войдешь.
Заманчиво кипит-бурлит котел,
свежи скатерки, чисто вымыт пол.
Присели, распустили пояса.
С едой покончили за полчаса.
Тут встал один, вниманья попросил,
на общее собранье пригласил.
Сказал: «Вопрос ответственный, друзья,
откладывать его никак нельзя».
И все собрались в красной чайхане.
Пришел и я со всеми наравне.

ПЛАНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Про всё, что было там, от «а» до «я»
рассказывать сейчас не буду я.
Вопрос был в том, кого из этих мест
отправить в город на колхозный съезд;
кто, эту честь большую заслужив,
доложит, как работал коллектив.
Что говорить, нешуточный вопрос!
Приходится задуматься всерьез.
А рапорт наш? Каким он должен быть?
Тут встал Кукан и начал говорить.
И что же? Признаюсь, его доклад
легко и просто дал мне шах и мат.
«Вот, — думал я, — как нужно тему знать,
чтоб легковесных строк не сочинять!»
И все, кто был тут, согласились с ним:
«Пусть рапорт будет именно таким!»
Видны в нем и сегодня и вчера,
он яркий уголь общего костра.
Но к делу, к делу! Хватит общих слов.
Доклад Кукана в целом был таков:

- «В 31-м году у нас было 146 хозяйств, сейчас — 461 хозяй-
ство.
В 31-м году у нас было 200 гектаров земли, в 33-м году —
978 гектаров.
В 31-м году мы получили с гектара 100 пудов урожая,
в 32-м году — 160 пудов, в 33-м году — по 200 пудов с
гектара.
305 хозяйств обзавелись коровами и телятами.
В 31-м году на трудодень было выдано по 1 рублю 20 ко-
пеек и по 2 килограмма пшеницы.
В 32-м году колхозники получили по 2 рубля 15 копеек и
по 5,4 килограмма пшеницы на трудодень.
В нынешнем 33-м году мы выдали на трудодень по 3 руб-
ля 50 копеек и по 7,1 килограмма пшеницы.
Участие женщин в общественной работе достигло 90 про-
центов.
В 31-м году грамотных было 12 процентов, в 33-м году —
97 процентов.
63 процента наших работ механизированы.
125 хозяйствам мы построили новые дома».

Да, вот как вырос он — Кукан-батрак!
А были дни — боялся сделать шаг.
Всего три года минуло с тех пор,
как шел он разуму наперекор —
поверив, что колхоз — источник бед,
трусливо упирался: «нет» и «нет».
Всё то, что ввали бай, торгаш, имам,
как жемчуга, подвешивал к ушам.
И все-таки смотри — сумел батрак
покончить с нищетой, рассеять мрак!
Раскован разум, чист и прост язык...
Какого мудреца он ученик?!
Не скрою, этот строй звенящих строк —
взволнованной души моей восторг.
Диктует их горячая любовь.
Все наши перемены, наша новь
не только в том, что сыты кишлаки,
что новых фабрик множатся гудки,
что ныне пашет землю не соха,
а мощные стальные лемеха.
Еще важней воздвигли зданье мы.
Расширили свое сознание мы.
В бесклассовый, отрадно новый век
войдет свободный новый человек.

Вернусь к рассказу. Председатель встал.
«Теперь приступим к выборам, — сказал, —
есть предложение, чтоб на съезд от нас
поехали Кукан и Бекнияз».
Согласный шум, рукоплесканий шквал...
Избранники, достойные похвал,
с улыбкой встали, опустив глаза.
Все дружно проголосовали «за».
Так завершился день. Был поздний час,
Халпош давно уж поджидала нас.

ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Хороший дом был у него теперь.
Высокая двустворчатая дверь,
двойные рамы, деревянный пол...
Да, не зазря трехлетний срок прошел!..

В окно звездой жемчужной смотрит ночь,
тихонько спит в резной кровати дочь.
Широкой ниши правильный овал.
Гора подушек, горка одеял.
Над дастарханом вьется легкий пар,
сопит блестящий белый самовар.
Лепешки белые, кишмиш, каймак. . .
Ну что ж, Кукан достоин этих благ.
Не просто он все беды превозмог,
сбивался с шага, точно стригунок.
Недоедал, недосыпал порой.
Без тени летом, без тепла зимой.
Теперь все эти муки позади.
Теперь пиявок он сорвал с груди.
В ряду борцов, борясь за нашу новь,
он шел вперед, пролив и пот и кровь,
и разгромил кулацкий вражий стан.
«Ну что же ты сидишь молчишь, Кукан?
Три года жизни не короткий срок.
Рассказывай, разматывай клубок».
— «Да, было всякое, — сказал Кукан, —
не сразу улетучился дурман.
Вот — курсы трактористов. Верь не верь,
я не легко шагнул за эту дверь.
«Вдруг это грех, вдруг покарает бог! . . .»
Пятнадцать дней отважиться не мог.
Ну, как-никак решился, поступил.
Сам иногда дивлюсь, каким я был.
Что дальше? . . . Наконец, на трактор сел.
Как видишь сам, окреп, поздоровел.
Дела у нас с женой пошли вперед.
И то сказать, где труд, там и доход».

Он говорил о том, кем был, кем стал,
как бы тетрадь передо мной листал.
Как рос он, как менялся с каждым днем,
как чувство класса пробуждалось в нем.
И вдруг, рванув рубашку на груди,
сверкнул глазами, выдохнул: «Гляди!
Вот здесь, пониже. Как? Добротный шрам? . . .
От бая, от хозяина — салам!
Ужалил, змей! Актив и партбюро
пришли к нему отыскивать добро.

Позеленел, затрясся Шарифбай,
сказал: «Смотри, щенок, не прогадай!»
А через день — за пазуху кинжал —
и в камышах на зорьке поджидал.
Я шел, стеречься не видал причин.
И вдруг как на колючку наскочил.
Успел узнать, успел схватить его. . .
А что потом — не помню ничего.
Очнулся на кровати, еле жив:
«Где мироед проклятый? Где Шариф?!»
Исчез Шариф. Искали — нет и нет!
И все-таки попался, мироед.
Он как хитрил? Усы, бородку сбрил,
очки потолще на нос нацепил.
Ушел от нас подальше налегке,
стал счетоводом в горном кишлаке.
Таился, притворялся целый год,
пока не разгадал его народ.
Да, здесь борьба порой была жестка,
немало мы повыжгли сорняка! . .
Вот так-то. . .» — заключил рассказ Кукан.
Неторопливо расстегнул карман. . .
«Ну что, поэт, получится дастан?» —
и книжицу ударника достал.
«Смотри, — сказал он, посветлев лицом, —
вот знак того, каким я стал борцом.
Борцом за качество, за урожай,
борцом за то, чтоб цвел родимый край.
А знаешь, как живу? За прошлый год
на трудодень мне дали семь пятьсот!»

«Да, брат, — сказал я, — ты живешь не зря»,
А за окном уже взошла заря.
Добротная, подобная горе,
корова замычала во дворе.
Запел петух, за ним — округа вся. . .
День трудовых свершений начался.

Кукана путь — десятков тысяч путь.
Рассвет, который вспять не повернуть,
В дастане этом — бой за счастье масс,
Герой дастана — победивший класс.

Наш мудрый вождь, наш авангард в борьбе —
родная партия ВКП (б).
Поля сражений — грудь родной земли.
Всю грязь, всю нечисть мы с нее смели.
Сгорели звери баи, начадив.
Все страны мира слышат наш призыв:
«Эй, труженики, хватит вам терпеть,
вставайте, стройтесь, капиталу смерти!»

Друзья, не всё, что я хотел сказать,
мне удалось вместить в мою тетрадь.
Ну ничего! На съезде, будет час,
Кукан-ака дополнит мой рассказ.

1930—1933

98. ВЫШИВКА

Эта вышивка,
льющаяся, как ртуть,
сверкающая серебром
и позолотой, —
чью изнуряла
чистую грудь?
Чьих

рук
работа?

Чья печаль,
терпеливо втыкая иголку,
пришивала жемчужины
к этому шелку?

Жемчужины
на желтом пламени роз,
подобные каплям
скорбных слез. . .

Чей талант,
продав себя за копейку,
растрачивался
на эту тибетейку?

Но кто же в мире
достиг идеала?

Взгляни
на рисунок
позорче.

Минусов тут
не так уж мало,
хоть в целом он
не испорчен.
Какая-нибудь рисовальщица,
старая-старая,
вывела старый
иракский узор.

Рука у нее была
усталая,
усталая с давних пор.

Вышивальщица
расцветку составила наскоро:
фисташковый,
желтый,
капустный. . .

А молодежи сейчас
нравится красное.
И — чтоб не прозрачно,
а густо.
Стежка
местами груба,
негожа,
околыш заметно великоват,
верхушка излишне остра. . .

Но кто же,
кто же тут виноват?
Рисовальщица?
Разве ее не простишь?
Много детей,
бессчетно внуков. . .

Начала узор —
заплакал малыш;
бросай кисточку,
иди баюкай,

С вышивальщицы тоже
спросишь не очень.
Дел по хозяйству
невпроворот.

За шитье берется
поздней ночью,
когда

весь дом
уснет.

Обстирай всех,
накорми всех.

Завтрак,
обед,
ужин. . .

А со стежальщицы

и вовсе

спрашивать грех:

вчера

похоронила

мужа. . .

Помню —

мы были тогда мальчуганами —
на улице бродили

плечистые парни,

задорные,

форсистые,

чванные —

один другого шикарней.

На каждом

по несколько

поясных платков,

расшитые тюбетейки

набекрень.

Стучат подковками

высоких каблуков,

усами пронзают

солнечный день.

Старики на таких

смотрели, млея:

«Ах, красавец!

Ой, молодец!

Такой на улаке

всех одолеет.

Узнать бы,

кто у него отец. . .»

Сегодня
у нас
мера иная.
Сто лет жизни
этому
рабочему парню!
Руки в мозолях,
глаза пылают...
Первый на нашем заводе ударник.
В нем и достоинство
и удалство.
Он с другом вступил
в соревнование.
Металл оживает
в руках его,
ревет,
как лев
раненый.
Других
рабочих парней
вдохновив,
он их повел
за собою,
и был ликвидирован
в цехе прорыв,
и план перевыполнен
вдвое.
А слышали вы
про его жену?
А слышали вы
про его сестру?
Им тоже
почет по праву,
им тоже
плечи выпрямил труд,
дал
и силу
и славу.
На фабрике
первые
среди ткачих —
талантливые,
искусные...

Побольше бы нам
девчат таких,
побольше бы нам
парней таких,
множащих
 мощь
 индустрии.

Нет,
не торчащие в небо усы,
не тубетейка,
что ярко расшита, —
основа достоинства и красы,
основа
славы джигита.
Достоинство в том,
чтоб жену свою —
Кундуз,
 Хайри,
 Халпош,
 Зульфию —

освободить
от тяжких забот,
лишающих сил,
вгоняющих в пот:
от стирки,
варки,
от целого ряда
пустых суеверий,
нелепых обрядов.

Женщины!
Славьте
новый рассвет.
Старому быту
 скажем «нет»!
Скиньте чачваны
позорные, черные!
Вас ожидают
квартиры просторные,
вам
радушно
 откроют объятья
магазины готового платья,

вас
ожидают обеды
в новых,
незакопченных,
чистых столовых.
Ваших малюток
ясли ждут,
вас
фабрики ждут
и заводы.

Свободный
для общего блага труд —
бодрость
на многие годы.

Ваши способности,
сдавленные в клетке,
вбитые
в тюбетейки,
ковры,
пояса,
должны теперь
служить пятилетке, —
тогда засверкает
ваша краса.

Хватит!
Покончим
с наважденьем веков.
Пускай,
почетом и славой
увенчаны,
радуясь жизни,
цветут у станков
наши спутницы —
женщины.

Пусть им поют
заводские гудки.
Час пробужденья
светел.

Пусть
кумачовые их платки
вольный
ласкает ветер.

подгоняя коней
разъяренным бичом,
ошалело несутся в карьер
басмачи.
И сверкают подковы
над белым плечом.

Подогнулись колени.
Ноет тяжело спина.
А тела беглецов
точно сжаты в горсти.
Этих губ омертвевших
страшна

белизна.

О, как страшно во мраке
по кручам брести!

Помутнела от запаха пороха
кровь.
В обгаренное небо
уставили взор.
Упадут,
подымаются,
валятся вновь.
Заплетен, как клубок,
бездорожья простор.

Сын теряет отца,
мать не сыщет детей.
Всюду тяжкая боль,
стон сжимает сердца...

Корку хлеба найди
и беги!
Жизнь свою береги,
сын, лишенный отца!

2

Обрывается камень
с угрюмой скалы.
Он Юлдашу послужит подушкой в ночи;

Стал ты жить меж развалин,
в объятиях мглы,
где бесформенной кучей легли кирпичи.

Все глухие углы,
все пустые котлы,
и сарай,
и пасть неостывшей печи
беспризорного манят приютом
в ночи.

Все холодные ветры
несутся к нему.
Он под снегом колючим
продрог и промок.

Он, как ножик в кармане,
уткнется во тьму,
и умолк,
и затих,
и свернется в клубок,
навсегда предоставлен себе самому.
Каждый поезд на станции
подан ему.

Средь камней городских
он прирос, как грибок.
Ему пыльная улица —
школа и дом.
Там и дружбу
и скудную пищу
найдешь. . .

К непривычной судьбе
привыкает с трудом
беспризорный,
раздетый,
разутый
Юлдаш.

Он добытчик
чужих кошельков
и часов.

Он отличный бегун,
и насмешник,
и лгун.

Виноград
и урюк
он хватает с весов,
а, попавшись, —
из рук
ускользает, как выюн.
По бутылкам стучит,
как по тысяче струн.
И танцует,
и свищет на сто голосов;
любит фокус и трюк,
хоть отчаянно юн.
И уздечки ворует
с коней и ослов.

Озорник.
Над красоткой
с накрашенным ртом
посмеяться умеет
и остро и зло.
Он в подвал опустевший
вползает кротом,
он нырнет в подворотню,
как птица в дупло.

Озорней
и грязней
паренька не найти.

О, как просто в те годы
было сбиться с пути!

Так бы жил он
и жил,
бедовал,
не тужил. . .
Но неожиданно
облаву
затеял детдом.

И, забытый подвал
в темноте окружив,
молодых сорванцов
к новой жизни позвал.

3

Сколько ласковых глаз,
сколько бережных рук
удивленный Юлдаш
в интернате нашел!
Сколько верных друзей,
сколько славных подруг!
Как легко здесь дышать!
Как тут жить хорошо!

Всё настойчивей
звонкое пенье пилы,
перестук молотков
и удар топора.
Как светлы
все углы,
нет ни пыли,
ни мглы.
За работу
берется с утра
детвора.
Здесь простор
для души
и простор для ума.

Здесь не надо стучаться
в закрытую дверь.
Страсть к работе
в сознание входит сама, —
всё осмысли,
осиль,
изучи
и проверь. . .

Мне хотелось бы дать
долгожданный покой
всем,
кто эти страницы
упорно листал,
кто читал
эту повесть
строка за строкой
и читать ее
без передышки
устал.

Много времени
поваром я прослужил
в интернате,
где вдруг очутился Юлдаш.
Я Юлдаша любил,
я с Юлдашем дружил.
А потом
я работать пошел
на «Сельмаш»
и Юлдаша всё реже и реже
встречал.
Боевой комсомолец
семнадцати лет,
он с азартом
себя к ремеслу приучал.
Большой радости нет,
чем встречать свой рассвет
так, чтоб голос твой
в хоре согласно звучал.

Он текстильщиком был.
Нерастраченный пыл
в этом юноше
ни на минуту не гас.
Неужели
меня он уже позабыл?
Где он трудится?
Где веселится сейчас?

Уж давно
не слышал я о нем ничего.
Хоть бы меньше комарика
весточку вдруг
мне прислал как-нибудь мой
исчезнувший друг.

Но пришла наконец
долгожданная весть:
в Самарканде Юлдаш.
Он примерный боец.
Защищает он Родины славу и честь.
Храбреца не смутят
ни басмачский свинец,
ни внезапный огонь.
Ты границ наших,
враг зарубежный,
не тронь!
У Юлдаша
награда высокая есть —
символ
 верных,
 бесстрашных
 и честных
 сердец.

Орден Красного Знамени
золотой
на груди его
яркой сверкает звездой.

5

Годы шли,
но Юлдаша отец не забыл.
В годы голода,
в пору басмаческой мглы,
от селенья к селенью
он в горе бродил.
Борода его стала
вроде метлы.
Стал на вид он
как выходец
из могил.

Не на посох
склоняться бы старику,
а в объятья упасть
к дорогому сынку.
Слаб он стал
и беспомощен,
словно «дал»;
он Юлдаша искал,
он к аллаху взывал
и, заслышав азан,
бормотал он Коран.
«Вы Юлдаша не видели?» —
говорил.
Вопрошал у людей,
у камней,
у могил.
И однажды обрадовали старика:
в Самарканде видали его сына.

Сердце
словно согрето чудесным лучом.
Он спешит к Самарканду,
надеждой влеком.

6

Как в наряде военном
хорош
первоклассный боец,
наездник Юлдаш.
Ровно выстроены в ряд
скакуны.
Это красная конница,
гордость страны.
И как признак того, что боец не трус, —
у каждого закручен
буденновский ус.

Эта армия
дружит с победой всегда.
Ее слава и подвиги высоки,
дисциплина тверда.

За Отчизну труда
постоянно
готовы к атаке клинки.
Если б не были спаяны
чувством единым
эти крепкие,
словно литые, ряды,
враг вошел бы
в твой дом,
надругался б над ним,
и никто бы не спасся
от лютой беды. . .
И ни я,
и ни вы
не снесли б головы.
Средь несчетных бойцов
как отыщешь сынка?
Застилает туман
глаза старика.
Точно бисер,
слезинки
роняют глаза.
Словно в блестках росы
борода у отца.
Только вытрет слезу —
набегаем слеза.
Сотня славных Юлдашей
стоит перед ним.
Он смотрел бы на всех
добрым сердцем своим.
Вот он руки раскинул —
Юлдаша обнять —
и с улыбкой шагает
вдоль стройных рядов.
«Нет, не этот
Юлдаш,
и не тот!»
И опять
он любого обнять
по-отцовски готов.
Жеребенка он ищет
среди жеребят,
соколенка,

что выпал
давно из гнезда,
ягненка, с которым
разлучила беда.
«Ваш Юлдаш на посту, —
старик уговаривает, —
а с поста
отлучаться нельзя никому».

«На посту?
Что за пост,
не пойму.
Я военного
не изучал языка.
Поспешите к нему,
пусть аллах успокоит
отца-старика,
пусть скорей приведет
дорогого сынка».
Но смеются джигиты:
«Аллах ни к чему,
вы пойдите-ка сами
к сынку своему.
Вон стоит ваш Юлдаш
на почетном посту,
но к нему
приближаться нельзя никому».
— «Что ж он будет стоять
от отца за версту!
Даже если б гора
преграждала мне путь,
я пройду сквозь нее,
чтобы к сыну прильнуть,
чтоб склониться скорей
на сыновнюю грудь,
чтоб дыханье сыновнее
глубже вдохнуть,
чтоб с любовью
в родные глаза заглянуть.
Почему не могу я
к нему подойти,
чтоб навеки забыть
все печальные дни,

все чужие дома,
все чужие огни,
кишлаки,
где сыночка
мечтал я найти?»
И, не выдержав,
крикнул он громко:
«Сынок!»

И, живого волненья полно
и тепла,
это слово
к Юлдашу летит,
как стрела.
И в груди возникает горячий комок.
И, за словом своим
поспевая едва,
прямо к сыну
спешит удивленный отец.
Весь в слезах он,
и кругом идет голова:
«Неужели
нашел я тебя наконец?
Почему же, Юлдаш,
ты упорно молчишь?
Может, саблей тебе
отрубили язык?
Как высок ты
и статен,
мой смуглый малыш!
Почему ж ты молчишь?
Ты отвык
от меня?
Подойди,
положи мое сердце
себе на ладонь.
Как трепещет оно
и пылает в груди,
что огонь!»
— «Милый, добрый отец, —
отвечает Юлдаш наконец, —
я вас вижу, но я подойти не могу,
я стою на посту».

— «Что ж, мне так и стоять
от тебя за версту?»
В старом сердце
опять воцаряется мгла...
Но отходчиво
и незлобиво оно, —
то звенит,
как надтреснутая пиала,
то отцовского счастья
и света полно...»

Все обиды отец
поутру позабыл,
он с Юлдашем стоит
на военном плацу.
Проявляя живой,
нерастроченный пыл,
с увлечением Юлдаш
объясняет отцу:
«Этой самой винтовкой
своей боевой
я немало в бою
уложил басмачей.
Поплатились
семнадцать из них головой.
В наш сияющий край
не проникнуть врагам,
Им от конницы нашей
не скрыться нигде.
Погляди-ка
на мой безотказный нагант
он со мной,
под рукою
всегда и везде.
Этим верным наганом моим
поражен был убийца детей Ибрагим!»
И старик,
удивленный Юлдашем своим,
говорит:
«Ой, сынок,
не погибни от пули шальной.
Будь я молод,

неплохо нам было б двоим
поработать
испытанной шашкой стальной,
рассчитаться с врагом,
в клетку вора загнать,
чтоб лисе неповадно
было кур воровать».

7

Славься, кровью вспоенное
знамя труда!
Развевайся
горячей зарей на ветру!
Пусть
с пятью остриями наша звезда
озарит
вековечную темноту.
Не сломить,
не осилить
великой страны,
где джигиты, Юлдашу подобные,
есть
для труда и войны.
Как один, сплочены,
мы всегда отстоим
нашей Родины честь.
Не возьмут нас
ни ложь,
ни угроза,
ни лесть.
Мы своей величавой Отчизне
верны.
Светит
алое знамя ее
с вышины,
как живая заря,
как победная весть.

1933

100. СВАДЬБА

Ударник колхоза «Байналминал» Андижанского района, комсомолец Шадман, решив жениться, написал товарищам, спрашивая, каким должно быть супружество. Вступая в колхоз, Шадман был батраком, с одним лишь кетменем да старым халатом.

(Из газеты)

Да, свадьба, что ни говори, большой и редкий праздник.
На новый, незнакомый путь вступает человек.
Любовь сплетает два цветка благоуханных разных,
два юных чистых существа сближаются навек.

Два жарких сердца бьются в лад, горят неугасимо,
за счастьем нежности летят, как перышко легки.
Из ясных девичьих зрачков, заранее любимы,
в зарю грядущую глядят дочурки и сынки.

Шадман, дружок, и я, как ты, был женихом когда-то,
сияньем глаз, сетями кос и я был взят в полон.
Как у тебя, моя душа была в те дни крылата
и учащенно бился пульс, желаньем опален.

Всё было схожим. Жизнь текла стремительным потоком.
Как ты, я бредил по ночам, слова любви шепча.
Томясь, как ты, мечтал о ней, прекрасной, черноокой,
но догорела до конца мечты моей свеча.

Теперь то время для меня лишь в памяти осталось.
Вернуться в юность не дано покуда никому.
На сердце старое мое легла годов усталость.
Горячей страсти сладкий груз уж не поднять ему.

Я не грущу. Всему свой срок. Дел у меня без счета:
помочь товарищам, друзьям, работать вновь и вновь...
Вот, например, сейчас моя насущная забота
сложить поэму про твою счастливую любовь.

Давно ли был ты батраком?.. Вчера — бесправье, голод.
Чуть притомился — по плечам со свистом хлещет плеть.
Сегодня в коллективе ты, удачливый, веселый.
Как мимо этого пройти? Как это не воспеть?

Твоя невеста, говорят, работает на славу,
чуть свет ласкает ветерок волну ее кудрей.
Ударный труд в краю родном дал ей почет по праву,
дал гордый блеск ее очам, дал радость жизни ей.

Еще слышал я, что заря ее целует нежно,
когда она выходит в сад по утренней росе;
что руки быстрые ее, как лебедь, белоснежны,
что тал склоняется пред ней, дивясь ее красе.

Что звонок голос у нее, что даль и ширь степная
благоговейно внемлют ей, когда она поет.
Что изумрудная листва, от ветра убегая,
уроки верности берет у верности ее.

Слышал, что в сердце у нее — пылающее солнце,
и потому она всегда светла и горяча;
что как-то месяц молодой к ней заглянул в оконце
и после клялся ей в любви на лезвии луча.

Ей тушь и пудра не нужны, ей не нужна помада.
Она проста и весела, красавица полей.
Ее косметика — цветник и яркий бархат сада,
ее рубины — россыпь звезд, а зеркало — ручей.

Слышал я также, что она на сборе урожая,
проворно меж рядков скользя, чуть-чуть сгибая стан,
всех соревнующихся с ней легко опережая,
за сотню килограммов в день приносит на хирман.

Еще мне довелось узнать, что многие джигиты
о ней мечтали день и ночь, вздыхали, не таясь.
Но верный путь к ее любви был лишь тебе открытым,
лишь для тебя в ее очах заря любви зажглась.

Ну что ж, кому же, как не вам, быть неразлучно вместе?
Вы в чистом небе две звезды, вы в поле два цветка.
Лишь для тебя теперь звучат ее девичьи песни,
лишь для нее — твоей любви горячая рука.

Как родинка, ее красу дополнило уменье
любую книгу прочитать и всё усвоить в ней.

А как чудесно шьет она, ну прямо загляденье.
Всё гладко, всё к лицу, а швы — не отыскать ровней!

Отрадно поглядеть на вас, когда стоите рядом.
Могучий, точно карагач, ты ей вполне под стать.
Полей колхоза не объять и не окинуть взглядом,
а ты на тракторе своем их все успел вспахать!

У нас дороги широки, возможности безбрежны.
На сущность мира смотришь ты не темным простаком,
не мутным взглядом дурачка, дремучего невежды, —
обязан твой широкий лоб познания платком.

Но слушай, всё имеет срок. Не бесконечна сила,
Я часто вижу одного седого старика.
Ему за восемьдесят лет, в глазах его застыла
давящая, как ночь без звезд, жестокая тоска.

«Отец, — сказал однажды я, — когда б я вас ни встретил,
вы будто что-то на земле пытаетесь найти».
Он поднял блеклые глаза, невесело ответил:
«Здесь жизнь моя прошла, сынок, по этому пути,

Здесь жемчуг юности моей я разбросал беспечно,
рубины молодости здесь исчезли без следа.
Тогда не знал, что зоркий взгляд дается не навечно,
Что есть у бодрости предел, не понимал тогда.

Знал кое-что, но мало знал. Всё думал: наверстаю!
А что теперь? Почти слепой, беспомощный старик.
Ах, если б возвратить назад годов минувших стаю:
весь мир бы досыта познал, все тайны бы постиг!..»

Да, книга мира велика, в ней каждая страница —
сокровищница многих тайн, в ней важен каждый знак,
Того, кто не читал ее, все будут сторониться,
не нужен людям будет он, как стершийся пятак.

Сейчас идущим впереди нужны большие знания.
Ты знаешь грамоту, Шадман, но это мало, друг.
Чтоб строить прочно, нужно знать законы созиданья,
знать все ремесла на земле и сущность всех наук.

Учись, Шадман, всю жизнь учишь. Пускай в очах подружки
не гаснет никогда любовь, прекрасна и светла,
За всё, чего достигнешь ты в работе и в науке,
пускай повсюду о тебе разносится хвала.

Давай припомним прошлых лет минувшее ненастье:
прислужник в байском доме ты, черна судьба твоя.
Ни крошки ласки и любви, ни капельки участья. . .
Разбитой чашки черепок на свалке бытия! . .

«Готов», «извольте» — слов иных ты говорить не вправе.
Дрожащий голос, робкий взгляд. . . Затравленный, худой,
ты будто сорванный листок, желтеющий в канаве. . .
Легко и просто помыкать безродным сиротой!

Коровник чистишь, двор метешь, ведешь на выгон стадо. . .
Хозяйке нравится каймак, хозяину — творог.
А ты? . . Ты разве человек? Тебе немного надо.
Сухая корка и вода. Пужинал и лег.

Ночь. Тихо шелестит листва. Везде покой и дрема.
Спят на насесте петухи, спит шавка в конуре,
спит карагач на берегу большого водоема.
Храпит хозяйка на супе, подобная горе.

Всем отдых, всем. И лишь к тебе не прибывают силы,
Ты знаешь, понял: боль твоя не тронет никого.
Глазами, мокрыми от слез, беспомощный, унылый,
читаешь скорбную тетрадь сиротства твоего.

«Ох, солнце, солнце, почему лучей своих отраду
ты щедро даришь тем, кто сыт, кто счастлив и богат.
А бедным — только жгучий зной без тени, без пощады. . .
Скажи мне, солнце: почему кто слаб — тот виноват?

И почему. . .» Да, много раз, не находя ответа,
с тоской, с мольбой в ночной тиши шептал ты:

«Почему? . .»

Тебя не грел приход весны, не радовало лето,
как наказанье ты встречал студеную зиму.

Те ночи минули, мой друг. Те беды, те ненастья
зачеркнуты. Уже ничто их не вернет назад.

Утратил власть твой грозный бай, открылись двери
счастья;
где прежде были сорняки, теперь — цветущий сад.

А помнишь, как пришел в колхоз? Давно ли было это? ..
В истрепанном халате, бос, тощ, одинок, несмел.
Едва стоял, дрожал, как лист от дуновенья ветра...
Имущество? Тупой кетмень — вот всё, что ты имел.

Но, встреченный как друг и брат советским коллективом,
в колхозе ты воспрял душой, поправился, окреп.
Печальным, неказистым был, стал бодрым и красивым,
отменным трактористом стал: не даром ешь свой хлеб.

Ты понял: бай и купцы, имамы и ишаны —
твои и класса твоего заклятые враги.
Ты понял: если на земле не хочешь быть бурьяном —
не уклоняйся от борьбы, свободу береги.

Ты написал друзьям письмо, ты ждешь от них ответа,
как нужно свадьбу провести, как по-советски жить?
Друзья напишут. Но позволь и мне чуть-чуть об этом,
без назиданья, просто так с тобой поговорить.

Что важно в свадьбе — в торжестве начала новой жизни?
Что весело гостям, что плов на славу удался?
Что богатейшим в кишлаке твой пир счастливый признан
и долго будет вспоминать о нем округа вся? ..

Что — свадьба? .. Прозвучит сурнай, слух и сердца
лаская,
протяжно, тонко выводя мелодию «Гульяр»,
сложнейших, быстрых ритмов дробь на бубнах рассыпая,
веселые певцы споют веселое «Яр-яр».

Кольцо с рубиновым глазком на пальчике невесты.
Листочки клевера блестят, омытые росой...
Томится молодая кровь, ей в жилах стало тесно.
Как сладок первый поцелуй — огонь во мгле ночной! ..

Что — свадьба? Наступает час, когда парчовый полог
от взоров спрячет молодых, как в гнездышке горлят...
Каков он будет, их союз? Короток или долгод?
Как знать! Сердеч не разгадать, когда глаза горят.

Но не для нас то, что пришло от жирных богатеев, —
порядки их, законы их, как нечисть, смоем с рук.
Недобрый, обветшалый мир разрушив и развеяв,
мы по-иному будем жить и праздновать, мой друг.

Нет, мы не против торжества, и бубнов, и сурная!
И в наших жилах не вода, и наша кровь жарка.
Но нам нужна иная жизнь, семья нужна иная,
где все шаги — плечо к плечу, всегда — в руке рука.

Что проповедуют они, какого жаждут быта?
«От одинокого коня не закружится пыль»,
«Под шапку не разглядеть, что голова пробита», —
Вот сущность их!

Снаружи — лоск, внутри — разврат и гниль...

На окнах — розы, а котел сто лет не мыт, не чищен.
При неудачах — дикий вой, царапанье лица.
Всё — для наживы, всё — себе, с рожденья до кладбища.
Кого из нас прельстит уклад такого образца? ..

Теперь послушай, что еще тебе хочу сказать я.
Лишь в дружбе с коллективом жизнь полна и хороша.
А только личное — крючок, оторванный от платья.
Что толку в нем, таком крючке? Не стоит ни гроша.

Что — свадьба? Первый шаг семьи. Два члена коллектива
соединяются навек для дружбы, для труда,
для созидательной любви, свободной и счастливой,
где ясного доверья луч не гаснет никогда.

Мы смотрим так: муж и жена — два полноправных друга.
Никто не властвует, никто не раб, не падишах.
Теперь не счастье таких семей — от севера до юга.
Одна у них большая цель, одна у них душа.

Вот, например, есть у меня приятель в Гиждуване.
Женат, счастлив. Ударник он, ударница жена.
В колхозе на поле он с ней вступил в соревнованье,
и это не в ущерб семье, когда семья дружна.

На первый взгляд, ну что тут есть? Сюжетик для заметки.
Но в ней большой, чудесный смысл, в ней нового росток.

Мужают, множатся у нас герои пятилетки,
богат духовной красотой советский наш Восток.

Что ждет тебя, мой друг Шадман, уже сейчас я знаю.
Я вижу ясным, как заря, твой путь — твою судьбу.
О судьбах солнечных таких настойчиво мечтая,
шли революции бойцы на смертную борьбу.

Я вижу счастье двух сердец, я вижу ваше завтра,
когда вы встанете чуть свет, волнуясь, и когда,
друг другом радостно гордясь, войдете в двери загса,
войдете в двери долгих лет отрады и труда.

Вот ваши подписи легли на белую страницу.
Она, Шадман, для вас окно в большой, чудесный мир...
Я трижды славлю новый строй, что дал нам возродиться,
дал нам права и сделал нас свободными людьми.

1934

101. ДВА АКТА

1

Едва Хайдар-чокки
рассказ начнет о прошлом,
из глаз бежит слеза,
взлетает к небу вздох.
Как будто он опять
придавлен тяжкой ношей...
Как стар он, наш Хайдар!
Как стан его иссох!

Седую бороду
сожмет рукой сухою,
воспоминания
сзывая в тесный круг.
Он трогает кобыз сердец,
и повесть
течет, мудра, проста.
Ее послушай, друг:

«Подобен морю мир,
а голова людская
подобна валуну
на берегу морском.
Шумит волна, валун тот обтекая,
бежит вода, а камень, изнывая
от жажды, сух,
как горя горький ком.
В те годы я имел
лишь черствую лепешку,
Крутые жернова
попреки и обид
давили грудь мою.
Захлебываясь кровью,
подобен был я
пойманному
соловью.

Тот золотистый луг
на берегу зеленом —
в нем жизнь моя
и молодость моя.
Там солнце спину жгло,
мороз там жег лицо нам,
водой нас обделяла там
скупая Сырдарья.

Коль крепки у тебя
и бодры ноги,
поднимемся на холм,
к тому вон рубежу.
Я с этого холма,
что было в прошлом,
тебе как на ладони
покажу.
То поле видишь? Там
я исполу́ лет сорок
работал, как верблюд,
ютился в шалаше,
мечтал хоть день быть сытым,
ждал удачи,
а счастье всё не шло,
застыло на меже,

Смотри — вон хауз там,
а вон супа под тенью
разросшегося вширь
карагача.
Был то приют
отчаянья и горя,
на той супе
свила гнездо печаль.

Здесь дом стоял,
построенный на диво.
Раскинут сад —
не сад, а сущий рай.
В нем яблони цвели,
урюк и сливы.
Плодами разными
богат родимый край.

Да не богат он был
счастливой долей
для тех, кто беден и кто смелым
слыл.
Сосед Акбар-амин,
богач известный,
владельцем сада
и арыка был.

Для нас земля жестка,
а небеса жестоки, —
к амину, что ни день,
за помощью идем,
чтоб голод утолить —
шепотку чаю
и горсть муки
под урожай берем.
На черном небе доли человеческой
не видно было ни одной звезды.
Тогда,
отчаявшись смягчить амина,
решили в город обратиться мы.

Ты видишь хауз тот
и ту супу под тенью

карагача
и розовых кустов?
Знай, то гнездо
отчаянья и горя,
там вывела беда
своих птенцов.
Был день весны.
Рассвет росист и мягок.
На листьях влажных
бисер чистых слез.
«Собратся у супы», —
велел безусый,
что в осень за амином
счеты нес.

Покорно собрались.
Покрыта
была супа просторная ковром.
Какой-то старец,
утонув в подушках,
разглаживал усов
густое серебро.
Он что-то под нос
бормотал, считая.
Чалма его —
что аиста гнездо.
Он был святее самого Хидыра.
Халат его
блистал, сиял звездой.
Мы подошли
и приложили руки
к сведенным голодом,
запавшим животам.
Склонились, как велит приличье,
сказали неизбежное:
«Салам».

Старик — судья.
Амин сидел с ним рядом.
Писец, мирза,
потрепанный на вид,
держал перо,
читал тетрадь большую,

вновь повторял
поток былых обид.

«О непокорные! —
судья промолвил гневно. —
Вы неспособны
милости понять.
Добра не помнит
разве лишь собака,
а вам пора
добро амина знать.
Вы жаловаться вздумали?
Вы что же,
бесстыжими
глазами запаслись?
Или, забыв
святой закон Корана,
вы с подлыми
гяурами сошлись? . . .»

Как против сильных
будешь защищаться?
Мы с тем судьей
бороться не могли.
И суд, начавшись
окриком суровым,
был кончен полной
описью земли.

Перо мирзы
проворно закрипело.
Слова тяжелые
ложились в ленты строк.
В глазах амина,
будто бы печальных,
горела радость,
искрился восторг.

Так наши мазанки, земля
согласно акту
к амину перешли —
в счет сделанных им «благ».

Гневны зрачки судьи,
они — печать насилья,
и медную печать
судья кладет на акт.
О, если бы амин
взял дочь мою, обидой
и то б не так
вскипел, наверно, я!
И если бы втоптал
он в грязь лицо Хидыра,
всё ж не унизилась бы так
душа моя. . .

На той земле
я с той поры лет сорок
жил, как батрак
Акбар-амина.
Так
посевы и дома
ушли в его владенья. . .
Вот
то,
что дал нам первый акт».

2

Едва Хайдар-чокки
начнет рассказ о новом,
усы вздымает смех,
дрожит от счастья голос,
подобно льву, он смел.
Смеется каждый волос
в курчавой бороде.
Как он помолодел!
Его лицо
ласкает ветер свежий,
а он стоит,
что тополь на ветру,
и начинает
радостную повесть
веселым голосом,
подобным пенью струн.

«Наш мир — как сад,
а голова людская
там самый ценный плод.
И что ни день,
дожди побед нам жажду утоляют,
и в каждом облачке
мы видим счастья тень.

Тот золотистый луг
на склоне горном —
в нем жизнь моя
и родина моя.
Там нежный ветер,
что ни утро, веет
и влагу на поля
приносит Сырдарья.
Там дом стоит,
построенный на диво.
Плодовый сад раскинут —
суший рай.
Там яблони цветут,
гранат и слива.
Плодами разными богат колхозный край.

Вон зданий ряд,
воздвигнутых недавно,
как улица, гляди,
пряма и широка!
Вон школа,
почта,
банк,
больница
и клуб наш —
гордость кишлака.
На запад до реки
легла земля колхоза,
раскинулась к востоку
до хребтов.
А вон тот хауз
и супа, с которой
осыпала нас жизнь
дождем цветов.

На той супе
нам новый акт вручили
на вечное владение
землей.
Всё наше здесь:
вода, поля и солнце —
зажиточной теперь
живем семьей».
Хайдар-чокки,
забывши про усталость,
спешит о счастье новом
рассказать.
Он улыбается,
его волнует радость,
и, точно звезды,
светятся глаза.

И точно хлопок
борода седая,
и губы —
как тюльпана лепестки.
«Для счастья мы живем,
работаем для счастья,
и счастливы юнцы и старики.

В том акте, что нам дан
на землю и на счастье,
Союза ССР легла печать.
Печать любви,
добытая с боями,
нам право давшая
сначала жизнь начать.

Печатью этой
вражеские души
прихлопнуты
и силы лишены.
Печатью этой
право и свобода
для всех, кто трудится,
навек закреплены.

Земля родная,
милая Отчизна,
для нас она —
как тело и душа.
Коварный враг,
что посягнет на край наш,
костью поляжет,
сгинет, не дыша. . .»
Умолк Хайдар.
Два мира перед нами
возникли вдруг:
один был злобен,
мрачен,
пуст;
другой — как музыка,
ласкающая душу,
не знал, что значит
нищета и грусть.
Два акта этих
я сравнить хотел бы.
Был первый
как оковы на ногах,
второй — как меч,
сбивающий оковы,
сверкнул —
и счастье
вспыхнуло в сердцах.

Гори, звезда
свободы и величья!
Жизнь, расцветай,
победна и нова!
Мы знаем,
что старик Хайдар
имеет
и в восемьдесят лет
на молодость права.

1935

102. ДВА ВОСТОКА

1

Я сын Востока, сын отчизны солнца.
Рожден под солнцем, солнцем пропален.
Я азиат, исконный местный житель
с древнейших, незапамятных времен.

Я до земли склонялся в храмах Будды,
в Аравии — за жемчугом нырял.
Меня душили стынь и снег Тибета,
и тяжкий зной Нефуда изнурял.

Я охранял сокровища Бомбея —
погибнешь вмиг, попробуй только троны!
Был витязем яванского народа,
как Сиявуш, промчался сквозь огонь.

Был астрономом в городе Калькутте,
постиг все связи судеб и времен.
Как славный Ширази, слагал поэмы,
был мудрым зодчим — строил Вавилон.

Я сын Востока, вечного, как солнце.
В туманной мгле веков его исток.
За тыщи лет блистательную славу
по праву заслужил Восток.

Очаг искусства, колыбель культуры,
ремесел блеск. . . Но мир, как зверь, жесток:
тому, кто создавал, тому, кто строил, —
отрады, счастья не дарил Восток.

Дворцы гремели, пировали шахи,
куражились, один другого злей.
Огромный труд измученных индусов
весь уходил на кутежи раджей.

Пять, десять, двадцать. . . сотни миллионов
голодных, обездоленных людей. . .
Заволокло всё небо дымом стонов.
Народ — как сон, как скопище теней.

Когда пастух лишь о себе печется —
волк натворит в его отаре бед.
Там, где пробрались к власти ложь и подлость,
защиты от соседей алчных нет.

Из дальних далей, с берегов туманных
стервятники слетались на Восток.
Их всех влекло сюда одно желанье:
побольше, пожирней урвать кусок.

Стервятники — сенаторы и лорды —
провозглашали: «Мы несем прогресс!»
Прогрессом этим был грабеж народов
и виселиц зловещий черный лес.

В Китае, в Индии, на Яве были скрыты
несметные сокровища земли.
Всё взяли просвещенные громилы,
всё в логово свое уволокли.

За каждую попытку возмущенья,
кичась бесчеловечностью своей,
привязывали к орудийным дулам,
расстреливали тысячи людей.

Пятнадцать — двадцать ловкачей британских
подмяли многомиллионный край.
Тащили, рвали, жгли. . . Вот почему их
прозвали «шил», что значит «обдирай»!

Всё брали — уголь, золото, алмазы;
лишали хлеба, птицы и скота.
Всё у народа алчно выскребали —
до меда у младенцев изо рта.

Ну ладно! . . . Это «ладно» не смиренье,
оно — кипящей ненависти взлет,
оно призыв ко всем, кого измучил
и обездолил чужеземный гнет.

Сегодня — не вчера. С двадцатым веком
иных начал уже расцвел росток.

Животворящий ветер революций
повеял в грудь твою, гигант Восток.

В народе говорят: «О небожитель,
спаси от тех, кто нас пришел спасать»,
Эй господа, пожалуйста, скажите,
кому еще от вас спасенья ждать?

Нет мочи! Вот еще и с Уолл-стрита
явились к нам «друзья» в недобрый час.
И снова тот же гнет и та же песня:
«Мы свет прогресса, мы спасаем вас!»

Ох! Не хватало, значит, Альбиона,
теперь еще и янки в свой черед.
Так шимпанзе, облюбовав местечко,
тотчас к себе родню свою зовет.

Но у Востока есть иной защитник.
Есть брат его, тот, что подняться смог, —
защитник настоящий, бескорыстный —
оковы рабства сбросивший Восток!

2

Я сын Востока. Вольный, полноправный,
Советского Востока гордый сын.
Я человек. Я твердо, точно знаю,
как должен жить свободный гражданин.

Для всех народов этого Востока
я брат родной. Любимый брат и друг.
Наш край огромен. Даже солнцу в небе
непросто обойти его вокруг.

На этом небе — ленинское знамя,
на нем слова: «Свобода, братство, труд».
Народы прославляют это знамя
и как зеницу ока берегут.

Невежества, распутства, мракобесья
давно у нас уже простыл и след.

Питающимся падалью шакалам
в свободном нашем крае места нет.

Здесь все равны. У каждого народа —
своя страна, свой герб, своя печать.
Народам-братьям вольного Востока
есть, что любить, беречь и защищать:

свою поэзию, свою культуру,
отраду вдохновенного труда. . .
Вот почему господство капитала
у нас не возродится никогда.

Здесь наше всё: земля, леса, заводы.
Здесь вольно дышат, радостно творят,
Здесь обращенье «фабрикант, хозяин»
в насмешку только людям говорят.

Здесь нет таких вещей, как бедность, голод,
Здесь доверху набиты закрома.
Тут лишь в анналах прошлого остались
сыпняк, холера, сифилис, чума.

Тут ордена дают за многодетность.
Младенцы, юноши не умирают тут.
Тут семьдесят — всего лишь средний возраст,
И лишь столетних старцами зовут,

Тут горы самоцветами богаты,
и нам доступны недра этих гор.
И отдает нам россыпи алмазов
бескрайний, неоглядный наш простор.

Миллионы тонн колхозных урожаев,
растущая зажиточность крестьян. . .
В каком еще краю, каким народам
такой счастливый, светлый жребий дан?

Гудки могучих фабрик и заводов,
стальные птицы выше облаков. . .
Из года в год всё краше расцветает
свободный край — Восток большевиков.

Нам помогают солнце, реки, ветры
трудом своим, энергией своей.
А скоро мы и силу притяженья
заставим поработать на людей.

Прекрасны наши города. Взгляните.
Высокие дома, асфальта гладь.
Вдоль тротуаров — стройные аллеи...
Краса такая — глаз не оторвать!

Здесь в сотнях тысяч школ детей бесчисленно.
На переменах — игры, гомон, смех.
Так веселятся там, где нету сирот,
где радость не для избранных — для всех.

Здесь нет невежд, здесь все должны учиться.
Способностям здесь не дадут пропасть.
Здесь за развитие юношей в ответе
на равных — и родители и власть.

Искусство, спорт, театр, литература
достигли здесь невиданных высот.
Здесь много есть по праву заслуживших
всеобщее признание и почет.

А почему? Секрет простой, несложный.
Здесь всё для счастья, всё для красоты.
Здесь для народа многое бесплатно:
ученье, книги, здравницы, сады.

Здесь все смелы, удачливы, культурны,
однако носа кверху не дерут,
хотя подчас иной рабочий может
дать верный отзыв на ученый труд.

И потому, что к солнцу коммунизма
всё ближе он — Советский наш Восток,
без черчиллей, без трумэнов, свободный,
познавший дружбы радость и восторг.

Но всё равно мы близкие, родные,
ударят по рогам — в копытах боль.

И если слишком долго мутят воду —
пассивная невыносима роль.

Нет, революцию не перевозят.
Она не груз, доставленный извне.
Но если братья позовут на помощь —
не сможем мы остаться в стороне.

Короче, не пора ль гостям незванным
собрать свои вещички — и айда!
Не то — ведь так не раз уже бывало —
споткнутся и не встанут никогда.

Я сын своей земли, поэт восточный,
предвиденье — мой дар. Уже не раз
предсказанное мной — сбывалось точно,
как будто выполняя мой наказ.

Я вольный сын Советского Востока,
познавший счастье творчества узбек.
Мое перо мне дал бессмертный Ленин —
Великий вождь, Великий человек.

1949

АЙБЕК

103. НАД МОГИЛОЙ МАТЕРИ

Ты слышишь ли, мама?
Прошу у тебя, как награды,
Хоть весточки малой,
Хоть тайного, краткого взгляда.

И слез не унять мне,
И глаз не поднять от могилы.
Всё дальше, невнятной,
Всё призрачней облик твой милый.

Без взора, и вздоха,
И света, и слова, и срока
Лежишь одиноко. . .
О, как ты лежишь одиноко!

Над радостью давней
Мои простираются руки.
Из ключев свиданий
Халата не сшить для разлуки.

И пули молчанья
Разят меня силою всею.
Мой голос прощальный
Как лист облетает осенний.

И пятая осень
Твой день отмечает ухода.
И падают наземь,
Как ветви засохшие, годы.

1924

104. ЧЬЯ ЗЕМЛЯ?

На просторах зеленых долин
Только труд стал теперь господин,
Заблестели здесь серп и кетмень,
Ты, бедняк, здесь хозяин один!

Кто смеется, кто счастлив у нас?
Бывший раб стал джигитом сейчас.
Он — хозяин чудесной земли,
Над которой весна поднялась.

Кровью эта земля полита,
Гнула спину всегда беднота,
Но привольно дехканам теперь,
И сбылась вековая мечта.

Разнесен, уничтожен тот строй,
Встала светлая жизнь над землей.
Не подыметесь страшный кулак
Над твоею, бедняк, головой!

Эй, дехканин! Работай смелей,
Землю эту засей и полей,
Собирай урожай и трудись
На земле — она стала твоей.

1925

105. РАБОЧЕМУ

Всё ведомо тебе, рабочий:
И нищета и тяжкий гнет,
Но в горький час, во мраке ночи,
Ты верил в солнечный восход.
Ты победил нужду и голод,
Освободился от цепей;
Вздымая ввысь могучий молот,
Куешь ты счастье для людей.
К борьбе уверенно зовущий
Повсюду слышен голос твой.

Восстань, голодный, нищий,
И мир недоли вековой
Ты переделай в сад цветущий
Своею собственной рукой!

1925

106. ПЕСНЯ

Не дразни — ведь я тебе не пара.
Не казни — твоя во всем вина.
В косы не вплетай цветок тюльпана,
Точно чашу,
 ждущую вина.

Не решусь я на вопрос короткий,
Как дикарь, гляжу из-за ветвей.
Словно раб — тяжелою колодкой
Скован я
 насмешкою твоей.

Вот и пропасть — я стою у края.
Подтолкни — прощу и этот грех.
Если же ты тешишься, играя, —
Научи меня
 своей игре. . .

1926

107. ВЕСНА

Снова мчится куда-то аллея,
Две зеленых откинув косы.
Словно бешеной скачке оленя
Повзрослевшие вторят кусты.

Как стремителен каждый идущий! . .
Вопрошает и требует взгляд.
Горизонты,
 и небо,
 и тучи
Позабытою волей манят.

Что ж такое творится со всеми? ..
 Это мы,
 начиная с азов,
 Снова учимся слушать
 весенний
 Непонятный и трепетный зов.

 Это снова весна,
 это снова
 Капля в каждой фиалке горит.
 Не водою,
 а жизни основой
 Оживающий полон арык.

 1927

108. МОЙ ГОЛОС

Друзья, мы боремся не зря.
 Я славлю день высокий наш,
 Я понял ясно, где заря
 И где — обманчивый мираж.
 Я не хочу и не могу
 В часы, когда шумит прибой,
 Глядеть на дальнем берегу,
 Как две волны вступают в бой.
 Нет, я с тобой, рабочий класс,
 В одном ряду, в одном строю
 Добуду, смерти не страшась,
 Победу в яростном бою.
 Пусть нас в пути преграды ждут, —
 Они не сломят смельчаков;
 Мы утверждаем в мире труд,
 Освобожденный от оков!

 1928

109. САМАРКАНДСКАЯ ДЕВУШКА

Самаркандская девушка, мне не расстаться с тобой,
 Не расстаться с тобой;
 Ты в разлуке была моей ясной звездой,

Путеводной звездой.
Ты росла в нищете, когда серые дни,
Навевая печаль,
Превращали цветущие дали весны
В недоступную даль.
Но безрадостных дней и осенних ночей
Равнодушная тень
Красоты не посмела коснуться твоей, —
Ты прекрасна, как день.
Лучезарные крылья румяный восход
Над тобою простер,
И тебя, как весенняя песня, зовет
Неоглядный простор.
И счастливые годы встают впереди,
Расцветают вокруг,
Словно алый тюльпан у тебя на груди,
Мой единственный друг.
Стала ты и любовью моей и судьбой,
Нераздельной судьбой;
Самаркандская девушка, мне не расстаться
с тобой,
Не расстаться с тобой!

1928

110

Безымянная в сердце тревога,
Окаянное пламя в крови.
Не гони ты меня, ради бога,
Эту ловчую рать накорми.

Голубеет лоскутная просинь,
Шапка нищая медью полна.
Желтым озером падает осень
В опустевшие наши поля.

Вспоминаю, какой ты мне снилась,
Жду,
когда ты приснишься опять.
О, не лучше ли нищую милость
На безжалостный гон променять?

И, судьбу безраздумную птичью
Обретая в пустыне полей,
Стать последней
отчаянной дичью
Беззаконной охоты твоей?

1928

111. ЗВЕЗДА ЛЕТИТ

А вечер снова взнудан жаждой счастья.
В пернатом сумраке летит звезда.
И тишина! . . Как будто все напасти
И не гостили в мире никогда.

Как будто в мире беды не бывали.
Летит звезда. Поля небес пусты.
Звезда летит, и в сумрачном провале
Ее поймать пытаются кусты.

Так ожиданье сладко и тревожно.
Горит звезда. Густеет тишью темь.
И черный ствол, как сломанный треножник,
Дрожит, держась за собственную тень.

Звезда сгорает в сумраке пернатом,
И дым листвы дыряв, как решето,
И длится миг, и что-то выбрать надо,
И страшно выбрать что-нибудь не то.

1928

112. ПРОЧТИ САДУ

Как медленно печаль моя пила
Из черных кубков
трепетное пламя!
Но вопль ее, сорвавшийся с пера,
Теперь летит,
как птица,
над полями.

С утра в саду
 письмо мое прочти,
Взгляни, как жухнут лепестки и травы,
И ощутишь: понятен им почти
Моих очей, как уголь черных, траур.

1928

113. В ЛУГАХ

Ночь постлала тяжелые тени,
Месяц облако тронул,
 лукав.
И нежнейшая песня растений
Шелестит нам
 в бессонных лугах.

Навсегда ль это так,
 на мгновенье? . . .
Угадать мы не смеем конца.
Всё нам внове — всего же новее
Запылавшие наши сердца.

1928

114. У МОРЯ, ВЕСНОЙ

Десяток ветхих крыш, пустых террас,
Прибой, обрыв,
 кустов густые пряди. . .
Не высказать словами, как ты рад
Всей тишине,
 свободе,
 моря глади!

Вдоль берега — смарагда полоса,
А там — лазурь,
 и дымный блеск у края! . . .
Вот конь заржал.
 Девичьи голоса —
У хрусталя как будто звук украли.

Из чьей мечты
 весь этот рай возник,
Чье торжество
 так пышно величали,
Что солнце, словно золотой родник,
Всё
 золотыми залило лучами? ..

1928

115. ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Хмуро, хмуро... Нигде не пройдешь,
Чтобы вслед
 пустота не смотрела.
Воробьи копошатся, как дождь,
В пересохшей листве побурелой.

Чует ветхое рубище дня
Недалекие стужи уколы...
Ишачка снарядив,
 ребятня
По дрова собирается
 в горы.

1928

116. ЛИСТОПАД

На земле ковер из листьев,
И меня, как этот сад,
Повергает —
 как ни злись я —
В грусть и в холод
 листопад.

Ах, постой! ..
 Постой со мною
У туманного стекла,
И на сердце станет вдвое
И отваги и тепла.

Позабуду всё, когда-то
Сочиненное людьми,
Все напрасные трактаты
О превратностях любви.

Посмеюсь над ними всеми,
Навсегда
 весельем рад
Населить тот час осенний:
Ветер,
 вечер,
 листопад. . .

1928

117

Сколько раз повторить твое имя,
Чтобы где-то, в сумятице дня,
Мне твой след показали бы

 или
Ты сама услышала меня?

Есть ли плата такая иль плаха —
Всё отдать или на́ смерть пойти
За одно невозможное благо —
Чтобы наши скрестились пути!

За углом иль на дальней звезде **лишь**
Взор твой разом пронзит суету?
Или больше вовек не посеешь
Ты цветов
 в моем жарком саду?

1929

118. СВЕТИ, ЗВЕЗДА

Свети, свети, вечерняя звезда,
Тяни к земле колючие ресницы,
Найди ее, колья — и пусть ей снится
Моей любви бессонная страда.

Тебе я завещаю боль мою,
Ты ж — подари меня своею тайной,
Чтоб мог хоть миг я, мученик случайный,
В твоём бесстрастном побывать раю.

1929

119

Сети полночи странны и нежны —
Кто их снова оставил висеть?
И опять нас, опять безнадежно
Оплела эта нежная сеть.

По земле расстилаются тени,
И опутали землю сполна
Страсти, света и веток сплетенья,
Измышления листьев и сна.

Нас уносит потоком прощанья,
И легки, и бессильны слова,
И уходит, и просит прощенья
Нас поймавшая полночь сама.

1929

120. АХ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Ах, ничто не забыто —
Ни боль, ни любовь, ни забота.
Лишь калитка забита
Да птица в груди не забьется.
И не слышно шагов,
И не будет шагов у калитки.
Только шорох шелков
В тишине, темнотою налитой.
Ах, ничто не забыто —
И всё же мы вспомнить не в силах.
Та калитка забита,
И память нас кинула, сирых.

Там, где сердце болело
Под кожей
 горячею раной, —
Заросло, побелело.

Да вот — вспоминать еще рано.
1929

121. КОГДА Я ВЕРНУЛСЯ

Когда я вернулся,
 и к нашей свернул махалле
Трамвай,
 и опять я вошел в этот узкий проулок, —
Новехонький месяц сиял, как жестянка, во мгле
И узенький ветер казался пустынен и гулок.

А утром — на улице тесной играет весна,
И нет на ней места следам и обломкам былого,
И песни взлетают — как брызги от взмаха весла,
И девушки
 в песню вставляют веселое слово!

Вздремнул у стены притомившийся сторож-старик
(Как я его трусил, когда огородами лазил!),
И так по-домашнему рядом ружьишко стоит
И страшная псина по имени Четырехглазый!..

Прошли богомольцы по улице — два или три —
И словно сглотнули их
 пасти калиток скрипучих.
А старый Рахим — тот, что веники делал, —
 «Смотри! —
Кричит мне, кидая улыбки сияющий лучик. —
А я-то гадаю, куда ты пропал, большевой!

Живой ли, здоров ли — ни писем, гляжу,
ни привета...»
— «Что делать, в науку ударился...»
— «Чем, головой?»
Вот то-то распухла, гляжу,
от науки от этой!»

Вон клуб у мечети —
расчет оказался не глуп!..
Флажок на двери, и цветами откуда-то пахнет,
И улица чуть не с полудня заполнила клуб —
Вперила глаза
в бесконечные партии шахмат.

Вернулся, вернулся!.. Ну как же я все-таки рад!
Гляжу, и девчонки за шахматы нынче болеют...
Смотрю, как знакомо висит на стене транспарант
И Ленина бюстик привычно у входа белеет.

Из клуба выходит веселой толпой молодежь.
Друзья увидали — объятия, хохот!..
Я должен
Признаться: покуда в изменчивом мире растешь,
Так радостно вспомнить, что где-то —
всё те же, всё то же... .

Всё то же?.. Давно ли вот здесь мы играли,
и с крыш
Скакали по-козьи, и дрались, и ладили миром!
Так мчишься порой — как подковою, пяткой искришь!..
Ах, детство,
не той ли ты дикой свободой мило?

Ты вроде бы рядом — а все-таки время бежит.
Вгляжусь ли в товарищей — движется, движется время!
Словечки иные, в ином проявляется «шик»,
И взрослости чуешь
невидимое ускоренье.

Всё больше навстречу знакомых и лиц и фигур,
Всё — то же по виду, и всё изменилось по сути!
Вот наш секретарь комячейки, трудяга Тургун:
Был мальчик у бая,
а нынче студент в институте!

Как прежде, беспечно, без устали шутит Ахмад,
Но нету Камила. Куда-то удрал втихомолку?..
«Да он кузнецом на заводе! — ребята шумят. —
Не знаешь? .. Женился!

Ученую взял! Комсомолку!»

Наш треп развеселый чего только не задевал!..
Но все разошлись понемногу, калитки прикрывши.
Лишь лампочек груши протянут лучи за дувал.
Ножами в былое —

антенны на низеньких крышах.

Наш дом приютился на улице в самом конце.
Отец дожидается. . .

Он вечерами усердно

Сидит возле радио. Впрочем, вечерний концерт
Не слушают разве

одни перепелки соседа. . .

1929

122. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЕСНЯ

Нам выпало счастье — в ялегкие годы,
Решая оружием судьбы веков,
Сорвать навсегда с трудового народа
Омытое кровью железо оков.

Мы в пламени грозном прозрели недаром,
Мы яркие искры бросаем во тьму,
Чтоб мир, озаренный Октябрьским пожаром,
Дорогу нашел к торжеству своему.

Пусть ярче пылает победное пламя
И ширятся песни борьбы и труда, —
Зловещие совы своими крылами
Рассветных лучей не затмят никогда.

По пыльным дорогам летят эскадроны,
Напрасно оружием враги нам грозят, —
Над нами багряные реют знамена.
Товарищи, к бою! Ни шагу назад!

1929

123. ЖЕНЩИНА-КОНДУКТОР

О, как прочно дикость, боль, страданье,
Женщина, сплелись в твоей судьбе!
Но весна в лучистом одеянье
Улыбнулась наконец тебе.

Ты из клетки вырвалась на волю.
Ты теперь — передовик труда.
Светлая и радостная доля!
Прошрое исчезло навсегда.

И гремят, чуть утро, под трамваем
Рельсы после сна — настал рассвет.
Маленькие руки отрывают
Первому рабочему билет.

Едешь — и с утра до самой ночи
Твой трамвай весь город обойдет.
Да, твой труд к рассвету приурочен —
Ждешь, глядишь на звездный небосвод.

На тебя мужчина незнакомый
Глянет — улыбнешься, не тая,
Той улыбкой. И в глаза любому
Правда улыбается твоя.

Женщина-кондуктор! Дни за днями
Пусть летит трамвай — то новый путь!
Захлебнулось прошлое слезами —
Так расправь же сдавленную грудь!

1929

124

Это лето милосердно:
В сини
 облачка висят,
И седого полдня сено
Огрести не в силах
 сад.

Но напрасно дождь объявлен:
И жара
 не так плоха!
И в зеленом небе яблонь
Яблоки — как облака.

1930

125

Снова в знойном саду моей думы,
Как плоды, созревают слова.
Ждут, чтоб ветер нечаянный дунул,
Ждут — и могут дожждаться едва.

Нет, никак я к тебе не привыкну,
Наших слившихся душ торжество!
О любовь, ты, как соки — травинку,
Наполняешь мое естество.

Ты — как утро, что солнце впустило,
Разгоняя постылую темь.
Ты — как туча, что среди пустыни
Подарила прохладную тень.

Ты — как ночь, что росую приникла
К бедным веткам в горячем саду.
Ты — как ясная звездная книга,
И по ней я читаю судьбу.

1930

126

Полночь досыта звезд половила
И устала от долгой игры,
И печальной Луны половина
Прилегла
 на верхушке горы.

Где же блудная бродит планета,
По небесным петлям полям,

273

Что,
как лунное яблоко это,
Нашу жизнь рассекла пополам? ..

На какие вершины ни выйдем —
Ни за далью и ни за горой,
Как вот эта Луна,
не увидим
Мы своей половинки второй.

Только вечно мерещится рядом
Та,
что видеть во сне мы вольны, —
Как едва различимое взглядом
Очертание
полной Луны...

1930

127

Стих ветер;
Звук шагов негромок;
В саду становится светлей.
Луны нечаянный обломок
Плывет, качаясь, меж ветвей.
Как платья, пали тени с веток.
Всё кругло; в мире — ни угла.
И ткань медлительного света,
Как шелк, предметы облекла.
Мир шире стал раз в десять,
Вó сто!
Земля — как воск.
Вода — как мед.
И звезд рассеянное войско
Арыки переходит вброд.
И времени исчезли чары,
И так мне просто и светло,
Как будто будет всё сначала,
Что было
или быть могло.

1931

274

128. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Здравствуй, родина моя!
Вот и снова я в отчизне —
Ненадолго был отчислен
Вами, милые края.
Словно где-то ночевал —
И вернулся! . .

Снова рядом
С тополиным минаретом
Купола седых чинар,
У дорог — казненный тут,
С капельками черной крови. . .
Всё — мое, и всё мне внове,
Словно век я не был тут!
Эти добрые поля
С горизонтом тополиным,
Предзакатные поливы,
Предрассветная пора. . .
И кизячный милый дым,
И райхон — души отрада,
И созвездья винограда,
И планеты теплых дынь.
А в полдневной синеве
Нет и облачного клока!
Словно все запасы хлопка
Отдала она
земле. . .

1934

129. ОСЕНЬ

Целует землю листьев стая,
И, протянув уста кустам,
Вся сада даль полупустая
Долистывает свой дастан.

Чинары в реденьком халате,
Уже не годном ни на что,
Стоят,
с рассвета скинув платье,
Всё вымокшее под дождем.

Земля зеленой жаждет крови
В предвиденье нелегких дней.
И деревья без летних кровель
И ниже стали, и бедней.

И вижу я, бродя по кругу
Средь ранней сумеречной мглы,
Как отдалились друг от друга
Листвы лишённые стволы.

И нас, воздвигших горделиво
Кров общий над своей судьбой,
Не так же ль осень отдалила —
И разделила
нас с тобой? . .

1934

130. УЗБЕКИСТАН

То край, где золото растёт в полях,
Где гладит зиму ветерок весенний;
То край, где солнце, только отпылав,
Готово снова справить новоселье,
Где правит всеми
сил и счастья сплав!

Твердили нам: «Душа его больна»,
Да он и сам почти поверил в это ж!
Но ложь легенд, раскрытую сполна,
И философий горьких имена
Сжег наш Восток. . .
Сгорела эта ветошь!

Взгляните же на волны ясных дней!
Всей новизны — и захоти, не скроешь.
Труд пробудил страну, и перед ней
Открыли недра блеск своих сокровищ.
Открылся путь,
всех выше и верней!

Как ртуть термометра, расправлен стан,
И путы сна разбил могучий молот.

Где край еще, чтоб так же выростал? ..
История сама нам это молвит
И слово славы ставит по местам.

А ход машин на поле деловит,
Целует хлопок дали горизонта.
Старик джигитом кажется на вид —
В путь с молнией отважится джигит! ..
И жар в глазах — трудом свободным создан.

Скелеты-дни, чей саван — нищета,
Не явят вновь

могильного оскала.
Чорака ночи, нищих слез тщета. . .
Пуста, как дым, бессилия мечта.
Плеть
из плечей огня не высекала.

А мысль
из худжры вышла в ширь наук.
Чабан вчерашний — числит электроны.
И девушки сидят рядами ровно
На лекциях,
поднявши кос короны. . .
Кому бы это встарь пришло на ум?

Сложили мы прекраснейший дастан —
Он взял напев из музыки грядущей,
Ритм — из труда,
из сердца — мощь достал. . .
Хоть целиком — не спеть его устам,
Но весь, как есть, вошел он в наши души.
Его название — Узбекистан!

1934

131. ТАНСИК

Я знаю — в кишлаке Аим девчонка есть одна.
Зовут ту девушку Тансик, и имя ей под стать:
Ведь в поле выросла она, проворна и сильна.
Прекрасней и стройней ее на свете не сыскать.

Любого встречного всегда могли приворожить
Ее глаза, что, как чарас, лучисты и ясны.
Всю красоту ее лица в поэму не вложить,
И веет от ее груди волнением весны.

Пускай у матери она единственная дочь —
Коней доверил ей колхоз, парням на зависть всем.
Пока не дали ей табун — просила день и ночь.
Коровы, видите ли, ей не по душе совсем.

Коней породистых табун всегда напоен, сыт.
Как нежно холит их Тансик! Коням в колхозе честь.
«Хороший мой!» — она коню, целуя, говорит.
А моет как, а чистит как — не даст пылинке сесть.

А по ночам, пока не стих в конюшне хруст коней,
Ей долго, долго не заснуть. Проходят мимо сны.
«Есть, — думает Тансик, — страна прекраснее моей?
Нет, — отвечает, — нет нигде прекраснее страны!»

Когда Тансик на скакуне проскачет, как джигит,
И выбьет искры дробный ход коня из-под камней —
За ворот схватится любой, любой ей вслед глядит,
И восхищенное «ёпрай!» всегда летит за ней.

А в реку бурную Тансик гоняла табуны —
Как рыбы, лошади гладки и, как стекло, блестят.
Привольно плавают, храпят, режутся скакуны,
И звуки эти будят степь и в воздухе звенят.

Подарок — вот бы! — от себя Буденному послать.
Самой бы вырастить ему отличного коня!
Жеребчик выбран в табуне — Тансик его, как мать,
Любовно гладит, говорит: «Не подведи меня!»

Пошла к знакомым пастухам — пускай дадут совет.
Причмокнул старый Нур-бобо — уж он не подведет:
«Я поседел уже давно, но я не видел, нет,
Прекрасней этого Лыска. Дульдудуль! Пускай растет!»

А летом каждый год Тансик спешит из кишлака,
Чтоб гнать породистых коней на пастбища среди гор.

И Нур-бобо — у старика умелая рука —
Палатку белую свою раскинет, как шатер.

Бывало, вдаль она глядит, глядит с высоких скал —
Далёко ли ее кишлак? Не видно — где же он?
И еле-еле зоркий глаз за степью отыскал
Дымок, что тает, уходя в лазурный небосклон.

Вон утка пестрая плывет, красуясь над водой.
Вспугнешь ее — и уплывет. Куда там, не догнать...
В чалме снегов макушки гор... Вон водопад седой...
Всё это хочется Тансик увидеть и познать.

1935

132—134. ИЗБАВЛЕНИЕ

1. ВЕСНОЙ

Весенний предрассветный ветерок
Пригрел поля живительным дыханьем...
Едва вдали порозовел восток,
К участку своему ушел дехканин,
А вслед за ним поплелся сквозь туман
Детишек голых длинный караван.

Его участок — с детскую ладошку,
Что говорить — он вовсе не богат;
И тощий вол, передохнув немножко,
Уныло тянет за собой омач.
Трудна работа. Дети отощали.
И очи выел горький дым печали.

И от забот кружится голова,
Им счету нет — попробуй их исчисли!
И целый день стучат, как жернова,
Тяжелые, нерадостные мысли, —
Голодному и думать нелегко.
Земля черства, а небо далеко.

От слез горючих проросли до срока
Все семена, что в долг взяла жена.

Не жди от них особенного прока:
Долги растут быстрее, чем семена.
И поле, оскудевшее водою,
Грозит опять голодную бедою. . .

Вода! Она волнует, как мираж,
Как девушка любимая, тревожит;
Ты за нее последний грош отдашь,
И, может быть, она тебе поможет,
А может, унесет в пустынный край
Надежду на хороший урожай.

Она, журча, пьянит и нежит всходы
На неоглядных землях богачей,
И солнце пьет сверкающую воду,
Расцветенную золотом лучей.
Прозрачная, живая, голубая —
Она зажата в цепких лапах бая.

2. НА ХИРМАНЕ

Проходят дни — не прибыло воды,
И, орошенные ручьями пота,
Созрели зерна — скудные плоды
Тяжелой, изнурительной работы.
Но прежде чем наполнились мешки,
Со всех сторон пришли ростовщики.

Сверкая ненасытными глазами,
Как злые волки, собрались они,
Они кричат: «Расплачивайся с нами,
Долги свои немедленно верни!
Мы денег ждем, а если денег нету,
Твое зерно мы превратим в монету!»

И белой тучею на урожай
Уже надвинулась чалма имама,
И толстопузый, краснощекий бай
Уж тут как тут, капсана ждет упрямо.
Ты поскорей мешки ему готовь, —
Ведь он, как клещ, высасывает кровь.

Зима загнала в жалкую лачугу
Дехканина. Невесело ему:

Пустой живот перепоясан туго,
Унылый вздох летит в ночную тьму;
Рассыпались, как ветхая одежда,
Его мечты и робкая надежда.

Чем до весны семью прокормит он?
И, как ни изворачивайся, снова
Одна дорога — к баю на поклон.
Одна дорога. Выхода другого
Не видит он. Тяжка судьба раба,
И ждет детей такая же судьба...

3. ИЗБАВЛЕНИЕ

Нет, слишком много горя накопело;
Всему свой срок, — и, гнета не стерпев,
Бедняк берется за оружие смело,
И разряжается народный гнев,
Что исподволь сгущался черной тучей,
Ударом грома, молнией летучей!

Клинок и палка, камень и топор —
Всё пригодится; ширится восстанье,
Оно выносит смертный приговор
Кровавым баям, — нет им оправданья:
За море слез, за вековое зло
Суровое возмездие пришло.

Мятежный клич вздымая к небосводу,
Неудержимо, словно ураган,
Ты поднялся, дехканин, за свободу, —
Долой несправедливость и обман!
Пусть даже горы встанут пред тобою,
Ты справишься с преградой любою.

Пусть весь твой ужин — горстка толокна,
Приправленного мутною водою,
Пусть труден путь и ночь темным-темна, —
Товарищи твои всегда с тобою.
Расправой угнетателям грозя,
Шли за тобой восставшие друзья.

Ты превозмог лишения и голод,
Рабочий класс помог тебе в бою,
И с этих пор скрещенный серп и молот
С его судьбой соединил твою.
Стальная, несгибаемая сила —
Вас воедино Партия сплотила!

Рассветными лучами озарен,
Исполненный особого значенья,
В цветенье трав и шелесте знамен
Пришел желанный день освобожденья,
Пришел затем, чтоб сгинула нужда,
Чтоб спину разогнул ты навсегда.

Ты трудишься, забыв, как все дехкане,
Про тяжкие обиды и долги.
Спокоен ты: твоих завоеваний,
Весны твоей не отберут враги,
И никогда не возвратится снова
Зловещий сумрак рабства векового.

В домах просторных яркий свет горит,
И жизнь вокруг всё краше и чудесней,
И радость лучезарная парит
Над кишлаком ширококрылой песней,
И в школу новую спешит с утра
Веселая, живая детвора.

Колхозный труд, счастливый и свободный,
Принес богатство в твой цветущий край,
И каждый год на ниве плодородной
Обильный созревает урожай,
А там, где раньше чах кустарник дикий,
Теперь шумят веселые арыки.

Прошли года, твой сын не стал рабом.
Он ничего на свете не боится;
Легко и смело в небе голубом
Он управляет краснозвездной птицей.
К вершинам знания путь тяжел и крут,
Но дочь твоя кончает институт.

На много верст вокруг благоухает
Водою напоенная земля,
Шумят комбайны, хлопок убирая,
И трактора выходят на поля,
И взрослые рассказывают детям,
Как прежде полз омач по землям этим.

Так оглянись же с гордостью, мой друг,
И в переливах солнечного света
Увидишь ты, как далеко вокруг
Цветет земля, лучистым днем согрета, —
Родные дали, вольные края,
Твоя отчизна, родина твоя!

1935

135

Как вечный отголосок,
Как жизнь, течет вода.
И сон на белых косах
Не стынет никогда.

Она поет недаром
Века веков подряд.
Здесь под ее ударом
И камни говорят.

Она с веселым звоном
Свергается с горы
И вдаль, полям зеленым,
Несет свои дары.

Сверканьем залитая,
Спешит она вперед,
И солнца золотая
Тарелка в ней плывет.

К журчанью струй веселых
Я наклоняюсь вдруг,
Чтоб этот звонкий холод
Испить из чаши рук.

1936

136. ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

В лиловом сумраке, когда
Прохлада гор ласкает нас,
Восходишь ты, моя звезда,
Сверкая в небе, как алмаз.

Звезда далекая моя,
Вечерней негою томим,
Как глубоко проникся я
Очарованием твоим!

Давным-давно твой ясный свет
Струился в колыбель ко мне
И, словно верный амулет,
Оберегал меня во сне.

По вечерам не знала мать,
С кем пропадаю я и где,
А я бежал тебя искать
В озерной голубой воде.

Когда парил над головой
Мой змей до самой темноты,
Ему навстречу луч живой
Сквозь тучи посылала ты.

А если на густых ветвях
Вдруг повисал бумажный змей,
Сверкала ты в моих глазах,
В слезе мальчишеской моей. . .

Моя прекрасная звезда,
Ты помнишь сад, сроднивший нас?
Я приходил к тебе сюда
Стихи слагать в вечерний час;

И строчка каждая звала
Меня в неведомую даль,
И в строчках ласковых жила
Твоя волшебная печаль.

Мне не забыть, как много дней
И много лет тому назад
Я с милой встретился своей,
Как нас укрыл притихший сад.

И, ярче пышного венца
Сверкнув в безмолвии ночном,
Соединила ты сердца
Своим серебряным лучом.

И пусть с тех пор года прошли, —
Я так же радуюсь, когда
Ты зажигаешься вдали,
Моя вечерняя звезда.

И я без усталости готов
Тебя влюбленно воспевать,
Но не могу найти я слов,
Что красоте твоей под стать!

1936

137. НАМАТАК

Чудно качается куст наматака
Там, наверху, в ветровой колыбели,
Солнцу — корзина цветов белоснежных.
Гордо над краем утесистой щели
Чудно качается куст наматака...

Мне не насытиться пляской той нежной,
Черные камни и те посветлели,
А на лице его пляшет улыбка,
А на щеках поцелуи зардели:
Солнцу — корзина цветов белоснежных.

Плачет у ног его снег серебром,
Чудно качается куст наматака.
Ветер швыряет мне жемчуг ручья,
Чудно кивает мне в скалах из мрака
Звездных цветов белизна над ручьем.

В воздухе гор, в тьме утесов крошечных,
Спутав побеги, цветами сияя,
Пляшет создание скал одичавших —
Куст наматака, как пьяный, вздымая
К солнцу — корзину цветов белоснежных,

1936

138. ПРОЩАНИЕ

Прощай, прощай, Чимган родной,
Где я с весельем говорил;
Тебе я сердце подарил,
Дни шли, как сказочной страной!

Дни шли, и жизнь была легка, —
Цветы и в сердце и вокруг,
И памяти зеленый луг
Не знает мертвого листка.

Трава по грудь стояла здесь,
Когда я прибыл в край зарниц,
А праздник бабочек и птиц —
Он мог ли гостю надоесть?

Я пил кумыс, оставив стих,
Лежал на теплых отмелях,
И птицы, душу веселя,
Мне пели гимн сердец своих.

Как жидкий жемчуг — предо мной
Волна, как песня парусов,
Был полон воздух голосов,
Звеневших радостью земной.

Лез на Чимгана крутизну,
Был страх и радость — тот поход.
Пил мед цветов, ступал на лед,
Уйдя душою в новизну.

Как звон бокала о бокал,
Звенели мне минуты те,

Когда на дикой высоте
Я выси взглядом обегал.

В полях шли тени, в тишь маня,
Вдали на скалах, под рукой,
Казалось, исчезал покой,
Сгорев в лучах палящих дня.

Гулял я, одинокий, в ночи,
И тайный голос ветерков
Тут приходил ко мне с лугов,
С вершин, из зарослей арчи.

В боярышнике, как из сна,
Вставала мне подругой вдруг
И шла, воспламенив весь луг,
Как опьяненная, луна.

Я в том негреющем огне
Дышал полночной красотой,
В шелках прохладных ночи той
Живые краски пели мне.

Свет золотой то шел, струясь,
Ущельной черной тьмой до дна,
То света теплая волна
Текла, средь дальних гор дымясь.

Червонный, в свете багреца,
Здесь плыл деревьев караван,
Ткут соловьи тут свой диван,
Диван, в котором нет конца.

Ручей, и роща, и огни,
Семь юрт там войлочных больших,
Семь тусклых ламп горят в тиши, —
О, как пленительны они!

Коль буря ночью заревет,
Поток сверкнет, сшибая с ног.
Подушки — чуть не за порог,
И одеяла — чуть не влёт. . .

Я молний ярому броску
Дивился, радостью сожжен,
И слушал рощи тяжкий стон,
Впивая сладкую тоску.

Всю ночь в работу погружен.
Лишь неба желтые цветы,
Смеясь, сгорали, — с высоты
Нес ветерок мне тихий сон.

И ночь. И Пушкин. И юрта...
Всю ночь с любовью я вкушал
Всё, чем жила его душа, —
Как жизнь проста и непроста.

Он мне по милости своей
И сердца свет и свет ума —
Как бы поэзия сама —
Дарил, как песню новых дней.

Прощай, Чимган, и гор гряда,
И сад — поэзии ключи.
Вот здесь-то Пушкина и чтить!
Чимган, ты в сердце навсегда!

1936

139. ОДНОДНЕВНАЯ ПРОГУЛКА

Я шел через холмы,
И скалы, и овраги,
И луг,
 как похвалы,
Выпрашивавший влаги.
Я видел родники,
Что тихо строки шепчут,
И звонкий смех реки,
Сверкающей, как жемчуг.
О, край камней и вод! . .
В своих нарядах скромных
Заводят хоровод
Арчи на строгих склонах,

Вокруг тяжелых скал,
Осевших по-слоновьи,
Где за полдень я спал
В легчайшем хвойном зное...
Про дальний звон ключа
Чуть слышно ветви пели.
Баюкала арча,
Как ласковая пери.
И солнце, глядя вниз,
Сквозь хвойные оконца,
Мне оставляло в них
Сверкающие кольца.
Проснулся: никого!
И снова в путь...

Арча мне

Тяжелым рукавом
Махнула на прощанье.
И, словно бы во сне,
Что больше не приснится,
Заплакала вослед
Невидимая птица.
О, край камней и вод!
О, мир высокой прозы!
Здесь дух вольней живет,
И запахи, и росы.
И, в рифме не силен,
Выкладывает сразу
Веселый василек
Приветственную фразу.
И вдруг, идя сквозь тишь,
Ты в холодке внезапном
Ноздрями ощутишь
Блаженный снега запах...
О, бедный синий снег!
Как скромно он поселен —
Пока зимы здесь нет —
В глухой тени расселин...

...Извилистей тропа,
Коварнее и круче.
И с каменного лба —
Клок облака летучий.

На пики гор надет
Лазурный свод небесный,
Скала, как черный дэв,
Спускает ноги в бездну...
Но — кончился подъем!
(Наверное, решили
Оставить нас вдвоем —
Поэта и вершину.)
Какой отсюда вид!
Какое море блеска!
Колышется, блестит
Прозрачная завеса.
Дыханье высоты
Прохладней и короче.
У ног моих цветы —
Как смятые короны...
Но — поздно!
Вниз...

И вот
 опять навстречу лето,
И спуск — наоборот
Запущенная лента.
Когда ж совсем невмочь
Тащить себя, как ношу, —
Меня встречают ночь
И люди
 у подножья.

1936

140. ПРОМЕТЕЙ

Нет, не сердце, а светоч великой любви
Разгорается, дух твой, как море, кипит.
Мысль на гордом челе, непокорство в крови, —
Не изгладит их время, не испепелит.

Пламенеющий факел во имя людей,
Вызывая звериную злобу богов,
Выше солнца вознес ты десницей своей,
И сияет твой подвиг во веки веков.

Против неба ты первым, батыр, поднялся,
Выбил первую молнию в тьме мировой.
Содрогнулись от гнева тогда небеса
Над твоей несклоняющейся головой.

Твою грудь сто железных опутали змей,
Приковали тебя к недоступной скале.
Но не властен никто над любовью твоей,
Ты один против неба на голой земле.

Твою печень терзать прилетает орел,
Твои муки — призыв к беззаветной борьбе...
Ты зарей огневеющей в вечность вошел,
Ненавистная тьма покорила тебе.

Пахлаван дерзновенный, восставший батыр!
Нет любви непреклонней, поступка смелей:
Ты спустился с Олимпа в юдольный наш мир,
Выдал тайны богов ради счастья людей.

Твоя гордость расправила крылья, и вот
Цепи рабства, позорные, пали звеня.
Сокрушая слепого бесправия гнет,
Смелой мысли и воли ты вывел коня.

О могучее сердце, твой свет не потух,
А, пройдя сквозь века, еще ярче во мгле,
Твой струится по жилам истории дух,
Заставляя дрожать всех владык на земле!

Богоборец, ты тучи рассеял для нас,
Дал прорваться потоку весенних лучей.
О, какую мы черпаем силу подчас
В золотом этом опыте древних ночей!

Океанские волны эпох и времен
Омывают, ласкаясь, подошвы твои.
Ты идешь к нам, и выше небес вознесен
Пламенеющий факел борьбы и любви.

1935

141. ВЕЧЕР

Золотые озера заката
Допивают сияние дня,
И тоскливая ночи загадка
Обступает тенями меня.

Еще бледен простор небосвода,
Еще птичьи не смолкли хвалы,
Но черны загустевшие воды,
Очертанья теряют холмы.

И теней островерхая чаша
Всё растёт и растёт впереди,
И какая-то нежная чаша
Разбивается глухо в груди.

Словно слиты в прощании этом
Я и день
 до последней слезы,
Я иду, а идущая следом
Темнота
 выпивает следы. . .

1936

142. В ГОРАХ

Гулких сосен мед и медь.
Добрый, душистый запах хвои.
Ни заботы и ни хвори —
И достатка
 не иметь.

Навсегда уйти сюда,
Словно вон из плена вышел.
Быть себя — не ближних — выше:
Только в этом высота.

Словно эта вот гора,
Осеняющая тенью,
Что дарит ручьи растениям,
А сама
 всегда гола.

1936

143

Смотрю ли с вершины на синий простор,
Спускаюсь ли к речке, зажатой меж гор,
Лежу ли, задумавшись, у родника, —
Всё радуется нынче мне душу и взор.

Кипят серебристые струи ключа
Печально и сладостно, тихо журча,
И — яркая россыпь — жемчужины света
Бегут по траве, и трава горяча.

И дружная радость наполнила день:
Прильнули к вершине горы облака,
И дружно со светом сплетается тень,
Забота легка, и печаль далека.

И вот в дальней юрте запел патефон
О том, как прекрасно на свете мне жить,
О том, как прекрасно, когда ты влюблен, —
И в золоте воздуха звонкая нить
Поет, не смолкая, звенит и звенит,
И грудь уж не в силах мечтаний вместить!

1936

144. МИР РАСПАХНУТ ПЕРЕД ТОБОЙ...

Мир распахнут перед тобой:
От прозрачной речной воды
До блестящей ночной звезды
Долетаешь ты, ветер мой.

Ты уносишься с ветки арчи
В бесконечно далекий простор.
Заведи ты со мной разговор,
Расскажи мне о грезах гор,
Задремавших в лунной ночи.
Ты мне сказки поведай свои,
Успокой меня, благослови,
Пожелай мне хорошего дня,
Пожелай мне счастливой любви!

1936

145. ГОРЯТ В НОЧИ

Горят в ночи, как жемчуга,
Звезд неоглядные луга;
Река струится в тишине,
И волны бьются в полусне
О берега, о берега. . .
И непоседа ветерок
Устал и чуточку продрог;
Ему теперь не до забав, —
Гнездо пустое отыскав,
Он спит, забравшись в уголок.
А ночь не спит. Она поет,
Она в бессмертие плывет,
И ты поверь ее огням, —
Они предсказывают нам
Счастливый солнечный восход!

1936

146. МАШРАБ

Не волосы — космы. Глаза как кометы,
Сверкают неистовством жаркого света.
Лицо его — пашня, где холод и зной
Оставили след свой, прошли бороздой.
Жар сердца и саз — всё богатство поэта.

Всё в нем поражает: сверкание глаз,
Волос ореол, гневной речи экстаз,

Халат (или то, что звалось когда-то
Халатом, — рванье, на заплате заплат),
За поясом тыквянка, в тыквянке — нас.

Вот вихрем, подобно джейрановой тени,
Он мчится в пустыне и ни на мгновенье
Не станет, не сдастся — мрак, яростный гром,
Песок и колючки ему нипочем:
Попутчиком служит ему вдохновенье.

Из горсти он выпьет вино родника,
Постель — из камней, но зато широка.
В огне его глаз голубую слезою
Расплавилось небо, горит бирюзою.
Пред взором души — вешний луг и река.

Все ждут песнопевца и в стужу и в зной,
Молва о нем катится бурной волной,
Глядят в чайханах и в курильнях с порога
Старик и юнец — не пылит ли дорога?
«Какой он? Кто видел?» — звучит вперебой.

И вот он пришел. Как повсюду на свете,
Бегут за пришельцем веселые дети.
Во взорах улыбки, но в них и любовь:
«Иным каждый раз он приходит к нам вновь!»
— «Таких чудаков не видали столетья!»

Богач ему дал золотой. Но поэт
Швыряет о камне монету: «Э, нет,
Мы, дервиши, к звону презренному глухи,
На сладость такую садятся лишь мухи,
А мир — волшебство и без этих монет!»

Мальчишке сказал он: «Костер разведи-ка!»
С огнем обходиться он мастер великий.
С любовью катает поэт угольки
На черной ладони костлявой руки —
Он видит в них солнца горящие блики.

И вот раскурил он огромный чилим,
Высокое пламя взметнулось над ним,
Кулаха не видно за облаком дыма,

И кто-то руками развел: «Одержимый!»
Другой ему вторит: «Мы этак сгорим!»

Чилим уступил свою очередь сазу —
И льются газели, и тянутся сказы.
Они говорят о знакомом, родном —
И люди сгрудились, сомкнулись кольцом,
Сердца полыхают, занявшись все сразу.

Казах, на верблюде примчавшийся вскачь,
Согбенный дехканин, ремесленник, ткач —
Все властью могучего очарованья
Захвачены, стихли, и в стены молчанья
Врывается пламенный песенный плач.

Скиталец не знает приюта и крова,
На камни потник — вот и ложе готово.
Поет он — порой посмеется народ,
Порою вздыхает: народу несет
Печаль и веселье — крылатое слово.

Меч логики рубит сплетения зла.
Боятся его мударрис и мулла.
Он гордый — ему ль перед сильным склониться?
И мысль озаряет внезапной зарницей
Дорогу скитальца, мечты и дела.

Что вера святоши, мораль показная?
Смердящая вязкая топь, загнивая,
Певца засосать не смогла. И народ
Увидел, что прав он, горшок нечистот
Над белой чалмою ходжи выливая.

Всю жизнь избегает он пышных хором,
Дочь хана не холит он в сердце своем,
Средь знати придворной не ищет он друга,
Певцу всеми красками светит лачуга,
Он солнце находит и над кабаком.

. . .

Так жил он. И люди в аулах согреты,
Как солнцем, сказаньем, исполненным света, —
Легендой из тысячи ярких кусков.
И там, где прошел он, как горы цветов,
Сверкают бессмертные песни поэта.

1937

147. ПЕРВЫЙ СНЕГ

На мой термометр вдруг дохнул ты с высоты,
И ртуть склонила стан, свой синий стан и нежный.
Повсюду твой привет подброшен в письмах снежных,
Как падающий лист, так пляшешь, легкий, ты.

Гость мрачных птичьих гнезд, к тревогам птичьим
глух,

Любую ямку, щель ты счел своей находкой,
Ты с улицы прогнал сапожника с колодкой,
Цветочницу, а сам повис, как белый пух.

И громкое «апчхи» уж с улицей дружит,
Из листьев парковых — шушанья золотого
О лете память всю ты изгоняешь снова,
Впервые с неба путь так гордо проложив.

«А вот и снег!» — кричит у школы детвора,
Сражается в снежки, летая по газонам,
И пешеход иной в своем демисезонном
Горюет, что ушел не в теплом со двора.

О лете лучшее храня воспоминанье,
Дрова и уголь я запас исподтишка,
Со стен снимает мать лепешки кизяка —
Жизнь всё же вздрогнула от снежного дыханья!

1938

148. ТВОЯ РАДОСТЬ

Вечер душный, усталый на отдых залег.
Гаснут на небе огненных маков луга.
Ужин варится, рдеет в золе уголек,
Мать-старуха на корточках у очага.

А над ней, на жердях, тяжелы и плотны,
Темно-красного яхонта гроздь висят.
И, чего-то ища, горячи и жадны,
Ветерки виноградной листвою шелестят.

Пятерых молодцов, одного за другим,
У нее отняла, оторвала война.
И тоскует она по своим дорогим,
Видеть их — нестерпимым желаньем полна,

Голоса их в ушах не смолкают у ней,
Их дыханье горячее бьет ей в лицо.
Всё ей чудится: будто — шаги сыновей,
Будто звякнуло старой калитки кольцо. . .

Вот развязывает она кончик платка,
От меньшого письмо полустертое в нем,
Эти буквы писала родная рука, —
Слезы вновь подступают ей к горлу комком. . .

Призрак сына, кивнув, удаляется прочь.
Пригорел ее ужин, и выстыл очаг.
Краски вечера черным замазала ночь.
Хмурясь, в мрак она смотрит до боли в очах.

У ограды колышутся пять тополей,
Пять друзей, шелестящих, веселых, живых.
И целует им ветви и блещет теплей
Золотая звезда между листьями их.

Мать вздыхает. Она одинока опять.
Тихо шепчутся пять тополей и звезда:
«Слез не лей, будь тверда в испытаниях, мать!
Счастье в дом твой вернется, придет навсегда!

Снова даль бирюзовая, песней звеня,
Отзовется — окликнешь, махнешь ли рукой, —
Непомерною радостью сердце тесня,
Засмеется земля, только ступишь ногой.

По садам, по дворам будут рыскать ветра,
Как гонцы, застучат у дверей матерей.

Не закончив уроки, из школ детвора .
Пронесется гурьбой по домам поскорей.

День великий придет, день счастливой судьбы —
Ты обнимешь своих пятерых сыновей,
Грозным жаром войны опаленные лбы
Будешь ласково гладить рукою своей.

И как будто бы солнце ворвется в сердца,
И, смеясь и от радости слез не тая,
Ты увидишь — как даль без границ и конца,
Засияет прекрасная старость твоя!»

1942

149. ВТОРОЕ ЛЕТО

И яблоч белые бока
Вновь красит красным полдень года,
Как медленная кисть восхода —
Предутренние облака.

Опять струной звенят луга,
От щедрости изнемогая...
Но в песне слышится другая,
Тревожно-горькая строка.

Внимает чуткий слух листка
Земли и неба содроганью!..

И горизонты пахнут гарью,
И боль далекая — близка.

1942

150. ЛЕЙ, ЛИВЕНЬ

Лей за окнами, ливень осенний,
Трогай струны
 трагических лир.
Плачь над летом,
 над жизнями всеми,
Что немислимый пламень спалил.

Эти капли — как слезы вселенной
Над руинами мертвых столиц.
И в саду
 молчаливой сиреной
Наше общее горе стоит.

Лей же, ливень, пока не подарешь
Передышку пожару души,
И над пеплом недавних пожарищ
Хоть ненадолго
 горе туши. . .

1942

151. ОТЦУ

Так этот бедный бугорок
И есть твоя могила —
Всё, что у роковых ворот
Мне память отмолила?
Под этой горкой глины —
 весь
Мой в детство путь, и дальше! . .
И — мертвых трав мертвее — здесь
Лежишь ты,
Жизнь мне давший. . .
Ты —
Горы,
 степь ли, что спала,
Будивший скачкой гордой —
Немей камней,
 исчез сполна
Под этой жалкой горкой!
. . .И где он силы собирал,
Что, налетев по знаку,
Всю разом вывернул буран
Мне душу наизнанку!
И одолела боль опять,
И гнев берет за горло.
И мне вовеки не понять
Жесточкого закона.

Смотрю на белый купол дня
И вопрошаю немо,
Но ввысь
 кругами
 от меня,
Как дым, уходит небо. . .

1942

152. БАБОЧКА НА АСФАЛЬТЕ

(Маленькое происшествие)

Гибла площадь в огне саратана
Под немолкнущий стон тормозов,
И над ней —
 по случайности странной --
Этот нежный послышался зов.
Меж колес, кузовов и асфальта,
Где от шин мостовая крива,
Так невинно,
 и страстно,
 и свято
Всплыли бабочки белой крыла.
Далеки от беды и победы,
Как кружили ее кружева! . .
Что ж погнало с лугов ее белых,
Где она родилась и жила?
Ложный след улетевшей подруги?
Непонятная жажда чудес? . .

Площадь двинулась, в стоне и муке,
Огонек промелькнул
 и исчез.

Где ж ты делось, о легкое пламя,
Безответная белая страсть,
Что от свежих ветров над полями
В эту жаркую кинулась пасть?
То ли гарью тебя задушили,
Не успевши
 и словом назвать,
То ли смяли тяжелые шины,
Поглотил раскаленный асфальт?

Или мощь городская бессильна
Погасить этот брачный полет,
И в чаду нестерпимом бензина
Всё летишь ты,
 седой мотылек?

1942

153. ДОРОГА

В черный сон погрузилась дорога,
Поразвевая радость и грусть,
Чтобы за́ ночь остыла немного,
Отдохнула
 кремнистая грудь.

Тишь не тронута воем шакальим,
Не продрогнет под ветром трава.
Все,
 что днем здесь несчетно шагали, —
Тоже сгинули в ночь до утра.

Всадник в мыле —
 и те, что в обозах
Непоседливый скрип берегли,
Пробегавшие дети,
 о посох
Опиравшиеся старики.

Стар и мал, нищета и сверканье, —
И не снится дороге средь тьмы,
Как по ней побредут стариками,
Что вчера пробегали детьми.

Как вчерашний замызганный пеший
Дорогого помчит скакуна,
Ну а спешенный всадник — неспешно
Поплетется, не зная куда.

Поменяются злоба и кротость,
Вспомнит мудрость,
 что глупость рекла,

От сталинградских грозных берегов
До Эльбы вражьей орды мы прогнали.
Мы растоптали полчища врагов,
Честь и свободу нашу отстаивали.

Победы слава нас ведет вперед.
Страна моя! Цвети пышней и краше!
Возьми, испей до дна, родной народ,
Победы златокovanую чашу!

1945

157. ПРЕДСЕДАТЕЛЬНИЦА

В жару дымятся заросли джиды,
Как будто серебром сады закапали...
За садом — сад, обходишь все сады,
Потом идешь полями, с поля на поле.

На гордой голове — веночек волос,
А сапоги солдатские, кирзовые, —
Мужчиной стать тебе в тот год пришлось,
Самой войною ты мобилизована!

Еще дрожит прощальная слеза,
Дымки за эшелонам не растаяли...
А уж соседи голосуют «за».
Ты возражала — на своем поставили!

И вот уже ни отдыха, ни сна.
Всегда на людях, дорожка минутою,
Ты летом в пекле, в поле дотемна,
Зимой каналы роешь в стужу лютою.

Ты раньше и не ездила верхом,
Но всюду надо поспевать! И с ходу
Пришпорив лошадь, скачешь напрямиком
Через весеннюю шальную воду.

В предгорьях — хлеб. На пастбищах — стада...
В долинах — хлопок. Верно, никогда ты

Не отдохнешь, пока твоя страда —
Одеть, обусть и накормить солдата,

Исправить трактор, подковать коня, —
Нет той заботы, чтоб тебя минула,
И ко всему вдобавок нету дня,
Чтоб в чей-то дом беда не заглянула.

В душе — своя тревога под замком,
Но с ней ты лишь заботливее вдвое.
Ты для сирот заводишь детский дом,
Всю ночь бесстрашно говоришь с вдовой.

Всегда точна, словам своим верна,
Гневна бываешь, озорна бываешь,
С презреньем обрываешь болтуна
И первой песню в поле затеваешь.

Но вот, казалось бы, вовсю запеть!
По радио грохочет День Победы!
Так что же ты рыдаешь? Всё стерпеть,
Всё вынести — все трудности, все беды,

И вдруг последней в целом кишлаке,
Пройдя весь путь, весь непомерно длинный,
Сжать в это утро в ледяной руке
То черное письмо из-под Берлина!

К тебе он не вернется никогда...
Рыданья молча в горле застревают...
Подходит осень, та пора, когда
Бессонный труд, как выручка, бывает.

Плывут на ЗИЛах хлопка облака.
Над ним — чужая глина под Берлином...
По-прежнему тверда твоя рука,
Всё та же строгость в облике орлином.

Живешь трудом, заботами, борьбой,
И лишь порою, в нестерпимом горе,
Коня седлаешь. Молча скачешь в горы.
Одна. Никто не едет за тобой...

1946

Милой глаза, что влекут так безудержно, вспомни!
 Неба вечерний цветник — словно жемчужин краса,
 На равнинах, в горах всё нежнее покой, всё
укромней, —
 Среди глаз всего мира вспомни милой глаза.
 Вновь разлука с тобой, горем сердце мое сжимая,
 Вновь поет соловей свою песню без перемен, —
 Мне на память приходит такая ж, как ты, такая
 Красивая девушка, сердце берущая в плен.
 Под журчанье воды один по берегу бродишь;
 Память обняв о тебе, камнем сидишь меж камней.
 Люди ушли, в сердце с этой минуты ты входишь,
 Как сладостный сон в черноту дикой ночи моей.
 Милой глаза, что влекут так безудержно, — вспомни!
 Ночи в слезах и веселость той девушки — вспомни!

1946

159. В МАВЗОЛЕЕ ЛЕНИНА

Не оскудеет родник вдохновенный,
 Жизни и силы высокий исток,
 Тот,
 что борьбой — и прозреньем мгновенным
 Он из истории гневной исторг.

Вот он лежит здесь, смежив свои очи,
 Мыслью

оставшийся в наших умах.
 И от пылинки до судеб всеобщих —
 Этой пылающей мысли размах.

Руки сложил на груди недвижимо,
 До осиянных вершин не дойдя...
 Но продолжается неудержимо
 Наше движенье по зову вождя.

Залы безмолвны и мраморны своды.
 Вот он лежит на груди тишины —
 И остается душою народа,
 Сердцем неистовым
гордой страны!

Кто восстановит живое обличье,
Жаркого,
 жесткого жеста права?
Как отыскать нам слова для величья,
Что превосходит любые слова? . .

Жизни законы вернувший из плена
Лжи столетковой,
 корысти,
 вреда —
Молот и серп он избрал как эмблему
Освобожденного счастья труда!

Небо
 весенним заполнивши громом,
Чтоб молодеда и пела земля,
К каждому в дом в этом мире огромном
Он приходил
 сквозь ворота Кремля.

Бури раскат среди ветреной хмури
Новую эру означил навек,
И отозвалось на дальнем Амуре,
Что прогремело на гордой Неве.

Словно прихлынувший с кручи высокой
Воздух весенний,
 который мы пьем, —
Он заглянул за чачваны Востока,
Чтобы покончить с позорным тряпьем.

Нищие боги и злые законы
Прахом рассыпались,
 жалкой тщетой:
Нет нам отныне родней и знакомей
Ленинской мудрости,
 правды простой!

Он появился — и с этого мига
Люд подневольный почуял в себе
Мощь,
 что красу континентов воздвигла,
Трепет свсбоды и вслю к борьбе.

А паразитам, напившимся крови,
Видящим вещи иначе, чем мы,
Ленина имя — в запале злословья —
Смерти страшнее, опасней чумы!..

Пусть эти глотки охрипнут от крика —
Ленин бессмертен во веки веков!
Суть и душа твоя
 в завтра открыта,
Вождь гениальный большевиков!

Впитанный партией, разум твой — с нами.
Правда в сознание и пламя в крови,
Имя на знамени — имя как знамя!..
Вновь мы в походе,
 и ты — впереди.

1948

160. В КАРАЧИ

Я слушал саз проснувшейся свободы,
Народа голос из глубин души,
Ветра надежды,
 что ко мне дошли,
Минуя горы,
 далью небосвода.

Чтоб слезы в нищих высушить глазах,
Берет оружие, кто был унижен, —
Чтоб свет сменил потемки голых хижин
И край немой
 свой первый слог сказал.

Я слушал саз весны над глушью затхлою,
В саду страны — я слушал голос Завтра!..

27 ноября 1949
Карачи, Пакистан

161. ПЕРЕД ПАМЯТНИКОМ

Пять вех высоких, пять столетий, . .
Но век промчавшийся — как миг,
О чем твердят дастаны эти?
Нам кажется, о нас самих.

Как он в далеком веке понял
Народ,
 что перед ним предстал!
За то народ теперь и поднял
Его на вечный пьедестал.

В объятье Родины так сладки
Мечты и песен голоса.
Одежды каменные складки,
Вдаль устремленные глаза. . .

«Привет, поэт! . .»

 В своем паренье
Он видит: век неповторим,
Но ищет в новом поколеньи
Иных Фархадов и Ширин.

О, что за вихрь сметал короны,
Рвал цепи,
 рушил козни чар,
Чтоб в речи сорока народов
Твой дивный голос зазвучал!

Стихи твои не постарели —
Живут, какой ни назови! —
О брат Шевченко, Руставели,
И Пушкина, и Низами!

И их, как ранней розы запах,
В заветном уголке души
Хранят армяне и казахи,
И русские, и латыши. . .

Навеки гнет позорный сгинул,
Что ты клеймил, о Навои.
Так пой же с нами!
В общем гимне
Пусть строки светятся твои! . .

1949

162. БАБУР

Пылает пламя в комнате,
играя
На золотых округлостях и гранях,
В таинственных глубинах серебра,
На пестроте огромного ковра.
И отсветы, приманивая взоры,
Являют дивной яркости узоры,
И огневая россыпь очага
Дарит рубины или жемчуга.
В тисках тоски — как будто за плечами
Стоит густое облако печали —
Бабур сидит, величествен и прям,
В руке блестит стремительный калам.
Дрожит, дрожит настой из розы в чаше.
Бежит, бежит узор строки тончайший —
Как будто след оставила, вольна,
Из сердца набежавшая волна. . .

О лента лет, как ты летела бурно
Для царственного странника — Бабура!
За переходом новый переход
Сурово метил

каждый новый год. . .

Когда в отчизне места не достало —
Он шел сквозь мир к престолу Индостана,
Точил мечи — и ум точил, как сталь,
Пока и сам почти стальным не стал!
Он презирал и слабость, и усталость, —
Так что это за горечь в нем осталась,
Победу побеждающая страсть,
Тугие пути, что в пути не стрясть? . .

Чернь бороды, лицо белее мела,
Кочан чалмы, закрученной умело.
И этот шелк халата голубой,
И тот рубин в чалме над головой,
И в дивном перстне дивный камень синий. . .
Но в этих гибких пальцах —

столько силы!

И в глуби глаз, где спорит с блеском тьма,
На мощь души помножен свет ума.
Днем — править царством,

ночью — строки править. . .

О ты, рожденный рок переупрямить,
Ты, перед кем любая власть слаба,
Скажи, кто тверже —

люди иль слова? . .

Вот Индия: волшебный образ рая,
Алмаз бесценный — звезды в каждой грани!
Не ты ли ей,

с бедою войн знаком,

Мир даровал, определил закон?
Что ж эти руки, что мечи держали
И возводили здание державы,
Которыми и правил и карал, —
Дрожат,

держа коротенький калам? . .

Откуда боль? Откуда ты, откуда,
Неотразимой искренности чудо —
И вся тоска, пронзившая газель,
По милой,

не вернувшейся досель?

Какой любви, перешагнувшей сроки,
Какой возлюбленной

гранит он строки?

В какой далекой дорогой дали
Ее пути-дороги пролегли? . .

На стенах и на утвари богатой
Жар очага — как отсветы заката.
Весь изукрашен с головы до пят,
Струит светильник —

света водопад.

К цепочкам слов прикован неразрывным,
К влекущим слог неугомонным рифмам,
Шах оглядит строку со всех сторон —
И морщится, неудовлетворен. . .
Неужто снова промах?

Неужели
Ты, о царица снов и свет газели,
Единственная на земле краса,
Навеки обольстившая глаза, —
Неужто ты, о родина! — не хочешь
Явиться из-за вязи тюркских строчек,
Душе открыться ярче и видней
За далью далее и пространством дней?
Чужой земли блистательному шаху —
К тебе одной не сделать мне и шагу,
К тебе одной, испепелившей грудь,
До смерти мне земной заказан путь!
Но отзовись! К тебе взываю снова.
Ну отзовись на сладкий оклик слова,
С которым я, земной презревши: прах,
К тебе навеки
возвращусь в веках. . .

1964

163. ТЮЛЬПАНЫ

Опять весна в холмы упала,
И землю в зелень облекли,
И вы мигнули мне, тюльпаны,
Как маленькие маяки.

Опять тропинка под ногою
Уводит в дальние луга
И в отдаленье тают горы,
Как скошенные облака.

А день покуда не разведан,
Слоится утро, как слюда,
И солнце
медленным рассветом
За мной восходит по следам.

И луг, костром широким прянув,
Подстерегает мой приход,
И алым отблеском тюльпанов
Окрашен
 ласковый восход.

1964

164

Когда с души спадает тяжкий гнет,
То вся преображается природа.
Глядит весной любое время года,
И мило всё,
 на что твой взор падет. . .

1965

165

Поздний ветер заплакал в печали,
И за речкой, на той стороне,
Так протяжно и долго кричали
Голоса, неизвестные мне.

И покуда поры дожидался
Или силы примеривал дождь,
Старый тополь, как башня, шатался
И листвы не удерживал дрожь.

Глухо рушились неба обвалы,
И простор прикасался к лицу,
На ступень высоты небывалой
Вознося
 золотую листву. . .

1965

Огонь погас, остался лета жар,
 Но милости последние природы
 Год за долги у лета удержал,
 И их сочли на пальцах счетоводы.

Повисла неба праздная пола,
 В пустом саду просторно, словно в зале,
 «Тепла не жди, такая уж пора», —
 Со вздохом мне садовники сказали.

И вправду: тишь и дымка среди дня.
 Не слышно птиц, и целый день без дела
 Гонявшая их шумно малышня;
 Ведро в саду на ветке онемело...

В листве какой-то новый разговор
 И чья-то речь, понятная не очень.
 Прядь рыжая,
 Косящий хмурый взор...
 Кто б это был?

Да это осень. Осень!

1965

Юность — бутон, страсть — словно цвет,
 Плод подсыхающий — старость...
 Лист нашей веры,
 как же ты свеж!
 Всё, значит, с нами осталось...

1965

Нет предела мечте — как и небу.
 Мир, как море, не ведает дна.
 И разгадки единственной нету
 Тайне той,
 Что нам с жизнью дана.

Как крыло стрекозиное, зонт
Пропускает малиновый отсвет.
Ей, идущей, далеко видна
Вся в тенях тополиных дорога.
В истомленном арыке вода
Пробирается в тень понемногу.
А ташкентское лето кипит,
Перепулав наречья и лица,
И под цоканьем частым копыт
Мостовая горит и дымится.
Но встают перед женщиной той
На экране духовного зренья
Кровь, и дымы,
 и город пустой —
Весь немислимый ад разоренья.
Горе горькое в гору свали —
И под всеми завалами теми
Ты не сыщешь уже, где — свои,
Где — отчизны скорбящей потери...
Но осанка идущей — стройна,
Крылья шарфа недвижны косые.
Полной мерой дала ей страна
Горя,
 веры
 и силы России.
Вижу я в отдаленье глухом,
Как черты ее чутки и строги:
В золотящихся струях Анхор
Золотые ей жалуе! строки...

1968

171. МЕСТЬ

1

На супе, возле берега самого,
где сопел самовар полусонный,
собиралось бездельников заново,
по обычаю, до полусотни.
И, сияя обличьями сытыми,
пили чай из пиал терпеливых,
и обменивались касыдами
о сраженьях перепелиных.
Клокоча в тумане сиреневом,
роковая утроба кальяна
расхоложенный повтореньями
жар хвастливости накаляла.
Стыли талы тенистой стражею,
ветер вился, обескуражен, —
полушепотом листья спрашивал,
что доверено этим стражам.
И весна плыла над запрудами,
и речная ширилась нега
по соседству с дивными струнами —
от земли до самого неба.
Это к речке, летевшей молодо,
берега огибающей круто,
падал свет —
словно звонкое золото
тишины, полонившей округу.
И, лучами подстегнут этими,
будто птица взлетев с откосов,
ветер в талах играл соцветьями,
как кистями
в девичьих косах! . .

Не причастный к речам и отчасти,
где-то с краю супы той длинной
парень хмурится в одиночестве:
брови бравые, взор орлиный.
Грудь распахнута.

Ну а плечи-то,
видно, груза не ждут полегче! . .
И халат полушелковый клетчатый
обтекает мощные плечи.
Но не горе ли давит грудь ему?
Очи думой полны одною.
Словно лев взаперти, за прутьями —
сердце клеткой сжато грудною.
В напряжении оттого еще,
что глядит и глядит на дорогу, —
наконец он видит товарища,
поспешавшего издалека.
«Халходжа,

наше дело верное!
Еще плова, самсы печеной
я на свадьбе твоей отведаю!
Хватит в мире для нас девчонок! . .
Поиграй-ка! . .»

А рядом — плятятся
в ожиданье дивного дара,
и, в разминке пощелкав пальцами,
он касается кос дутара.
Ах, как звуки горюют, дразнятся,
рвутся, выговориться рады!
Ах, какое затеять празднество
тар торопится тороватый!
«Спой-ка, парень!»

И в ритм бешеный,
за мелькающею рукою,
голос входит, как всадник спешенный,
в поводу ведя свое горе. . .

2

Лейлахон восемнадцать отроду.
Очи ясные, взор безгрешен.
Снятся всем — старику и отроку —
эти губы ярче черешен,

этот лик, что белей, чем день,
или
взмах ресниц — крыло наготове,
или черные, неподдельные,
неподкрашиваемые брови.
Глаз пристанет, увидев.

Песнею
отозваться спешат уста
(что и вправду тебя чудеснее,
о девическая красота?
Сердца вечное обмирание
перед нежной, атласной гладью,
когда две эти дыньки ранние
осторожно целуют платье!..)
А походка сама себе еще
так присуща ли, так вольна ли —
как естественен ветер веющий,
как ручей иль река волнами...
А умна-то уж! А речиста как —
наслажденье одно для слуха!
И степенна порою — чисто как
рассудительная старуха.
И откуда взялось... Не то было:
с малолетства среди мальчишек,
с крыш на крыши,
с чинар на тополи,
да и слов, бывало, не слышит!
То в ашички, а то с дутарами,
вертче ртути, юла живая!..
Да потом унялась — недаром и
лучше всех узор расшивая.
В бедном доме — цветок единственный!..
Там старик-то — слуга кукнара.
Только мать с ней возилась с детства — и
дом, хозяйство вела как надо.
Мяла тесто, пекла да жарила,
шила с дочкою тюбетейки.
А как сваты пошли — не жаловала,
лучшей дочке ждала утехи.
В махалле их — джигитов — мало ли?
Все привыкли к сердечной дани!
А иные сердце измаяли,
хоть и черт ее не видали... .

И Ахмад,
затравленный мастером,
носом хлюпавший подмастерье, —
ведь признался в этой страсти и он,
умирая в нищей постели!
У ее ворот
сто следов легли.
Сотни сватов трудили руки.
«Не родился тот,
кто возьмет Лейли!» —
говорили о ней в округе.

Халходжа один свою страсть питал,
как вином,
упрямой надеждой.
Этой жаркой любовью судьбу пытал,
тайной верою душу теша.
У джигита жизнь была —
не сироп.

С детства в самом нуждаясь малом,
испытал он долю нищих сирот,
опрокинутых жизни валом.
Потерявши мать, а потом отца,
где путей не торил до рая,
перед кем с тех пор не склонял лица,
хлеб из камня свой

выдирая!

Если кто и посмотрит ласково —
очи большего не гадали.
За чужих, ради блага байского,
спину гнул он и гнул годами.
А понятлив был, и прилежен был! . .
Летом — пахота, сев, уборка. . .
А зимой — ступни о дорогу бил,
и несyt, и одет убого.
От богатых век не выдав щедрот,
зная доброе, чаще злое,
отовсюду свой извлекал урок,
из любого людского слоя.
И у тонкой лжи, и у грубых врак
различать учась подоплеку,
за завесой слова, кто друг, кто враг —
чуял запросто издалека.

Столько в жизни ему претерпеть пришлось,
столько горя просеять в ситах,
что скопилась на сердце злая злость
против всех зубоскалов сытых.
Свой кусок научился он с бою брать
у бесправья и лицемерья;
знал,
 что в мире только бедняк — свой брат —
и поймет его в полной мере.
Не разбить оков, не развеять чар
одному среди своры целой,
но в пути он многих еще встречал,
что извели жизни цену!
На чужих наделах трудясь как вол,
под родных небес покрывалом,
по земле родимой
 ходил, как вор,
хоть и выглядел пахлаваном!
И — от доброты, широты души
не излеченный веком нищим —
научился всё ж наострять ножи
да носить их за голенищем!
И порой — от ярости горькой слеп,
закипая от этой муки, —
на обидчика кинуться мог, как лев,
трусы ж рядом
 вились, как мухи!
Разозлится — ничто ему сам шайтан. . .
Но зато и сподоблен дара:
«Ах, джигит-поэт!» — всюду люд шептал,
чуть коснется он кос дутара.
Стал бы жить, как ветер, в родном краю!
Только силою несказанной,
словно в сеть косичек поймав свою,
Лейлахон его привязала.

Он стоял под вечер в тени стены,
размышляя минуту, две ли —
и вот тут-то, с чашкою маставы,
Лейлахон и вышла из двери.
Словно некий пламень в нем почивал —
и проснулся как раз при этом! . .

Усмехнулась, чуть приподняв чачван:
«Что, слова не даны поэтам? . . .»
Засмеялась. Исчезла. А сердце — вслед,
задыхаясь и жаром вея.
И, казалось, жестокой грядю лет
потянулись дни и мгновенья.
Прежде, если кто вздыхал о Лейли,
он смеялся: «Забава слабых!»
А теперь, словно плавясь в огне любви,
с тяжким телом не ведал сладу.
Как под молотом, гнулся железный стан,
сердце рвалось от крови жаркой.
Как свеча ночная, он таять стал,
как металл
перед белой сваркой.
Гнулся стан, и ночь поглощала стон,
уходила прочь с петухами, —
так же маялся он на свету пустом,
полюханья не потухали.
То, казалось, страсть
через край лилась,
чтобы все повалить преграды —
или песней-воплем
прославить всласть
землю, небо, все звезды кряду.
То сомненья мучили Халходжу —
и горячка бы длилась вечно,
не случись — как ниже я расскажу —
это чудо
в весенний вечер. . .

Спит округа в сияющей тишине.
Распростерлось над миром сонным
неба нежно-царственное сюзане,
звездным вышитое узором.
Таает
облачка призрачный белый клочок.
Где же звезды позадевало?
Тихо так — то ли он, то ли мир оглох:
ни дыханья из-за дувала.
В темь под талом всматривается Халходжа
в небывалом еще волненье —

и внезапно чувствует, весь дрожа,
приближение милой тени!
Это в самом деле она, Лейли! . .
Шепот — легче дыханья даже:
«Мне не спится. . . все в доме давно легли. . .
я и вышла. . . вас увидавши. . .»
Ах, как руки поверх дувала сплелись!
Ах, как губы соприкоснулись!
Точно искра в кровь, или выкрик ввысь,
иль сердечного грома гулкость.
Кто из них другого верней нашел?
Что им люди, людские толки? . .
Лунный свет струится, как белый шелк
или девичьих кос потоки.
Лалы слова — и снова кораллы губ.
Взрывы чувства — о, как сносить их?
А минуты одна за другой бегут,
страсти алчущей не насытив.
Этот облик, оправленный серебром,
чьим ты именем удостоишь,
с чем сравнишь? . .

И вдруг — словно с неба гром:
в колотушку ударил сторож.
И расстались две тени, скользнувши в темь,
сливши нежность в прощальном жесте,
и пошел Халходжа по улочкам тем,
словно в горнем плывя блаженстве.

«Эй, воришка! Хе-хе. . . куда спешишь?
Не Луну ли воруешь, часом?»
— «Так и есть, бобо. . . От вас не сбежишь!»
— «Верно. . . в самый час и примчался.»
— «Да никак, бобо, и вы влюблены?
Что б вам в час такой — да поспать бы?»
— «Можно. . .

только как бы у той Луны
не случилось покуда свадьбы! . .»
— «Что?!» — сказал Халходжа.

«А что слышал!
Знаешь ведь байваччу Хашима?»

— «Он — женатый!»

— «А если жена плоха? . .

Он — богатый, устроит живо!»

— «О-о, проклятые. . .»

— «Верно. Не говори.

Всё б им лучшее, без изъяну! . .

Нынче двор я мел ему в ичкари,

вот он мне и выложил спьяну.

Дескать, деньги взял уже кукнарист,

только, видно, потратил дочиста. . .

Для меня, говорит, невеликий риск —

дней на пять и нужна мне дочка-то! . . .»

Жжет железо каленое Халходжу.

А старик — свое: «Я гляжу, хожу —

всё одним помечено знаком!

Всё

богатый возьмет за свою деньгу,

ну а решка — выпадет бедняку,

что бы он ни поставил на кон!»

— «Я ему. . . как арбуз, разобью башку!

Задушу. . . зарежу! . . дома пожгу! . . .»

— «Э, сынок, понапрасну злиться!

А тюрьма на что? А полиция?

Белый царь с богатыми заодно. . .

Охраняет их нерушимо. . .

Ведь не зря портретов его полно

у дружка твоего, Хашима!»

И пошел колотушкой стучать старик,

и один

на углу Халходжа стоит,

словно мертвый ствол у дороги,

а Луна уходит, тени густы,

и не смеют выговорить кусты

о любви

недавние строки. . .

3

Чайхану заполнил окрестный люд:

гул, и говор, и гогот грубый.

Черный чай из чайников белых льют,

синь пиал пуская по кругу.

За стволами — пламенные лучи,

и на зеркале водоема —
лишь мгновенье вовремя улучи —
все цвета найти удастся!
И у каждой компании — свой кружок,
каждый шум — на особой ноте.
Вот красильщики, желтые, как ожог,
все худые, и в лаке ногти.
Вот кожевников дружный расселся круг
и в веселой гудит беседе;
запах кожи от них, и терпок и крут,
вновь и вновь обдает соседей.
Ну а здесь, над компанией чапани,
грозный дух озорства витает.
Бесшабашней не сыщете, чем они:
тут любой — смельчак и скиталец!
Халходжа за главного в круге том. . .
Но смолкает застольный говор:
у айвана новенький фаэтон
гостя высадил дорогого.
У халата полпопы засучив,
испещренной винными пятнами,
коротышка в камзоле из чесучи
к чайхане направился,
пьяненький.
Чем ниже рост — тем выше нос:
наблюденье неоспоримо.
Так и он: опух, щетиной оброс,
а ступает — вроде павлина!
Шепоток пошел: «Байвачча Хашим. . .
И сюда привела забота. . .»

Был отец байваччи богачом большим
и владельцем маслозавода.
Вся округа была у него в горсти —
он и жал, как чигит, округу!
И попробуй обиду кто нанести
иль поднять на отпрыска руку!
А развратник пользоваться и рад,
всякой пакостью озабочен.
Тут иные испробовали не раз
тумаков его и пощечин!
Хоть точили в ночи на него ножи,
да затеи ничем кончались. . .

Оглядевшись,
в сторону Халходжи
зашагал байвачча, качаясь.
«Эй, джигит! . . Ты, я слышал, песни поешь —
может, ты и нынче в ударе?
Вот, возьми, за здоровье мое поешь,
да и спой, и сыграй на таре!»
И рукой, заплетаясь,
в камзол полез,
и кредиток пачку достал подлец.
Халходжа в непонятной позе
замер, вставши.

«Да спой-то не о плохом —
ту давай,
под названием «Лейлахон»! . .
Начинай, покуда не поздно!»
Чайхана застыла — чему тут быть? . .
Только в следующий же миг
Халходжа рванулся, как дикий бык, —
и кулак байваччу настиг.
Был удар, ей-ей, как удар судьбы!
И, безжизненнее убитых,
байвачча свалился долой с супы,
рассыпая веер кредиток.
Чайхана закрутилась, как снежный ком!
Кто отхаживает Хашима,
кто спешит Халходжу увести силком,
ну а тот — застыл недвижимо.
Входят стражники. К счастью, «убитый» жив.
Отправляют его домой — и
нечестивца буйного, окружив,
награждают тройным конвоем.
До управы — сто сажен. Народ. Светло.
Равнодушный ко злу и благу,
он идет меж саблями наголо,
как идут на трон иль на плаху.

4

Халходжа — в заточенье. . . А Лейлахон
то роняет слезинок жемчуг,
то сидит в отчаянии глухом —
драгоценное имя шепчет.

Как, бывало, поводит она плечом,
надевая новое платье! . .
А теперь об этом уж ни о чем
и подумать не может, плача.
В небреженье платок на плечах лежит,
не играют дивные брови.
Умерла надежда — разбита жизнь:
что еще остается кроме? . .
Где тот лев,
 тот возлюбленный с кругом рук —
в них так сладко тело томится? . .
Всё погибло! Нет вольных путей вокруг!
И мнутся голуби-мысли. . .
Будь он рядом — радости б напилась,
с ним навек отсюда бежала б! . .
А теперь — одиночества злая власть
да поток родительских жалоб.
И отец, что в жертву ее принес,
всё одно твердит, что ни день, ей:
«Деньги взяты — а ты воротишь нос! . .
Ведь немалые были деньги. . .
Он ведь всё заберет — и скарб, и дом:
возвратить ведь не сыщем денег. . .»
Да и мать: «Где приют мы себе найдем?
И куда нашу старость денем?
Присушил и впрямь тебя чапани —
чтоб он сам в той темнице высох!»
И Лейли тоскует ночи и дни,
избавленья от бед не вызнав.
То ли вправду бежать ей? . . Но как посметь
стариков оставить без крова?
То ли жить с нелюбимым? . .
 Да лучше смерти!
Пусть бы только пришла бескровно. . .

А меж тем байвачча через верных слуг,
что казнен чапани, распускает слух,
и доходит страшная весть
к Лейли —
вот и век твой весь,
и конец любви! . .

И старик пришел: «Послезавтра той —
и молчи!

И конец всей блажи той! . . .»

И молчи. . . В мире денег всеильна ложь
и закована в цепи правда.
Если деньги прикажут — и кровь прольешь,
и подымется брат на брата.
И что деньги велят — то велит адат,
тут ничто ни отцы, ни дети,
и родители дочь им должны отдать,
дочь —
невинность и добродетель. . .
Пусть любую богач утоляет страсть —
а по бедному сердцу
подковы всласть!

5

Бедный люд шушукается по углам:
«Вот храбрец — Халходжа покойный!
Он не то что прочие — трусы, хлам. . .
Скоро ль вновь будет дан
такой нам! . . .»

Чапани пропавшего друг и брат —
жаждой мести пылает рябой Барат,
словно грудь ему лижет пламя,
или впрямь халат на нем
из огня!

Не проходит ни ночи и ни дня,
чтоб не строил он мести планы.
С ним и конюх Хашима, Турсункул,
что ушел из-под байской плети,
за неделю тоже глаз не сомкнул,
всё раздумывая над этим.
И решили джигиты: «Мы подождем
нынче до ночи,
старым сеном
дом обложим проклятый — и подождем,
пустим по ветру пеплом серым!»
И не стали ждать, чтоб из планов из их
время — главное потушило:

в ту же ночь взметнулся красный язык
над роскошным домом Хашима! . .
Люди в касках метались меж желтых змей,
били струи по алым жалам.
Бедняки, прищурясь — сказать не смей! —
наблюдали за тем пожаром.
Приплетая аллаха во всех делах,
бормотали друг другу:

«Воздал аллах. . .»

Зря метались каски, вода текла:
помогало пламени лето.
К свету здание выгорело дотла,
рухнув наземь черным скелетом.
У полиции тоже кончился шок:
трех бедняг увели под стражей!
Но Барат заявил: «Это я поджег!» —
и пошел под арест без страха.

6

После памятной ночи дней пять спустя
байвачча проснулся под утро.
Голова трещала (пожар — пустяк:
просто выпито было крупно!).
Где-то близко слышались крики, плач.
«Что за вопли?» — спросил он морщась,
«Помер кто-то. . .»

— «Да кто? Ты глаза не прячь! . .»

Дай хлебнуть-то — трещит, нет мочи. . .
Кто там помер? Не мнись, старик, говори! . .»
— «Дочка вашего кукнариста. . .
ночью яду выпила. . .»

— «Черт подери!

Не могла подождать денька два-три!
А теперь, поди, разберись там. . .
Надоело. . . Скажи, чтобы Мирхалык
фаэтон заложил! . . Нет мочи,
как трещит. . . надо к речке. . .»

Глянул старик,

поклонился и вышел молча.
Байвачча папиросу зажег и с ней
посидел, не спеша одеться,

«Дура девка. . . далась бы на пару дней. . .
Так устроила ж! . . Дура девка. . .»

И опять вороных упряжка бежит —
лака сколько! И сколько шика!
Фазтона поскрипывающий бешик
убаюкивает Хашима.
А из узенькой улочки, на плечах
шестерых пареньков несильных,
выплывает навстречу им в тот же час
погребальный убор носилок.
Слышен вопль матери: «Вай балам!»
Кукнарист качается синий.
И белей, чем в жизни, — белым-бела! —
Лейлахон лежит на носилках. . .
Захрапев, вороные прянули прочь.
Но, из полудремы не выйдя,
лишь качнув на подушках пьяную плоть,
байвачча проехал, не видя.
Ну, девчонка нищая померла. . .
Будь жива — была б подороже!
А теперь забыть — да и все дела.
Им сегодня — не по дороге.
Он развеяться ехал — она плыла
в то ничто,

где напрасны сроки!

Его ждал золотистый свет с высоты,
все земные подобья рая —
голубые дали, река, сады. . .
А се — лишь земля сырая.
И — оплаченный вечной работой тех,
кто на поле косточки парит, —
его ждал нескончаемый ряд утех! . .
А ее — лишь матери память.

И Лейли лежала — как та Лейли,
что воспета в веках Меджнуном, —
воплощенье убитой людьми любви,
уходящей во тьму бесшумно.
И лежала Лейли, белым-бела,
этих лиц рыдающих выше, —
может, так же прекрасна, как и была,

но зато

так страшно недвижна.

На руках вознесенная над толпой,
где не тронут ее наветы —
но и ты, о возлюбленный! . .

и с тобой

расстающаяся навеки.

7

Ночь темна, как могила. Как ад, темна.

И черны беспросветно мысли.

Нынче кажется раем даже тюрьма,
где три месяца он томился! . .

Как он верил темным ночам таким,
жаждал в эти нырнуть глубины —
свое тело, жаркое, как такыр,
свою душу

вернуть любимой. . .

Как к побегу готовился Халходжа,
хоть побег и казался страшен,
и как лихо, отчаянно он бежал,
без ножа

расправясь со стражей! . .

Но добрался, узнал — словно жгучий вар,
опрокинулась весть на сердце.

Нет беды грозней, чем надежд обвал, —
тут никто уже не спасется.

Всё у парня,

всё запеклось внутри,
кроме яростной жажды мести! . .

И бродил он здесь уже ночи три —
на проклятом знакомом месте.

Не гулять бы тебе по ночам, Хашим,
словно злая плеть по плечам чужим,
пусть припомнится лучше та, что
ты убил, провинившись тяжко!

На колени б пасть,

покаянье несть —
может, чья-то власть
остановит месть? . .

А в полночной тьме не видать ни зги,
да и звука живого нету,
но слегка спотыкающиеся шаги
вдалеке слышны наконец-то.

Халходжа, как хищник, к стене приник.
«Байвачча! !.»

— «Че-го? . . .»

И взметнулся вмиг —

и ударил разящий нож.

То ли вздох, то ли всхлип — и упал мешок.

Был Хашим ничем — и в ничто ушел! . .

Да и мститель —

ушел в ночь.

Он ушел, точно сбросив тяжелый груз,

обрубив прожитые дни! . .

Что там дальше — рассказывать не берусь;
вот вся правда о чапани.

1933

172. БАХТЫГУЛЬ И САГЫНДЫК

Был Атабай известный богатей,
Его стадам джейлау тесны были.
Когда скакали тьмы его коней,
То застилали солнце тучи пыли.
Водил он из Ташкента что ни год
На Қарқару большие караваны. . .
Будя пустыню,
Мерный звон плывет.
На аргамаче бай, пузатый, чванный.
Едва не падает под седоком
Скакун, покрытый алою попоной.
Лоб Атабая спрятан колпаком,
Заплывший, хитрый глаз прищурен сонно.
Бешбармака наевшись, бай сопит,
Свисает, словно мех с кумысом, брюхо.
Ата чревоугодьем знаменит —
Он не оставит от овцы и уха. . .
Одет что надо — любо поглядеть!
Халат парчовый, обувь из сафьяна.
В руке витая кожаная плеть —
Изделье мастеров из Қазахстана.

Хоть Атабай не знает ни аза,
Разинет рот ученейший мирза,

Когда Ата, на стадо мельком глянув,
Сочтет мгновенно тысячу баранов.
И даже если молится, скупец,
То в голове он головы считает. . .
Как желтенькие катышки овец,
Его мощну монеты наполняют. . .

Вот так когда-то прадеды Ата
В степях казахских и в киргизских скалах
В мороз и в зной вели гурты скота. . .
Он в прадедов пошел, но обогнал их.
Такие барыши не снились им. . .
Как пень молчит он, ни на что не глядя,
Он — впереди, наряжен, недвижим,
А батраки оборванные — сзади.
О них он не подумал отродясь,
Бросает им объедки и отрепье.
Они молчат, и день и ночь трудясь,
Их муку знают лишь ветра да степи. . .
Вот Каркара.
Базарный пестрый шум,
И ветер яростный,
И пыль седая.
Худой дехканин,
Жирный толстосум,
Голодная, в лохмотьях, челядь бая,
Батрак не человек для богача. . .
Ата идет базаром, красен, потен. . .
Тьмы тем овец пожрал базар, урча,
А лошадей, баранов — сотни сотен.
Считает бай, на корточках присев,
В тугом кошле звенящие монеты.
Батрак стоит.
В глазах — бессильный гнев,
У парня и овцы паршивой нету.
Попросит робко плату — получай!
Работникаогреет палкой бай.
Объедки лишь получит он у бая. . .
Ата бредет по ярмарке, рыгая.
Все тонкости он знал наперечет —
Божбу, угрозы, по рукам удары,
К любому торгашу имел подход
Торгаш прожженный, караванщик старый.

Но страсть к наживе въелась в потроха,
Но чары пышной ярмарки могучи.
Хорош товар...

Идет?

Удача.

Ха!

Дарма стада овец!
И деньги кучей,
И радуется барышу душа:
Дела — каймак.
А скот... А денег, денег...

И вдруг — остолбенел он, не дыша.
Трясется крашеной бородачки веник,
Раскрыты жадно щелочки-глаза,
И нежно выпячены губы-сливы...
В недоуменье поднял бровь мирза,
Каламом постучал нетерпеливо.
Писцу рукою сделал знак Ата —
Тот прикусил калам, увидев чудо...
Застенчива, прекрасна и проста,
На них глядела девушка с верблюда.
Ее глаза, раскосые слегка,
Два сумрачных огня таят, глубоки...
Цветок степей казахских!
Как тонка!
Как яблоки, нежны, румяны щеки!
Верблюда дряхлого измучил зной,
Он смотрит загнанно, тоскливо, кротко...
Старик, оборванный, полуслепой,
Повсюду ходит с внучкою-сироткой.
Кумыса чашку выпив поутру,
Она смиренно деда попросила
На ярмарку поехать в Каркару —
Жизнь бедной девушки скучна, уныла...

В раздумье головой Ата поник.
Что делать?
Он молчит, сосредоточась...
В служанки пусть ее продаст старик!
Бай старика уламывает тотчас,
Казахские торговцы — тут как тут.
(Всегда богач с богатыми в союзе.)

Договорились.
По рукам уж бьют,
Старик завязывает деньги в узел.
Красотка задешево продана!
Старик уходит, уводя верблюда,
А Бахтыгуль одна. . .
Нет, не одна.
Толстяк подходит к ней.
Кто он? Откуда?
И почему ей косы гладит он?
И шепчет: «Ты моя, моя отныне. . .»
И поняла она,
И горький стон
Сдержат не в силах юная рабыня. . .

В густую темень погрузился мир.
Писец нарын разносит, угощая.
Купцы-казахи собрались на пир,
Все дружно поздравляют Атабая.
Бай позабыл об овцах — так он рад.
Довольно чавкает.
А пир — горою.
«Ай, молодец Ата! — вокруг кричат. —
Красивый цветик нынче он раскроет!»

В соседней юрте Бахтыгуль одна.
Рыданья тяжкие прервать невмочь ей. . .
Всё брошено в огонь.
В плену она. . .
И думы сироты чернее ночи:
Был ею Сагындык-бахши любим,
В его домбре душа, казалось, пела, —
Она хотела быть навечно с ним
И ничего иного не хотела.

Как будет горевать ее джигит!
И станет ли он петь, грустя по милой?
Наверное, он в эту ночь не спит
И соловей-домбра ему постыла. . .
Свеча горит.
Ее спокойный свет
Цветы ковров роскошных зажигает,

Всё спит.
Лишь Бахтыгуль покоя нет.
От скорбных дум она изнемогает.
Вдруг в юрту шумно входит бай Ата,
Он пьяно просит что-то по-казахски.
Грозит он, ищет девичьи уста...
Она дрожит,
Ей страшны эти ласки...

И день и ночь рабыня под замком,
Заглядывает в юрту лишь хозяин.
С одною страстью дух ее знаком,
Одной мечтою ум ее измаян:
О, вырваться б на волю поскорей!
Сорвать с души тяжелые оковы!
Нет из аула милого вестей,
Не слышно песен друга дорогого.
Где нежный ветерок родимых гор,
Ущелье — пенного потока ложе?
Тоскою омрачен служанки взор,
Кручина сердце раненое гложет.
Что свет, что мрак — теперь ей всё равно,
В душе, как в юрте запертой, темно.
О чем мечтать? Не явится подмога.
Однажды, чтоб рассеяться немного,
Она запела — тише ветерка...
Вошел Ата, сурово сдвинув брови.
Рабыня смолкла,
Но ее щека
Зарделась от удара
Смуглой кровью.

Прошли недели.
Торжищу конец.
Десятки тысяч лошадей, баранов
Степями гонит Атабай-купец.
Лик солнца потускнел, в пыли увянув,
И светлый глаз луны закрыт в ночи —
Всю пыль пустыни караванщик поднял!
И яростные ветры горячи,
И жажда мучит, словно в преисподней,
Верблюдам — даже им идти невмочь!

Окаменела Бахтыгуль-рабыня.
Под чекменем она и день и ночь.
(Ведь паранджи не отыскать в пустыне.)
Недвижна, словно мертвый груз, она...
Волнами катятся в степи барханы,
И солнце красное, восстав от сна,
Бессильно пропадает в мгле песчаной.
Чужие нравы,
Незнакомый край...
Она томится,
Если б улететь ей!
Ее верблюду отстанет — тотчас бай
Подскачет к Бахтыгуль, отхлещет плетью.

Все ночью отдыхают — лишь она
Костер раскладывает, дым глотая.
Уснули все. Она ж, не зная сна,
Подолгу растирает тело бая...
Вздыхая тяжело, пустыня спит.
Лишь ветер кружит в чаще саксаула.
Верблюду жует — когда он будет сыт?
Храпит хозяин — потный, медноскулый.
Терзает уши этот жирный храп.
Когда б не он — рабыня задремала.
Когда бы унести домой... Когда б...
Ее глаза смыкаются устало...
Вдруг встрепенулась.
Что там?
Топ копыт.
Людская брань. И стоны...
Грабят, что ли?
Порхнула из шатра.
Народ бежит,
Схватив ножи, дубины и дреколье...
Шатер распахнут — Атабай зовет.
Подходит Бахтыгуль, дрожа от страха,
Расвирепевший жирный скотовод
С проклятьями бьет в грудь ее с размаху.
Упала...
Вдруг ушей ее достиг
Такой знакомый голос...
Сагындык!
Он разыскал ее, с друзьями прибыл,

Ни смертных мук, ни рабства не страшась.
Бежать за ним!
Пусть — пытки, даже гибель,
На всё готова Бахтыгуль сейчас!
Но даже пальцем двинуть невозможно —
Ее связали. . .
Стонет сирота. . .
Смолкает гам.
Вдали кричат тревожно:
«Исчезли воры!
Кровь не пролита!»

Ата в Ташкент въезжает спозаранку,
Его встречает старшая жена.
Ата кивает:
«Вот, возьми служанку.
Пушкой тебе принадлежит она».
Хозяйка пристально глядит, бледнея:
«Пусть счастье принесет рабыня в дом!»
И тихо Бахтыгуль бредет за нею,
С густых ресниц слезу смахнув тайком. . .

Ни весточки из милого аула.
Как безотрадно Бахтыгуль житье!
Предчувствие ее не обмануло:
Хозяйка ела победом ее.
С рассвета — порученья да разносы.
Хозяйка бьет беднягу день-деньской,
Метлу служанке заменяют косы,
Рука рабыне служит кочергой.
Кошма гнилая — вместо одеяла.
Для сна отведена сырая клеть.
Здесь на полу она лежит устало.
А платье. . .
Платье — ветошь. Стыд надеть!
Хозяйка недурна, да поседела,
А Бахтыгуль красива и юна.
Жена следит за баем то и дело.
Ревнует люто старая жена!
Да, ичкари для Бахтыгуль — могила,
И ночи, как надгробья, тяжелы.
И утра беспросветны и постылы,
И тело точат дни, как кандалы. . .

На славу удалось расторговаться!
Из Каркары вернулся бай опять.
Ржут лошади, и стригунки режутся,
С верблюдов батраки сгружают кладь.
А Бахтыгуль дрожит, как лист осенний, —
Снаружи крики земляков слышны!
О, выйти к ним хотя бы на мгновенье:
Вдруг — весть пришла с родимой стороны? ..

Окутывает город тьма ночная.
Жгут на подворье земляки костер.
Друг друга на лету перегоняя,
Несутся искры в сумрачный простор...
С тоскою долго Бахтыгуль боролась.
Напрасно.
Видно, нынче ей не спать.
И вдруг — взметнулся рядом ясный голос.
И мир прекрасным сделался опять.
И снова жить рабыне захотелось
От этой песни нежной и простой.
В ее душе зажглась былая смелость
И завладела скованной душой.
Она узнала пенье Сагындыка,
Услышала привет родных долин...
О боли,
О любви своей великой
Неподалеку тихо пел акын:

«Тосковал, искал тебя я,
Звал тебя, изнемогая.
Помнишь друга, помнишь клятву?
Отзовись мне, дорогая!

Темен, страшен день разлуки.
Он — начало нашей муки,
Он — начало ночи нашей».
Смолкли струн влюбленных звуки,
Не поет домбра акына,
Давит горло ей кручина.
«Снег весну мою засыпал,
Без тебя я сердцем стыну.

Хоть в моей беде-печали
Все друзья мне помогали,
Хоть следы твои в пустыне
Мы однажды отыскали —

Но черна судьба слепая! . .
Мы настигли Атабая,
Львами ринулись мы в битву,
Но спасти не смог тебя я . .

Дни тянулись еле-еле.
Как века, длинны недели.
Как страдал я! Ранним снегом
Эти кудри побелели.

Всё душа стерпеть готова . .
Чтоб тебя увидеть снова,
Стать невольником решился
В Каркаре я в день торговый.

Не страшны мне муки ада,
Мне тебя увидеть надо,
Счастья моего цветок ты,
Бахтыгуль, моя отрада!»

Как будто солнца вешнего поток
По жилам Бахтыгуль звенит, струится,
Развернись, мрачный низкий потолок!
Обрушья, дом, постылая темница!
О, если б легкой птицею порхнуть,
Как на огонь, лететь на эти звуки,
И кинуться любимому на грудь,
И позабыть обиды, тьму разлуки.
Отведать счастья хоть глоток один,
Хоть миг один дышать ветрами воли . . .
О Сагындык, возлюбленный акын!
Ты слышишь песню сердца,
Песню боли!
Но ей нельзя ни выйти, ни запеть,
Ей можно только плакать до рассвета,
А на рассвете — снова брань и плеть . . .

Но сердце Бахтыгуль мечтой согрето,
Но Сагындык пылает всё сильнее,
Надежды на спасенье не утратив,
Средь пастухов немало есть друзей,
Средь батраков батрак найдет собратьев.
Они лишь с виду загнанны, тихи,
В измученных сердцах — свободы жажда,
Ждут знака батраки и пастухи,
И ненавидит Атабая каждый.

Ночами, после тяжкого труда,
Они о чем-то думают угрюмо.
Они мечтают, спорят иногда,
И, словно камни, тяжелы их думы.
Всем невтерпеж хозяйский кнут и гнет,
Всем ненавистны беки, баи, ханы...
Когда ж освобожденья час пробьет,
И гнет падет,
И вспыхнет бунт желанный?

Друзья сходились по ночам в людской.
Берет домбру бахши, невольник юный,
И жарким гневом, и глухой тоской
Рокочут негодующие струны.
И закипали яростью сердца,
Позабывалась вечная усталость,
И огнедышащая песнь певца
Призывом к возмущению казалась.

Но вот прорвал плотину страха гнев.
Издох у бая аргамак любимый,
Хозяин лютовал, осатанев.
Он конюхов своих избил дубиной;
Их было девять.
Выставил он их
На двор, в объятая ледяной метели.
Мороз в тот день был нестерпимо лих,
И конюхи совсем окостенели.
Хозяин цену девяти коней
Потребовал отдать за аргамака...
Спустилась ночь.
И, молнии быстрей,
Неистовый огонь взвился среди мрака,

То месть батрацкая взвилась огнем,
Хозяйское добро испепеляя,
И рушится, треща, роскошный дом —
Проклятое гнездовье Атабая. . .

Торговец связан,
Связана жена.
Испуганно таращатся спросонья. . .
И темнота ночная сожжена,
И рвутся застоявшиеся кони,
И клич джигитов радостен и дик:
«Бей богачей и ханов без пощады!»
И впереди несется Сагындык,
А Бахтыгуль трепещущая — рядом.

1933

173. О КУЗНЕЦЕ ДЖУРЕ-КЯФЫРЕ

Вы не знавали кузнеца
Джуру-Кяфыра — силача?
Он в поте смуглого лица
Железо сплющивал сплеча.

Трудом он добывал свой хлеб,
Широкоплеч, неутомим,
В кузнечном трудном ремесле
Никто не мог сравняться с ним.

Хоть на бровях осела ржа,
Чело покрыла сеть морщин,
Высоко голову держал
Бронзоволикий исполин.

Сверкали очи коваля,
Когда кувалды тяжкий груз,
Сухими искрами пыля,
Впивался в раскаленный брус.

Не унывают никогда
Такие славные сердца,

Печаль не смеет свить гнезда
В горячем сердце кузнеца.

Одно ль железо в том огне,
Что в горне пляшет, зашипев?
Нет, в нем с железом наравне
Джуры-Кяфыра правый гнев!

Был кузнецом его отец.
Когда ж отца сразил недуг,
Тяжелый молот взял кузнец
Из каменных отцовских рук.

Он пятерых ребят кормил,
Но только тот, что старше всех,
Ему в труде подмогой был
И раздувал кузнечный мех.

На кузнице плохой чапан
В узоре дырок и заплат,
Но ни мулла и ни ишан
Его души не обольстят.

Безбожник — не носил чалму,
Не бил поклонов без конца,
Джурой-Кяфыром потому
Прозвали люди кузнеца.

«Эй, богомолы! — он кричал. —
Тогда бы я молиться стал,
Когда б от праведных молитв
Хоть медный грош ко лбу прилип!»

В широкую стучал он грудь,
И так к нему прозвание шло,
Что без «Кяфыра» на «Джуру»
Не откликался ни за что...

Хоть к букварю он не привык,
Но был глубок природный ум.
В его душе кипел родник
Отважных помыслов и дум.

Был у Джуры старинный друг
Турсун — рабочий заводской.
Имел он пару крепких рук
И ни копейки за душой.

Друзья — точь-в-точь двойной орех.
Попробуй их разъедини. . .
Рычал богач: «Их речи — грех!
Вероотступники они!»

Турсун на бая спину гнет,
Турсун от пота весь промок.
Когда ж платить приходит срок,
Хозяин денег не дает.

Смутьяном кто успел прослыть,
Тому недолго и в тюрьму,
А пристав может и прибить,
Коль не отдать поклон ему.

Когда ж оказывался друг
В тюремном каменном мешке,
Джура, кляня всех царских слуг,
Метался в горе и тоске. . .

К Джуре с работы заглянув,
В закатный час войдя во двор,
Цигарку длинную свернув,
Турсун заводит разговор.

Придет, бывало, под хмельком:
«Всем богачам — цена одна,
Жулье останется жульем,
Имамам, баям — грош цена!»

А иногда во двор с утра
Зайдет — цигаркою пыхнет:
«Бастуем нынче, друг Джура.
Рабочий русский нас ведет».

Джура в ответ: «Что толку в том,
Хозяин тоже не дурак,

Как бык упрется, а потом
Вас всех погонит как собак».

Турсун из-под густых усов
Бросает меткие слова:
«Мы отстоим свои права,
Придушим баев и купцов!»

Всю ночь беседуют друзья,
Горят надеждою глаза. . .
По краю облака скользя,
Встает железная гроза.

Земля — в потугах родовых,
И вот — приветствуя грозу,
Винтовку сжав в руках тугих,
Заговорил боец Турсун:

«Народ рабочий, власть возьми,
Настал твой час, настал твой день,
Воспрянь — и спину распрями,
И получи права людей! . . .»

И на полотнищах знамен
Джура увидел молот свой.
«Ты загнан был и угнетен,
Теперь вставай, иди и пой!»

И ощутил тогда Джура
Себя, как прежде, молодым,
Настала новая пора,
Ушел былого черный дым.

«Вот на знаменах молот мой,
Вот серп — они одной семьи,
Дехканин и мастеровой —
Вот братья кровные мои».

Народ теперь — всему глава,
Богач проклятый не у дел,
Цедить зловонные слова —
Его сегодняшней удел.

И с партбилетом на груди,
В кожанках, стянутых ремнем,
Турсун с Джурою в эти дни
Вступают властно в байский дом.

Полны деньгами сундуки,
В них золото и серебро,
В земли глухие тайники
Они запрятаны хитро. . .

Сокровища, что бай припас,
Выходят из подземных гнезд,
У кузнеца отличный глаз,
Он сразу видит всё насквозь.

Полны большие закрома
Зерном отборным золотым.
Душа Джуры огнем полна,
В глазах у бая пляшет дым.

Джура — друг первый беднякам,
Дел и собраний не сочтешь!
Он странствует по кишлакам,
На баев нагоняя дрожь.

Вот над грядой людских голов
Легко пословица взвилась. . .
Джура — известный острослов,
И метит он не в бровь, а в глаз!

Известны все его дела,
И вот его призывный клич:
«Советам — слава и хвала!
Живи, великий вождь Ильич!»

Год девятнадцатый. Зима.
В холодном небе посвист пуль,
Белогвардейская змея
Вздывает голову свою.

И те, кто гадине сродни,
Повылезали из углов.

Повсюду рыскают они,
Подобно своре черных псов.

Им темной пеленой глаза
Застлало бешенство само.
Они хотят народ связать,
Запрячь в позорное ярмо.

Людей труда не перечесть.
Большевиков тверда рука.
Покуда кровь в их жилах есть,
Они стреляют во врага.

Мангал потух. . . Живым огнем
Не тешит глаз углей игра.
Перед потухшим очагом
Сидит, нахмурившись, Джура.

Сидит, нахмурившись, Джура,
Вокруг резвится детвора,
Ребячьим криком полон дом,
И над кошмою пыль столбом.

Забрался на плечи к отцу
Сыннишка младший, крикнул «но»,
По шее хлопает рукой,
Не покорился сорванцу,
Скакать не хочет верный конь. . .

Джура задумался, застыл,
Лицом внезапно омрачась.
Но почему он мрачен стал?
О чем он думал в этот час?

Раздался дальний рев гудка,
Вскочил Джура и сел опять,
К винтовке тянется рука,
Пора, пора оружие сжать!

Что ж ты замешкался, Турсун?
Умерить надо вражью прыть,
Сегодня надобно в бою
Всю эту контру раздавить.

Калитка заскрипела вдруг,
И, перецеловав ребят,
Из дому выбежал Джура,
Порывом яростным объят.

В короткой шубе на плечах,
С винтовкой верною в руках,
Бежит Джура, — как мел бледна,
Склоняет голову жена.

Седые сумерки. Мороз,
Ветвей белесое шитье.
И, выпорхнув из ветхих гнезд,
Кружится в небе воронье.

В огне ташкентский небосвод.
Свинец засел в ветвях седых,
Гудки зовут: «Друзья, в поход!
Крепите грозные ряды!»

Вот старый мастер лег на лед
В арык замерзший и с угла
Из пулемета крепко бьет,
Хоть голова его бела.

Седые ветви. Снег и тьма.
Слепые посвисты свинца.
Окаменелая зима
Кусает щеки кузнеца.

Порывом подняты одним,
Бегут вперед, врагу грозя,
В одном ряду с Джурой моим
Турсун и русские друзья.

Светает. Из подвалов всех,
Из нор последних выбит враг.
И опускается на снег
Сраженный пулями Джура.

К нему товарищ подбежал,
И он, собрав остаток сил,

Ему рукою указал:
«Иди и гадам отомсти!»

И перед ним на краткий миг
За полминуты до конца
На красном знамени возник
Могучий молот кузнеца.

1933

174. НАВОИ

1

Сквозь даль веков, что, может статься,
Прикрашивают старину,
Я вижу призрачного старца
Сияющую седину.
Не власть — власть в его обличье,
Но дышит ласкою чело:
Надменности его величье
Не уделило ничего.
Черты лица — чертоги тайны:
Подчас и впрямь разгадки нет
Всему,
Что сердце неустанно
В себе копило столько лет!
Печаль и мудрость правят взглядом,
И мнится — мысль его сама
Звучит,
Как будто строчек ладом
Преображается в слова.
И седина его прекрасна,
Но быстрый взор из-под бровей
Порою вновь метнется страстно,
Нежданной молнии новей. . .

Так белый день плывет над полем,
Плывет — и, полых вод полней,
Впивает, высшей жажды полон,
Весь пар с разморенных полей.

Молчит, улегшись, ветра свора,
И, неподвижные,
с боков

Лежат на глади
Небосвода
Седые пряди
Облаков.
И только где-то на закате
Вдруг потемнеет седина,
Рванется ветер, и накатит
Блаженной свежести волна,
И даль покажется огромной,
И, затмевая солнца взгляд,
Сверкнет, дразня неслышным громом,
Всей страсти скопленной разряд. . .

2

Я вижу полночь.
Тайный трепет
Тревожит тихую свечу,
Как будто ветер тайно треплет
Седой подсвечник по плечу,
И всей игрою теней частой
Рождает быстрые следы
В наполненной китайской чаше,
На глади налитой воды. . .
И четкие чеканит грани,
Или, набравшись сил в ночи,
Уснувшей комнатой играет,
Приподымая меч свечи,
И ловит стен сухие стоны,
И гладит белые листки
И своды мысли обнаженной —
Книг золотые корешки. . .

А ночь молчит.
Свеча.
И своды.
И только слышен до утра
Прерывистый, как речь природы,
Скрип камышового пера.

То бродит песнь в мозгу усталом,
И над бумагой, что бела,
Летит калам —

как тень по скалам

Высоко взмывшего орла!
О, эта песнь... Всей силой пыла,
Какой истратить не дано,
Она расскажет всё, что было,
И то, как это быть должно.
И этим радостным слияньем
Воспоминанья и мечты
Такое зиждется сиянье,
Такая сила правоты,
Что память
Строчкам вслед несется,
И в неизбывной их красе
Ты видишь:

было сердцем — солнце,
Нас озарившее в «Хамсе»!

...Спит Унсия.

То четче, строже,
То снова шире круг стиха.
А ночь тиха:
Лишь окрик стражи
Да сонный голос петуха.
И в даях воли невозможной
Сознание ширится, как степь,
И только знаешь: должно, должно
Всё это высказать успеть.
И, не растраченные в одах,
Летят и лепятся слова,
И старость — ложь,
И труд — как отдых,
И строчки — это жизнь сама!

3

Еще темно в саду намокшем,
Но край рассвета сер и строг.
И розы девственным намеком
Еще томятся между строк.

Он медленно идет по саду,
В его глухую глубину,
Шагами легкими спасая
Натруженную тишину.
И мысли сонными стрижами,
Кружась, обшаривают близь,
И кажется живой скрижалью
Ему на грудь слетевший лист.
И полумгла морочит зренье.
Он воздух пробует на вкус.
Печальной
Долгою газелью
Его в тумане манит куст. . .

А между тем в стволах алеет.
Теплеет.
Света новизна
Доламывает на аллее
Глухие изгороди сна.
Он поворачивает к дому.
Жизнь. Старость. Утро.
Нет конца! . . .
Почтительный седой садовник
Его встречает у дворца.
Заря ли так пылает яро,
Кидая блики на поднос,
Иль эту россыпь алых яблочек
И впрямь
старик ему поднес?

День,
час,
мгновение какое
В нем этот свет освободил? . . .
Старик сгибается в поклоне:
«Отведайте, о господин!»
Он улыбается. Заплакать
Сейчас бы в пору.

Влажный плод
Хрустит.
О, ледяная мякоть,
Садов бестрепетная плоть!
Он входит в добрый сумрак дома.
Приветствия тасует слух,

Привычно вылушив из тона
Участье ласковое слуг.
А всё же — это старость. Старость!
Жизнь — словно лунный диск на дне,
Такая медная усталость.
Такая тяга к тишине.
А прежде — звонкий лягз оружия,
И гам толпы, и блеск двора
Казались, ей-же-ей, не хуже,
Чем ночь в уединенной худжре,
Свеча,
 бумага,
 скрип пера . . .
Но он проглатывает горечь,
Как хлеб, как яблоко.
 В дому
Томительная радость горлиц
О чем-то вновь твердит ему.
Он смотрит на сидящих в клетке
Беспечных птиц,
 и нежность их
Завязывает в узел крепкий
Какой-то нерожденный стих . . .

4

А день растет, в одно сминая
Речь, топот, кузниц перестук,
Шум дальних стад,
 что песней ная
Привычно пестует пастух.
Какое долгое дыханье!
Какая добрая пора!
Он вспоминает, что дехкане
Давно уж вышли на поля.
Он думает об этой доле,
О вечном мужестве труда,
Что жадно держит под пятою
И тщетно топчет нищета;
Об участи нагих и сирых,
Кому равны и век и миг,
Кто прокормить всю землю в силах —
Но только не себя самих . . .

А ведь и вправду — всё оттуда!
И может, дело этих рук —
И речи неземное чудо,
И первой песни вещей звук. . .
О, эта мысль ему знакома!
Аллах всеведущий простит
Ему тот грешный, тот исконный,
Невыразимо жгучий стыд,
Когда претит
Вся роскошь дома
И всё, что клонится и льстит. . .
Но разве впрямь стыдом и гневом
И ум и сердце не горят,
Когда пластается под небом
Насилью преданный Герат?
О, не воспрянет к поднебесью
Кровь,
 что безвинно пролилась,
Пока властитель пьяный лестью
Свою оправдывает власть. . .

5

День поднялся, как желтый купол, —
Громадный, тающий, ничей.
Герат блистательный окутан
Дрожащим маревом лучей.
Полдневных красок изобилье,
Порталов важное чело
Прозрачной тканью тонкой пыли
Старательно облечено.
Но как же пыжится под нею,
Как завлекает и томит
Всей позолоты наводнение,
Всей синевы поддельной вид!
Тут всем владычествует роскошь,
И бередит души настой
Не тайной прелестью наброска —
Излишеств тяжестью пустой.
И, как постылые подарки,
В своей навязчивой красе
Блестят узоры
 из-под арки
Домов, мечетей, медресе. . .

Он сам замыслил эти зданья
Приютом знанья,
Красоты,
Чтоб вознеслись они,
 как знамя
Его прельстительной мечты.
Но здесь, в пустыне этих улиц,
Его заветов не хранят! . .
Лишь тайный ветер караулит
Шагов девичьих аромат.
Лишь минарет стремглав взлетает,
Витают
Купол налегке,
И полумесяц — желтый аист —
Стоит на тоненькой ноге. . .
Не жди, о пахарь, жатвы здесь ты!
И утомленный взор потешь
Не светом мысли —
 блеском лести
Да золотым шитьем одежд. . .

Но можно ли? . . Ведь вся округа —
Скопленье нищее
Хибар!
И в каждой, в каждой — бог порука! —
Бедняк
Без пищи
Погибал;
И в каждой — хворь и горе в силе;
Там ждут беды, как утра ждем;
Там дослепу глаза слезили
Над шахским золотым шитьем
Или выплакивали очи,
Пока за годом год подряд,
Как дэв, сжирал их нежных дочек
Гаремов гибельный разврат. . .
Да, здесь не сделаешь и шагу,
Чтоб души не попать,
Как прах! . .
Он говорил об этом шаху —
В совете,
 в поле,
 на пирах;

Ни лесть, ни страх
Лишенья сана,
Ни казней дикая гроза
Не отвели его глаза
От разоренья Хорасана!
Он прозревал конец. . .

тот самый,
Какой не ждать теперь нельзя!
Ты вспомнишь это, гордый город,
Когда поникнешь,

гол и сир!
Но из-за двери — робкий голос:
«К вам двое странников,

таксыр!»
— «Впустить, впустить!»

Заходят двое,
Сожженных солнцем дочерна.
У каждого над головою
Котлом вздымается чалма.
И неумелые заплаты,
Ршительные, как мечи,
Пересекают их халаты
Из пожелтелой алачи.
Одежда — долгих странствий карта!
В узлах, ей-ей, лепешки нет.
«Таксыр, мы к вам из Самарканда. . .
Нас вел

сего порога свет. . .»
Он клонит голову в ответ.
Как юны. . . как бедны и худы!
Как будто впрямь

весь тела сок,
Как мед из опустелых сот,
Забрали годы жизни скудной.
И всё ж — какой огонь покуда
Горит в глазах!

Как лоб высок!
О, совершись такое чудо —
Вернись утекшие в песок
Лета его —

и он бы мог
Стоять меж них — совсем такой же,
С иссохшей в худжрах тонкой кожей

И тем же пламенем в очах!
Тогда он так же верил жадно,
Что держит небо на плечах,
Что вечной мудрости очаг
Разгонит холод беспощадный...
И торжества настанет час!
Привет, задор поры отрадной...
О молодость, лишь ты — очаг
Надежды...

«Юноши, ступайте,
Вам приготовлены места.
Дадут вам книги,
пищу,
платье».

Благодарят. Уходят. В доме
Шагов шуршанье... Пустота.
Нет, он не прав, ведь неспроста
К бумаге тянутся ладони!
Нет,
слишком сетовать нельзя...

А за полдень — придут друзья,
Пойдет высокая беседа
За чашей нежного вина,
И над пустыней жизни серой
Взойдут великих имена.
Слова не расточая втуне,
Снизав, как четки, мыслей ряд,
Заговорят об Афлатуне,
Об Арасту заговорят.
И, неизвестная доселе,
Страстна,

задумчива,
строга,
Напевной чьей-нибудь газели
Нежданно зазвучит строка;
Мелькнет словцо;
а тут как раз и
Вслед подоспеет рубан,
Пойдут веселые рассказы.
(Он вспоминает Бенаи).
И, перескакивая через

Соседей,
шумный спор пойдет;
Еще вина добавит челядь;
Настанет музыки черед. . .

6

Послеполуденного жара
Мир, как жаровня, полн. . .
Верхом

Он едет к шаху. В небе шало
Истаивает ваты ком.
Он проезжает вдоль базара:
Возня обычная кругом.
Торговец сладостями хвалит
Товар свой до небес!

Дрова

Ишак везет едва-едва:
Вот-вот они беднягу свалят. . .
Старуха тощая несет
Очищенного хлопка кипу.
Муллабачи с юнцом каким-то
Толкуют, вставши на носок.
Поймали вора.

Торг кипит:

В рядах толкуются и рдятся. . .
Одни лишь баи-краснорядцы
Хранят невозмутимый вид.
Он

и не глядя

видит это!

На улицах, узнав поэта,
Его приветствует Герат.
Он едет молча, смутен с виду.
И, наконец, его и свиту
Впускает стража в шахский сад. . .

Он входит в главные покои
С поклоном низким.

Тучный шах

Сидит, как мех пустой дыша, —
Расслабленный, в тупом покое.
Проходят сотни льстивых лиц —
Шах ждет, покуда двор громадный

Какой-то шуткою кровавой
Излечит воли паралич. . .
Ну а вокруг

кипит базар

Стократ страшнее городского!
Торгуют казнями.

Позор

Берут в придачу к землям новым.
Сардары, беки, шахзаде
Толкуются, как на рынке крытом,
Как жадный скот перед корытом,
Где корки плавают в воде! . .
Смотри, поэт!

Ведь это здесь

Твоих больших надежд могила:
Вот эта тучная махина —
Твой просвещенный шах

и есть!

Смотри — и кайся!

Не сюда ли

Ты силы лучшие вложил,
Чтобы властитель сей служил
Примером вечным

государям —

Царем, который власть берет,
Чтобы не бедствовал народ! . .
Так вот куда ушли они,
Любви не отданные ночи,
У строчек отнятые дни!
Вот дел итог,

и слов,

и строчек!

Вот ложе лжи, что ты стелил,
Кому —

еще, увы, не зная. . .

Будь проклята же власть земная!
Будь проклят,

жалкий властелин! . .

7

Сквозь даль веков, что, может статься,
Преображает старину,

Я вижу сумрачного старца
Сияющую седину.
О ты, кому покой неведом,
Ты сам ведь знаешь, как непрост
Нас искушающий ответом
Потомства трепетный вопрос!
Герой пройдет моря и горы,
Но лишь поэзии дано
Стать картой прошлого,
с которой
Исчезло белое пятно...

Вновь ночь стоит,
Луны лампаду,
Как желтый слиток, раскалив.
Поэт проходит по Герату,
Как древний праведный халиф.
По незаметному движенью
Садов, укрытых в глубине,
Он словно чувствует биенье
Земного сердца в тишине.
И вдруг —
свеча в случайной худжре...
И давний-давний сладкий стих,
Который помнит он не хуже
Десятков поздних строф своих...
Так вот она, его награда!
Вот как судьбою решено!
Окно в ночной тиши Герата —
Как бы в грядущее
окно...

1937

175. СКРИПАЧ

1

Лет сорок скитался Халдар
С тамбуром,
и сазом,
и таром.
Как слушали люди, когда
Он струнным одаривал даром!

И только бы снять со стены
Двуструнный дутар свой любимый,
Присесть у сандала —

да так
Раскинуть цветастое платье,
Что, словно ребенок, дутар
У ней на коленях заплачет.
И билась, как лист на ветру,
Тоска в этих звуках такая,
Как будто меж стонущих струн,
Меж пальцев —

и жизнь утекала! . .

Но мальчику со стороны
Лишь музыкой муки казались,
Видением дивной страны
Души его

звуки касались.

Он жил между явью и сном,
Внутри — словно звон комариный. . .

«А ну-ка попробуй, сынок», —
Тихонько она говорила.

Вот так он и начал.

Вот так

И стали послушными пальцы —
И плакать учился дутар,
И радостью рассыпаться.

Нужда одолела семью.
Не выросши, радость дряхлая.
А скоро пришлось и ему
Чужого попробовать хлеба,
Прислуживал в чайхане,
Иного себе и не чая, —
Таскал да на малом огне
Грел воду для плова и чая.
Не больно он был языкат —
Пришибленный, тоненький, юный. . .

Когда ж забредет музыкант,
Позволит попробовать струны —
Затихнет,

замрет чайхана! . .

И только от песни очнется —
Взорвется под крышей хвала,
Да так,

что и крыша качнется.

2

И скоро он стал знаменит
Игрой удивительной тою.
Никто не умел заменить
Его

на гулянке и тое.

А там понемногу и сам
Бродить с этой музыкой стал он:
Тамбур заимел, да и саз,
Своим обзавелся дутаром.
Вставая едва рассвело,
Чтоб засветло к месту добраться,
Лишь струн полдюсятка —

всего

И смог накопить он богатства!
Бродил, как бродяга одет,
Как пес, ночевал на подстилке.
Не видели мать и отец
И маслица

для копилки!

Деньгами не баловал саз,
Хоть славой гремел на округу.
Бывало, никто не подаст
Артисту как равному

руку!

Швыряют, как заведено,
Медяк ли, другой ли. . .

Ну словно

Какое на славе пятно —
На славе

иль, может, на слове. . .

Жениться приспела пора.
Загадывал он, как и каждый:
Красавица, страсти полна,
В глаза ему глянет однажды!
И свях засылал на порог.
Но только позорились свахи:
Чуть скажут —
 ну словно порок,
Его ремесло называли!
«Нет,
 дочка еще молода...
Ищите других для Халдара...»
А то и отрежут когда:
«Таких только нам не хватало!
Не лучше ль ко вдовам зайти?
Попробуйте,
 мир-то широкий...»

Женился он лет тридцати:
Стал долею нищей сиротки.
Шли дети...
 Нужда да игра,
Видать, не далась ему даром.
Под сердце вонзалась игла
Всё яростней
 с каждым ударом.
Однажды и вовсе он слег...
А слава былая не грела!..
Что было и гнева, и слез!
Да толку-то?
 Жизнь догорела.

3

Семь лет проучился Салим —
И выпуск торжественный
 скоро.
«Поеду, — сказал он своим, —
В Москву,
В музыкальную школу...»
Но в голос заплакала мать:
«Будь проклят тамбур твой!»
 С улыбкой

Ответил: «Пора понимать,
Какой же тамбур? Это скрипка».
— «Сынок, да не всё ли равно?!
Ведь путь-то

один им загадан!
Учись хоть на грузчика, но
Не делайся ты музыкантом!
Ведь снова — отцова беда. . .»
Но проку от плача и воя
Немного.

И в наши года
Своею живут головою.
А этот — годов от шести
По-своему делал упрямо! . .
Сказал, отвернувшись:
«Прости. . .
Поеду. Поверь ты мне, мама. . .»

4

Гудит переполненный зал.
Торжественно входов зиянье.
Цветут ожиданьем глаза,
Как белые люстры —
снянем.

И вот настает тишина.
Как миг этот страшен — и сладок! . .
И занавеса стена
Уходит десятками складок.
Кому он не принадлежал,
Простор тот,

до времени скрытый! . .
Теперь в нем стоит Салимджан
С диковинной птицею — скрипкой.
Мгновенье — и птица поет!
И в песне — мечты утоленье,
В ней радости слышен полет,
Задумчивой грусти томленье.
И счастьем дарит она,
Мгновенным

и сладко-огромным!
И снова встает тишина —
И мощным взрывается гром. . .

Кому же на сцене пустой,
Сквозь памяти занавес старый,
Визгливый мерещится той
Да горькие вскрики дутара?
И стынет кровавый закат
Над песней, что жизни дороже,
И нищий бредет музыкант
По черной и пыльной дороге. . .
О чем он мечтал

и о ком

Дутар и не ведал кричавший —
Исполнил волшебный смычок,
На сцене сейчас отзвучавший! . .
. . . Пред кем это в зале опять
Картины былого воскресли?
Сраженная радостью мать
На бархатном съежилась кресле.
Следи же за сыном своим!
Давно ли ты горе гадала?
Но ярко восходит Салим
Над нищей звездой Халдара.
И так же,

светла и стройна,
Свершений невиданных чая,
Встает молодая страна
Над собственным прошлым

печальным.

1937

176. ЗАФАР И ЗАХРА

1

Жара, жара! В огне земля и небо.
Дорога спит, деревни дремлют немо.

Волы не смеют выйти из воды:
вот-вот свернутся

щедрых пальм зонты,
На солнцепек и высунуться жутко.
Еще бы! Солнце Индии — не шутка,

Пылает день, не кончится запал.
Минуя тень, один бредет Зафар...

Ему лет десять. Узкий, тощий, смуглый;
как плети руки, но глаза — как угли.

Цепляется, курчавясь, прядь за прядь.
Тряпье на нем — заплат не сосчитать!

Сгорает день мгновенье за мгновеньем,
Жжет пятки пыль...

В руке — истертый веник,
на голове — корзина кизяка:
ради него и брел издалека!..

Отец его, дехканин безземельный,
весь век сражаясь с роком без замены,

арендовал на поле политом
клочок земли величиной с ладонь.

Родители радели до упаду,
трудились, как волов несчастных пара,

но словно вихорь землю заметал —
всё забирал жестокий заминдар.

Вот и бредет Зафар за удобреньем,
чтоб хоть земля была чуть-чуть добрее.

коль уж смягчить помещика — никак
не скопишь силы в нищенских руках!

...Пусть гонит солнце к уголкам тенистым —
он не один на том пути тернистом:

там на дорогах множество ребят —
везде лохмотья пестрые рябят!

Не зная игр, бредет ребенок-робот.
Нужда их грабит,
жар и холод гробит.

Идет, идет, идет навстречу вам
растерзанный ребячий караван! . .

Но пусть уж дни пустым сияют днищем —
всего страшнее стать Зафару
нищим:

их множество. Куда ни поспешишь,
повсюду шепчут иль вопят:
«Бакшиш! . .»

Немытой стайкою бредут без крова.
Увянувшие личики бескровны,

корой на теле засыхает грязь. . .
В глазах и слезы не блеснут, искрясь!

На свете нет у них иных пристанищ —
лишь где с рукой протянутою станешь.

И, городской смяты суетой,
ладошек ложки тянут за едой!

В голодных ртах она — как в рваных ситах. . .
Но нет и капли жалости у сытых:

при виде этой бедности и бед
у них в глазах не меркнет белый свет!

А между тем на поле зреют злаки,
со щедрой ветки плод свисает сладкий,

златой земле трудов своих не жаль:
три раза в год дарует урожай!

Так отчего же, к ночи бездыханен,
здесь с каждым годом —
всё бедней дехканин?

Глухой кишлак,
прославленный Лахор —
с усердием равным
множат нищих хор! . . .

2

Как бесконечна нищая охота . . .
Зафар, усталый после перехода,

вдруг видит: впереди в сухую пыль
девчущку окунул автомобиль!

Шурша, промчалась пышная резина,
Упала наземь тощая корзина.

Девчущка поднимается в слезах:
весь высыпался
собранный кизяк!

Тряпье на ней, а выглядит опрятно.
«Не плачь . . . не плачь! Мы сложим всё
обратно! . . .»

И, взявшись за руки, они бредут —
два стебелька, что листики сплетут . . .

Их речи гомон заглушает птичий,
в лицо лучи палящий полдень тычет,

листва то с ним пошепчется,
то с ней —
но каждый шаг связует их тесней.

И каждое промолвленное слово
друг к другу их сердца толкает снова!

Он ей — как брат, она ему — сестра . . .
«Меня зовут Зафар . . .»
— «А я — Захра . . .»

Ей, видно, семь всего. Глаза газели.
В них — смесь недетской горести с весельем:

то стынут,
 то сверкнут, как у зверька...
В носу блестит дешевая серьга,

а гладь волос — на косы неразъятым,
бесшумным низбегает водопадом!

Такой у них не встретишь в кишлаке...
Он смотрит искоса, рука в руке:

«Откуда ты?» — и не отводит взора.
Она смеется:
 «Я-то? Из Лахора...»

«Ты кре-епкая! Вон сколько уж прошла!..»
Захре приятна эта похвала:

он кажется ей смелым и красивым,
соединеньем и ума и силы!

А от Лахора и до кишлака
дорога ведь, и правда, далека...

«Сперва, конечно, нелегко, и жарко,
но я привыкла: я же горожанка!

У нас в домах — таких, как я живу, —
еще душней в такую вот жару...

А мой отец (он добрый! даже очень!)
на фабрике работает рабочим.

Ну, знаешь, там, где парашюты шьют!
Из шелка круглый — видел парашют?..

У нас в семье не родился бездельник —
все трудимся! А вечно нету денег...

Зимой и летом бьемся так и сяк...
А в холод вместо угля —
 жжем кизяк!..»

«Выходит, голод
вас в деревню гонит, —
сказал Зафар, — а нас толкает в город?»

И раз я бедный — значит, я найду
одну беду,
куда я ни пойду? . . .»

Они идут по пламенным дорогам.
Зафар вздохнет, Захра ответит вздохом.

Песок как сковородка раскален.
Дрожит жара между стволов-колонн.

В любом часу, в любое время года
так красочна индийская природа!

Но как ни пестр индийский яркий день —
он четко делится
на свет и тень. . .

И здесь, в пути, встречает их ограда
огромного помещичьего сада.

Как золото, сводящее с ума,
всю землю в нем усыпала хурма,

под крышей пальм, торчащих вверх, как трости,
банановые гроздятся гроздь. . .

Весь дивный сад — прекраснее поэм!
Захра вздыхает:
«В праздник их поем —

отец мне купит целых два банана!
Покрепче только попросить бы надо. . .»

«Придумала, чего ей пожелать!
По мне, лепешку лучше пожевать —

еда хотя бы чувствуется в глотке. . .»
— «Ага! Лепешку — и еще похлебки. . .»

А сад из-за ограды, наконец,
являет им прекраснейший дворец —

такой, что враз и не окинешь оком!
И звуки музыки плывут из окон,

а среди зелени — вон там! вон там! —
цветы хрустальные вознес фонтан:

какая сила их колеблет хитро? ..
«Ну что, видала? Это ж дом сагиба!

Хозяин всем и пашням, и лесам. . .
Да вон он — погляди — гуляет сам!

Куда ж ты смотришь? Вот он — видишь, слева
мелькает темя пробкового шлема? ..

Он хуже зверя! Вот уж сколько лет
его тут кличут «тигр-людоед»!

Старик уже. . . а мы живем, не чаем,
когда умрет проклятый англичанин.

Да только мой отец махнул рукой:
умрет один — появится другой. . .»

Пора заката. И тоска запала
в сердечко утомленное Зафара.

День на исходе ускоряет шаг,
давно уж время повернуть в кишлак.

И он грустит: скорей всего, не скоро
увидит вновь подружку из Лахора!

Зачем судьба свела их невзначай? ..
«Прощай, Зафар!»
— «Захра, прощай! Проща-ай. . .»

Пожаром грозным отпылало небо.
Зафар пришел в кишлак, когда стемнело,

Дома, похожие на шалаши,
косились хмуру на него в тиши.

Пришел и видит: в горести все трое —
отец и мать со старшею сестрою.

Как будто был здесь вражеский налет!..
Он понял вмиг: пришли взимать налог!..

Беда над домом крылья растопорщит,
когда приходит этот страшный сборщик

с устройством странным в лысой голове:
увидит вещь — а сосчитает две!

Несытым взором словно прожигал он,
когда шагал по кишлаку шакалом.

И становилось всем не по себе,
пока искал он жертву послабей!..

И в том дому, где злее правит голод,
звучал грубее этот жирный голос,

а голый череп яростней сверкал,
чем целое созвездие зеркал.

«Как долг платить, так вы: «Не наскреба-аю!..»
Не наскребешь — возьму девчонку к баю!

Работать надо, а не баю-бай!
Иди к соседям, попроси!..

Ступай!»

Но лучше бы за это и не брался:
напрасно в долг вымаливал,
напрасно

соседей нищих обходил отец —
пустым ушел от этих и от тех. . .

И вот опять шакал идет
с короткой
трясущейся покрашенной бородкой.

Он входит, взглядывает на мальчика —
и пальцем согнутым манит отца.

«Отдай мне парня! Вот коли отдашь — и
долг отпущу, добавлю денег даже!»

И, взяв Зафара за ухо: «Да, да!
Ты за семью не пожалей труда!

Для их земного поработай блага —
тебе за то
воздастся от Аллаха!»

Стоит Зафар. Сгустился в горле ком,
пошевелить нет силы языком.

Полны глаза застывшими слезами.
А все стоят, как будто их связали, —

отец, и старшая сестра, и мать —
ни крикнуть,
ни завывать,

ни зарыдать,

не вырваться из этой страшной власти,
тех рук не отшвырнуть
в тоске безгласной,

ответа
лживым не найти речам! . .

.

«Прощай, Захра-а! . . .»
— «Прощай, Зафар! . . Проща-ай. . .»

Наряден город, где легла издревле
 тень куполов на стройные деревья,

где с цветниками спорили дворцы
 резьбой,
 покрывшей стены и торцы.

Он ширится, то строен, то приземист,
 но всей красой владеет чужеземец

или —
 безмерной чванностью смешон —
 бездельник знатный,
 денежный мешок. . .

Повсюду шум страшнее, чем базарный, —
 в нем не услышишь даже и азана!

Моторов рык,
 шуршанье шустрых шин,
 шаг тысяч ног по улицам большим,

где рядом с роскошью зимой и летом
 сирот и нищих движутся скелеты,

где рикша мчит, чтоб прокормить семью,
 факир тревожит музыкой змею,

и, в воздухе чертя огромный росчерк,
 с жезлом своим стоит регулировщик

в багрово полыхающей чалме,
 как символ, намалеванный вчерне. . .

Босой гигант, он в этом шуме диком
 невозмутим — под стать своим владыкам,

что правят страха силою одной,
 как перекрестком, древнею страной!

О, как тревожит душу неустанно
 такой привычный образ Пакистана:

босой, в чалме, огромен, величав —
покорная игрушка англичан. . .

А между тем на перекрестке людном,
где путь открыт машинам и верблюдам,

на спрятанной булыжником земле —
нет места

нашей маленькой Захре!

Ей прочь спешить по жалким переулкам.
Там, в дымном доме —

длинном, темном, утлом,

где нищих трещин ползает змея, —
живет ее рабочая семья.

Там не к лицу величественный глянец —
туда ни луч, ни ветер не заглянет.

Лохмотья, тряпки, мусор, что ни шаг,
жильцы, как в муравейнике, кишат.

Темней пещерные помещенья! . .
Но в этом узком каменном ущелье —

дым вместо неба, вместо почвы грязь —
Захра на свет когда-то родилась! . .

И после дня пути, где в изобилье
лучей палящих и горячей пыли,

она спешит, торопится домой —
как, впрочем, все: какой ни дом — да мой! . .

Как каждый день спешила — так и ныне;
но нынче двор и дом совсем иные,

как будто всё переменяло масть. . .
В дверях, дрожа, ее встречает мать.

«Ох, доченька. . . Беда пришла неожиданно! . .
К нам пóд вечер явились два жандарма,

отца схватили, ткнув в лицо ему
два кулака, — и увели в тюрьму! . . .»

«Ох, мама! . . . — Злополучная корзина
опять на землю глухо заскользила,

и, толком не присевшая с утра,
упала и заплакала Захра. —

За что, скажи?! . . .»

— «Не верь проклятым катам —
нет, он не враг стране! Он — враг богатым!

Тем, кто,
любого хищника лютей,
обманывал и обирал людей,

тем дьяволам, что у родного края
его богатства, честь и свет украли! . . .

Но правда выйдет, как в тюрьму ни прячь. . .
Не плачь, не надо, доченька!

Не плачь. . .»

5

Когда шаги жандармов отзвучали,
недолго ждал хозяин-англичанин:

семью рабочего он выгнал прочь
в бездонную сгустившуюся ночь.

Где зло — закон, там вся страна бессудна. . .
Пожитки все, надбитую посуду —

всё уложили в небольшой мешок,
и груз ему
до горла не дошел!

И это всё, что скоплено за годы
сплошных трудов, отчаянной заботы! . . .

И, взявши сына за руку и дочь,
глота слезы,
мать уходит в ночь. . .

В ту ночь, где —
в ближней тьме и отдаленной —
скитаются без крова миллионы,

стыдась друг друга и стесняясь звезд,
а пламя горя плавит
воли воск!

Вдоль улиц бродят одиночки, семьи —
идут, пока не свалит сон на землю,

но лишь задремлют чуть, не чуя ног, —
разбудит их безжалостный пинок!

От бед и зол одна лишь панацея:
тюрьма, пинок да окрик полицейский! . .

И мать не спит, и слезы по лицу
бегут, как по осеннему листу.

Нет больше силы
жить в извечных шорах! . .
Не спит Захра, считает каждый шорох,

Дорожкой неотбеленного льна
к ней мост в ночи построила луна.

Какая непостижность в бледном диске! . .
Подобен сказке мир ночи индийской,

но пропастью отчаянья разверст
за ночью подступающий рассвет.

Где отыскать им кров, еду, работу? . .
Втрое страшней такой вопрос — ребенку! . .

И коли задан — стало быть, страшна
красотами кишущая страна! . .

Но вдруг забилося сердце, как от зова,
и речь Захре припомнилась отцова:

«Есть, доченька, иной на свете край —
сго скрывает горизонта грань,

но свет его, могучий и недавний,
доходит к нам,
одолевая дали!

Там справедливая дала пора
завод — рабочим,
пахарю — поля,

и ночь не прячет ни сирот бездомных,
ни нищих слез, ни безнадежных стонов,

и над людьми не властвует беда,
и правит жизнью человек труда,

и этот путь грядущим поколениям
на всей земле
указывает Ленин!

Всесилен свет, зажженный им,
для глаз —
когда-нибудь он вспыхнет и у нас. . .»

Стоит луна над призрачным пейзажем.
Так вот за что
отец в тюрьму посажен!

За то, что ясно виделось ему,
как дивный свет глухую сменит тьму,

как нищий люд из-за решеток выйдет,
дорогу настоящую увидит,

где солнце,
а не ответ чьих-то фар. . .
Там ей, конечно, встретится Зафар,

и тем путем, сияющим и длинным,
они пойдут по радостным долинам. . .

Усни, Захра, до света далеко.
Поспи — тебе придется нелегко,

душе твоей, ограбленной и сирой,
в пути еще понадобятся силы.

Тебе приснится светлая пора —
и верю:
сон твой сбудется, Захра!

1950

177. ДЕВУШКИ

*Посвящается
XXX годовщине ВЛКСМ*

1

Декабрьский снег клубится над землей,
Поля, как смерчи, белые кругом.
Дорог безмолвие. Метели вой.
И сизый дым, и снег над кишлаком.
А в кишлаке тревожен каждый дом:
Старух томят предчувствиями сны,
У молодых сединки над виском
От «черных писем», от вестей войны,
Все, здесь живущие, — живут войной,
Одной заботою, борьбой одной.

И под одной из кровель кишлака
Сидели, дружный образуя круг,
У теплого сандала, камелька,
Пять девушек, веселых пять подруг.
Вчера с канала прибыли они.
Средь нелюдимых ветровых степей
Вели они канал, за днями дни
Копали степь железом кетменей.
С обветренною кожей лиц и рук,
Со славою вернулись пять подруг.

Как яблоки под солнечным лучом,
Сияют щеки розовые их,
Огонь играет ярким перстеньком,
Узорным шелком платьев дорогих.
Тепло июньское дарит сандал,
На крышу мягко упадет снег.
На скатерти пять расписных пиал,
Горячий чай — утеха из утех,
Лепешки свежие, изюм, джида —
Весь дастархан дехканского труда.

Час отдыха! Раздумья тихий час!
Игрой теней заполнены углы. . .
Шуршит в руках у девушек атлас,
Мгновенный блеск на кончике иглы.
Они платки бойцам в подарок шьют,
Они сплетают в праздничный узор
Цветы и листья, что весной растут
В родных садах, среди полей и гор.
Тем, что в боях идут сквозь дым и кровь,
Отчизна шлет свой скромный дар — любовь.

И, неустанно двигая иглой
И не сводя с узоров глаз своих,
Беседуют подружки меж собой
О подвигах недавних трудовых.
И вот — гора пустынная встает,
Землянок гнезда на крутой горе,
Степной буран, и пыльный небосвод,
И красный флаг на розовой заре,
И гулкий шум народного труда,
И степь, в которую придет вода.

. . . Как ранним утром ухает карнай
И кетмени — что молнии! — блестят,
Как, поджигая темной ночи край,
В костре багровом угольки горят. . .
О, бульканье кумгана на костре,
Домбра в руках у старого певца!
И шутки вслед умолкнувшей домбре,
И песням нет начала и конца! . . .
И девушки вдруг видят пред собой
Огонь костра, землянку под горой.

Вздохнут они. . . А снова речь пойдет,
И в каждом слове — сдержанный намек,
Грустят о тех, кто писем им не шлет,
Молчат о тех, кто дорог и далек.
К войне невестой Назмихан была,
Ее джигит уехал раньше всех.
Тугие брови, словно два крыла
Пугливой ласточки, взлетают вверх.
В день свадьбы призван на войну джигит —
Жена ль, невеста ль? — Назмихан грустит.

У Алтыной глаза черным-черны,
А щеки блеклы, будто бы больна.
Задумчиво разгадывает сны
И носит платье темное она.
За молчаливость и за простоту
Ее «старинной девушкой» зовут.
Ну а Дильбар молчать неумоготу,
Всех озорней она, смешливей тут.
Она сверкает ясной красотой,
Вся так и брызжет силой молодой.

Дильбар искусно пляшет и поет,
Как соловей, дутар в ее руках.
Ее артисткой Алтыной зовет,
Театр давно живет в ее мечтах.
А сердце девушки стремится вдаль —
Ее джигита призвала война. . .
Чуть помоложе будет Айджамаль,
Что круглолица, как сама Луна.
И пышнотела, и крепка она,
Огонь — в работе, а в речах скромна.

Все «Кыз-палван» ее зовут вокруг,
Иначе — девушкой-богатырем. . .
Гульшан моложе всех своих подруг.
Приветливая, с розовым лицом,
Она в чудесной утренней поре,
В поре надежд, четырнадцати лет.
А встанет самой первой на заре,
Прилежнее ее на поле нет.
Работает, смеется день-деньской,
Полна веселой, детской хитрецей.

И вот во двор выходят пять подруг,
Буран утих. И на небе светло,
И звезды ярки-ярки. . . А вокруг,
Куда ни взглянешь, — всё белым-бело.
И девушки бегут; сверкает снег,
Шуршит, звенит. . . И на снегу — следы.
Дильбар опять хохочет звонче всех:
Слепив снежок, чтоб кинуть до звезды,
Им попадает в щеку Алтыной,
А та — в ответ. И завязался бой!

В снегу — калоши, в воздухе — платки,
Снежки, снежки. И беготня, и крик!
Но вот хрустят по улице шаги,
Ворота скрипнули. Вошел старик.
Гульшан навстречу бросилась скорей
И деда обнимает у ворот.
Приглаживая волосы, за ней
Смиренно стайка девушек идет.
«Тургун-ата! Как съезд? Ташкент какой?» —
Подруги говорят наперебой.

«Я очень много нового привез,
Об этом будет длинный разговор.
Замерз я, девушки, совсем замерз,
Для разговоров ли холодный двор?
Нет, раньше — чай, а разговор — потом», —
Старик подругам тихо отвечал.
И все вошли в уютный, теплый дом,
Где чайник пел, где жарко тлел сандал.
Старик к сандалу ноги протянул,
Чай отхлебнул, на девушек взглянул.

Тихонько те вокруг него сидят,
Как пред рассветом стая тихих птиц.
Прилежно ждут, почтительно молчат,
Не шевеля опущенных ресниц.
Еще взглянул он глаза уголком,
Улыбка вспыхнула в усах седых,
Отставил чай: «Ну ладно! О таком
Не промолчишь минуты средь своих.
Откройте, дети, юные сердца
И старого послушайте отца.

Да... разговор большой происходил,
Народ речист, умеет говорить!
А солью разговора хлопок был —
Как нам его побольше получить.
Народ на дело доброе готов,
В Центральный Комитет письмо послал,
От имени хлопковых мастеров
Единодушную он клятву дал».
— «Что? Клятву?» — Стукнули сердца на миг,
«Большую клятву! — повторил старик. —

И я сказал на съезде речь мою,
Сказал друзьям, что семьдесят мне лет
И семьдесят я центнеров даю,
За год — по центнеру. Вот мой ответ!
И сразу загремел огромный зал:
Весь съезд стоял и хлопал старику.
Гульшан! Я сына нынче заменял:
Сын на войне, я в поле помогу...
Ах, был бы жив! Храни, аллах, его,
Бесценного орленка моего!»

И медленная, крупная слеза
По стариковской бороде ползет.
Сочувственные девушек глаза
Опущены. И тишина растет.
И, губы закусив, сидит Гульшан,
В раздумье долгое погружена.
И вдруг мгновенно выпрямила стан
И молвит тихо девушкам она:
«Я — к председателю!» А те: «Постой!
Мы тоже к председателю с тобой!»

В правлении без умолку стучит
На счетах старых счетовод косой.
И председатель-великан сидит,
Приглаживая волосы рукой.
«Большую клятву ты от нас бери! —
Гульшан сказала. — Слушай голос наш!»
А председатель: «Прямо говори —
По сколько центнеров с гектара дашь!»
— «Сто центнеров с гектара — мой ответ».
— «Сто... Сто, сто, сто!» — все девушки вослед.

И встал, заулыбавшись, исполни,
До потолка доставши головой.
Как тополь возле снеговых вершин,
Пирамидальный тополь вековой.
«О ласточки мои! Взлетайте ввысь! . .
Пяти вам — пять гектар. Одним звеном
Работайте успешно, как взялись,
Мужая сердцем в подвиге святом!»
Гульшан он старшею в звене назвал
И руку каждой девушке пожал.

2

Едва рассвет забрезжил в небесах,
Подруги на поле свое пришли,
В рабочих куртках, в грубых сапогах
Стоят они среди своей земли.
Открыто поле с четырех сторон,
Всё в прошлогодних хлопковых кустах.
Кусты скрипят. Снег черен от ворон,
Купающихся в утренних снегах.
Сказать-то «пять гектар» легко. . . Взгляни,
Как велики, пустынные, они!

Когда-то добрая земля была,
Но высохла, сулила недород:
Всего по десять центнеров дала
Она с гектара за последний год.
И вот подруг нетерпеливых пять
В сугробах снежных роются зимой,
Решивши землю эту оживлять
Своим трудом и пламенной душой.
И говорят друг другу старики:
«Ну, девушки! Ну, передовики!»

Но нелегко им, передовикам, —
Попробуй выдерни своей рукой.
Все стебли те, примерзшие к холмам,
Взрыхли покров тяжелый ледяной.
Тяни и падай! Руки обдирай! . .
Пусть на морозе замерзает кровь,
Усталости своей не выдавай
И за работу принимайся вновь. . .

К полудню прояснились гребни гор,
И девушки тогда зажгли костер.

Их обогрела чая пиала,
И молодость опять кипит ключом,
Растет настойчивость. . . А даль бела,
Как будто бы набухла молоком.
Открылось поле за вершком вершок,
Все стебельки повыдраны из гряд.
Устали девушки, не чувят ног,
Их щеки, разрумившись, горят.
И вот уж вечер, тихий, снеговой,
И председатель их зовет домой.

А ночь прошла, как будто не была.
И солнце — ясное, без облаков.
Нагрелся воздух от его тепла.
И птичий свист, и таянье снегов. . .
Земля взбухает, корни влагу пьют,
Пар, как весной, струится на заре.
Бывает, и фиалки зацветут
В узбекистанском нашем декабре.
Хоть скинь пальто! Но уж привыкли **мы**
К причудам нашей взбалмошной зимы.

В такой пригожий, будто вешний, день
Решили поле девушки взрыхлять.
Тяжел землей облепленный кетмень,
И ног из глины вязкой не поднять.
Кричат они: «Давай держи, тяни!» —
Прилежно трудятся во весь размах.
Все глиною измазаны они,
Грязь на лице, на черных волосах.
Так девушки зимы капризный нрав
Перехитрили, поле раскопав.

Еще в один из зимних дней Гульшан
Своих соратниц подняла чуть свет,
Припомнивши совет, что дедом дан,
Узбекских старых мастеров совет:
«Когда земли твоей достаток мал —
То старая земля придаст ей жир.

Дувал увидишь старый — рушь дувал,
И урожаю удивится мир...»
Решили девушки дувал снести,
Чтоб удобрение в поля внести.

«От Навои дувал остался мой —
Как камень стар он, как железо тверд!» —
Устало улыбнулась Алтыной,
Со лба крутого вытирая пот.
«Дувал и пушкой не разобьешь!» —
В ответ сердито говорит Дильбар.
«Нет, разобьешь и хлопок соберешь...
А ну, удар! А ну, еще удар!»
Бьет кетменем дувал Джамаль-палван,
Но не сдается старый великан.

Как цемент, глина древняя тверда.
Работают подруги до зари,
И на руках от тяжелого труда,
Как коконы, взбухают пузыри.
Но вот дувал упрямый превращен
В большие комья золотой земли.
На легкую арбу положен он,
И вот ишак скрывается вдали.
За ним Гульшан дорогою идет,
И месит грязь, и радостно поет!

Ишак, однако, портит все дела!
Он спутником певца Машраба был
В Кашгаре, в Индии, но норова осла
До наших дней, увы, не изменил —
Упрям и глуп! Вдруг встанет, заревет,
Хоть бей его, хоть приласкай его, —
Как каменный! И ухом не ведет,
В глазах тупых не видно ничего...
Гульшан, бывало, плакала над ним,
Над спутником бессмысленным своим.

А то арба сломается — бегом
Летит Гульшан в кишлак, кляня судьбу,
За проволокой или за гвоздем,
Игрушечную починить арбу.
Смеются девушки: «Эх, командир!

Ну, что арба? Перенесем в мешках!»
Они поссорятся. И снова мир,
И носят глину на своих плечах.

Земля взяла два глиняных холма,
Она насытилась. Прошла зима.
Она прошла! И аистовый снег
На белых крыльях птицы принесли,
Уселись в гнезда на виду у всех
Оберегать простор родной земли.
Подснежники желтеют там и тут,
И вдоль тропинок, снеговых вчера,
Лиловые фиалочки цветут.
На улицах, на крышах — детвора.
Она с утра стрекочет и поет:
«Вернулись аисты! Весна идет! ..»

Звучит в ушах бесхитростный мотив
Весенней детской песенки простой. . .
Летит пушок желто-зеленых ив
Над горною зеркальною рекой.
Гнездом увенчан минарет опять,
Огромным, с целый воз величиной,
На нем удобно аисту стоять
И днем и ночью на ноге одной.
А птицы в клювах к нам несут сюда
И песню и былинку для гнезда.

Весна вдыхает воздух золотой,
И видно, как вокруг растет трава.
Уж тополя украшены листвою,
Уже глубока неба синева,
И, наконец, в степи зардел тюльпан, —
Сорви его, скорее в косу вдень!
И переносятся ковры чайхан
На ветерок, где солнышко и тень.
И в арычках поет на все лады
Волшебная мелодия воды.

А небо было ясным, отчего ж
Закрылась черной тучей вышина
И хлынул дождь? Откуда взялся дождь?
Всё шутишь ты, проказница весна! . .

Мы под навес стараемся удрать,
А дождь за нами скачет по следам.
И, значит, время лозы раскрывать
По виноградникам и по садам.
Как весел танец струек дождевых,
И как приятно беспокойство их! . .

У девушек же наших пятерых
Что день — то больше дел. И все важны.
Отдав посевам силу душ своих,
Они почти не видели весны.
Но вот и трактор на поле пришел —
Замена верная рабочих рук.
Его гуденьем огласился дол,
Был праздником запашки первый круг.
Вспахали всё. И вспашка глубока.
Земля лежит рассыпчата, мягка.

3

Вот гряды ровною идут чредой,
Гульшан наверх взглянула: журавли!
Она им машет радостно рукой,
Она весну почуяла вдали.
«Летите, милые, на запад вы,
Туда, где наши воины в боях.
Хоть луч один узбекской синевы
Снесите им на ласковых крылах,
Привет снесите моему отцу!»
Слезинки льются по ее лицу.

На журавлей взглянула и Дильбар,
Глядит и глаз не может отвести,
А сердце рвется, как степной пожар,
Тропинкой журавлиного пути.
Но это тайна. Потому она
Нахмурилась, себя превозмогла.
Она к Гульшан склонилась, нежна,
И узенькие плечи обняла:
«Не плачь, подружка! Твой отец придет,
Победу нам и радость принесет».

Но за работою в мечтах Дильбар
Всё лето прошлогоднее встает:
Томит поля полдневный душный жар,
Дильбар одна в саду урюк трясет. . .
Пригнула ветки гибкие она,
Качнула дерево. Как град, урюк
Посыпался. Земля уж не видна,
Лишь золото румяное вокруг.
Взглянула вниз — и смотрит не дыша:
Под деревом стоит ее душа.

Стоит Урман, красавец молодой,
Колхозный табельщик и музыкант,
Известный силою и прямоюй.
Ко всем занятиям у него талант:
В машину сядет — боевой шофер,
Возьмет ружье — без промаха стрелок,
Заговорит — приятен разговор,
А сам хорош — и статен и высок.
И он, Урман, раскрыл объятья ей,
Чтоб снять красавицу с тугих ветвей.

«Как вам не стыдно! Что за озорство?!
Я брошусь на землю. . .» — «Красавица,

постой!

Искал я всюду следа твоего,
Как гончая, я гнался за тобой!
Мне в руки на земле ты не далась,
Не отпущу теперь. Не обессудь».
Подобен молнии взор черных глаз,
Как лето, пышет молодая грудь.
И не на землю — в плен горячих рук
Скользнула девушка безмолвно вдруг.

О сердце! Кто поймет и объяснит
Причуды и превратности твои?
От тени юноши Дильбар бежит,
Сгорая от смущенья и любви.
А убежит, останется одна —
И кается, и смотрит на порог,
Следы его идет искать она
В траве лужаек и в пыли дорог.

Смеются очи, очи слезы льют,
И все дороги к милому ведут.

И как-то раз на поле провела
Дильбар три вечности — три долгих дня...
И ночь июльская ее несла
На светлых крыльях лунного огня.
Как бы стремясь из темноты на свет,
Она спешила к счастью своему.
Джигита в клубе нет, в правленье нет,
Так не нашла, так не дошла к нему...
Сказали люди, что джигит вчера
Ушел на фронт. Пришла его пора.

На запад пролетели журавли,
Гонцы весны и девичьей любви.
И гряды свежевзрыхленной земли
За ними вслед ведут ряды свон.
А гряды нужно напоить водой, —
И девушки взялись за кетмени:
Арыки чистят, вёрсты за верстой
Идут по руслам глинистым они.
От черной грязи освобождено,
Как обливной горшок, арыков дно.

И время сева наконец пришло —
Скорей, скорей! Ведь коротка весна!
Но со скотом рабочим тяжело,
И медленно подвозят семена.
Балта-ака средь девушек стоит,
На землю смотрит — хороша земля!
«Земля такая золото родит,
Скорее сейте, пусть не ждут поля.
За эту землю, дорогие, вам
Я лучшего коня в колхозе дам!»

Он дал гнедого иноходца им,
Коня-красавца, молнию-коня,
А сам-то лишь по праздникам большим
Скакал на нем, жалея и ценя.
И вот бежит прославленный гнедой,
На солнце шерсть атласная блестит,
Земли едва касается ногой... .

А на гнедом коне Гульшан сидит!
Кричат подруги: «Упадешь, джигит!»
А конь стрелою по полям летит!

Ах, эти дни! Людской горячий пот
Пьет ненасытно вешняя земля.
И зернышко за зернышком течет,
Жемчужина жемчужину зовет,
Коричневую землю шевеля.
Жемчужно-серое, растет зерно,
Младенческого трепета полно,
Вздыхает сонно и тепло оно...
Встают из тьмы зеленые ростки,
Неспешно расправляют лепестки.

О радость долгожданная, когда
На поле всходы первые взойдут,
Нежно-зеленые ростки труда,
Твоей рукой посаженные тут!
Смотрите, девушки! Поля других
Еще пустые, темные лежат,
А ваше поле, как зеленый стих, —
Уже в узорных ровных строчках гряд.
И журавлиным строем, наливной,
Стоит хлопчатник, вскормленный весной!

4

В весенний полдень под карагачом
Подружки загорелые сидят.
Играют листья солнечным лучом,
Далёко где-то иволги кричат.
И пишут письма в солнечной тиши
Гульшан с Назми, головки наклонив.
Ждут очереди на карандаши
Подруги, взоры в небо устремив.
Гульшан тихонько переводит дух,
Свое письмо она читает вслух:

«Салям, отец! На хлопковых полях
В сто центнеров даем мы урожай,
Ты сто фашистов истреби в боях
И поскорей с победой приезжай!»

Все одобряют. Карандаш берет
Дильбар, закрывшись от лучей рукой,
Она письма подругам не прочтет. . .
Слова, как жемчуг, нижет Алтыной,
Как аисты, несущиеся вдаль,
Летят большие буквы Айджамаль.

И девушки, надеждою полны,
Тревоги черной отгоняют тень.
Кругом — поля зеленые весны,
Исполненный тепла и света день.
И в зеркальце лучи весны блестят,
На солнце ежатся пучки усмы.
Подруги строго в зеркальце глядят:
«Как похудели, почернели мы».
А так свежи они, так хороши,
Что хоть сейчас картину с них пиши!

Усмы зеленый застывает сок,
Темнеют стрелы тонкие бровей,
И ярче розы загорелых щек,
И глубже звезды черные очей.
Щебечут девушки. . . По полю к ним
Сам председатель их, Балта-ака,
Широкоплечий, шагом строевым
Идет в сопровожденье старика.
«Привет, друзья! Мы хлопок обошли
И лучшего в колхозе не нашли!»

Красавицы краснеют от похвал
И помощь предлагают старикам.
Старик — сурово: «Сам я клятву дал,
И выполнить ее сумею сам».
Тут председатель молвил: «А по мне,
Товарищи, уж если помогать,
Так лучше семьям тех, кто на войне.
За это будут вас благословлять!»
Так порешивши, девушки встают
И во дворы дехканские идут.

Мала усадьба бабушки Мастан,
Но внуков и сирот полным-полна.

Под тяжестью годов согнулся стан,
Но всё в работе, в суете она.
Узнав, зачем пришли подружки к ней,
Она заплакала, всё поняла,
Засуетилась, стала веселей
И землю им показывать пошла.
Идет старуха, посохом стучит:
«Ах, доченьки! Вас бог благословит!»

Кипит работа, льется разговор,
И гряды, гряды под рукой растут.
А бабка с посохом, как дирижер:
«Вот тут — горох, фасоль, а дыни — тут!
А у дувала — тыков корней пяток.
А там, в сторонке, — можно джугару! . .
Вот так работал мой солдат-сынок
На огороде этом поутру.
Ведь он сегодня мне приснился — ах! —
Веселый, полный, с саженцем в руках. . .»

Так день прошел, за ним прошел другой.
И день за днем немолчная хвала
Сердечной благодарности людской
Вслед девушкам по кишлаку текла. . .
Похолодало. . . Небеса темны,
Угрюмы очертанья туч седых. . .
Сердца подруг тревогою полны:
А вдруг мороз — погибнут всходы их!
Заиндевет, склонится у ног
Хлопчатник ранний, нежный, как цветок.

А ветер дует с островерхих гор,
Студеный, словно проглотивший лед.
Гульшан не сводит с неба горький взор —
Не предвещает доброго заход.
Подругу утешает Айджамаль:
«Не плачь. Уж если хлопок наш умрет —
Засеем снова. Разве сил нам жаль?
И разве легче слезы лить, чем пот? . . .»
А хлопок просит помощи у них
Тревожным шелестом листков своих.

И старенькая бабушка Мастан,
На сумрачное небо посмотрев,
Идет с клюкой, сквозь ветер и туман,
Кряхтя, обходит хлопковый посев.
«Эх, девушки! Не слушались молвы! . . .
«Коль поспешишь — то мужа не найдешь», —
Так говорит пословица. А вы
С посевом поспешили. . . Ну и что ж?
Бывает, средь зимы цветет урюк,
Но вслед за этим — холод стукнет вдруг!»

Подруги скромно отвечают ей:
«Да, бабушка. Был риск известный в том,
Но поддержал нас мастер всех полей,
Ученый наш, районный агроном».
— «Как вы сказали? Имя не пойму.
Тот, что по книгам знает все дела? . . .
Спросить бы можно деда. . . Да ему
Мать разума с рожденья не дала,
Слыл недотепой он всегда у нас,
Мне смолоду подмигивал не раз. . .»

Веселый смех раздался ей в ответ,
Угрюмые просторы огласил,
А бабка вновь: «Я принесла совет.
Покойный свекор как-то говорил:
«Коль заморозок налетит, как вор,
На поле хлопка раннюю весной,
Скорее надо развести костер,
И теплый дым согреет хлопок твой».
Я, доченьки, у вас в большом долгу.
Вы помогли, и я вам помогу».

И вот в ночи морозной ветровой
Подруги хворост, торопясь, несут,
И вот уж он лежит холмом, горой. . .
О, если б знать, что не напрасен труд! . . .
Кругом безмолвие, густой туман,
Хруст хвороста, усталый лай собак. . .
Объятая тревогою Гульшан
Глядит, как к полю подползает мрак.
О, если б кровью отогреть своей
Рядки продрогших хлопковых стеблей!

Вот разжигают девушки костер,
И тучей стелется по полю дым.
И вост, вост ветренный простор,
И дышит ночь дыханьем ледяным.
Дым ест глаза. Сквозь слезы на огонь
Глядит Дильбар. Ладонь ее в крови.
Как перевал переваливший конь,
Чуть движет ноги Айджамаль свои,
И Назмихан с уставшей Алтыной
Палят костры на стороне другой.

Ущербный месяц всходит в небесах,
Плывет над полем, смутен и суров.
И тень, колеблясь в месяца лучах,
Безмолвная, нисходит с облаков.
И люди движутся к костру сквозь ночь, —
Старухи, ребятишки, вдовы тут.
Все говорят: «Мы вам пришли помочь»,
В огонь охапки хвороста кладут.
Старуха шепчет: «О аллах, внемли —
Смерть Гитлеру и благо нам пошли!»

И вот рассвет! «Скорее, дым, скорей!» —
Подруги озабоченно кричат.
Клубится дым, клубится дым сильней,
Чихают люди, кашляют, хрипят,
А дым растет! Покрыл всё поле он
Густою, теплой тучею своей;
Темнеет и темнеет небосклон,
Но вот и вспышки первые лучей!
Вот в золотистой дымке тополя,
И дышит солнечным теплом земля.

И девушки всё поле обошли,
Любовью и волнением горя,
Пред всходами склоняясь до земли, —
Растенья живы! Хлопоты — не зря,
Опасность миновала. . . Все в золе,
Растрепаны, от копоти черны,
Стоят они на розовой земле,
Зарю золотой озарены.
А небо сине, а тепло растет. . .
И как прекрасен солнечный восход!

Дочь солнышка, красавица весна,
 Идет, струя одежд зеленый шелк.
 Черешням краску с губ дает она,
 А яблокам — румяна с алых щек,
 И не дурнеет. . . Пробует на вкус
 Тутовое варенье и урюк,
 Играет связками вишневых бус,
 Весенних вод настраивает звук.
 А солнце — жарче. Всё длиннее дни.
 И лето пьет зеленый чай в тени.

А девушкам прохлады не искать:
 Пора окучки — жаркая пора.
 Им нужно гряды поскорей взрыхлять,
 Они на поле с раннего утра.
 Опять в тяжелых сапогах они,
 И косы скручены на лбу венком,
 Опять в руках мужские кетмени,
 И пот со лба стекает родником.
 И хлопок в блеске синей высоты
 Раскроет скоро первые цветы.

Пленяет поле всех прохожих взгляд, —
 Осмотрят, обойдут его кругом,
 И с одобрением все говорят,
 Что золотым оно дано трудом.
 И секретарь райкома приходил,
 Как старший брат, заботлив и умен,
 Он с девушками гряды обходил,
 И завязи считал, довольный, он;
 И наставленьем был его совет,
 И поздравленьем прозвучал привет.

Однажды летом сумерки пришли,
 И потускнел зеркальный небосклон,
 Тяжелый зной струился от земли,
 Сверчки звенели, нагоняя сон.
 Задумчиво с работы к кишлаку
 Брела Гульшан дорогою большой.
 Остановивши лошадь на скаку,
 Наездник поманил ее рукой,

Вручил пакет. Гульшан взяла его,
Не удержав рыдания своего.

Зачем читать? Не прочитала, нет.
Проста была бумага и бела,
Но черной вестью прошуршал пакет,
Но смертной вестью эта весть была.
Отец, отец. . . По травам, по песку,
Не чуя под собою ног своих,
Гульшан бежит, бежит по кишлаку,
Не узнавая улочек кривых,
Как одержимая, бежит в слезах,
С бумагою в протянутых руках.

«Что за беда?» — Балта-ака кричит,
Навстречу горестной Гульшан спеша.
Она разжала руку. Он глядит.
Листок бумаги падает, шурша.
Бумага та известна. Он не раз,
Уже не раз такую же видал. . .
Не поднимая потемневших глаз,
К своей груди он девушку прижал
И гладит голову ее рукой,
Давясь мужскою трудною слезой.

«Не плачь, Гульшан, не плачь, — он говорит, —
Что сделаешь, когда идет война?
Не ты одна, а весь народ скорбит,
Ты не одна, — с тобою вся страна.
Будь мужественна. Слезы оботри.
Будь терпелива! . . . Время пусть пройдет.
Домашним ничего не говори,
И, может быть, домой отец придет. . .»
Гульшан кивнула молча головой
И зашагала медленно домой.

А матери сегодня дома нет,
Лишь старый дед согнулся на супе,
Блестит кругом беспечный лунный свет. . .
Луна — в воде, на листьях, на тропе.
Гульшан боится шевельнуться — вот
Движеньем резким выдаст злую весть.

Берет котел, сухой валежник жжет,
Чтоб старику горячего поесть,
Чтоб дедушка, оставшись без еды,
Не удивился, не узнал беды.

Шурпа струит горячий аромат,
Старик, прихлебывая, говорит:
«Ну, доченька! А старики-то клад:
Удар руки их горы раздробит!
И на войне успехи хороши,
Победою окончим скоро бой. . .
Барана я зарежу, ты — пляши,
Устроим пир. Придет отец домой,
Придет джигит! . . .» Кивая в лад ему,
Гульшан, отворотясь, глядит во тьму.

6

На жатву утром девушки спешат.
Скрипит арба, взбираясь на курган,
Конь фыркает, подруги говорят,
Молчит о горе скрытная Гульшан.
Молчит Гульшан. Скрипит, скрипит арба.
Плывет дорога лентой золотой,
Ребят громкоголосая гурьба
В пыли по пояс мчится за арбой.
А впереди холмы. За ними — мать,
И, как ни трудно, надобно молчать.

Стоят деревья по краям пути,
Их ветви над дорогою — шатром,
И яблоки — не надо их трясти! —
В арбу румяным сыплются дождем.
И персик сладкий в руки сам летит,
И груша сочная. . . А дальше, в стороне. . .
Алча вся в желтых жемчугах стоит
Или джида в серебряном огне.
О, волны красок, неба синева! . .
О, жизнь, которая всегда жива!

Из виноградников издалека
Трещат трещотки, звякают тазы,

Кричат дрозды, взирая свысока .
На кисти розоватые лозы.
Плывет нежнейший дыни аромат,
И джугара качает бородой,
На крышах груды коконов лежат,
Они, как снег, сверкают белизной,
И паруски летают мотыльков
Среди зеленых волн клеверников.

А вот и хлопок — пышная земля,
Широкий, шумный, многоцветный край,
Куда ни глянешь — всё поля, поля. . .
Подруги обсуждают урожай,
Прикидывают урожай на глаз,
Похвалят хлопок иль ругнут его,
Хозяйским глазом, острым как алмаз,
На поле не упустят ничего. . .
Всё, что цветет на поле по весне, —
Кайма цветная к хлопку — к сюзане.

Пошли холмы. Высокий перевал,
Опять холмы — куда ни кинешь взор,
А за холмами ярко заблестал
Полей богарных золотой простор,
И шалаши — верблюжие горбы —
Перед глазами путников встают.
Слезают тихо девушки с арбы,
Устало к этим шалашам идут.
Шумит в ушах горячий вихрь степной,
И щеки жжет неудержимый зной.

Гульшан лежит под ветхим шалашом,
Глаза ее устали и темны.
Они блуждают в небе голубом,
В дали чужой, неведомой страны.
«О чем тоскуешь? Не было ль письма?» —
Тревожно дочку спрашивает мать.
«О ком тоскую — знаешь ты сама,
Давай терпеть и о тоске молчать».
Молчат они о тайном, о своем,
И, может, легче им молчать вдвоем.

А тут Дильбар вбегает, весела:
«Что вы сидите в тишине одни?
Там Анзират мальчишку родила,
И мать и сын — как хороши они! . .
Где бы умыться? . . Гульшаной, скорей!»
И в серебристых волнах родника
Сверкают звезды черные очей,
Узоры разноцветного платка. . .
Принарядившись и потупив взор,
Они идут к роженице в шатер.

В шатре лежит спокойно Анзират,
Глаза ее огромны и нежны
И, зоркие, за малышом следят,
Любовью материнской зажжены.
Уже купают женщины его:
«Расти счастливым, будь богатырем!»
Мужчины собрались на торжество,
Они расположились за шатром;
И Башак-баем — Колосом — зовут
Дитя, рожденное на жатве тут.

Озарена Луной пшеницы гладь,
Волнуется, блистает, как прилив.
Идут жнецы гурьбой пшеницу жать,
Серпы свои до блеска наточив.
«А хороша небесная свеча!»
За ними молотильщики встают.
И стелется пшеница, как парча,
Там жнут ее, уже молотят тут.
И смех и песни. . . Так блестит Луна,
Что на серпе зарубинка видна.

Шатер притихший освещен Луной,
Уснул малыш горластый наконец. . .
«Желанный сын, любимый сын, седьмой, —
Не повидав тебя, ушел отец.
В боях отец, в боях твой брат, малыш! . .»
И мать не спит, горит ее душа.
Шатер раскрыла. Лунный свет и тишь.
Как эта ночь степная хороша!
Она выходит тихо из шатра,
Идет по высохшей траве бугра.

А на току огромные волы
Кружатся. . . И соломы золотой
И серой пыли облака светлы,
Зерно течет янтарною рекой.
«Хай! Кто это? Зачем ты, Анзират!»
— «А я работать. . . С вами веселей!»
Но женщины роженицу корят,
А старичок кричит задорно ей:
«Иди сюда! Иди, сестрица, к нам —
Работай ты, я — грудь ребенку дам!»

Серпы сверкают у жнецов в руках,
Пшеница ровной стелется волной.
Не взмах серпов, а белых молний взмах,
И не пшеница, а простор морской.
Поют колосья под рукой Гульшан,
Все девушки работают равно.
И вот рассвет. Приходит караван,
И грузится отборное зерно.
И пахнут солнцем в косах колоски,
И громоздятся полные мешки.

7

А дома девушек хлопчатник ждет,
В коробочках зеленые ряды.
Уже полива время настает,
Но не хватает поливной воды —
Разрушена плотина на реке! . .
. . . В заботу новую погружены,
Подруги на зеленом бугорке
Сидят среди вечерней тишины
И меж собою говорят, как быть,
Как поле, влаги ждущее, полить.

Поеживаясь, молвит Алтыной
(К ней лихорадка в этот час пришла):
«Пусть председатель ведает водой,
Не наши это, а его дела!»
— «О нет! — перебивает Назмихан. —
Все на родной земле дела — свои.
Мы орошали древний Учкурган,

Мы усмиряли волны Сырдарьи, —
Ужель речушки не осилим той?»
И девушки вступили в бой с рекой. . .

Порой рассветною пошли в поход
Пять девушек, пять воинов труда,
Вожатый седовласый их ведет,
Бурлит в овраге горная вода.
Играя дикой силою своей,
Река бушует, ярости полна, —
Швыряет груды серые камней,
Клокочет пеной белою она.
Тургун-ата идет, клюкой стуча,
Речным секретам девушек уча.

Вот рукава засучивает он,
Показывает, где плотине быть.
Взбирается на порыжелый склон
Кустарника побольше нарубить,
Чтоб опустить его на дно реки.
«Ну вот, сюда! Кладите поплотней!» —
И вот по взмаху старческой руки
Летят охапки веток и камней,
Но кружит камни злой водоворот,
Охапка веток по реке плывет.

Тогда ступают девушки на дно,
И, друг за друга на ходу держась,
Цепь образует славное звено,
С течением стремительным борясь.
И вот уж покоряется река,
Обузданная каменной уздой,
И девушки довольны. С бугорка
Старик веселый машет им рукой.
Но вдруг плотину смыл седой поток, —
Волна летит, Гульшан сбивает с ног!

Все онемели, берегом бегут.
Кипит внизу водоворот седой,
Мелькнули в пене две косы. И тут —
Джамаль ныряет в воду за сестрой,
Плывет она. . . Но белогривый вал
Схватил ее и тоже поглотил. . .

И вдруг, с горы обрушась, как обвал,
Какой-то всадник в реку соскочил.
Хлестнул камчой коня на быстрине
И бросился наперерез волне. . .

На раскаленном от лучей песке
Лежат две девушки, белы как снег.
Их губы сини. Косы в тростнике
Запутались. И не поднять им век!
Склонился над Гульшан Балта-ака,
С него стекает струйками вода.
Конь фыркает, косясь на седока;
Хлопочут все. Мгновенья — как года. . .
«Жива ль Гульшан?» — вдруг молвит

Айджамаль.

Гульшан, вздохнув: «Плотина что? Цела ль? . . .»

Стоит плотина! И ревет река!
Проста плотина. . . Каменный настил,
Прибрежный хворост. А она крепка,
Она вобрала столько юных сил.
Она владеет горною рекой,
И ярость волн уже побеждена.
Арыки все наполнены водой,
Спокойно, весело течет она.
Родной колхоз и изумлен и рад,
И девушкам завидует Фархад.

8

О ночи лета! Как вы хороши! . .
Когда над аркою карагачей
Зажгутся звезды в голубой тиши,
В глазах рябит от блещущих лучей,
А воздух — из вина или из цветов. . .
В такую ночь Узбекистан родной
Как чаша, что искрится до краев
Кипящею земною красотой.
Приляг в беседке виноградной, друг,
Послушай ночь и погляди вокруг.

В такую ночь в душистом шалаше
Подруги оживленные сидят.

Блестит арык в прибрежном камыше,
Глаза девичьи весело блестят.
Пять дынь подруги принесли с бахчи.
Об землю их умело расколов,
Играют в ширинтаки средь ночи,
Отведывают, каждой вкус каков.
Не дыни — чудо! Каждая — заря,
У каждой тайна сладости своя.

А в ширинтаки выиграет тот,
Чья дыня слаще и других вкусней.
Подруги спорят: «Ну, моя как мед
С душистым сахаром!» — «Доспеть бы ей!» —
«Моя — гульканд!» — «Где вкус, подруга,
твой?»

— «А ты? Где обоняние твое?»
Потом решают: дыня Алтыной
Вкуснее всех. И выигрыш — ее. . .
Трещат сверчки. И девушки встают,
Они сегодня на полив идут.

Дильбар на поле хлопковом одна
Средь пышных гряд и водяных полос.
То заблестит на кетмене луна,
То вспыхнет в завитках девичьих кос,
Темно-зеленой шелестя листвою,
Растения спокойно влагу пьют,
И волны вслед за плавною волной
Живым, певучим серебром бегут.
И девушка стоит среди гряды
Властительницей жизни и воды.

О нет, не лунные лучи, искрясь,
Соткали этот образ. Он земной.
Меся ногами глинистую грязь,
Дильбар идет по полю за водой.
Не отдохнуть — торопит шаг вода,
И воду девушка вперед ведет.
То, размываясь, рушится гряда,
То вновь под взмахами руки растет.
И трудно ей, и жажда горло жжет,
И воду девушка горстями пьет.

Она садится на сухой бугор,
А по ногам ее вода бежит.
И веет ветер запахами гор,
И песня тихо с губ ее летит.
И песня и мечта летят, звеня,
К любимому, далёко, на войну:
«Где ты сейчас? И помнишь ли меня?
И видишь ли ты в эту ночь Луну?»
И девушку берут мечтанья в плен,
И голова касается колен.

Но чья-то тронула плечо рука:
«Устала, Дильбархон? Иди домой!»
Пред девушкой стоит Балта-ака,
Забрызганный до пояса водой.
«Я сам полью!» И засверкал кетмень
В его руках. И чавкает гряда. . .
На пыльной тропке — то лучи, то тень,
Дильбар идет. Журчит, журчит вода.
Ночь на исходе. Прячется Луна.
Росистой мятой пахнет тишина.

9

Однажды, полдничая на горе,
Вкруг дастархана девушки сидят.
Кипит кумган на маленьком костре,
Бахчи струят полдневный аромат.
Арбузы, дыни, сочный виноград,
Лилово-черный, красный, золотой. . .
Дильбар подходит. И глаза горят, —
Лукаво что-то прячет за спиной.
«Что это? Еж?» — «Не бойся, Алтыной!
Ежа — в котел. . . Смотрите, еж какой!»

А в горделиво поднятых руках —
Коробочки раскрывшейся цветок
Сияет ясной белизной в лучах. . .
Ах, первый хлопок! Он похож на шелк,
На облачко кудрявое, на снег,
На солнце, озаряющее тьму! . .
Вскочили девушки. И руки всех
Неудержимо тянутся к нему.

Дильбар кричит: «Давайте курмана,
Невеста эта мною найдена!»

«Мы — впереди! Еще поля кругом
Не раскрываются», — ликует Алтыной.
Назми советует: «Пошлем в райком!»
Гульшан: «Конечно! Хлопок-то какой!
Все восемь грамм! Как щеки Айджамаль».
А та в ответ: «Как глаз твоих белок, —
С корзину, да?» Пылает солнцем даль,
Шумит листва. . . И хлопок под платок
Подруги прячут, чтоб вручить ему,
Секретарю райкома самому.

«Что ж, «Дочку капитанскую» прочтем?» —
И девушки уселись, присмирив,
И Пушкина на языке родном
Назми читает звонко, нараспев.
«Как хорошо читаешь, молодец! . . .»
И льется увлекательный рассказ,
Сопутствуемый трепетом сердец
И затаенным влажным блеском глаз.
И ловит сердце новые слова,
И вздохом начинается глава.

А вечером Гульшан со стариком
С фанерными дощечками в руках
Идут полями летними вдвоем.
Дощечки эти ставят на полях.
А на дощечках — красные слова:
«Победы хлопок». Хлопок шелестит,
В коробочки вмещается едва
И жемчугом рассыпчатым блестит.
И молвит дед: «Ты, девочка, права!
Прекрасны справедливые слова».

10

День первый сбора — праздник кишлака!
Заря встает из-за скалистых гор,
Идет старик «Счастливая рука»,
Он самым первым начинает сбор,

А девушки заходят по краям,
Они неустомимы и ловки.
По белоснежным хлопковым рядам
Мелькают разноцветные платки.
Охапки хлопка, груды хлопка тут,
Молочно-белые, растут, растут. . .

Проворство сборщиков, их мастерство
Не передать словами никогда.
Здесь рук неустомимых волшебство,
Здесь целая симфония труда.
Летают руки. Шелестят кусты,
Нет времени — есть поле и полет!
И, белая, до синей высоты
Уже гора из хлопка достает.
И солнце в пышном пламени лучей
Остановилось отдохнуть на ней.

Работают. . . Вдруг голос за спиной:
«Не уставать вам, земляки. Привет!»
Назми назад взглянула — кто такой?
И обмерла, в груди дыханья нет.
А тот, глазами повстречавшись с ней,
Тот тоже замер. . . А потом, потом
Швырнул мешок с поклажею своей
И бросился он к девушке бегом.
Солдата губы как огонь горят,
Целует щеки мокрые солдат.

Вокруг волнение. . . Родные, мать. . .
Слова свиданья — краткие слова,
Но если бы их в песню записать,
То вечно бы она была жива.
Мухамадьяр глядит как бы сквозь сон,
Чуть удивленно поднимая бровь.
В пилотке серой, запыленной он,
На гимнастерке — звезд багряных кровь.
Густая пыль лежит на сапогах,
И седина сверкает на висках.

Листочек хлопка он с куста сорвал,
Разгладил огрубелую рукой.

Взглянул, вздохнул. «Соскучился», — сказал
И старика увидел под горой.
Объятия раскрыв, старик бежит,
За ним народ — встречает удальца.
«Добро пожаловать, герой!» — кричит.
Джидою обсыпают у крыльца.
Назми глядит: хромает чуть герой,
Глядит, и это кажется красой. . .

А ночь пришла вся в звездах. Стая их,
С темнеющих просторов опустясь,
Вся уместилась на ветвях тугих,
В листве большой орешины светясь.
Горит фонарь над глиняной супой,
Вкруг фонаря летают мотыльки. . .
Мухамадьяр рассказ заводит свой,
И слушают героя земляки.
Назми с подругами то здесь, то там
Прислуживают вежливо гостям.

Мухамадьяр, одетый, как жених,
В зеленый бекасамовый халат,
О буднях вспоминает боевых,
О подвигах рассказ ведет солдат.
И Днепр несет волны кровавый вал,
Как будто рядом, где-то за углом,
Сабир Рахимов, храбрый генерал,
Ведет полки в атаку напролом.
Орудья бьют в ночную высоту.
И все солдаты — на своем посту!

Чирикают на тале воробьи.
Мычит теленок. Первая арба,
Крутя колеса старые свои,
Скрипит дорогой. . . Уж рассвет, товба!
Не довелось приежжему поспать. . .
Ему постлали нынче одному —
Мать хочет свадьбу снова отыграть,
Солдат не спорит. Хорошо ему.
Так хорошо, что не приходит сон. . .
Выходит тихо из беседки он.

На нем рубашки белоснежный шелк
И стеганый узорчатый халат. . .
Коснулся ветерок горячих щек,
И травы под ногами шелестят.
Как непривычно в этой тишине!
И вспоминает он свою шинель,
Шинель, служившую ему в огне,
Обогревавшую его в метель. . .
А ветки тянутся со всех сторон,
В раздумии идет по саду он.

На этот тал мальчишкой он влезал,
А там в арыке пескарей ловил. . .
Он каждое бы дерево обнял,
Из каждого ручья воды испил!
А вот знакомец старый — милый клуб
Вздывает стены белые свои.
Как прежде, розы полыхают с клумб
И соловьи рокочут о любви.
Он эти розы раньше поливал,
Солдатом из садовника он стал.

Идет солдат среди клеверняков.
Шуршит росистый мокрый изумруд. . .
Тут в детстве он ловил перепелов,
Косил поля с товарищами тут. . .
Эй, что это? Потокотом водяным
Межу прорвало; он дорогой мчит,
А поливальщик, старый Мадраим,
Раскинув руки, на пригорке спит.
Солдат снимает праздничный халат,
И поливает клеверняк солдат.

Мухамадьяр смеется: не отвык!
Ему кетмень тяжелый по руке.
Журча бежит обузданный арык,
Восходит солнце в синем далеке.
Старик проснулся, отобрал кетмень:
«Иди, джигит, иди! Невеста ждет».
Сияющий, росой омытый день
Над пышноцветной родиной встает.
От пышных трав струится легкий пар.
Идет домой солдат Мухамадьяр.

Проходят дни. Всё резче и слышней
 Дыханье осени. Прозрачней синева
 Над влажными просторами полей,
 И в пышно-красном золоте листва.
 И яблони роняют в ручейки
 Оранжевый, багряный свой убор,
 И красно-желтые плывут листки,
 И желто-красные летят листки, —
 Весь в листопаде ветреный простор
 Шуршит, звенит. . . И дали — широко!

А листья винограда сплетены
 Как будто бы из солнечных лучей.
 И гроздья, словно яхонты, красны,
 Мерцают сладко в трепете теней.
 На крышах всех — пунцовые ковры:
 Здесь сушится джида, а там — урюк.
 А дыни золотые до поры
 У потолка подвешены на крюк.
 В углу кувшин, наполненный вином,
 Кипит Хайяма сладостным стихом.

Дороги заняты. Со всех сторон
 Машины, арбы — караван цветной,
 Гудки сирен, уздечек перезвон,
 И всюду — хлопок белою горой.
 Грохочут арбы с хлопком по земле,
 Друг друга обгоняя, торопясь.
 Мальчишка восседает на седле,
 Высоким порученнем гордясь.
 Украсил хлопок мальчика висок —
 Родных полей серебряный цветок.

В разгаре хлопка сбор. Обширный край
 От горизонта и до снежных гор
 Сбирает драгоценный урожай.
 Как белый снег, блестит полей простор.
 Чтобы помочь на хлопковых полях,
 Сюда приехал университет.
 Ученый в черных роговых очках
 Здесь постигает сборщиков секрет.

И девушка с косою золотой
Сбирает хлопок тонкою рукой.

Пять девушек средь хлопковых кустов
Встречают солнца первые лучи,
И возвращаются они под кров
Тропой, уже не видною в ночи.
Без умолку смеется Алтыной,
Уча студента хлопок собирать.
Гульшан у Веры с русою косою
По-русски научилась распевать.
И песни русской вольная краса
Как будто раздвигает небеса.

На иноходце, горделив и прям,
Въезжает на поле Балта-ака:
«Друзья мои! Везу я новость вам,
Весть хороша, и радость велика.
Товарищи, мы выполнили план,
Я поздравляю вас от всей души.
Но говорит с сомнением Гульшан:
«Дела у нас не так уж хороши —
По девяносто центнеров у нас,
А нужно по сто. Дорог каждый час».

«Не бойся, доченька! В полях еще
Богатства много!» — председатель ей.
Потом Назми он тронул за плечо:
«Когда ж на свадьбе попляшу твоей?
Когда тебя за ухо потяну,
Мухамадьяру в руки передам?»
Назми молчит, похожа на весну,
Склонившись к пышным хлопковым кустам,
И тихо молвит: «Хлопок соберем,
Тогда гостей на свадьбу позовем...»

12

И вот опять настала ночь зимы,
Снег на полях, на птичьих гнездах снег.
И вербы, черные средь белой тьмы,
Как путники, шагают на ночлег.

А в комнате просторно и светло,
Седые вербы за окном скрипят,
Мороз покрыл узорами стекло,
Пять девушек за кусаком сидят
(Коробочку с сокрытым волокном
Обычно называют кусаком).

Кусак под снегом собран, под дождем
С обледенелых хлопковых кустов.
Его собирают, чистят. Лишь потом
Сияет хлопок белизной снегов.
Подруги чистят хлопок! . . Волокно
Струится белым ласковым огнем,
Большим трудом добытое, оно
Горит непотухающим костром.
«Сто центнеров» — сказать легко. . . Взгляни,
Как велики, пушистые, они.

«Нет, девяносто девять — всё не сто!
И невозможно клятве изменить.
На то живем, работаем на то —
Сказали «сто» мы, так тому и быть!»
И чистят, чистят девушки кусак,
А ветер воеет, мечется в трубе,
Неугомонный полуночный мрак
По снеговой шатается тропе,
И озабоченно глядит Дильбар
На полный мерзлым кусаком канар.

«Не беспокойся, — молвит Алтыной, —
Не хватит здесь — разыщем подо льдом, —
Расколем каждый камень ледяной,
И камень обернется волокном!»
— «Мы, как орехи, будем их щелкать! . .
На спор хотите? — крикнула Палван. —
С дом кусака могу шутя набрать! . .»

— «Что ж, — говорит, прищурившись,
Гульшан, —

Одна пословица уместна тут:
„Делянку хлопка съест шутя верблюды“».

Смех добродушный обрывает речь,
Мелькают руки. Всё быстрее, быстрее. . .

Пушистый снег отряхивая с плеч,
Мухамадьяр заходит из сеней:
«Эй, девушки! Уж полночь — время сна,
А ваши окна в темноте горят».
И хмурится Назми, его жена:
«Ну как не стыдно! А еще солдат! . . .»
А тот смеется, ухом не ведет,
Из-под шинели дыню достает.

Он режет дыню за куском кусок,
Подруги дыню весело едят.
Стекает с губ прозрачный сладкий сок,
По комнате струится аромат.
И словно в этой комнате — бахчи,
И вместо крыши — синева небес,
И летний полдень в снеговой ночи:
Всё — дыня, всё — коробочка чудес!
И ломоть дыни месяца серпом,
Сняньем влажным озаряет дом. . .

Большие ноги широко скрестив,
Уж хлопок чистит и Мухамадьяр.
Он много видел, мир избороздив,
Он много знает, хоть еще не стар.
Но кажется, что видит в первый раз
Своих подруг. . . В движениях точны,
Работают, не поднимая глаз,
Терпения и выдержки полны.
Да ведь они — солдаты на войне,
Солдаты, побывавшие в огне! . .

Во все глаза глядит Мухамадьяр
На ватники просаленные их,
На сильных рук обветренный загар,
На волевою складку губ тугих.
Ведь их, почетных героинь полей,
Народ почтил приветствием своим. . .
Была бы в десять раз война трудней, —
Мы победим! С такими — победим! . .
Ну что за девушки! Отчизны цвет!
. . . И — белый-белый за окном рассвет.

А дни идут, весомы и шумны.
 И солнце, как дехканин старый, вновь
 Раскинуло цветной палас весны,
 Взрастило розы, радость и любовь.
 И наступил в сиянии цветов
 Бессмертный день — девятый мая день.
 Победа! Краше не отыщешь слов!
 Победа!.. Солнце победило тень!
 И радость сердца каждого полна,
 Как океана шумная волна.

Как встретил ты победу? Вспомни, друг,
 И снова радостью заблещет взор.
 И на забившегося сердца стук
 Ответит песнею земной простор...
 А в кишлаке, весть эту услышав,
 И стар и млад — все вышли из домов.
 В глазах победы отблеск увидав,
 Все обнимали встречных земляков!
 Смех — на губах, и слезы — на глазах,
 Цветы и ветки вешние в руках...

А на зелено-бархатной траве
 Народное гулянье. Шум растет.
 Звенят сурнаи в яркой синеве,
 Гремящий бубен танцевать зовет.
 И девушки, как птицы, поднялись
 В шуршащем блеске крыльев-рукавов,
 Рекою заструились, понеслись
 Рекой атласной всех весны цветов.
 Старик Тургун, безмерным счастьем пьян,
 Отплясывает с бабушкой Мастан.

Гульшан в атласе красно-золотом
 Жар-птицей яркой носится вокруг.
 Дильбар сверкает солнечным лучом,
 Не отрывает от тамбура рук.
 И танцу в такт поводит Назмихан
 Крылами изумительных бровей.
 Раскладывают пышный дастархан
 Алтын с Джамаль. И потчуют гостей.

Балта-ака поет, обняв дутар,
И пляшет лучше всех Мухамадьяр.

Звезд золотых необозримый луг
Расцвел на небе темно-голубом.
Навстречу звездам загорелись вдруг
Все факелы на празднике ночном.
И птицам этой ночью не до сна,
Крылами птичьими трепещет сад;
И светом чаша хауза полна,
В ней отражения огней горят.
И тайну счастья людских сердец
Плетет в созвучия стихов певец. . .

14

И снова утро над землей встает.
При свете первых утренних лучей
Колхозный стан отправился в поход
Дорогой пыльной в сторону степей.
Средь плодоносных шелковых полей,
Где равен золоту земли вершок,
Терзает сердце солончак степей,
Пожар пустынь, кочующий песок.
Идет в поход за счастьем — за водой
Колхозный стан равниною степной.

Знакомцы наши едут на канал.
Мухамадьяр гарцует на коне:
Пыль поднимая, гордо проскакал
Балта на злато-пегом скакуне.
А на ковре узорчатом арбы —
Пять девушек, как пальцев пять руки.
Они — хозяйева своей судьбы,
Их взгляды соколиные зорки,
И к новой славе, к новым рубежам
Пути открыты молодым друзьям.

О, сколько есть непройденных пространств,
Мечтающих веками о воде!
О, сколько есть неподнятых богатств,
И сколько счастья в творческом труде! . .

1947

Ташкент

Вскипает лето селем золотым,
зеленым небом виснет над дорогой,
и полдня знойного прозрачный дым
ферганским далям

царственно дарован,

Прямое солнце жарит и печет.
В зеленых волнах выкупаться силась,
то в тень ныряет, черный, как жучок,
то заново выныривает «виллис».
Тропинка ветра бороздит поля,
торопится, как гости перед тоем,
и край, трудом устроенный сполна,
снянья, как награды, удостосн.
Повсюду хлопок,

хлопок!

Дотемна

он всех роднит в усилии едином,
и полевая эта седина —
и слава юным, и почет сединам.
С утра, наверное, пусты двory.
Зато на хлопке — голосов вскипанье,
и старики, и девушки, и парни,
и озорная россыпь детворы. . .
И воздуха высокое вино
их солнечным одаривает хмелем,
пока мы
вновь и вновь глазами мерим
хлопкового простора полотно. . .

Долина длится —

и за часом час,

как будто нас к открытью подводили,
наш «виллис» мчится

и, разгорячась,

врывается в прохладу Вуадила! . .
Стекает тень с огромных тополей.
Тут нам и впрямь иная жизнь открыта:
какой контраст сверканию полей —
уют чайхан и ровный шум арыка! . .
И снежная проглядывает даль

еще вовек не ведавшей бумаги
заздравной песней
встретит вас Коксу,
и радугой

на распыленной влаге. . .
Коза на миг застынет на весу,
потом мелькает другая в полумраке,
и, окликая бездую козу,
пастуший най залется где-то в выси,
чабан-мальчишка понесется вниз — и
миг не прошел

а он уже внизу! . .
Но поворотов кончилась игра.
Вода умолкла.

Всё — грозней и проще.
Тут словно на гору легла гора —
чудовищные слитки горной мощи.
Всё до краев налито тишиной,
молчанием —
пока о вас не вспомнят! . .
Полупроглочен, тянется шиповник
из челюстей расщелины стальной.
Что прячется за всюю тишью тесной? . .
С испугу птаха пискнет,

черным лбом
кивнет скалы обломок неизвестный —
и вдруг,
как чудо,

озеро Куббон!
О, дай вздохнуть. . .
Ты, чаша синевы,
упавший в камни ярый сгусток неба,
кто первым увидал тебя?

Не мы,
перед тобою стынувшие немо!
Не повернуть повинной головы.
И как восторженности ни корите,
но то,

как эти воды голубы, —
и в сотый раз —
такое же открытье!
Сидим замороженные,
следим,

подобно высям этим, в отрешенье,
как в глубине недвижны отраженья
их вековечных снеговых седин! . .
Глаз не отвести от голубого блюда,
высь не измерить, не изведать дна.
Гранитных чаш безжизненна полуда,
безрадостно-сурова тишина.
И возглас дик в сени глухих громад,
внутри утробы каменной Алая:
негромко вскрикни, испытать желая, —
в ответ

издевки эха загремят!

Испей глоток студеной синевы —
и все-таки переспроси громады:
кто видел здесь —

иль это всё не вы? —

поэта,

тут бродившего когда-то?

От старшего исчезнувшего брата
кто

ритмы строк усвоил огневых?

Где те следы — я б их поцеловал, —
скажите,

горы,

озеро

иль небо! . .

Шахимардан, какой тоски обвал
в твоей груди,

какие груды гнева!

Как сердце вновь сжимается во мне,
как память никнет

черным покрывалом. . .

Сюда не старцем он пришел усталым,
но мужем, закалившимся в огне,
бойцом,

певцом неутоленной силы,
объятия раскрывшим этой сини,
и этой мощи гордой,

и весне.

Он видел в них —
в размахе этом самом —
лишь образ дня,

который воспоем;

со связкой книг,
с карандашом и сазом —
слова и мысли он стремил в полет.
Здесь он ходил —

у этих скал и вод
пестрел чапан ферганским бекасамом. . .
Внушивший смолоду себе: «Пиши,
борись за правду, плюнь на пересуды»,
как много передумал он
в тиши,
и за какие глянул рубежи,
какне дали увидал отсюда!

Я представлял себе его не раз
и нарисую вам без колебанья
и эту глубь внимательнейших глаз,
и чернь усов над яркими губами;
вот он присел на камень у ручья
и что-то быстро записал —

и сразу
весь строй рожденных строк
доверил сазу,
и в песне этой — сай летит, рыча,
чабанский най о давней доле плачет,
и слышен голос нынешних забот,
и звонкий стих в грядущее зовет,
которое

судьбу переначит. . .
И вновь идет, бормочет стих в усы;
и вздрогнет вдруг

пред ликом всей красы,
всей грозной и пленительной округи —
и медленный проглотит в горле ком. . .

И лишь один
родит в нем ярость холм,
движеньем гнева
напрягая руки.

Шахимардан!
Ты помнишь тот мазар,
пестро украшенный приманки ради, —

как гроб невесты в свадебном наряде,
покойник, выехавший на базар? . .
И скорпионы в образе людском
себе гнездо умело свили рядом
и, оседлав безвестный этот холм,
окрестный край обрызгивали ядом.
Мол, поспеши приникнуть — и моли!
(Даров мазару

не забудьте, люди,
ведь наш покойник — это сам Али,
и прах его из золотой земли
на снежно-белом привезли
верблюде!) . . .

Ну и беда с тобой,

бродячий прах!

Где у холма местечко ни захватит
хитрюга шейх или ишан-стервятник —
ты тут как тут,

как песня на пирах.

Появится волшебный след копыта,
святой гробницы вознесется свод,
и шайка шейха примется открыто
обманывать и обирать народ.

Пока в шурпу ныряет их половник,
ишан в халате нежит телеса, —
целует землю грязную паломник
и ею мажет

и слепит глаза,

Приняв благословенье жирных рук,
на миг обнимет тот обманный камень —
и молит со скрещенными руками
дать счастье,

сына,

исцелить недуг! . .

А сколько жадной челяди порочной
доверчивых еще морочит там —
и распродать готова по листочку
весь

у мазара шелестящий тал!

Поистине — базар надежд и бед,
где темнота — разменная монета. . .
Баранов связки, данных по обету, —
всей воровской команде на обед;

коза бедняцкая; и две гусыни;
и мелких подношений карусель;
и ряд верблюдов —
корабли пустыни,
с коротким криком севшие на мель. . .

Поэт идет —

и ткань его души
напильником кровавит раздраженье:
куда ни глянь — ишаны и ходжи!
Доколе ж так останется, скажи?
Кочан чалмы,
под ним — жилище лжи!
И хоть глаза острее, чем ножи, —
лицо, как масла ком, без выраженья!
Посиживай себе, как истукан:
ведь вся-то жизнь —
бесплатный дастархан! . .

А заодно, конечно, кулачье,
всё за свои боящееся пашни.
Вода, земля — всё божье, значит — чье?
Аллах-то с нами —

и, выходит, наше!

А в сельсовете — бывший амалдар;
басмач вчерашний скромно нижет четки
в гостях у бая — и считает четко
часы и дни,
когда разжечь пожар. . .
Мазар же — просто крепость черных сил!
Ну как с соседством

примириться сим?

Подумай только: эта ширь рассвета,
и ветер гор,

и вольный голос вод —
и рядом жадной дикости оплот,
раздолье злобной темнотищи этой! . .
Второй десяток — солнцу Октября,
и собственные университеты
в глухом краю открыли мы не зря!
Что ж, как слепые без поводья,
тут тыщи темных тычутся без света? . .

Но вот глаза яснее у Хамзы —
в них как бы даль втекает голубая:
он издали увидел Башакбая!..
Вожак кошчи и верховод комсы,
тот богатырь со взором ястребиным,
здоровьем пышущий неистребиным,
бесшумный, как охотник на тропе,
со следом пули над собольей бровью
(бой с басмачами — штрих в его судьбе),
дарит Хамзу сыновнею любовью.
Сын истый гор, он знает всё вокруг.
Вот и сейчас — насквозь прошел ущелье
и вышел на широкий этот луг,
ковром простертый

в ярком освещенье...

Они садятся оба на траву.
Сник ветерок в объятах тополиных,
и тень от скал, то стылых, то палимых,
к ним движется, как лодка на плаву.
Хамза как будто грезит наяву:
«Поистине тут сказочна природа!
Какой настой густые травы льют...
Тут бы устроить отдых для народа —
пусть дышит высью

утомленный люд!

А жадных воронов — долой отсюда...»

— «Юлдаш-ота нам говорил

точь-в-точь!..»

— «Да, Башакбай, но черной стаи мощь
от вздохов не рассыплется, как груда,
от слова «кыш»

не разлетится прочь!

Бороться надо...»

— «Соберу кошчи,

а вы им всё расскажете. Я знаю:
вы меж поэтов — словно пик Алая!
Вам в бой поднять —

и спящего в ночи...»

... Упряма грань гранитного ребра.
Хамза опять взбирается на скалы,

медлительно-могучие,
как сказы
о вечной битве злобы и добра.
В изломе их — стремительный родник,
одним глотком снимающий усталость. . .
О, красота не в цветниках одних,
а и в изгибах
этих гребней старых!
Сиянье снега осеняет синь
воды,
и лета цвет,
и сизый воздух.
А там, внизу, алайских высей сын —
кишлак повис, как ласточкины гнезда! . . .
Стара оснастка жизни. Ох, стара!
А новый сад, сквозь старый сор взошедший,
любой ценой сгубить мечтают шейхи,
чтоб пировать,

как прежде,
у стола! . . .
Ведь в кишлаке — как в каменной глуши.
Так, словно новь
костра не раздувала!

Всё так же прячут девушек дувалы,
как будто глиняные паранджи.
Для молодежи — ни газет, ни книг:
в чайханах — перепелок перепалки,
ленивый чай, мигнувшие в припадке
чораков издыхающих огни.
Как молодые на веселье падки! —
а здесь ни-ни:
ни смеха, ни возни. . .

Вот чайхана. Присядем на сури.
Он слышит перешептыванья бурю:
«Хамза! . . .»

— «Поэт! . . .»

— «Тетрадь при нем, смотри. . .»

— «Слышал, как он играет на тамбуре? . . .»

А паренек, мостившийся в углу,
встает,

подносит с чаем пиалу:

«Мулла-ака, отведайте...» —

и сразу
движение, шум — поэт уже в кругу!
Кивая благодарно пареньку,
строкой заветной он венчает фразу —
и видит: на любом из этих лиц
глаза,

как окна под вечер, зажглись!
Готовы слушать, затаив дыханье,
и всей душой откликнуться в ответ.
Простые парни: батраки, дехкане,
чабан, кузнец. . .

«Вы комсомольцы?»

— «Нет»,

И лишь один спешит достать билет,
но тут же прячет. Это что за притча?
Оглядываясь, уловил поэт
какой-то взгляд,
кольнувший жала притче:
на улице, под топодем, стоит
ишан в очках,
скривившийся от злобы,
и, кажется, готов убить старик!
Они друг друга взглядом меряют оба:
как ночь — и полдень,
как рассвет — и мрак. . .
Он пятится, трусливый, подлый враг.
Сейчас пойдет к своим и всё доложит,
усердно правду сдабривая ложью
и добавляя сотню грязных врак.
И воззовет к «священному» мазару,
тупых мюридов призовет к войне! . .

Хамза глядит на сникнувших парней:
и вправду их

задело это жало!

«Ну, вот и на проклятье нарвались. . .» —
вздыхнул один.

«А в этом много ль проку? . . —

Лицо Хамзы белей, чем белый лист,
от ярости. — Он сам эпохой проклят! . .
А вы — для новой жизни родились!

Не бойтесь же!..»

И тает холод лиц,
а значит, свет
и правда в души пролит...

А между тем уже померкла синь,
и в сумерках
звезда над миром встала,
унылое бредет обратно стадо,
и вновь над ним
гнусавит муэдзин...

•

Их двое по дороге на Гултаг,
два батрака, в дранье, в чарыках рваных.
Рассказывает молодой батрак:
«Ей-ей, ота, он их отделал так!
Как спустит шкуру

да посолит раны...

Ну молодец, ну молодец Хамза!
А нам, кошчи, пораскрывал глаза:
вы, говорит, боритесь, не пасуйте —
ведь вы всему хозяева, по сути!..
Хозяева, гляди-ка!.. Ну дела...»

Старик доволен: «Он по делу судит:
не даст дехканин — что поест мулла?..»
А парень снова: «Ка-ак он их!.. Дотла!
Мол, шейху палец — голову проглотит!
Ишану деньги — покупает жен!
Мазар во тьму с макушкой погружен —
а школа наша

к свету вас выводит!..

Нет, он взаправду говорить мастак:
кто так умеет
в наших-то местах?..»

Старик идет, задумавшись, нахмурясь.
«Поэт, сынок! И словом валит с ног...
Поэт — дехканин языка, сынок,
его хирман, для всех открытый, —
мудрость...»

Хамза и сам доволен тем собранием.
Все парни тут — от стада, от сохи,
а как он развязал им языки!
И ведь не ради бесполезной брани:
о сути говорят,

о смысле дел!

Нет, кое-что он все-таки успел.
А это выступление Башакбая?
Он чувствовал, что правилен расчет:
растет вожак, воистину растет —
гроза ишанов,
посрамление баям!
Да, он, Хамза, нарушит мнимый мир,
что мироедам выгоден и мил,
а их дела — раскроет и ославит!
Пусть осторожность булькает: «Уймись»,
но для него лишь в этом жизни смысл:
он Ленина

и партни посланец!

... — «Эй, Башакбай, я что сказать хочу:
поставим памятник на этом месте!»

— «Кому, ака?»

— «Конечно, Ильичу.»¹

На площади оно всего приметней. . .»

... Он всё облазил, весь Шахимардан,
дороги, тропы, выси и низины.
И думал всё, прикидывал, гадал:
как этот быт сломать невыносимый?
Он знает всё тут: что ни говори,
а жизнь ему поблажек не давала;
он изучил все драмы ичкарн,
все мерзости, что прячут за дувалы.
Его задача — всем раскрыть глаза.
Ведь он поэт и вправду!

Он — Хамза. . .

Начало есть. И молодые — за.
И, что ни день, они ему всё ближе!
Любой — он знает — чем-то увлечен:
тот — музыкой, а этот строки нижет,
а третьему искусство нипочем,
зато давно мечтает сесть на трактор!
Четвертый. . . ох, четвертый не речист:

уж так стеснителен и робок так-то...
а сам в мечтах —
боец-кавалерист!

Он вспоминает собственную юность:
вот так же жаждал
с жизни сбить замок!..

...Ему иные очень приглянулись,
жаль, что составить труппу он не смог.
Зато открыли Красный уголок
при чайхане. Читают вслух газеты
и учат грамоте. Не передашь
всей многозначности картины этой:
в дехканских пальцах — первый карандаш!
Рисуют буквы, как картинки.

С дрожью,
с усилием. Не сходится, хоть плачь!
«Мулла-ака, ну а вот так — похоже?» —
с опаской спрашивает бородач...

А в ханаке, что у мазара, шейхи
всей ненависти больше не таят:
змеиные вытягивают шейки,
шипят от ярости и точат яд.
«Отступник!»

— «Большевик!»

— «Слуга шайтана!»

— «Прочь от него!»

Он ловит неустанно
вас, праведных, чтоб нанизать на нить
безверия, и жаждет осквернить
святыню нашего Шахимардана!»
И суеверный топчется мюрид,
вобравши в плечи голову, как будто
безбожный пламень дьявольского бунта
ее коснется — и она сгорит!
Как будто Красный уголок,

Хамза

и школа —

настигают их, как бесы!..

О нет, конечно, — этим, как ни бейся,
строкой и словом не раскрыть глаза.

Они боятся за свою жратву,
за беззаботный,
жирный свой достаток. . .
Но те-то толпы бедняков усталых,
обманный сон глядящих наяву,
забитый люд, обманщикам несущий
последнее,
свой жалкий хлеб насущный. . .
И эти ведь, как от жестоких ран,
вопят вослед:
«Спаси, Шахимардан!»
И нервно, яростно
по кирпичу
стучит ишана кизилый посох,
и в злых,
змеиных нападенья позах
вся братия стоит плечом к плечу. . .

*

Ночь лунная прекрасна в тех краях.
Вздохнешь, увидев, —
и навек запомнишь,
И ни к чему воображенья помощь,
хотя и тут мечты свое кроют
из теней,
бликов,
абриса вершин
заснеженных, в серебряном обводе. . .
Вот дивный всадник уронил поводья,
там дэв присел — и стынет, недвижим,
другой во мглу протягивает руки;
тьнь облаков — летучий ряд коней;
и лица прорастают из камней,
алмаз воды сверкнет на светлом круге. . .
Луну сдувает ветер.
Соловьи! . .
Нет дерева без своего хафиза.
И каждый прочим всем бросает вызов —
и воспеваает радости свои.

Хамза идет, задумавшись, в ночи.
Листки бумажные целует ветер,

и строки новые растут в поэте,
ловя звезды приветливой лучи.
Короткий

с уст срывается мотив —
и наплывает волшебство напева! . .
Откуда скрипка? . .

Как она запела,
минувшее сознанию возвратив!
И он опять на улицах Коканда,
кривых и пыльных. Мать зовет: «Сыно-ок! . .»,
а он бежит упрямо, босоног,
по лужицам и заводям заката,
и первое созвучье, как загадка,
родится в нем — и бьется, как звонок. . .
А вот впервые под рукой струна
запела так пленительно и странно:
как будто вдруг вокруг — иные страны
иль дней иных

родная сторона!
Вот школы шум: ты в нем — как в сетке рыба;
домла в чалме и с ивовым прутом;
и поучения отца-табиба,
когда чуть позже возвратишься в дом;
и медресе скучнейшее потом —
уроков постное однообразие;
любовь — из-за решетки паранджи;
чужбины даль; и нищенство души,
и вечный поиск —

в жизни,
сердце,
фразе. . .

А родина вернувшаяся — ад:
из десяти тут —

девять в стане нищем!
Куда ни кинь — душе сродниться не с чем:
бесправье, гнет, невежества парад. . .
Расшатана сама основа мира.
А видя зло, он не проходит мимо —
и в бунтари зачислен, говорят!

И вдруг — свобода. . .

О, святые дни!
Октябрьское великое начало!

Поймешь ли, факты выудив одни,
что для поэта
это
означало?
Тот год, казалось, нечисть всю замел
листовок снегом, аlostью знамен.
Хамза в колоннах шел. Писал немало.
И пламя строк «Интернационала»
и ум и душу повернуло в нем.
И Ленин

заглянул к нему в строку!
Смотри, поэт, какие горизонты. . .
Но и в сегодня всматривайся зорко,
чтоб ни на миг не потакать врагу.
Вот старый мир.

Вали его!

Сотри!

Кто это там залился злобным лаем?
Кто целится в Советы?

«Эй, стреляем! . . .»

. . . Тот полный страсти год — сочти за три.
Стих,

распустившийся цветком железным,
оружьем стал —

возьми, встающий класс! . .

Нельзя и час
потратить бесполезно:
театр, школа — сотни ждущих глаз.
И фронту нужно слово боевое:
вот беляков настырный пулемет
он заглушает песней!

С поля боя
пришла она — и снова в бой идет.
С фронтов приходят рапорты победы.
Над Ферганой еще клубится дым,
но раздавили гадину Советы! . .
И Самарканд приветствует поэта,
и он, бродя садами, полный света,
себя таким не помнит молодым,
как в этом древнем городе!

Прекрасна

и полнокровна жизнь,

и нет числа

задачам новым, и талантам разным —
созвездьям драгоценного чела.

Ему же

 время так писать приспело,
как он мечтал когда-то:

 чтобы стих
в общенародное вливался дело,
а не звенел для некоторых,
тих.

Чтобы с подмостков слово зазвучало —
звало вперед,

 учило,

 обличало! . .

Он, впрочем, и старался так всегда,
но в первый раз и сам представил это
тогда, на заседании Совета,
где звание народного поэта
ему присваивал Юлдаш-ота. . .

Ох, жизнь длинна! . .

Длинней, чем Млечный Путь.

Не перебрать воспоминаний груды —
и реку эту вспять не повернуть. . .

А ночь луны меж тем идет по кругу.
Округа так тиха и так ясна,
а на тропе перед Хамзою —

 двое.

Поближе — он узнал его — Хатам
(тот комсомолец в чайхане), а там. . .

не женщина ль с покрытой головою?

Как трепет ветра — вздох издалека,
и горестно опущенные плечи. . .

«Она искала вас, мулла-ака,
и заблудилась. . .

 Ладно — я навстречу!»

— «А что стряслось?»

 — «Да вот — расскажет вам. . .»

Рывок руки, отброшенный чачван:

«Да, да, мулла-ака, сама отвечу!

Не знаю только вот,

 начать с чего. . .»

Он видит снежно-белое чело,

как родники, вскипающие очи:
и свет в них вроде разом —
и черно!..

«Я родилась на горе в доме отчем.
Мать умерла — качали колыбель
чужие, ненавидящие руки.
Отец — издольщик,

он бы и теперь
последним бедняком прослыл в округе.
Кой-как кормилась, с горем пополам.
Все весны, лета, осень — по полям,
а на зиму — хозяйская конюшня.
Издевки да попреки ичкари,
в ответ — и слова не проговори,
а что ни сделай —
всё не так, как нужно!
И мало ль горя —
вскорости в ночи
отца убили в поле
басмачи...
Тринадцать мне!
Кому девчонку жалко?
И отдали ишану...

Дотемна
работала как младшая служанка,
а там, глядишь, —
как младшая жена...

Поиздевались надо мною жены!
Шесть лет терпела я в своем углу...
И поняла, что больше не могу!
Так ведь избил же, дьявол прокаженный,
избил — и запер!
Думаю: сбегу...»
Глаза горят, как лампа в два накала.
И вдруг из них —

потоки слез рекой!
«А я про вас... Хамза-ака... слышала...
вы добрый... умный... смелый...
вы — такой...»
Душа Хамзы — как сжатая пружина.
«Ишан?! . А он знаком тебе, Хатам?»

— «Да в чайхане — вы позабыли? —
там
под старым тополем и сторожил он!
Должно быть, шел за вами по пятам...»
— «Мулла-ака, меня зовут Бадам...
укройте вы меня от них... спасите!»
— «За то, что мне доверилась, спасибо.
И я тебя в обиду им — не дам!
Пойдем, пока останешься у нас.
Жена одежды раздобудет чистой...
Потом в Ташкент отправишься —
учиться!»

А эти —
пусть-ка только сунут нос...»

*

Заря воткнула косы в гребень гор,
и ей навстречу движется по склону
джигитов цепь, неся кирки и ломы,
сонливости ложбин наперекор.
И горный край
шагам негромким рад,
о дно ущелий эхо расшибая.
В путь за водой
с парнями Башакбая
идет Хамза как опытный мираб!
Вверху, за каменным сплетеньем жил,
лежит проход —
обвал его обузил,
и разрубить гранитный этот узел
Хамза парням недавно предложил.
Он повстречал однажды старика —
тот указал ложбину поотложе:
«Здесь вырубить бы для арыка ложе —
жаль, не нашлась упрямая рука!
Повыбить камни — и поток воды
пойдет в ущелье, выйдет на свободу,
и часть реки направить можно с ходу
на будущие пашни и сады!
Ведь путь-то дальше — прямо к кишлаку,
беги себе — готовые ступени!»

Поистине — не знает даже пери,
что ведомо иному старику.
А он, поэт, в родном краю — не гость,
ему — своя
народных дел громада!

..Хамза схватил жемчужин белых горсть —
отпил глоток от пены водопада.

Они уже у цели.

Первый гром —

в гранит ложбины дружно вгрызлись ломы.

Гремит потока будущего лоно,

и поддается камень непреклонный,

как слов руда

под яростным пером.

Железо бьет о скалы — и в глазах

то искр сноп,

то молнии зигзаг!

Гудит Алай,

и, пламя вышибая

из твердокаменного сердца гор,

работают ребята Башакбая

усталости лихой наперекор.

За ломом лом, и за киркой кирка —

летят обломки,

двигаются глыбы.

Упрямая порода

нелегка,

но мощь народа,

коль в руке рука,

и мужество,

коль цель душе близка, —

любые горы своротить могли бы!

Джигит высокий говорит Хамзе:

«Мулла-ака,

на вас мы смотрим все:

вон сколько наработали!

И ладно...

Вам груды слов тесать

в бою со злом!

Любой из нас подымет тяжкий лом —

но не удержит вашего калама...»

Голубоватый стелется туман,
парит орел в необозримой выси.
По граням скал — по каменным томам —
поэт блуждает неуемной мыслью.
Костер играет дымом. По ногам
пронесся ветер. Закипел кумган.
Как хорошо: он не один сегодня
в пустыне гор и путанице скал!
Народ, работа. . .

То, чего искал,
сюда явилось с ними!

И всего не
пересказать, что копится в груди. . .
Еще дела и сроки — впереди,
а все-таки мы ощутимо близим
тебя, о цель труда — социализм!
Как даль ярка. . . Он знает — это вы,
счастливой жизни радостные зори! . .
А от кирки он все-таки отвык:
гляди, какие понатер мозоли. . .

И вдруг
в камней и ломов перестук
вмешался новый
и растущий звук:
запели песню!
Как звучит знакомо. . .
Конечно, так и есть: его слова!
Как сила слова кажется слаба,
когда встает, рожденная едва,
и в сотнях уст
еще не стала громом! . .

Ну что ж, поэт, благодари судьбу.
Пускай она труднее многих судеб,
зато твой труд воистину подсуден
лишь высшему —
народному суду.

И нынче ты услышал приговор! . .

К закату день. Конец хашара близко,
грохочут ломы, отлетают искры,
и пыль труда

туманит выси гор.

День хмур,
и сумерки — не из веселых.

Стук мельницы разносится в тиши.
И от мазара темного

в поселок
ишан, слепой от ярости, спешит.
В уме перебирая наказанья,
«Сгною! — шипит. — Мучениям предам! . . .»
Ему сегодня под вечер сказали:
в арбе уехала

его Бадам . . .
Без паранджи! Наглей гулящей девки!
Уж лучше было б
сжечь ее живой! . . .
И не вернешь — хоть сыпь горстями деньги,
хоть сделай даже

главную женой . . .
А, пусть провалится! . . .
Аллах, прости мне —
пусть не уйдет от божьего суда! . . .
Не то еще когда-нибудь

партийной
возьмет и припожалует сюда . . .
И как она решилась? Как сбежала?
Подвесить надо было

за косу . . .
О, повстречать бы этого Хамзу —
уж он ему
вонзил бы в сердце жало!
Или собрал всех верных перед тем —
да и камнями бы его!

Ножками! . . .
Вон впереди мелькнула чья-то тень —
старик в руке сжимает посох крепче.
Свой кто-то, свой . . .

И белая чалма
сама собою катится с холма —
мутавалли бежит ему навстречу.
«Есть разговор! . . .»

— «О чем?»

— «О нас самих! . . .»

И вот ишану в уши через миг
втекают эти сладостные речи:
«Из Ферганы приехал человек —
от наших дел приходит в содроганье.
Ему известно (вхож туда... наверх...),
что у Хамзы

нет почвы под ногами!

Зря только терпим от него,
таксыр...»
Так вечер нынче пасмурен,
так сыр,
и оба ворона идут, как воры,
передвигая посохи проворно...

А в кишлаке
золотострунный саз
тревожит душу — и возносит в песне,
и свет в окошке теплится,
как в перстне
припрятанный до времени алмаз.

*

Уходит лета золото, забрав
свои живые, дивные узоры.
Чабан завернут в шубу,
в тучи — горы.
И рыщет ветер, осени собрат.

В набитой до отказа ханаке
сегодня совершается раденье.
Фигуры, как изломанные тени,
по кругу движутся
нога к ноге.
И весь этот беснующийся круг
то вдруг замрет,
то в диком содроганье
опять пойдет перебирать ногами,
как чудище
с венцом несчетных рук!
Чалмы воздевши усеченный шар
и алчностью снедаем неустанной,
взирает на радеющих ишан,

как волк
на обезумевшее стадо.
Эй, бейте в грудь, вопите! . .
Словно воск,
он лепит формы дикого обряда.
И что ни слово — горсть отравы в мозг.
И что ни фраза —
в душу капля яда. . .

А в кишлаке над пенною Аксу,
над крышей — знамя огненного цвета.
В толпе кишлачной видим мы Хамзу
и шестерых его кружковцев.

Это
их музыка так слаженно звучит,
такой задорный затевает танец!
И пляшущих открыт и весел вид,
как будто рядом дух весны витает,
и тюбетейки им кивают в такт —
так чисто всё
и просветленно так. . .

Здесь выбирают нынче новый путь,
который всех

в семью большую свяжет.

В стол кулаки уперши (каждый — в пуд),
«Дост! Дост! — кричит Башак. —

Нам слово скажет

Хамза-ака — послушаемте все! . .»

И сотня лиц повернута к Хамзе.

Слова просты.

Не аксакал, а мать
так говорит с детьми.

О разном, многом.

О знаньях, мыле, музыке, дорогах.

Он сравнивает трактор — и омач,
мечеть — и школу, батрака — и бая.

Он как бы между прочим речь ведет —
припомнит кстати некий анекдот,
а посмеявшись, сам смекнет народ:
и нам-де новая полезна баня!

Он говорит о тех работах, где
так важно единение в труде,
а их таких — немало: эти, те ли. . .
Так и подходит разговор к «артели».
Шумят издольщики и батраки.
«Ну что, народ?»

Хотите стать артелью?» —
кричит Башак. И посреди смятенья
взлетают сразу тридцать две руки! . .

У чайханы, в домах ли — разговоры. . .
Старухам объясняют старики
и меж собою продолжают споры:
о лошадях, волах, о лишних ртах —
кому кого кормить придется скоро. . .
Башак — Хамзе: «Мы назовем „Уртак“
свою артель! Названье будет впору!»
— «Ну что ж, дружок, отлично, если так!
Всё

было б так же на своих местах. . .
О семенах подумай — не пустяк!
О тракторе, о хлеве. . .

Дéла — горы. . .»

*

Восьмое марта. Праздник в кишлаке.
На улицах повсюду — толпы женщин,
почти у каждой — красное в руке,
как флаг,

кричит о празднике пришедшем.
И флаги тоже реют на домах,
кипят котлы, и очаги дымят. . .
И даже солнце рассиялось бурно —
лучи, как стрелы,
целят по глазам! . .

Вон чапана пестреет бекасам —
Хамза сегодня снова

на трибуне.
И комсомольцы выстроились в ряд —
пусть небольшой,
но боевой отряд.

Шум голосов в нестройный слился гул,
и темных женских множество фигур
(не различить ни молодых, ни старых)
стоит у стен,

пристроилось на скалах.
«Эй, женщины! Вы все, наверно, тут,
вон сколько вас!

Стою я перед вами,
а что я вижу?
Да одни чачваны!
Какие дни весенние идут,
какая жизнь встает и веселится!
И вам сегодня — стыдно прятать лица
от света,
жизни,
общего труда! . . .»

. . . Горит костер. И посреди молчанья
одна к нему кидается отчаянно,
срывает сетку — и в огонь, туда! . .
И потянулась следом череда. . .

Горит костер!

Уходят дым и смрад,
и пепел прошлого летит по ветру! . .
Летит к горам, к мазару,

где горят
глаза фанатиков, «борцов за веру»,
обманутых отчаянный отряд
и ряд обманщиков обыкновенных.
А шейхи шепчут: «Наземь вышел ад!
Тот, проклятый —

всю веру расшатал он!
Устой рубит, рушит шарият. . .
Убить его!

Убить его, шайтана! !»

*

Артельная пустынна чайхана —
на богаре уртаковцы. И в окна
видны снега вершины,
а весна

уже слегка от таянья промокла.
Котенок солнца дремлет на ковре.
Чайханщик прикорнул у самовара.
Поэт сидит с сынишкой, тянет вяло
зеленый чай.

Жаль, все на богаре!
Он нынче из Коканда, так что есть и
что рассказать им.

И Башак в отъезде...
Так много дела в нынешней поре —
не сыщешь часа для своей работы!
А уж давно в душе роится что-то...
Он думает об опере. Пора
создать свою, узбекскую. И ради
того уж год он просит в Самарканде
дать пианино! Трижды им писал —
и каждый раз отказ ему на это...
А звание Народного поэта
ему давал не этот комиссар!..
Ну, ладно.

Жаль, что все на богаре!
День нынче важный — он в календаре
его отметил сам:

себе сказал он,
что в этот день отправится к мазару
и бросит вызов прямо им в лицо!
И конский хвост, и тряпок украшенья
сорвет с гробницы ложной!..

Неужели
не струсит эта стая подлецов?
Как хищники полуночные — так и
они боятся лобовой атаки!..

Но что вдали за шум? Соседской драки?
Так для нее сейчас не время, нет!
И, мальчика оставив в чайхане,
Хамза идет на улицу.

Собаки
залаяли: одна, за нею все.
Рев, топот, крики!.. И в растущем вихре
поэт нежданно различает выкрик:
«Долой отступников!..

И смерть Хамзе!..»

Они его опередили! . . . Что ж,
бежать? О нет! . . .

Он крепко верит в силу
и правоты и твердости. Ни нож,
ни пуля еще правды не скосили.
Пусть вопли их колотятся в ушах —
вперед!

Яснее — мысли, четче — шаг! . . .
Они уж рядом.

Только он на площадь —
и голова толпы из-за угла! . . .
Лишь вся их ложь так превратить могла
людей в зверей! . . .

Но как сникает мгла
перед прожектором огромной мощи —
толпа, Хамзу увидев, замерла. . .
Застыли обезумевшие хари
в гримасе крика,

словно услышали
приказ беззвучный! . . .

Жаль, что он один
пред этим злобной массы колыханьем, —
хоть кто-то в час такой необходим!
И всё ж он выстоит. . .

Он поднял руку,
к передним обратясь. И в тот же миг
кулак взметнулся чей-то сзади них —
и камень полетел. И сразу вихрь
проснулся снова,
замерший с испугу! . . .

. . . Те, что видали, как среди камней
лежал он мертвый, — не забудут это.
В последней позе чуть ли не сильней
сказалась вся безудержность поэта.
В висок убитый, он лежал лицом
к врагам —

и в то же время к небу.
Огромным неисписанным листом
оно над мертвым
простиралось немо.

Всё, что не досказал, не начертал
в своих скрижалях яростных, — не гасло,

а проступало, кажется, в чертах:
и мертвое,

лицо не стало маской.

Так и поныне он глядит он нас:
еще скрипит под сапогами гравий,
строк не допел, удара не нанес. . .
Таков Хамза последних фотографий.
Но это не предчувствие конца!
Худоба щек, упрямых глаз усталость —
лишь завершенность строгого лица:
всё выжато, и только суть осталась,

*

Идут года. Уже который год,
как ты ушел с земли и нас покинул,
и высятся вершины снежных гор,
как памятники, над твоей могилой.
Но в памяти всё так же ясен ты,
и мы опять несем тебе цветы,
как стих живому

принести могли бы.

Ты жег строку, чтоб свет несла, искрясь, —
такой в дома доселе не вносили!
Своею кровью смыл с Алая грязь
ты, сын борьбы

и вечный враг насилья!

Нет меж любимых первых и вторых.

Твой век меж нами

не спешит к уходу,

пока тобою вырытый арык
по-прежнему приносит людям воду.
Трудом победным славится «Уртак»,
шумят в полях весенние потоки,
и вновь, с твоею песнею у рта,
в грядущий день

торопятся потомки.

1948

179. МОЙ ДЕД

1

Мой дед прожил сто восемь лет, —
Спина согнулась, посох нужен.
Но глаз остер, и слышит дед,
Как в двадцать лет, ничуть не хуже,

Семья у деда велика
(Праправнуков считать не будем).
Все уважают старика,
Все молодцом, все вышли в люди.

Внук — инженер, другой — шофер,
Праправнук — доктор на участке,
А сколько тех, кто до сих пор
Еще лежит в своей коляске.

Сегодня выборы. Старик
Домой вернулся рад и весел.
Приходят гости. Каждый миг
Дверь хлопает. Стал домик тесен.

Родные, внуки, сыновья
(У сына борода седая).
Пришла сегодня вся семья.
Смеются, деда поздравляя.

А дед доволен. Рассказать
Внучата деда попросили,
Как ездил он голосовать,
Не просто, а в «хафтомобиле».

«Хафтомобиль — бесценный клад,
Услада глаз, отрада сердцу.
Подъехал к дому. Говорят:
«Садитесь» — и открыли дверцу.

Внутри и чистота и свет,
И едет сам — летит как птица.
Вот довелось под старость лет
На этом чуде прокатиться.

Домчались быстро, в пять минут.
Быстрее просто невозможно.
И вот уже меня ведут
К большому клубу осторожно.

Я говорю — дойду, мол, сам,
Не так уж стар, всего сто восемь,
Мне отвечают: «Старикам
У нас почет. Сюда вас просим».

Бумагу девушка дает
И объясняет чин по чину:
«Пройдите к ящику вперед,
Налево можете — в кабину».

А список надо в ящик класть,
И я подумал, опуская:
„Благословенна будет власть,
Где к старикам любовь такая“».

Рассказ окончен. Смолк наш дед.
Но гости спрашивают снова:
«В чем долголетия секрет?
Скажите. Просим. Ну хоть слово».

Старик смеется: «Эх, дела. . .
Однажды матери приснилось,
Что бабушка ей гвоздь дала,
Большущий гвоздь, скажи на милость.

Заколотила в потолок
Мать этот гвоздь. И долголетия
Причина — он. Пожалуй, мог,
Когда б не гвоздь, и помереть я».

Хохочут все — вот это да,
Снам верить разве не нелепо?
Но это так — в свои года
Наш дед, как гвоздь, остер и крепок.

Тут отдохнуть бы, но опять
Внук подошел (какой тут отдых!)

И просит деда рассказать
О прошлом, об ушедших годах.

О прошлом. . . Сколько унеслось
Событий, встреч и расставаний,
И сколько горя, сколько слез
Узнал он в молодости ранней.

Ну что ж, расскажет он. Пускай
Узнают правнуки и внуки,
Каким когда-то был их край,
Какие нам достались муки.

.

«Что нам в прошлом? Оно ушло.
Мне б не знать его никогда.
Всё в нем мрачно и тяжело:
Нищета, работа, вражда.

Воевали между собой
С ханом хан, с эмиром эмир.
Шел за власть постоянный бой,
Мы забыли, что значит мир.

Вот, бывало, в базарный день
Все торгуют, ряды полны.
И заезжего манит тень
Распахнувшей дверь чайханы.

За верблюдом идет верблюд,
Только слышен звон бубенцов.
На базарную площадь люд
Прибывает со всех концов.

Вдруг откуда-то стоны, вой,
Крики «Прячьтесь!» и плач детей. . .
И с намыленной головой
Из цирюльни летишь скорей.

Тут бы только жизнь уберечь.
Позабудь про свои права,

А не то покатится с плеч
Недобритая голова.

Что случилось?! Кто налетел?!
Степняки на конях лихих.
Всюду горы кровавых тел,
Горе близких, слезы родных.

Помаленьку себе живешь,
Чаще месяц и реже год.
И опять над тобою нож,
Вновь беда у твоих ворот.

Кто ворвался на этот раз?
Снова плач да пляска огня,
То кокандцы идут на нас:
И опять погром и резня.

Месяцами в осаде мы.
Нет у хлеба, сожжен весь край.
Жди холеры или чумы
Иль от голода помирай.

Так и жили. Мерили днем
Жизнь свою — от сна и до сна.
А теперь расскажу о том,
Как трудились в те времена.

Мы — ткачи, и квартал большой
Занимали весь целнком.
Места мало, на мостовой
В ряд стоят станок за станком.

Чтобы раньше ты не уснул,
Счет минутам ведет фитиль.
Прялки стонут. Их вечный гул
В исступленье мог привести.

А наградой нам нищета —
Дети голы и носишь рвань...
Жизнь не жизнь, а так — маета,
Всюду горе, куда ни глянь.

Богачи живут, а тебе —
Как последней собаке кость.
Сколько в долгой моей судьбе
Мне всего изведать пришлось.

В кои веки бабушка вдруг
Доставала из сундука,
Расщедрившись, сухой урюк.
Горсть мала — любовь велика».

Видно, память о том мила, —
По лицу улыбка, а в ней —
Словно тень былого прошла,
Словно отсвет далеких дней.

Дед вздохнул. . .
«О дети, теперь
Всё для вас на земле цветет.
Вам открыта любая дверь,
И растит вас целый народ.

Счастлив тем я, что хоть чуть-чуть
Смог при новой власти пожить,
Смог на новых людей взглянуть
И своей стране послужить.

Умирать не страшно зато. . .»
А внучата ему в ответ:
«Деда, миленький, ни за что!
Проживите еще сто лет».

Дед смеется: «Что ж, детвора,
Двести лет проживу вполне.
А теперь отдыхать пора.
В воскресенье прошу ко мне».

2

Пронеслась неделя, и вновь
Угощает старик детей.
Снова варится жирный плов
Для таких дорогих гостей.

Дед наш рад малышам всегда,
С ними весел и счастлив он.
Только много их — вот беда,
Не запомнить никак имен.

Вот стучат Азад и Якут.
«Можно, дедушка, к вам войти?
Тридцать правнуков — все мы тут,
Только те, кто старше шести».

«Заходите! Смелей, друзья!
Тридцать правнуков, ай, ай, ай!»
Дед растроган — ну и семья,
Как не скажешь тут: «Йопирай!»

Он подряд обнимает всех,
Всех приветствует от души.
Говор, шутки, веселье, смех...
Словом, счастливы малыши.

Дед спрашивает ребят
О ребячьих важных делах.
Все скорей рассказать хотят
Об учебе, о новостях.

Но Эркин вдруг вылез вперед:
«Милый дедушка, мы вас ждем.
Ведь рассказывать ваш черед.
Вы сначала, а мы потом».

А старик в ответ: «Не спеши,
Я хочу посмотреть, внучок,
На детей, на радость души,
Дорогих, как глаза зрачок.

Если любишь ты старика,
Дай минуту передохнуть.
Ну а вы спляшите пока
Или спойте мне что-нибудь».

А Эркин ему: «Мы споем,
Хоть театр устроим для вас.

Только, дедушка, о другом
Мы условились в прошлый раз.

Обещали вы нам, ата,
Если помните, рассказать,
Как учились в школах тогда
И была ли отметка „пять“».

8

Улыбается дед: «Ну что ж,
Погодите, сейчас начну. . .
В общем, слушайте, молодежь,
Как учились мы в старину.

Помню, как-то пришел отец,
Говорит: «Где мальчишка мой?!
Вечно носится сорванец!
(Сорванцу миновал седьмой.)

Видно, мало отцу забот,
Дал аллах мальчишку ему.
Лучше в школу пускай идет.
Может, там научат уму. . .»

Мать из простенькой алачи
Сшила курточку и штаны,
«Ну, ступай, науки учи,
Пусть хоть дети будут умны».

Захватив лепешек мешок,
Денег взяв, запахнув халат,
Мой отец ступил за порог,
Я за ним, взволнован и рад.

Узкой улочкой мы спешим.
Вот гузар — суета и гам.
Нам навстречу дядя Керим,
Он успеха желает нам.

Мой отец немного смущен:
Вот, мол, вырос сын на беду.

Никого не слушает он,
Так теперь учиться веду.

Подошел к нам кузнец Джалал.
Был он славный, любил детей.
«Одного б, — говорит, — желал,
Чтобы честным рос грамотей».

Вновь отец шагает вперед.
Я за ним не иду — бегу.
За леском плотина, и вот
Ветхий домик на берегу.

Входим, нам «салям» говорят
Сто мальчишек в сто голосов;
И смеются, и я назад
От смущенья удрать готов.

Но домла одноглазый строг.
Только глянул — тихо вокруг.
Подошел к отцу и мешок
Получил у него из рук.

Деньги выхватил, а не взял, —
Жадный был и хитрый домла.
Здоровяк, хоть ростом и мал.
Бороденка — как у козла.

Говорит, муллой будет сын.
Все науки пройдет насквозь.
Отвечает отец: «Таксыр,
Ваше мясс, а наша кость».

На домлу отец посмотрел,
Не спеша подошел ко мне:
«До свиданья. Учись, пострел!»
Встал в залатанном чапане.

И пошел. А домла: «Читай, —
Говорит. — Вот буква алиф.
Не вертись! Ногой не болтай!»
Я от робости еле жив.

Палка длинная у домлы.
Чуть слышит шепот иль смех,
Жди беды. Моли не моли,
Без разбора лупцует всех.

Он обходит за рядом ряд,
В тишине раздается шаг.
И ребята громче зубрят,
Головами качая в такт. . .»

Дед задумался, не спешит. . .
Дети сбились тесней в кружок.
А Тургун, Камал и Рашид
Прямо на пол сели у ног.

Продолжает дед: «Если ж вдруг
Выходил из класса домла,
Пыль столбом, и крики, и стук,
То-то радость у нас была.

Те шумят, а эти орут,
Третьи катятся кувырком.
Там в «пенек» играют, а тут
Расправляются кулаком.

Малыши собрались в углу,
А потом веселой гурьбой
Повалились в кучу малу
И довольны сами собой.

Можешь прыгать, можешь орать, —
Каждый сам себе господин.
В пыль циновки, в клочья тетрадь —
Все беснуются как один.

Только вдруг в коридоре крик:
«Эй, спасайся! Домла идет!»
Собираешь обрывки книг
И «воды набираешь в рот».

И сидишь, как известка бел, —
«Отбивные» будут иль нет?

Всё домла заметить успел,
Веселился? Держи ответ.

И опять постылый урок
Повторяешь, зубришь с тоской,
Ждешь — когда же обеду срок,
Сам голодный, как волк зимой.

Наконец-то! Бежишь скорей.
Дома голод — четыре рта.
Пообедал — воды попей.
В животе опять пустота.

Или, помню, зимой, в мороз,
Что на мне? Халат да чапан.
Всё малó, за лето подрос,
А над крышей воеет буран.

Вот зажглись в домах огоньки —
Значит, в школу пора идти.
Я иду, а баев сынки
Мне встречаются на пути.

Чекмени на них из сукна,
Соболиный на шапках мех.
И на лицах важность видна:
Мол, гляди — я нарядней всех.

Я быстрее иду. Вот мечеть.
Как хорош при ней минарет.
А о школе кому болеть?
Пусть развалится — дела нет.

Прихожу. Домла захворал.
«То-то, — думаю, — отдохну».
Но меня халфа отодрал
За неведомую вину.

Ни о чем не спросил меня
И отделал так, что потом
Спать не мог я целых два дня,
А четыре — ходил с трудом.

Или вот вам пример другой.
Раз домла говорит мне так:
«Отвечай, где подарок твой?
Приобрел ли ты хафтияк?»

Где же взять его? Мой отец
Не скопил за жизнь ни гроша.
Нет коров у нас, нет овец,
Всё богатство — одна душа.

Весь в слезах домой прихожу, —
Мол, домла подарок просил. . .
А отец: «На него, ханжу,
Век работай — не хватит сил».

Тут вступили бабка и мать:
«Ах, шайтан он! Ах, негодяй!
Мы бы дали, да где нам взять?
Брось учебу, нам помогай!»

Я доволен — моя взяла.
День ушел, другой улетел,
А на третий беда пришла:
Только я поставить хотел

Альчик на кон, вижу вдруг —
Трое дюжих парней идут.
Подошли ко мне, стали в круг
(Кулаки у каждого — пуд).

Взрывы смеха кругом, а я. . .
Я смертельным страхом объят.
Принесли к домле. Как змея,
Источает речь его яд.

«Где подарок? Ах, не принес? —
И как вцепится мне в плечо,
Кулаком мне сует под нос. —
Что, приятно? Держи еще».

Сел на место я. Всё болит.
Звон в ушах, и в глазах туман.

Всё — сначала: снова избит,
Снова надо зубрить Коран...

Так вот, дети, — с мелом в руках,
С вечно ноющей головой,
Не за совесть — за лютый страх
Путь в учебу я начал свой...»

4

Окончил дед. Вздыхает: «У-ух!
Устал, друзья. Не те уж силы». —
А дети собралнсь вокруг:
«Спасибо, дедушка, спасибо!»

Гюльай встает: «Такой рассказ
Ну как не слушать с интересом?
Хороший дедушка у нас,
Рассказывает, как профессор».

Хохочет дед, но правнук тут
К нему подходит: «Начинаем!
Сначала девочки споют,
А мы стихи вам прочитаем».

И вот концерт. Под тановар
Уткур самозабвенно пляшет.
А дед ворчит: «Эх, стал я стар.
А то и я бы... знай, мол, наших!»

Настал черед и малышам:
Сплясал праправнук, внучка спела.
А самый маленький — Равшан —
Прочел стихи, да как умело!

Веселье шумное кругом,
За выступленьем выступленье...
И все мечтают об одном —
Скорей бы снова воскресенье.

1937, 1955

180. РАНА МОЕГО ВЕКА

Рана века в душе у меня горит,
Потому и стихи мои — как вулкан.
Будет к миру когда-нибудь путь открыт,
И рассеется бомб огневой туман.

Но тебе, Хиросима, забвенья нет!
День твой, души спаливший, еще живет,
День твой — траур Историн, память бед.
Поколенья предъявят еще свой счет.

Язв и крови еще остается след,
Город, пленник недуга, спален огнем.
Хоть с тех пор уже минуло двадцать лет,
Рана прошлого в сердце горит моем. . .

Раскололись на небе звезд зеркала,
К лику ясных высот приливает кровь.
Жажда жизни с зарей в свежий мир вошла,
Каждый листик, цветок оживила вновь.

Червяки, муравьи — все полны забот,
Им приятен с утра кропотливый труд.
И, пьянея от ветра, нырнув с высот,
Реют птицы и утренний воздух пьют.

Утопает Япония средь садов,
Лето щедрый раскинуло дастархан.
И весна здесь, и лето — ковер цветов,
Каждый миг для веселья и счастья дан.

Там, где лес на высоких холмах растет,
У Отавы-реки светлый город есть,
Солнцу любо над ним начинать восход —
Водопадом лучей оно льется здесь.

Там, где реки впадают в морской залив,
Хиросима и место нашла свое.
Кто родился средь вишен ее и слив,
Тот «Цветком души» называл ее.

Приходите гулять: сад красив, широк.
Распустились листочки, нежны, чисты.

То, что гибель близка, кто б подумать мог?
Мотылек, налетев, покачул цветы.

Берег — юных сердец дорогой приют,
Место юных свиданий и встреч живых.
Здесь влюбленных уста поцелуев ждут.
Не смотрите туда, не слушайте их!

Словно вишня в цвету, встреча та нежна.
В этот радостный миг кто бы мог грустить?
Тайно с берегом здесь говорит волна,
И любви двух сердец не порвется нить.

Воды песнею лета журчат везде,
Солнце льет на холмы неустанный жар,
Птицы возятся шумно в родном гнезде...
Знал ли кто, что с небес рухнет смертный дар?

Разрушительный атом падет с высот, —
Не несли еще войны беды такой.
Ворон-хищник направил сюда полет.
Что ему, дармоеду, души покой?

Рассвело. Начинает труды народ.
Каждый должен трудом добывать гроши:
Кто ученья лишен, кто работы ждет,
Всем им хлеба кусок — словно часть души.

В Хиросиме у каждого столько дел,
Этим — счастье, другим — столько бед подряд.
В неустанных трудах вся их жизнь идет,
А над ними в мешке — смертоносный яд.

Вот обширный и чистый родильный дом.
Сколько женщин приносят сюда мечты!
Ждут отцы у дверей, просветлев лицом, —
И зимою и летом в руках цветы.

Превозмогши последних мучений стон,
Улыбаясь, спешит в этот дом жена.
Девять месяцев, жизни блюдя закон,
С нетерпением ребенка ждала она.

Как любовью ее томный взор согрет!
Страх нет, хоть опасность всечасно ждет,
От лица ее нежный исходит свет,
И красивый ребенок в наш мир придет.

Ясен взгляд, а душа. . . та еще светлей.
Повитухи: «Девчонка милей, чем мать.
Как шустра! Быть танцовщицей, видно, ей.
Вот не сглазить бы только, а счастье дать!»

И желают все девочке много лет;
Для мечты и мгновение — целый век,
Так волна за волною стремится вслед,
Без надежды не может жить человек.

Мать, целуя дитя, просветлев лицом:
«Пусть побольше удачи ей жизнь дарит!
Инженером пусть станет или врачом!»
Но заветным желаньям беда грозит.

Уж над городом синий туман возник
И волнуется грозно, как шелк шатра.
Середина прорвалась в тот самый миг,
Как пилот, всё расчислив, сказал: «Пора!»

Уж, спускаясь, качается парашют,
С тяжким грузом, где спрятана смерть
Ровно восемь часов пятнадцать минут. . .
Неизбежной беды порвалась сума.

Из Америки вылетел тот самолет
Ранним утром того рокового дня.
Беды века на крыльях принес пилот
И обрушил на город поток огня.

Ни ребенка, ни матери. . . Рухнул дом,
Хиросима в разбитых лежит камнях.
Опрокинулось небо, ударил гром,
Всё в секунду одну обратилось в прах.

Поглотив настоящего солнца свет,
Лжесветило пылало в сто крат сильнее —

Вот что стало началом всех зол и бед
И великим несчастьем для всех людей.

Взорван атом. Всю землю потряс удар,
Жертвы? Счесть их не хватит сил.
Хиросима?
Уж нет ее — сжег пожар.
У людей поучился бы ты, Азраил!

Хиросима на карте не мала, —
Двести тысяч людей, лишь пожар возник.
(Кто б измерил жестокость такого зла?)
Атом их уничтожил в единый миг.

Черной смерти лучи широко прошли,
Много было строений там снесено.
Взрыв потряс небеса и грудь земли,
Плач и стоны смешались тогда в одно.

Пепел тысячи жизней. . . Дымят костры,
И осталась лишь тень от былых людей.
Мир такой никогда не знал жары:
Плачут тени, и слезы текут с камней.

Сколько воздух оборванных слов хранит —
Все остались висеть среди стен пустых;
Нет людей, но как будто еще звенит
Прежний радостный смех, прежний говор их.

Стоны сразу погибших еще живут,
Хоть прошли ураганом огонь и гром.
Плачут люди, и камни здесь слезы льют.
Даже камни сгорели в огне таком!

Беспощадный огонь все дома пожрал,
В небо пепел и пыль поднялись с земли.
Злобой вражьей сожжен, мир пустынным стал.
Где сады, где цветы. . . соловьи, журавли? . .

Мать бежит, увлекая с собой детей,
Их жилище разрушил огня дракон,
В горы гонит их смерть, из ее когтей
Еще не был никто в страшный миг спасен.

Воздух мирной страны отравляет чад,
От паров ядовитых спасенья нет,
И взращенный трудами японский сад —
Страшный призрак, иссохший теперь скелет.

Поднялся из страдания свитый смерч,
И проносятся вихрями души. . . чьи?
В каждом камне сгустились и боль, и смерть,
Из камней и стекла потекли ручьи.

Не трясенье недр, не разливы вод, —
Небо слила с землей грозных сил игра.
Море, горы, поведайте, что всех ждет?
К миллионной черте поднялась жара.

Злобный ворон, пикируя, чертит круг,
Людный город отныне развеян в прах,
Жизнь, что длилась столетья, угасла вдруг. . .
Не бывало подобных злодейств в веках.

Девы, юноши с жаждою жить в крови,
Чьей прекрасной весны подошли года,
Чьи сердца отданы колдовству любви, —
От цветущих их душ не найти следа.

Нежность, юность, любовь — только ноль от них?
Всё отныне — прах, ничего уж нет.
Дев и юношей ты не найдешь в живых. . .
«Где глаза ваши, сердце?» — кричу им вслед.

Разъяренное море стеной встает,
Пляшут лодки пустые в крутых волнах.
Смерть с весельем и счастьем свела свой счет.
Уголь тропов. . . Улыбок сгоревших прах. . .

Воздух родины каждому нужен, мил.
Каждый любит свой край и свое жилье,
Любит птичек, их пение, трепет крыл
И здоровым потомство растит свое.

Человек! Ты природы царем рожден,
Но свой варварством каждый отметил шаг.

Стонет шар земной. Человек-дракон
Красоты, доброты — самый первый враг.

А ученые, горестных мук ценой,
В море знания жемчуг стремясь извлечь,
Перед смертью все жили одной мечтой —
Искрой сердца светильник наук зажечь.

Шаг за шагом всех тайн отступала тьма:
«Будет в точные формулы атом взят,
И его разобьет нам алмаз ума».
Попытались — и создали сущий ад.

Путь ученых тернистым был с давних пор.
Сколько нужно терпенья на том пути!
Искрой мысли пришлось зажигать костер,
Ради правды на верную смерть идти.

Атом — это исток всепобедных сил,
Нужно, чтобы он благом для жизни стал,
Чтобы шлюз новой мощи он нам открыл
И бессмертную жизнь механизмам дал.

Ключ к сокровищу найден на веки веков,
Но лишь ад отомкнули таким ключом:
Человечества грязь, шайка злых дельцов
Жизни свежий цветник рада сжечь костром.

Водород или атом для них — война.
Что достоинство им и что честь людей?
Возмущенная совесть кричать должна,
Гнев отныне пусть в сердце горит сильнее!

Что предателю счастье и красота, —
Отдал душу он сам за кошель тугой,
Он не знает любви, жизнь его пуста,
Совесть, честь для него — только звук пустой.

Взрыва атомных бомб он спокойно ждет,
Город вишен цветущих он сжечь готов.
Человеком назвать его кто рискнет?
Но истории гнев, как всегда, суров.

Видишь трупы — душа еще в них жива.
Горе город-страдалец забыть не мог.
Слезы льют опаленные деревья,
Раскалившийся уголь мне сердце сжег.

Это хищных и злых подлецов вина,
Их приказ выполнял один человек,
Он смертельные сеял здесь семена,
А тревоги всем хватит теперь навек.

Ты какую же матью был рожден
И каким же злым сыном ты рос у ней?
Человеческой кровью ты опьянен,
Продал золоту душу, «герой-злодей».

День и ночь скорбный голос взывает к нам,
То израненный город зовет опять.
Мертвецы и больные остались там, —
Как же можешь, злодей, ты спокойно спать?

День и ночь неотступно идут с тобой
Тени тех, кто погиб, кто без рук, без ног,
И колени твои в их крови густой.
Сквозь людские страдания твой путь пролег.

Всех седых уважаемых старцев кровь,
Жемчуг всех материнских живых сердец,
Души девушек юных, их жизнь, любовь —
Смерть нежданный всему принесла конец.

Сколько весен прошло — для них нет весны,
И в глазах у больных расплылся туман.
Все до срока они умереть должны,
В их ушах до сих пор не умолк уран.

Что слуге Капитала их горький стон?
Никакие его не примут слова.
Плачет всё на земле, лишь не плачет он —
Ведь и совесть его навсегда мертва.

Не собьется с орбиты наш шар земной —
Угнетенья, тревог и войн караван.
Он, страдая, летит, исходя слезой,
Безнадежно терпя столько горьких ран.

Даже скалы страдают от тяжких бед,
Плачут тени, и камень сам слезы льет.
Страшный миру захватчик приносит вред,
Капиталу же смерть — лишь большой доход.

Обречен на погибель ты, Капитал, —
Миллионного гнева встает волна.
Пусть для мирных народов ты цепь сковал —
Не помогут жестокость, грабеж, война.

Бомбы. . . Бомбы твои — порожденье зла,
Душу ржавчины ты ослепил пятном.
Спросит мир: где же совесть твоя была?
Смерть уже на пороге стоит твоим.

Человек! Ты проклятья несешь черты.
Зла такого наш мир не знавал вовек.
Честь поправ, только золота жаждешь ты.
Не достоин ты имени «человек»!

О, злодейство! Не в силах я продолжать.
Задержалось перо, речь моя нема.
Я задумаюсь — сердце горит опять.
Горе грудь мне сожгло; пред глазами тьма.

Черной тучею гнев стал в груди моей,
Речь моя бьет теперь, словно град крутой.
Угнетенный встает на тебя, злодей,
Он могильной придавит тебя плитой.

Не боимся мы жертв, мы на бой пойдем.
Знай, что трудно нам руки теперь сковать:
Если даже сожжешь ты родной наш дом,
Разве может оковы душа принять?

Генералы Японии много зла
Дали горестной этой стране в удел.
Трудной жизнь бедняков там всегда была,
Но терпению всякому есть предел.

Революция страны прошла грозой,
Плетью-молнией прежний разбила гнет,
Озарила рабам она путь прямой
И отверзла плотину могучих вод.

Посмотрите на землю, друзья, с орбит
Космонавтов иль даже самой Луны, —
Шар земной весь лучами в цветах покрыт,
Мчится вечным путем молодой весны.

Рана века в душе моей всё же горит.
Потому и стихи мои — как вулкан.
Верю: счастье придет и весна победит,
Человечество сбросит насилья аркан.

Хиросима свое подняла чело.
Нам защита от атомных бомб дана.
Человек еще жив, победит он зло!
Но не смыть уже с совести нашей пятна.

Тихо ивы склонились в тоске своей,
И по листьям их в море слеза течет,
От огня исстрадались сердца камней,
И мучениям их уж потерян счет.

О Япония, солнца ты колыбель,
Наше сердце твоею болит тоской.
Ты развеи безысходного горя хмель,
Мы душою с народом твоим, с тобой!

Хиросима! Забыть нельзя ничего.
Гнев в душе не устанет у нас пылать.
День твой — траур Истории. За него
Будут черные силы ответ держать!

Хиросима! За далью ты гор, морей.
От меня, как от друга, прими привет.
Я еще не ступал по земле твоей,
Но делю твою скорбь вот уж двадцать лет.

Эти вишни, сады, мирный твой народ
Я не видел, я не был в твоём краю,
Но с тобою сгорал я в тот страшный год
И с тех пор свое сердце тебе даю!

1965

181. ГУЛИ И НАВОИ

Я, минувшее распоров,
Разглядеть хочу швы веков,
Суть событий понять спешу
И, легенды найдя, пишу.

Много было легенд пустых,
Но зерно правды есть и в них:
Там, где камни лежат горой,
И алмаз заблестит порой.

Вот одна из легенд таких —
Чистый жемчуг среди других.
Нет покоя мыслям моим.
Словно вихрю, я отдан им.

Млечный Путь — вот след Навои,
Озарил он пути мои,

Скромный, чистый душой поэт.
Им живу — через столько лет!

Он и в юности знал почет,
Обладатель земных щедрот,

Взор — сияние доброты,
Голос нежен, чисты черты,

Он в движеньях легок своих,
В нем кристальна душа, как стих,

Черный ус его неширок,
Стан обвил из шелка платок.

Весь гарем он успел смутить:
«Мне б его возлюбленной быть!»

«Посмотри, какой взгляд живой!»
— «А вазир к тому ж холостой!»

Духом крепок вазир-поэт,
Он не любит хмельных бесед.

Он, как факел, горя во мгле,
Верит в счастья свет на земле.

К бедняку, что судьбе не рад,
Сострадателен он, как брат,

А услышит чью вражью речь, —
Гнев сверкнет, словно острый меч.

Он защитник людей от зла,
И улыбка его светла,

Сила юности, чувств родник
Не иссякнет в нем ни на миг.

Он умеет беречь казну,
Чтоб счастливой сделать страну,

Дать ей воду, науке кров
И больницы для бедняков.

Много дел у него, забот,
В мыслях только одно — народ.

Бедняки низко спину гнут,
Грусть в их сердце, тяжел их труд,

Он стране дать хотел бы мир,
Пышет сердце его, как тандыр,

И в аду, охватившем грудь,
Ни на миг ему не вздохнуть.

В жажде правды людей труда
Не оставит он никогда.

Если б был справедлив султан,
Стал счастливым бы Хорасан,

В нем никто не знал бы зла,
Жизнь, как небо, была б светла...

Полн вазир и надежд, и сил,
Не растрочен в нем сердца пыл,

Всеми он во дворце почтен,
Словно месяц — нет, солнце! — он!

И приветлив, и чист душой,
Мысль как молния, ум живой, —

Всею вазир молодой хорош.
Где сравненья ему найдешь!

И царевны за ним следят,
Каждый жест подмечают, взгляд.

Слышен шепот со всех сторон:
«Ах, вазир! Как опасен он!»

*

Вдохновение в час ночной
В нас стихов пробуждает рой,

Окрыленный мечтой поэт
Пишет, пишет, забыв весь свет,

И газелей тех красота
Переходит из уст в уста.

Девы, вспыхнувшие, как тюльпан,
Над газелями клонят стан,

У старух по морщинам щек
Слез-жемчужин бежит поток.

Вдохновенная вязь стихов
Всею мила испокон веков.

Мудр вазир, но от всех невзгод
Как ему оградить народ?

*

Был просторен султана дом.
Мрамор пола покрыт ковром,

И в цветных узорах ковра
Света с тенью слилась игра.

Ослепляют взор их цвета,
Сердце радуется красота.

Сколько здесь ковров дорогих.
Чьи же ноги целуют их?

Чьи мечты в их узор легли?
Руки чьи их соткать могли?

Сквозь решеток резной узор
Виден сад и обширный двор,

На дворец, ослепивший глаз,
Смотрит солнце — небес алмаз.

Расцветает фруктовый сад,
Свеж и чист тополей наряд,

Нежно дышит вокруг весна,
Дань с поэтов берет она.

*

Молчалив Хусейн Байкара,
Он задумчив, угрюм с утра.

За решеткой ему слышны
Птичьи трели — привет весны,

И внимает его тоска
Тайнам птичьего языка.

Невысок он, широк в плечах,
Сила грозного льва в руках,

На коне, устремляясь в бой,
Устрашает он всех собой.

Саблей с детства владеть он мог,
Шах из лука меткий стрелок.

Отдыхая от битв своих,
Он газели слагает стих.

Но важнее для шаха трон,
Долг и счастье в нем видит он.

Доброта есть в его глазах,
Но и гнев, что внушает страх.

Многоцветна чалма; на ней
Драгоценных нитка камней.

Но сегодня его мечты
Новым помыслом заняты:

Завещал ему царство дед.
Как идти за великим вслед,

Как врагов растоптать в пыли,
Чтобы дрогнула грудь земли?

Хмур и мрачен Хусейн Байкара,
Дум тревожных пришла пора.

С Навои дея груз забот,
Шах его с нетерпеньем ждет.

«Вы мрачны — сужу по лицу.
Не пристала строгость певцу».

Шах навстречу певцу встает,
И склонился в поклоне тот.

Им обычай был соблюден,
Для придворных это закон.

«Алишер, если б каждый бек
Был такой, как вы, человек,

Мог бы шах ваш спокойно спать
И печаль из сердца изгнать.

Но что делать мне средь волков?
Каждый здесь мне мешать готов».

«Падишах, ваши мысли верны.
Беки — это волки страны.

Лишь дехкане опора вам,
Богачи же — подобны клещам.

Справедливостью до конца
Пусть султан покорит сердца.

Надо с Индией торговать.
Нужен ваш указ и печать.

Умных мы отправим послов,
Снарядим караван даров.

Торговать с великой страной,
В мире жить с ней — вот путь прямой.

Есть и Чин, где искусство цветет,
Час общенья с ним настает.

Что арабских лучше коней?
Нет в торговле ставки верней.

Путь к богатству в ваших руках.
Вот совет вам, мой падишах!

Знание чти, это правды родник,
Свет приемлет душа от книг.

Философия для мудреца —
Это свет, что питает сердца».

И Хусейн улыбнулся в ответ:
«Вот разумный, хороший совет.

Не забудьте только, что меч
Может узел любой рассечь. . .

Донесли мне, что вы, мудрец,
Дали в долг сто гиссарских овец

На базаре кому-то в Карши.
Это что ж? Просто дар от души?

Разве кто-то из этих людей
Долг вернет после смерти моей?»

«Это так! Но в поступке моем
Тайный смысл есть. Я каюсь в том.

Покупатель от сделки такой
Мудрость шаха почтит хвалой,

Скажет: „Он справедлив в делах“»,
Рассмеялся в ответ падишах

И смеялся опять и опять,
Лишь случалось о том вспоминать,

Шаху нравился этот рассказ,
Он к нему возвращался не раз.

Повелитель на ложе возлег,
Отыскал под подушкой листок:

«Вот стихи! Прочитайте о нем —
О рыдающем сердце моем».

И почтительно в руки свои
Принял шелковый лист Навои,

Перечел он газель вновь и вновь,
Воспевавшую дев и любовь,

И вернул ее шаху потом
С озаренным улыбкой лицом.

«Вы в поэзии тоже султан!
Пусть же вечно цветет Хорасан,

Чтоб в нем после Тимура поры
Был прославлен и век Байкары!»

И довольный вздохнул падишах,
Тайну сердца он выдал в стихах.

«Это только мечта и тоска
У такого, как я, бедняка».

И листок, продолжая вздыхать,
Положил под подушку опять.

«Тьма забот, государственных дел
У владыки, но кто бы посмел

Осуждать за стихи о любви?» —
Улыбаясь, сказал Навои.

И вазир, и его падишах —
Оба радость находят в стихах,

Им приятно газели читать
И в стихах разговор продолжать,

Всех поэзии верных друзей
Приглашая к беседе своей.

Шумным пиршествам каждый здесь рад.
И рупаб, и тамбуры гремят,

Пляшут девушки, гибки, стройны,
Их искусство — дыханье весны,

Виночерпии носят кругом
Чаши с ярким янтарным вином.

Отпивает другим не в пример
Лишь глоток на пиру Алишер.

Шах заметил: «Поэт вы вдвойне,
Первый в рифмах; мы ж — только в вине».

Длится радостный пир без конца,
Шум веселья летит из дворца,

И расходятся беки, пьяны. . .
Навои пьян от звуков струны.

*

Ей восемнадцать, в ее года
В небе любви она как звезда.

Стан ее гибок, как цветок,
Сердце терзают родинки щек,

Уст приоткрытых улыбка нежна,
Манит к себе поцелуи она.

Облик ее с чистым, светлым челом
Всех обжигает — о, горе! — огнем.

Брови — два тонких лука у ней,
Месяц ей дарит сиянье ночей,

Шелк по спине распустившихся кос
Каждому сердцу волненье принес,

Грудь молодая нежна и чиста. . .
Всё совершенство в ней, всё красота.

Девушка, кончив платочек свой мыть,
Вышла на кровлю его просушить.

Видит — в любовное впад забывтье,
Юноша взора не сводит с нее.

Тайной тревогой Гули смущена,
Что с ней творится, не знает она.

Взор не отводит теперь и сама
С юноши, чья белоснежна чалма.

Образ из многих прочитанных книг
В сердце у юноши сразу возник,

Думы, мечты Навои обрели
В девушке этой Ширин и Лейли.

В свежем дыханье рассветной поры
И в ослепительном блеске жары,

В чистом блаженстве творимых стихов
Он свою пери искать был готов.

Белое облако, льющее свет, —
Вот был какую мечтой он согрет.

Видит сейчас он ее пред собой,
Слушает сердца прерывистый бой.

«Боже, вот та, что пленила меня!»
И задержал он уздою коня,

На стременах изумленно привстал.
«Девушку эту всю жизнь я искал,

Видел в мечтах неустанно всегда.
В небе моем вдруг родилась звезда...»

Только улыбка, один только взгляд, —
И уж сердца их согласно горят.

Но ускользнула вдруг дева-мечта,
Скрылась куда-то, и крыша пуста.

Едет в смятении прочь Алишер,
Строчку за строчкой слагая в размер,

Едет поэт, продолжая мечтать,
Мысли в волненье не в силах унять.

В улицах узких, как в чуждой стране.
Шепчет: «Где я? Наяву иль во сне?»

Вспыхнула пламенем ярким любовь,
К дому Гули подъезжает он вновь.

Спрыгнул с коня, постучал у ворот
Зесь в нетерпении — сердце не ждет.

Дома хозяин, садовник-старик,
Видя вазира, в поклоне поник.

Он в изумлении — верить иль нет? —
Но протянул ему руку поэт.

Принял садовник коня, а потом
Гостя проводит почтительно в дом.

Руки молитвенно поднял поэт,
Как подобает в начале бесед,

Ими провел по лицу, и, смущен,
Старцу Салиху доверился он:

«Счастьем почел бы достойнейшим я,
Если бы принял меня ты в зятя».

«Счел бы за честь, поклонюсь до земли,
Только достойна ль вазира Гули?»

Дочку об этом спросить бы я мог,
Сердца отраду, единый цветок».

В дальний покой к ней старик побежал,
Дочке о госте скорей рассказал.

Мудро Гули отвечала ему:
«Слово вазира я в сердце приму.

Даже рабыней готова я стать,
Лишь бы с ним радость любви разделять».

Вышел довольным Салих-садовод, —
Этот союз — величайший почет.

«Благословенна будь воля твоя.
Дочка согласна, согласен и я».

Встал Алишер и с поклоном изрек:
«С волей отца сам в согласии бог».

Вынул из пояса горсть золотых:
«Это подарок мой дому, Салих!»

И старику улыбнулся поэт,
Лик его вспыхнул, восторгом согрет.

Сердца блаженство пьянее вина,
Жизнь его счастьем отныне полна.

Скачет поэт на буланом коне,
Словно на крыльях летит, как во сне.

В комнате этой, обширной, простой,
С тонкой, изящной решеткой резной,

Краски ковров, как огонь, горячи,
Всюду подушки лежат, курпачи.

Скромность поэту всего здесь милей,
Видно, не любит он лишних вещей.

Возле тахты две свечи зажжены.
Думы поэта волненьем полны,

Мысль о любимой ярка и жива,
В ровные строчки ложатся слова.

Словно струна в его сердце поет,
Мысли уносятся в дивный полет,

Строки стихов заполняют листы:
«Я ли достоин твоей красоты?

Долго искал я тебя и нашел,
Свет в мою душу отныне сошел.

Ты не уходишь из мыслей моих,
Страстной любовью пылает мой стих,

Весь я горю, как Меджнун и Фархад.
Выпью ли кубок любовных услад?

Не оставляй меня, сердце-Гулл,
Что без тебя мне блаженства земли?..»

Вот уж растаяла тьма пред зарей,
С неба спускается шелк голубой.

Любит безмолвие утра поэт,
Он наслаждается, встретив рассвет.

Певчие птицы, как он, влюблены,
Песней приветствуют радость весны,

Славят на тысячу разных ладов
Юные листья и свежесть цветов.

Утро прекрасно в весенние дни
И вдохновенью поэта сродни.

Вот он проходит в тени тополей,
Гордый великой любовью своей,

Там, где в росе и цветы, и кусты,
В мире объявшей его красоты,

Средь распустившихся роз цветника
И возникает газели строка.

А на душе и легко, и светло,
Словно нежданное счастье пришло.

Ветер, коснувшийся зреющих лоз,
Радость, спокойствие сердцу принес.

«Чудо! Душа моя счастьем полна,
Словно мной выпита чаша вина. . .»

В страстном волнении шепчет поэт:
«Вижу, предела мечте моей нет,

Строки мои волшебство обрели.
Чей это образ? Не ты ли, Гули?»

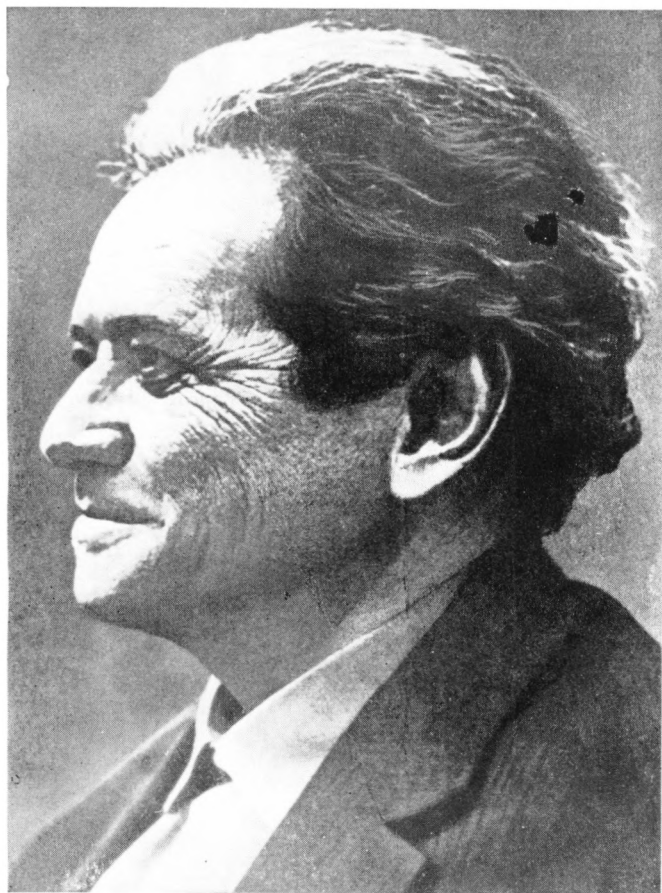
«О мой любимый! Разлука тяжка.
Вижу тебя — исчезает тоска.

Как я томлюсь в ожиданье тебя,
Жажду, страдаю, всем сердцем любя.

Чашу любви мне поднес милый мой,
Выпила я — и утрачен покой. . .»

В грезах он девушку видит опять.
Как же всё это пером описать?

И обнимает Гули Навои:
«Жаль, что она — лишь мечтанья мои. . .



Айбек



Слева направо: Гафур Гулям, Зульфия, Хамид Алимджан, Айбек

Вот ее тень легкий ветер унес.
Где ее спрятали заросли роз?»

Пред Алишером, что в грусть погружен,
Юноша встал и отвесил поклон.

Сена охапку он нес — и совет
Дал ему с доброй улыбкой поэт:

«Вижу, заботишься ты о коне,
Пусть же он будет доволен вполне».

«Да, уж такого коня не найдешь.
Как иноходец, во всем он хорош!

Строен, понятлив, резвее огня.
Надо Дульдудем назвать бы коня».

«И в состязаньях он добрый пример», —
Молвил, взглянув на коня, Алишер.

Дальше обходит он медленно сад,
Где виноградников листья блестят.

В думы душа его погружена:
Вечна природа и тайны полна.

Принял он чашу с водой ледяной,
Преподнесенную верным слугой,

Вместе со слугами завтрак потом
Он разделил за их общим столом.

На дастархане хлеб, сливки, халва,
Черный кишмиш — всем лекарствам глава.

А у ворот иноходец стоит,
Быстро его во дворец он домчит.

*

Вместе с рассветом проснулся Герат,
Как муравьи, всюду люди спешат,

Ветер несет свои песни с холмов,
Птицы за кормом летят для птенцов.

Солнце еще поднимает венец,
А за трудом уже резчик, кузнец.

Снова шумит суетливый базар,
Люди толпятся, разложен товар.

Кто на коне, кто пешком, второпях
Спорят, толкуются в торговых рядах.

Воплям отшельников вторит мясник:
«Жирное мясо! Бараний язык!»

В кузницах грохот — подковы куют,
С чашкой слепцы подавания ждут,

Груды лепешек в корзинах несут
На голове торгаши там и тут.

Едет верхом на худом ишаке
Старец в холстине, в простом колпаке.

Едет богач, скакуна горяча,
Золотом, в пояс зашитым, бренча.

В мраморе вязь выбивает старик,
К жизни тяжелой давно он привык.

Юноша, старец, красавец, урод —
Всех их базар суетливый влечет.

Горы здесь шелка — любой выбирай!
Этот шлет Индия, этот — Китай.

Сабли, кинжалы, охотничий рог
И с золотой рукояткой клинок,

Сласти, печенье, горою халва...
Кругом от гама идет голова.

Золота звон и продажа вещей,
Неумолкающий спор торгашей.

Вот и верблюды проходят в Герат,
Их колокольчики глухо бренчат.

Шумен базар, суетится народ:
Кто покупает, а кто продает.

В общий крикливый всё спуталось хор, —
Кто простоват, кто умен, кто хитер.

Едет сюда Алишер на коне.
Все расступились, стоят в стороне.

Юными, старыми — всеми почтен,
Он отвечает на каждый поклон.

Весь погруженный в мечтанья свои,
Едет Хусейна вазир, Навои.

Думы к базару его привели,
Хочет он жемчуг купить для Гули.

Вот ювелирный раскинулся ряд,
Возле сокровищ торговцы сидят,

Медные серьги и редкий алмаз —
Всё для подарков и всё напоказ.

И Алишер здесь с коня соскочил,
Мальчик-бедняк повода подхватил.

Гостю навстречу бежит в тот же миг
Сам ювелир, седовласый старик.

Два одеяла рука достает,
С общих вопросов беседа идет.

«Чем я могу услужить, господин?
Есть драгоценности, жемчуг, рубин. . .»

«Жемчуг ценнейший мне нужен, купец!» —
И продавцу улыбнулся мудрец.

«Есть и такой!» — Ювелир впопыхах
Ищет, что нужно, в широких шкафах.

Выбрал, подносит: «Взгляни, господин,
На этот дар океанских глубин.

Море такое творит волшебство;
Нет на базаре ценней ничего!»

Светлые мысли к поэту пришли:
Будет ли жемчуг достоин Гули?

Выбрана ценная нитка одна:
«Эта годится. Какая цена?

У ожерелья заманчивый вид,
В каждой жемчужине солнце горит».

«Вкус у вас верный. Могу я за них
Взять с вашей светлости сто золотых?

Вас ведь такая цена не смутит?» —
И ювелир на поэта глядит.

Пояс поэт размотал до конца,
Золото сыплет в ладони купца

И, завершая с ним щедрый расчет,
Жемчуг за пазуху тотчас кладет.

Конь-иноходец идет не спеша,
У Алишера ликует душа,

И расступаются все впереди,
Руки с почтеньем скрестив на груди,

Он же улыбкою или кивком
Им на пути отвечает своим.

Вот ее сад, вот обитель мечты,
Эти ворота — врата красоты.

Входит во двор он, а конь в поводу.
Где же Гули? Здесь, в тенистом саду.

Книгу оставив, смущенья полна,
Гостя, краснея, встречает она.

«О, как я счастлив!» — промолвил поэт,
Девушка тихо склонилась в ответ,

С нежной улыбкою к дому ведет,
С легким поклоном подушки кладет,

Рядом сажает. Влюбленных очей
Гость не отводит от милой своей.

Радость у них засияла в глазах,
Сказка любви и в сердцах, и в речах.

В нежной беседе, в порыве любви
Начал газели читать Навои.

«Это Лутфи несравненный диван,
Он всем влюбленным для радости дан!»

И, упиваясь стихов волшебством,
Начал читать их листок за листком.

«Солнце — стихи! Их читать наизусть —
Сразу исчезнут печали и грусть», —

Так, улыбаясь, Гули говорит.
Радость в глазах у поэта горит.

Речи свои продолжает Гули:
«Ты, Алишер, — светоч нашей земли».

«Нет, — отвечает поэт, — это ты —
Солнце вселенной и свет красоты.

Встречусь с тобой — тает сердце в груди.
Вот мой подарок! Гули, погляди!»

В очаровании смотрит она,
Радость во взоре ее зажжена,

Гладит жемчужины нежной рукой:
«Только к лицу ли мне жемчуг такой?»

«Жемчуг, что морем рожден голубым,
Станет теперь украшением твоим!»

Так, созерцая Гули красоту,
Ловит поэт каждый жест на лету.

Эти влюбленные, сидя вдвоем,
Мир позабыли в блаженстве своем.

«Этой минуты, — промолвил поэт, —
Мне бы хватило на тысячу лет!»

«Я не согласна, — сказала Гули, —
Дня не могла б я прожить без любви,

Но как часами любовь измерять?»
Оба от счастья смеются опять.

Остановилось и время в тот миг,
В сердце весь мир необъятный возник,

Словно парит в поднебесье душа,
Девушка шепчет: «Как жизнь хороша!»

Хочется факелом сердцу пылать.
Он ее просит газель прочитать,

Но уклонилась в смущенье она:
«Может, приятней тамбура струна?»

Мир так прекрасен в весенние дни,
Людам блаженство приносят они.

Звуки тамбура снимают печаль,
Думы за ними уносятся вдаль».

Девушка тронула струны — и вот
В души им радость мелодия льет.

«Райское счастье природа дарит», —
Полный восторга, поэт говорит.

Он опьянен наслаждением любви,
Чистая радость струится в крови.

«Кто тебе это искусство внушил?»
— «Сад мне улыбку свою подарил. . .»

Снова мелодия счастья слышна,
Радость в душе поднимает она.

Просит Гули ей стихи почитать.
«Но пред тобой я могу лишь молчать.

Светом любви озаряя мне путь,
Солнцем мою ты наполнила грудь.

Сказку о счастье внушаешь мне ты,
В ноги тебе я бросал бы цветы,

Сердцем с тобой уносился бы вдаль,
Ты для меня — как цветущий миндаль!»

Скромный приносит Гули дастархан,
Клонит поэт перед нею свой стан.

Не прекращается их разговор.
Вечер свое покрывало простер,

И Алишер, словно другу, Гули
Хочет доверить мечтанья свои.

Всё для страны своей сделать он рад,
Чтобы как райский цвела она сад.

Тут подошел к ним садовник-отец,
И перед ним встал с почтеньем мудрец.

Лет в пятьдесят садовод-чудодей
Буквы алиф был осанкой стройней.

Скромный и мудрый, в халате до пят,
Он философией жизни богат.

«Сад — вот любимый наш труд, господин!»
Чтит Навои эту мудрость седин,

Старца сажает в почетном углу,
Тихо берет от него пиалу.

Длится беседа, поэт же при том
Взгляд на Гули обращает тайком.

Старец о трудных твердит временах,
Ценах базарных, торговых делах. . .

Но поднимается с места поэт,
Трудно прервать нить приятных бесед,

Трудно расстаться с Гули, но она
Тоже встает, сожаленья полна,

И говорит с запывавшим лицом:
«Гостя всегда ожидает наш дом. . .»

*

Едет Хусейн на охоту, за ним
Следуют беки один за другим,

Справа от шаха вазир Алишер,
Прост в обращенье, другим не в пример.

А Байкара — это гордость сама,
Пышно уложена в складки чалма,

Перья колышутся от ветерка,
Словно, сверкая, струится река.

Едет на стройном коне падишах.
Люди толпятся на крышах, в дверях,

Кони бьют землю копытами в лад.
Даже старухи вползти норовят

За молодыми на крышу, дувал, —
Только б увидеть, как шах проезжал!

Стража проходит — к отряду отряд —
Военачальников блещет наряд, —

Выезд обычных султанских охот
Напоминает военный поход:

Кухню везут с целой грудой шатров,
Бочки вина для победных пиров.

Вдруг Байкара, что скакал впереди,
Тихо шепнул Алишеру: «Гляди!»

Видит в решетке окна Навои
Белый кисейный платочек Гули,

Не заслонивший ее красоты.
Вмиг оживились Хусейна черты,

Им овладела нежданная дрожь,
Словно вошел в него молнией нож.

«Ах, — он подумал, — еще никогда
Мне не являлась такая звезда!»

Смотрит султан, забывая весь свет. . .
Девушка скрылась — ее уже нет.

Боль по душе Алишера прошла,
Словно ее поразила стрела.

Шепчет султан: «Той красавицы взор
В думах моих будет жить с этих пор.

Новый вдруг светоч зажегся в груди,
Новую вижу любовь впереди».

Горько скрывает в душе Навои
Тяжкую думу, страданья свои.

«Да, — говорит он, — разлука тяжка. . .»
Шах отвечает: «Моя же тоска. . .»

Но не ответил поэт ничего —
В грозной опасности счастье его.

Нежится в утреннем ветре земля.
Город далеко, вокруг лишь поля.

Псы впереди, слышны крики псарей.
Скачет султан за охотой своей.

*

Вот Алишер покидает седло, —
Видно, для отдыха время пришло.

Кони пасутся в траве у горы,
Всюду заране разбиты шатры.

Веселы спутники шахских охот,
С ними поэт разговоры ведет.

Буря в душе никому не видна,
Сердце пронизано болью до дна.

Шах восседает в шатре среди гостей,
Гордый удачной охотой своей.

Жарят барана, разлили вино,
Но у поэта на сердце темно.

Чашу он поднял, улыбка ясна.
Спорить с судьбою? Всесильна она.

*

Сватом явился кази у ворот:
Нос преогромный, на лбу его пот,

Толстой чалму наvertsел он копной,
Землю халат подметает полой.

Старый садовник в испуге дрожит,
Руки на грудь: «Господин, прикажи. . .»

Гость для приличья о том и о сем
Речь свою начал, добавив потом:

«Сват я султана. Великий наш шах
Мне приказал у тебя быть в гостях.

Он полюбил твою дочку Гули.
Непостижимы нам тайны любви. . .»

Долго хихикает толстый судья:
«Шаха отвергнет ли дочка твоя?»

Молча пред гостем садовник сидит
И, поклонившись, ему говорит:

«Надо спросить ее. Дочь ведь одна». —
А про себя: «Согласится ль она?»

И возвратился старик: «Господин,
Путь у Гули моей только один.

Знай же: у ней уже суженый есть.
Слово нарушив, погубим мы честь».

Сват от досады свой ворот схватил
И в изумленье слюну проглотил.

*

Мрачен на троне воссевший хакан,
Взор его гневен, а в сердце туман.

Морем волнуется шаха душа:
Новая девушка так хороша!

Только от свата на этот он раз
Слышит о том, что получен отказ.

Где Алишер? Но его не найдут.
Младший вазир за него тут как тут.

Шах говорит: «Как томлюсь я, любя!
Вся и надежда моя на тебя».

Младший вазир как на крыльях спешит,
Он и вселенную всю облетит,

По мановению шахской руки
Многих красавиц ловил он в силки.

Едет к садовнику: «Шаха приказ —
Добрый ответ получить мне от вас».

К дочке отец поспешил со всех ног:
«Не откажи! Да простит тебя бог!»

Девушка стала бледней полотна,
Потом холодным облилась она.

«Дочка, бессильны мы все пред судьбой,
Жребий тебе предназначен такой. . .»

Плачет Гули: «Алишер, жизнь моя!
Горе мне! Слово нарушила я».

С доброю вестью, довольный вполне,
Пухом посланец летит на коне.

Рад Байкара: «Справим свадебный пир,
Дрогнут тогда семь небес и весь мир!»

*

Час полнолуния. Ночь так светла.
Но для влюбленных сгущается мгла.

Перед разлукой поэт и Гули
Только тревогу и грусть обрели.

Туча покрыла цветник их души,
Молча сидят они рядом в тиши,

В Млечном Пути звезды-угли горят,
Ищет спасенья в них девушки взгляд.

«Гуль, я пойду за тобой до конца,
В звездной золе наши тлеют сердца.

Знай, пораженный такой же стрелой,
Сам истекаю я кровью живой».

Список дивана поэт достает:
«Образ твой в сердце навеки живет.

Эти газели тебе я дарю.
Не отвергай их: душой в них горю.

Здесь о любви говорится моей,
Вечной любви говорится моей.

Кто ж из нас — ты иль я? — неверны?»
— «Муки равно нам судьбою даны».

Горько Гули продолжает рыдать:
«Я б и рабыней могла тебе стать!»

«Полно, Гули, — иль заплачу и я,
Ты навсегда жизнь и радость моя.

Соединения не дал нам рок,
В горькой разлуке наш вянет цветок. . .»

Шуткой поэт утешает Гули,
Хочет, чтоб мысли от горя ушли.

«Станешь султаншей в величье своем,
Я ж пред тобой буду только рабом», —

Так говорит он, а в сердце тоска.
О, как судьбы беспощадна рука!

Где-то петух закричал в стороне.
«Милый, ты помни всегда обо мне!»

Жемчуг горит на груди у Гули.
«Где бы в разлуке пути ни легли,

Глядя на жемчуг, душе дорогой,
Буду везде представлять я мечтой,

Как я склонилась к тебе в забытьи...
Эти жемчужины — слезы мои».

Жемчуга нитка так ярко горит,
Очи у девушки горе темнит...

«Как малодушен я, — думал поэт
В горькой печали, под тяжестью бед. —

Образ, что девушке этой под стать,
Воображенье бессильно создать...»

Встал он: «Гули, дорогая, прощай!
Слезы сдержу я, и ты не рыдай!»

Стала душа его горсткой золы.
Тихо пошел он. Шаги тяжелы.

Так и расстались Гули и поэт.
Осиротевшим, им радости нет.

День уже темень успел превозмочь,
Неповторимая минула ночь.

*

Шах восклицает, от страсти дрожа:
«Ты словно солнце, Гули-госпожа!»

О повелитель, великий хакан!»
И перед ним она клонит свой стан.

Алый румянец на щечках поблек.
Шах же целует: «Послал тебя бог!»

Вот он садится в переднем углу,
Молча глядит, капли пота на лбу.

Девушки очи смятеньем полны, —
Так они стали темны и грустны.

Нежно сияет ее красота,
Сомкнуты только печально уста.

Пылкою страстью пред ней обуян,
Вздрогнул, как лист на платане, султан,

В радости слова не может сказать,
Словно уста заградила печать.

Многих красавиц любовь он знал,
Он их из знатных родов выбирал,

Но весь сияющий облик Гули
Чист был, как свежее утро земли.

Чувством внезапным Хусейн ослеплен,
Всё перед ним расплылось, словно сон.

Просит Гули: «Повелитель царей,
Дайте отсрочку мне на сорок дней,

Низко склонясь пред светлейшим лицом,
Ваша рабыня вас просит о том».

В просьбе не может ей шах отказать,
Вынужден он и томиться, и ждать.

Снова Гули: «Дать согласие вам жаль,
Но не к лицу вам такая печаль».

Шах ей в ответ: «Всё, что есть у меня,
Всё я отдам тебе с этого дня.

Ты — и Луна, и звезда в небесах,
Я же — тобой попираемый прах.

Как же тебе я ответил бы: «Нет»?
Ты и очей и души моей свет».

Низко склонилась пред шахом Гули,
Гордость в душе, но поклон до земли.

«Шах милосердный, я вами горда,
Правда вам спутником будет всегда.

Благодарю, справедливейший шах!» —
Молвит она со слезами в глазах.

Встал Байкара и печальный идет...
Так повествует в легенде народ.

*

Тает на ложе Гули, как свеча,
Тяжкая рана души горяча.

Сорок дней минуло. Стала Гули
Тенью, и на сердце тучи легли.

Горе вконец подточило ее,
Мраком окутало всё бытие.

В небе кровавые тучи горят,
В теле ее разливается яд.

Тихо вздохнула — конец настает,
Смертная тьма скоро очи зальет.

Встал на колени у ложа поэт,
В тягостном горе забывший весь свет.

Тихо прощается Гуль с Навои,
Тщится сказать ему слово любви:

«Иней весну моей жизни сгубил,
Больше бороться с судьбою нет сил.

Смерть уже близко, не видеть мне дня.
Просьба одна только есть у меня:

Вы на плечах мой несите табут,
Пусть и любовь мою в землю кладут.

Бог вам пошлет облегченье тоски.
Сердце разбилось мое на куски.

Прах мой неся, слез не лейте из глаз, —
Несокрушима судьба, как алмаз».

Шах потрясен ее гибелью сам,
Двор он покинул, дал волю слезам.

С тихой улыбкой она отошла,
Взор ей закрыла смертельная мгла,

И над умолкшей навеки Гули
Слезы кровавые льет Навои.

Горе на сердце горою лежит,
Шаху Хусейну поэт говорит:

«Сумрак дворца ее душу унес. . .»
— «Гроб кипарисный ей, саван из роз. . .»

И Алишеру, рыдая, на грудь
Бросился шах; он не в силах вздохнуть.

*

Тихо качается гроб на плечах,
Люди печальны все, лица в слезах.

Стонут рабыни, и, плача, народ
Тихо на кладбище тело несет.

В горе поник Алишер головой,
Слезы роняет одну за другой,

Горестный груз подпирает плечом,
Скорбным душа полыхает огнем.

Можно ли камень слезой растопить?
Солнце свое он несет хоронить. . .

Скрыта Гули под землю сырой,
Там обрела она вечный покой. . .

1968

ҲАМИД АЛИМДЖАН

182. ОБНОВЛЕНИЕ

На белогрудых облаках заря
Развесила пурпурные тюльпаны,
И вот уж солнца луч, животворя,
Льет золото на вешние поляны.

Вот бабочка слетела на цветок,
Бесплотная, на венчик села зыбкий,
Встречая гостью, каждый лепесток
Весной озаряется улыбкой.

Кусты от роз, как зарево, красны.
Красны. . . Опять в тени поют дутары.
Поют. . . В великолепии весны
Всё чаще сердца звонкие удары.

Подходит звездный вечер. Горы спят,
Покровом мягким зелени укрыты.
Приволье здесь для тонкорунных стад —
Травы обилье и воды избыток.

Весна! Чуть рог пастуший приумолк,
Звенит на пашне песня утром ранним,
И сердца твоего цветистый шелк
От маков вновь становится багряным.

Вглядитесь, травы дышат. Что ни час,
Жизнь обновляется на мирных этих склонах,
И я весной надеюсь каждый раз
Вновь молодость свою найти в бутонах.

1928

183. ВОСТОК

В горе, дервишей бедней,
Дни брели, понутив очи;
С минаретов, с тополей
Не спеша стекали ночи.

Под покровом снеговым
Великаны горы спали,
И века к богам глухим
Тщетно смертные зывали.

Угнетала тишина
Улиц, жаждущих, как чуда,
Громкой речи, хоть спьяна,
И шагов беспечных люда.

Звук тамбура уплывал,
Словно стон, в немые дали,
Голос сердца обнимал
Целый мир волной печали.

На ходу твердя Коран,
Четок нить перебирая,
Вереницы мусульман
Шли, тюрбанами качая.

Без конца песок, песок. . .
Раскаленный вихрь кружится. . .
Боль в глазах, а путь далек,
Караван без сил ложится.

Встав с рассветною звездой,
В паранджах, походкой сонной
Выходили за водой
Молча девушки и жены.

Иногда, как боль, назрев,
Песнь из хижин доносилась —
Да не радовал напев,
Где о боге лишь твердилось.

Так, отвержен, слеп от слез,
Влек Восток ярмо неволи,
А поэт средь вин и роз
Для тиранов музу холил.

Жизнь была как дикий лес,
Полный чудищ многоглавых —
Всюду глаз их страшный блеск,
Всюду стук когтей кровавых.

Радость кто тогда обрел?
Кто с бедою злой не знался?
Счастья бархатный подол
В руки бедным не давался.

Гнева огненным мечом
Труд рассек оковы плена —
Октября весенний гром
Прогредел по всей вселенной.

И Востока тяжкий сон
Был развеян тем порывом,
Солнцем дружбы озарен,
День настал в краю счастливом.

Сердцу кажется милей
И Луны, и звезд сиянье:
В глубине родных степей
Слышно трактора урчанье.

Став свободным навсегда,
Человек в борьбе суровой
Мудрой силою труда
Мир творит большой и новый.

Ныне блещут в небесах
Ночью зори золотые,
В электрических лучах
Горы, рощи молодые.

Ветры вольные поют:
«Будь в одном ряду с бойцами,

Славь упорство, смелость, труд,
Зажигай сердца стихами».

Счастья молодость не ждет
От аллаха иль пророка,
А сама его кует
На своей земле широкой.

Но восстаний алый стяг
Полыхает нам всё чаще,
И дворцы колеблет страх
Перед силой той бурлящей.

Нашей жизни яркий свет
Беднякам и всем бездольным,
Всем рабам — прямой ответ,
Как пробиться к высям вольным.

Этот день уже встает,
День всемирный, всемогущий,
И планету обоймет
Коммунизма сад цветущий.

1928

184. МОЛОДАЯ СИЛА

Ты в стране своей высишься, точно скала,
Что создать на свободе природа могла.
Даже в самые темные ночи светла,
Ты в сердца угнетенные свет пролила.

Ты в борьбе родилась, и удел твой высок:
В бурном море ты путь свой нашла, и, полна
Вдохновенья и страсти, ты, верой сильна,
В героические расцвела времена. . .
На груди твоей алый пылает значок.

В красном зареве битв, пламенея стократ,
Он с тобою сквозь бури и грозы прошел,
И, как молнии, нет и не будет преград
Светлой силе, что в сердце взрастил комсомол!

1928

185. ВОСПОМИНАНИЕ О НЕВЕ

Ты плавно движешься и, как девичий
Дневник, твои глубины тайн полны.
В твой облик жизнелюбцы влюблены,
Воспевшие в веках твое величие.

Позволь и мне, певцу иного края,
Отдать частицу своего огня
Тебе, прекрасной! Выслушай меня,
Не отвергай, стремительно вскипая.

Пусть голосом моей свирели вольной
Душа дарит тебе свой тайный свет
И хоть мгновенный, но оставит след.
А там — пускай уносят песню волны!

Да ты сама — поэт! Судьба столетий
Воспета звучным ладом вод твоих;
Ты в сердце вобрала огонь былых
Сражений, бушевавших на планете.

Когда-то здесь царили скорбь и тленье,
И солнце стыло. Зеленью листвы
Твои покрылись губы, но, увы,
Те листья не давали людям тени.

Повеяли живительные грозы.
Ты поднялась могучею волной,
И на щеках твоих, горя зарей,
Заполыхали огненные розы.

Гремели бури грозно и сурово.
Когда ж «Аврора» яркий луч зажгла,
Ты вновь свои расправила крыла,
В ожившем сердце кровь забилась снова.

Природа — гений. Кисть ее живая
Твой облик украшает каждый миг.
С тобой играет ветер-озорник,
Чадру, что солнце ткало, развевая.

Прощай же, не подвластная покою!
Я расстанусь с желанием святым
Бродить по славным берегам твоим,
Любуясь величавой красотой!..

1928

186. В СТЕПИ

Как перламутр, белеют
Реснички у цветов.
Тюльпаны пламенеют
На темени холмов.

Вот звезды надо мною
Затеплились светло.
Родное, озорное
Лицо вдали цвело.

В сиянии вечерней
Зари — душа светлей,
Степной простор безмерней
И сердцу всё милей.

Догнал... Уходим парой...
Холмы-подружки спят.
Уснул чабан с отарой,
И дудки не дудят.

Лишь звон ручьев прилежный
И в темноте не стих,
И счастья стебель нежный
Растет в сердцах людских.

1928

187. СОРВАННЫЙ ЛИСТ

(В день смерти Турсуной)

От стенанья далекого мрак задрожал,
Отзыв горестный дрогнул в душе моей юной:
В чистом сердце навеки оборваны струны,
И смеется блистающий дикий кинжал.

Говорят, будто лист сорван с древа весны...
О! Разорвано сердце, что радостью жило!
Горе, страшное горе людей сокрушило,
Бьет их дрожь, словно током они пронзены...

До полуночи тешилась звездной игрой.
А с рассветом на солнце взглянуть не успела:
Хладнокровный убийца свершил свое дело,
И колодец тебя поглотил, Турсуной.

Стяги траура, гневом сердца опаяя,
Словно ветви под ветром, склонились в печали,
В цветнике, не раскрывшись, бутоны опали,
С тяжким вздохом раскрыла объятья земля.

Говорят, будто лист сорван с древа весны...

1928

188. ДОЧЬ АЗЕРБАЙДЖАНА

Ветер ласковый с Каспия дул,
Возвещая рожденье весны,
И услышал я радостный гул,
Тайный голос далекой страны.

Облака, и черны и грозны,
Крылья властно простерли в те дни;
Как поблекшие листья бледны,
Звезд небесных мерцали огни.

Лица девушек — спелый гранат —
Укрывала чадра с юных лет,
И лишь взоры, не зная преград,
Нарушали суровый запрет.

Сердце юное мертвый закон,
Словно пленную птицу, держал.
Грудь страданьем напивал он,
Как отравленный ядом кинжал.

Ветер ласковый с Каспия дул,
Ветер светлой весенней поры,

И услышал я радостный гул —
Это женщины сняли чадры!

Лица девушек — спелый гранат —
Мыслью смелою окрылены,
То глаза молодые горят —
В них свободы огни зажжены.

Над потоками нефти в ночи
Звезды светлой выходят толпой.
Нескончаем могучий прибой,
И ключи под землей горячи.

Дочерей своих Азербайджан
Посылает на стройку страны,
Новым счастьем сердца их полны —
Жребий солнечный женщинам дан!

Мне их песни узнать довелось.
И, придя к ним на праздничный той,
Я им сноп наших пламенных роз
От узбечки привез молодой.

1928

189. НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Морская ширь! О, как прекрасна ты!
Себя с волной в одно соединяя,
Хотел бы плыть я, ветер обгоняя,
С тобой сливая песни и мечты.

Как мать ребенка, ты мой легкий челн
Ласкаешь и укачиваешь нежно,
Поэта вдохновляя дух мятежный
Игрой своих неукротимых волн.

А в бурный час счастливей нет тебя:
Могучий ветер воды вверх взметаает,
И вал то опадает, то взлетает,
Как жемчуг, брызги в воздухе дробя!

Объятье моря, как прекрасно ты!
Себя с волной в одно соединяя,
Хотел бы плыть я, ветер обгоняя,
С тобой сливая песни и мечты.

1928

190. ДЕТСТВО

Да, жизнь обычно такова:
Впивая жадно солнца свет,
Резвишься в цветниках сперва,
В песках, в лугах свой множишь след...
Поздней, влюбившийся в мечту,
Которой утоленья нет,
Пути к которой не сыскал,
Карабкаешься по хребту,
Штурмуешь перевал...

Детьми мы были... Сил запас
Накапливался что ни миг;
Был зорким и пытливым глаз,
А сердце чище, чем родник.
Была еще нежна душа
Той первой, раннею порой;
Мы жили, радостью дыша,
Пленясь каждою игрой.
Кишлачных узких улиц стык,
Домишки по холмам вразброс.
Сады... В садах цветенье роз,
Журчащий день и ночь арык.
Тропинки вьются, далеки,
Горят светилен огоньки,
А мы шумливою гурьбой
Спешим к воде и ну — нырять,
Плещась друг с дружкой вперебой,
Рыбешкам вспугнутым под стать!..

Пройдут ли девушки — вдогон
Летел, бывало, яблок град;
Восход Луны на небосклон
Служил сигналом для ребят:

Как воробьи, со всех сторон
Слетались мы, тот час избрав
Для прятков и других забав...
Как нам зато спалось потом
Ягнячьим безмятежным сном!

Давно те промелькнули дни,
И жизнь предстала нам иной:
Вперяя вдаль глаза-огни,
Помчал нас в город конь стальной.
Крутились по бокам сперва
Уступы гор...

Потом, гляди:
Всё, всё осталось позади.
Конь ржаньем оглашал простор.
Щемило сердце: в нем печаль
Вела с восторгом долгий спор;
Но путь был нов, манила даль,
И в споре победил восторг.

Немало отшумело зим,
Немало весен пронеслось
Полетом радостным своим,
И многое из снов сбылось...
Мужали души и умы,
И с маршем жизни городским
Сроднились мы.
Конечно, не всегда гладка
Дорога жизни... Вперерез
Порою бурная река
Рванется...

Кажется, исчез
И свет дневной. Но миг, другой —
Вновь блещет солнце над рекой,
Тебе и ей вернув покой.
Придет на память иногда
Минувшей юности пора
Иль детства... Кажется, вчера
Всё это было... О, тогда,
Перебирая те года,
Их воскрешая, сам не свой
Я молча никну головой.

Но не властна над сердцем грусть:
Промчались, промелькнули. . . Пусты!
Как море, жизнь передо мной
Шумит и пенится волной,
Вновь увлекая и маня,
Помолодевшего меня
В ее вскипающий прибой. . .

1928

191. ПРИДИ

(Из дневника)

Поэт, приходи к нам с вдохновенным словом,
Приди, дай радость людям в мире новом,
Будь летописцем красного пути;
Приблизься к нам, всегда к борьбе готовым,
Стихи сердцам горячим посвяти.

Мы ведь огонь, бушующий в вулкане.
Порыв наш юный — истины исканье.
Нам дали жизнь борьба, огонь и кровь;
Мы и звезды и месяца сиянье
И златокрылого рассвета новь.

Взрастили солнце нас и труд кипучий,
Сердца зажег в нас неба пламень жгучий,
Подобно искрам разлетелись мы.
Мы тучи разогнали, взяли кручи,
Мы тем сильны, что бьемся против тьмы.

Да, мы — весна. Но ведь придут и зимы.
Мы — пламя. Но вода неумолима.
О, многие хотели б нас смести!
Средь нас и те встречались, кто пустыни
Мечтами усыплял себя в пути.

В жестоких схватках мы преображались,
Мы возбуждаем гордость, а не жалость!
Нас не могли сломить враги страны.
Нас ненавидели, но мы сражались,
Пылающему времени верны.

Конец борьбы придет еще не скоро...
Сплотимся, чтоб друг другу быть опорой,
Поможем укрепиться новизне!
Мы молоды, страшнее нет позора,
Чем в эти дни остаться в стороне.

Друзья, придите строить с юным жаром!
Пусть уходящий внемлет песням старым,
Еще нам биться с многими не раз.
Но счастье улыбнется нам — недаром
Есть партия великая у нас!

1928

192. СИЯБ

1

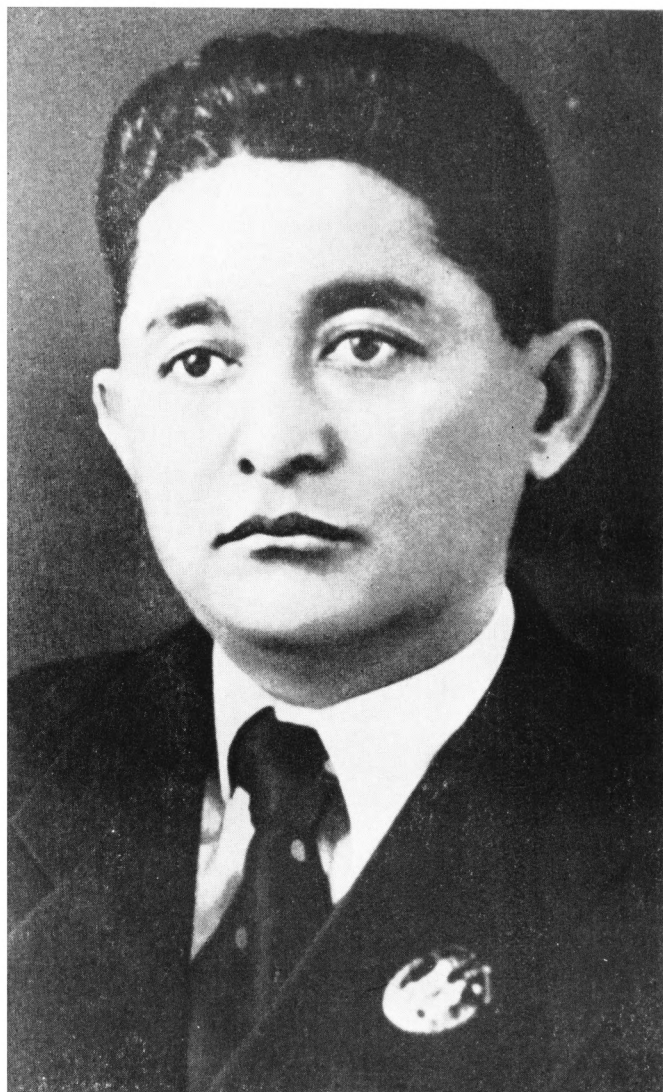
В полдень — с неба каскад
Золотистых огней.
Мощных гулов раскат
Рвет безмолвье ночей.
Задышали поля,
Молодеет земля,
Стаял досыта снег,
Счастлив каждый побег
На ветру, на свету
Колыхнуться в цвету...
Жадно пьет человек
Бодрых дней красоту;
То, хмельна и вольна,
Бархат трав
Разостлав,
Мир будя ото сна,
В путь рванулась весна!

2

Путь к Сиябу ведет,
Радость пенится в нас;
Что вокруг ни мелькнет —
Всё приметит наш глаз:



Хамид Алимджан



Хамид Алимджан

Вот в одной стороне
Овцы лугом трусят,
С ними сотни ягнят
В белоснежном руне,
К их веселой возне
Каждый тянется взгляд.
А в другой стороне —
Ни лугов, ни отар,
Там лишь в тягостном сне
Распростертый мазар...
Нелюдим, не храним,
Он в руинах лежит,
Он людьми позабыт,
Навсегда одинок...
Мы ж к Сиябу спешим,
Как потоки весной,
И в сердцах золотой
Зацветает цветок.

3

Наконец-то Сняб!
Словно взмахи ресниц,
Волны — вверх, волны — ниц...
Вышивает он вмиг —
Ловок, весел и скор —
Словно тысячью игл
За узором узор.
Мчится, мчится волна
Дальним сестрам вослед:
Поглядит ли луна,
Иль подсмотрит рассвет,
Как до первых она
Наконец доплеснет
Или там, вдалеке,
Затеряться в песке
Подойдет ей черед...
А пока об устой
Небольшого моста,
Что повис над рекой,
Бьется волн мелкота,
А из их гребешков
Расцветают потом

Сотни белых цветов
Под мостом.
Мост и впрямь невелик,
Но крепыш хоть куда:
Доставлять он привык
Тех — сюда, тех — туда.
Никаких никому
Не чинит он преград:
Груз не в тягость ему,
Он прохожему рад,
Будь тот молод иль стар,
Ночью будь то иль днем. . .
Вечерами ж на нем
Много топчется пар.
Нынче праздник-гульба,
Играм-песням — почет. . .
За гурьбою гурьба
Над потоком течет,
И Сяб, словно сам
Привечая народ,
Молодым голосам
Вторит рокотом вод.
Топот, говор и гул,
Звонких кликов не счесть. . .
Не по проискам мулл,
Не в аллахову честь
Праздник нынешний дан;
То совсем не курбан. . .
На подъеме крутом
Наших огненных дней
Места нет для ханжей,
Чей придуманный бог
Был отменно жесток. . .
Дует ветер с холмов,
Развевает платки,
И к прохладе реки
Клонят зелень голов
Тростники. . .
Радость сблизила всех:
Каждый весел и юн.
Топот, говор и смех,
Рокот вкрадчивых струн.

Вот он ширится, круг, —
Пляске нужен простор,
Тише струн перебор.
И красавица вдруг,
Каждый радуя взор,
Вскинув брови-серпы,
Чуть прищулив глаза,
Понеслась из толпы.
Стан ее — что лоза!
Дробен каждый шаг
Дружных с песнею ног.
Весела молодежь,
Разгулялся народ. . .
Здесь лица не найдешь
Со следами забот.
Каждый празднично юн!
Только где ж ты, Ильхам?
Где ты сгинул, Уйгун?
День ушел со двора,
Не пора ли и нам
По домам?

1929

193. В УЗБЕКИСТАНЕ

1

Солнце в невод свой золотой
Ловит тучек скользящих тень,
Нарастает шума прибой. . .
Так рождается в городе день!
Вот, прохладой ранней дыша,
Пионерка в школу спешит.
Рдеют щечки, и вся — свежа,
Словно лист, что дождем омыт.
Шаловливости огонек
Брезжит в светлой просини глаз:
Время есть, и путь — недалек,
Да вбежать не терпится в класс!
Там подружек шумливый рой,
В переменах игры и смех. . .
А учительница для всех
Стать сумела старшей сестрой.

Песня льется звучней, звучней,
 Песня будит и тормошит.
 С нею город встает и с ней
 Трудовой свой подвиг вершит.
 Жизнь вскипает, бурлит в цехах,
 У печей, машин и станков,
 И, как шип, вонзается страх
 В души злобствующих врагов.
 Город радостью обуян,
 И выходят толпы людей
 Не верблюжий встречать караван,
 А колонны стальных коней.
 На трибуне старик седой,
 От дехкан от дальних гонец,
 Он измучен долгой ездой,
 Вытер лоб, тряхнул бородой
 И сказал: «Кулачью — конец!
 Власть Советов нам дорога.
 Горше смерти то для врага!»

Зеравшан сегодня в плену:
 Покориться людям готов.
 Он смиряет свою волну
 И не рвется из берегов.
 А кругом сверлят и дробят:
 Доконать упорство камней
 Вышло племя богатырей,
 Камнерубов дружный отряд.
 Где лишь мертвый желтел песок,
 Там, предвестьем кипучих дней,
 Рассыпая бусы огней,
 Электрический мчится ток.
 И наказ Зеравшану дан:
 «Всем напором буйной волны
 Потрудись теперь для страны,
 Людям стань слугой, Зеравшан!»

Словно мрамор, прохладна мгла,
 Спят поля, и песня молчит.
 По тропе, прозрачней стекла,
 Над землею луна скользит.
 И Джура идет с кетменем:
 Надо струям открыть проток,
 Чтоб, измученный жарким днем,
 Хлопок вволю напиток мог.
 Как сегодня река щедра!
 Воды хлынули и текут. . .
 Не нарадуется Джура:
 Гряды жадно и шумно пьют!

Лишь о том, что скрылась луна,
 Петухи во тьме прокричат,
 За листвою, что так зелена,
 В сад торопится Адалат.
 Как проворны движенья рук,
 Как сроднились они с трудом!
 Радость вьется пташкой вокруг,
 Провожая сборщицу в дом.
 Шелкопрядам нужен уход.
 Много трудной с ними возни!
 Ишь, набросились, точно с год
 Не видали корма они!
 Но хозяйка их — молодец,
 И внимательна и зорка. . .
 Побежит по станкам сырец,
 Зашуршат по стране шелка!

Не улица — смерч пыли! Зной!
 А мальчуган, уткнувши нос в халат,
 Смеется: «Съел бы дыньку, брат,
 Вон, кстати, их везут, постой!»
 И впрямь — арба! Да, как назло,
 Так тащится, что невтерпеж!
 Столпились люди. Песню донесло. . .

Бежим навстречу... Толкотня, галдеж!
«Какую выбрать?» — «Эта хороша ль?»
— «Пить хочется!» — «Сбрось дыньку, что ль!»
— «Да с дорогой душой, изволь,
Режь, ешь. Мне разве жаль?»
А полосатая-то как сладка!
Всех лучше — чистый сахар, мед!
Да, знатно их выводит бахчевод
Ишмат-ака!

1929

194. ВЕЛИКИЙ ПОХОД

1

Узбекистан,
 живи,
 цвети
 всегда!

Да не останется в душе
От прошлых бедствий
 и следа!

Путем звезды —
Шаги тверды,
Победа впереди.
И в жилах
Бьющаяся кровь
Зовет:
«Вперед иди!»

Поток могучий!
 Мой Восток,
Как жизнь несущая стрела,
Летит в пустыни,
Где ничья
Душа
Доныне
Не была.

Пусть видят все,
 Кто в сердце
 завязал узлы
 Сомнений и вражды,
 Пусть видят все
 Великий наш поход!
 Идет народ
 И рушит стены
 Тысячелетнего
 глухого плена,
 Смывая плесень
 рабства и нужды.
 Разбросанные по степи
 глухие
 кишлаки
 Сливаются,
 как ручейки,
 В русло
 одной
 реки.
 Орлята одного гнезда
 Слетятся вновь
 и навсегда,
 И видят
 снеголикие
 Хребты
 сквозь облака:
 Идут
 бон
 великие
 За счастье
 на века.
 На огнекрылом
 скакуне,
 Разбрасывая
 искры,
 Летит батыр
 по крутизне,
 Как сай, кипучий,
 быстрый,

Спешит,
 всю жизнь свою несет
Туда,
 куда позвал народ.
Летит он,
 как из чигирика
Смеющееся семя,
Куда зовут народ великий
Наш стяг
 и наше время.

1930

195. ЮНОСТЬ

Юность легкой ласточкой умчалась.
Улетела, словно не была.
И в руках протянутых осталось
Лишь перо из синего крыла.

Я стою над пасмурным простором,
Дует ветер на море с земли.
Море, всюду море. . . А над морем —
Облаков косматых корабли.

Улетела, прошумев крылами. . .
Разве я успел сдружиться с ней,
Насладился яркими цветами,
Надышался юностью моей?

Разве я. . . Но ласточкой умчалась,
Улетела, словно не была,
И в руках протянутых осталось
Лишь перо от синего крыла.

Ну, прощай! Прощай, моя отрада,
Золотая ласточка, прощай!
Между нами — снежных гор преграда
И степной необозримый край.

Окружен я ветром и простором.
Междубурье. Дождевая мгла.
Море, всюду море. . . А над морем —
Свежий след от синего крыла.

1932

196. МАСТЕРСТВО

1

Сверкая, пламенея, день встает,
Ушедшей ночи поступь так легка.
Дыханье утреннего холодка,
Листовою шелестя, меня зовет,
Любви и жизни голос подает.

Не звук азана разбудил меня,
Не бай угрозой понудил меня.
Расчесывая волосы полей,
Осенний день поет: «Иди скорей!»
Листва над головой шумит: «Пора!»
Спешите в поле, хлопка мастера!»
И радостно мы ото сна встаем,
И, бодрые, в поля свои идем.

2

И вот — родное поле,
хлопок, хлеб. . .
Здесь я родился, вырос и окреп.
И много поколений здесь до нас
Рождалось и встречало смертный час.
Смерть, как колючка в пятке, как репей,
Дорогой прицепившийся к полé,
Была обычным делом для людей,
Изнемогавших в байской кабале.

Равно и юноши и старики
Здесь гибли от безжалостной руки,
Здесь миллионов жизней молодых
Весенние растоптаны ростки.

Был их удел — нужда и кабала,
Рубля на саван не было у них.
И это был народ! Он погибал.
Так, оседая, падает стена,
Подмытая разливом бурных рек.
Не смерть, а жизнь отцов была страшна.

Рабом тогда рождался человек.
Ничем не защищенный от обид,
На самой тощей и сухой земле
Таскал омач и сеял он чигит.
Весь урожай бай забирал себе.

Когда ж народ оружие подымал,
Отчаявшийся в боге и в судьбе,
Его каратель бешеный топтал,
И кровь по рассеченным лбам текла.
Жизнь бедняка зависимой была
Лишь от того — успеет он иль нет
Снять урожай, пока не выпал снег.

3

Теперь по всей республике моей
Мы славим знатных мастеров полей,
Собравших небывалый урожай,
Обогативших свой колхоз, свой край.
О мой народ!
Счастливая моя,
Родная
Большевицкая семья!
Моя отчизна, мой Узбекистан!
Со склонов снежных величавых гор,
От рек, чьи поймы не охватит взор,
За неизведанный степной простор
Ты золотые полы распростер.
Как пущенная с тетивы стрела,
Как сильный сокол, распахнув крыла,
Ты поднялся в великий перелет.
Тот путь не проходила и стрела,
Не пролетала птица никогда.

Как будто снегом убелен простор,
Раскрылся хлопок. Вся страна — на сбор!
Теперь богатство это — наше, друг!
Богатство это — дело наших рук.
Гордитесь урожаем, мастера!
Нужда, беда остались во вчера,
Как по пустыне тяжкий переход.
Теперь хозяин жизни — сам народ.
Природу победил свободный труд,
И новые поля вокруг цветут.

В грядущее высокий строим мост,
У нас в глазах сиянье новых звезд.
Эпохой нам задание дано
В сознании людей стереть пятно,
Родимое позорное пятно,
Капитализма черное пятно, —
Так, чтобы стал отныне и вовек
Свободным, сильным каждый человек.
Путь впереди велик,

но ни на час

Энергия не ослабеет в нас.
Необходимым всем вооружен,
Наш конь в поход, как птица, устремлен
На труд великий, на последний бой
За овладенье главной высотой,
С которой беспредельная видна
Ширь коммунизма,
вечная весна.

1933

197. ВЕСНА

Что ни день — хорошеет весна,
Что ни день — то наряднее платья,
И для всех открывает объятья,
Обаянием юным полна.

Ветер, верный привычке своей,
За весенние взялся проказы:
Дуя в разные стороны сразу,
Цвет урюка срывает с ветвей.

Воробьиный базар во дворе,
В цветниках — соловьиные трели,
Любо розам их слушать в апреле,
Вспоминая о зимней поре.

А весна — обольщение глаз! —
Всё приданое к празднику мая,
Из волшебных узлов вынимая,
Поразвесила нам напоказ.

Распестрелись цветы на лугах,
В поле юные всходы пшеницы
Омывают росой ресницы,
Под землею наспавшись впотьмах.

И земля — словно обновлена
Коллективной силой единой.
Ходишь степью, холмами, долиной —
Видишь как эта сила сильна.

Пастухи ль гонят в горы стада,
Кетменями ль колхозники машут,
Роя новый арык, или пашут —
Всюду радость весны и труда.

И, к труду приступая чуть свет,
Все в нем видят залог возрожденья,
И весеннее стихотворенье
Пишет людям на радость поэт.

Трудового подъема пора,
Ты, весна, — символ юности жизни.
К нашей доблестной юной отчизне
Будь всегда и добра и щедра!

1935

198. ДРУГУ-СБОРЩИЦЕ

Ждет не дождется тебя весна,
Песней звеня в полевой дали,
Словно тебе говорит она:
«Друг, ты в долгу у родной земли».

Солнце насытило светом дни,
Сумрак ночей напоен луной.
Многого ждут от тебя они
Этой сияющей весной.

В поле, в горах занялся рассвет.
Родина сердце твоё зажгла.
Пусть же родимых долин расцвет
Славой овеет твои дела!

В солнечном золоте вся земля,
Смысла великого дни полны.
Сборщица хлопка пришла в поля
Неувядаемой Ферганы.

1935

199. БАХРИ

Вот оно, счастье, птицей весенней
В дом прилетело, машет крылом, —
Юной Бахри столица прислала
Платье из шелка с ярким платком.

Сердце Бахри трепещет, ликуя, —
Нет, усидеть не может она:
Ходит по дому, поет, смеется,
Радостным светом жизни полна.

Нынче в колхозе пир небывалый.
Ночь напролет рокошет домбра,
Пляшет Бахри, ненасытная в пляске,
Кружится с бубном, поет до утра.

Люди довольны — вот молодчина,
Гляньте, достигла чести какой!
Старый и малый ее провожают
В город Ташкент на праздник большой.

«Ну что ж, Бахри, счастливой дороги!
В городе ты уж за всех погуляй,

Повеселись, свою душу порадуй
Да поскорее домой приезжай».

Солнце взошло — пора собираться.
Крышку откинув у сундука,
Быстро Бахри наряды сложила,
Словно утренний ветер легка.

С гордостью скажет она в Ташкенте:
«Я тружусь, не стою в стороне,
Хлопок собрав, корову купила,
А этот платок — награда мне».

Тайна работы познана ею:
Сила людей — в колхозном труде.
Страшно подумать, как разобщенно
Прежде тут жили, мучась в нужде.

Ходит Бахри по белому полю,
Зорко следит за каждым кустом!
Силу дает ей, на труд вдохновляет
Дружная жизнь в колхозе родном.

День ее доверху полон трудами,
Долей секунды она дорожит,
Слава о ней, подобно легенде,
В самых далеких селеньях гремит.

Всем ее подвиг служит примером,
Новая страсть захватила людей —
Каждая женщина, каждый мужчина
В честном труде соревнуются с ней.

«Хлопок собрав, я шелк покупаю,
Нежный атлас, золотую парчу,
Бархат, густой, как небо ночное, —
Всё, чем украсить себя захочу.

Хлопок собрав, я дом себе строю,
Белый, просторный, солнечный дом;
Добрых друзей на пир собираю —
Каждый пусть знает о счастье моем.

Сила и воля моя в коллективе,
Всяческий труд здесь славен, высок,
Душу свою в него я вложила,
За то мне Москвой и прислан платок!»

Новое платье Бахри надела,
Блещет платок, струясь по плечам.
В зеркало смотрит она, улыбаясь,
Смотрит, не веря своим очам.

Сердце Бахри трепещет, ликуя, —
Нет, усидеть не может она:
Ходит по дому, поет, смеется,
Радостным светом жизни полна.

Утром Бахри уезжает из дому
С сердцем, наполненным сладкой мечтой.
Старый и малый ее провожают
В город Ташкент на праздник большой.

1935

200. НОЧЬ У РЕКИ

Река шумит меж темных берегов.
Луна плывет над гребнем снежных гор.
Тень падает от светлых облаков,
Перебегая дремлющий простор.

Всё тихо. Лишь бессонная река
Обломки скал ворочает волной,
В поля, сады закинув рукава,
На склонах гор покоясь головой.

Спит горной цепи снежный караван,
Окутанный серебряною мглой.
Прозрачный, еле видимый туман
Струится между небом и землей.

Течет, шумит без усталости река.
Чу, вспыхнул свет, и раскатился гром,

Багрово озарились облака,
На миг всё стало видимо кругом.

Сверкая под Луной, волна кипит,
Плывет, раскачивает паром.
И вновь, кроша утесы, взрыв гремит.
И тишина на миг. И снова гром.

И поднимаются вершины гор
Из облаков, как из глубоких дум.
Холмы смывает гидромонитор,
И слышен гальки бесконечный шум.

Ударя в барабан, уходит прочь,
Как море, ночь — светлеющей волной. . .
К утру завершено за эту ночь
Строительство плотины головной.

Реке, ревущей, дикой, навсегда
Мы указали новый, верный путь:
В пустыню хлынет чистая вода,
Как воздух в задохнувшуюся грудь.

Там, где шуршали мертвые пески,
Подымутся поля, сады, леса.
Я вижу укротителей реки,
Их гордые улыбки и глаза.

Седых поэм по замыслу полней,
Уходит ночь, что не забыть вовек.
Вода растет в плотине. И над ней
Преобразующий природу человек.

1935

201. ГОРНАЯ ГАЗЕЛЬ

О, как нужна мне горная газель!
Ее я видел издали однажды,
И с той поры ищу ее и стражду,
Изнемогая от тоски и жажды. . .
О, как нужна мне горная газель.

В реке мелькнет косое отраженье,
Нагнись туда — и только волн движенье.
И вот уже над высями гранита
Стучат ее янтарные копыта.
О, как нужна мне звонкая газель!

Я травы рвал, я вспоминал преданья
У родника в час лунного сиянья, —
Она ж! . . Она за облаком летала,
По склонам гор, как молния, мелькала.
О, как нужна мне горная газель!

Я знаю, что зовут ее весною,
Что шелковистой юною травой,
Ковром цветов колышутся луга,
Где только проскользнет ее нога.
О, где же ты, весна моя — газель?

Я знаю, что зовут ее любовью,
Что чашу, полную кипящей кровью
Весеннего веселого вина,
Подносит ночью девушкам она.
О, где же ты, любовь моя — газель?

В каких снегах на мраморных вершинах
Сверкает пламень взоров ястребиных?
К какому озеру арчовую тропую
Идет она под утро к водопою?
О, где же ты, мечта моя — газель?

Пусть пройду всю жизнь, пускай погибну,
Но я свою крылатую настигну,
Открою ей заветное страданье,
Ей на ушко шепну свое желанье —
И станет песней горная газель!

1936

202. В ЧИМГАНЕ

По искристому срезу кремня
Пробежала газель над рекой.
Небо близко совсем от меня,
Облака задеваю рукой.

Горы с проседью белых снегов,
Всё обширней они, всё темней. . .
Вдоль окованных льдом валунов
Я иду по тропинке своей.

А долина внизу убрана
В шелк тюльпановый, в теплую тень.
Года круглого все времена
Видел я за сегодняшний день.

По ущельям — зима (потому ль
И под солнцем так холодно тут?),
У подножья — палящий июль,
А на склонах фиалки цветут.

Водопадов безудержный лет,
Белым кружевом манит волна.
С горы на гору тихо идет
С красной чашей тюльпанов — весна.

То зеленый, то розовый луг,
Голубые лежат зеркала,
И в зеркального озера круг
Загляделась седая скала.

Лишь увидев все эти места,
Заблудившись среди сумрачных гор,
Я узнал, где живет красота,
Как спокоен и дик ее взор.

И когда вслед вечерней звезде
Ветер горный поток уносил —
Я горстями в зеленой воде
Отраженные звезды ловил.

1936

203. У ЧЕРНОГО МОРЯ

Чудесный будет день: деревья на горе
Зарделись, засветились,
И, говорят, звезда видала на заре,
Как солнце к нам катилось.

Чудесный будет день: едва дрожит самшит
Под ветерком с побережья.
Чудесный будет день: ночным дождем промыт,
Прозрачен воздух свежий.

Чудесный будет день: где за волной волна
Бессонная несется,
Гляжу я в даль — она, как я, напряжена:
Мы ждем явления солнца.

Люблю его сильнее, чем любит пламень свой
Огнепоклонник истый!
День беломраморный, оправлен синевой,
Пришел тропой лучистой.

1936

204. ЮЖНОЙ НОЧЬЮ

Когда б не ты, я б этих волн свеченье
Не замечал, рассудка не терял.
Когда б не ты, я б этих слов значенье
С биеньем сердца не соразмерял.

И месяцем, плывущим величаво,
Не любовался бы, когда б не ты;
И луч звезды, мигающей лукаво,
Мне в душу не проник бы с высоты.

Нам стоило лишь встретиться глазами —
И, словно в бурю, мне стеснило грудь,
И я тогда узнал, какое пламя
Внезапно может в сердце полыхнуть.

Скажи, кто из людей, любивших прежде,
Как я, хмелел от счастья вновь и вновь?
Могла ли раньше девичья любовь
Так безоглядно ввериться надежде?

1936

205. ВООБРАЖЕНИЕ ПЕВЦА

Народному поэту Фазылу Юлдашу

Безбрежно, как сияющая высь,
Воображенье старого певца,
Воображенье, щедрое, как жизнь:
Нет у него начала, нет конца!

Оно всегда в движенье, как река,
В ночах разгадку вечных тайн ища,
То рушится в горах сквозь облака,
То степью вольно катится, плеща.

Вмиг оживая, рвутся с языка
Преданья, были, битвы древних сил.
Проходят поколенья и века
Скопленьями блуждающих светил.

«Пока спит солнце под морской волной,
Влюбленному внимает мрак ночной!
Есть спутники у тех, кто слезы льет,
Я плачу — плачут и они со мной».¹

«В разлуке двое — слез двойной поток.
Она — в плену, его удел жесток.
Терпенья чаша трещину дала,
Лицо от скорби вянет, как цветок».

Река вбегает на́ берег волной,
Земную ширь объемлют небеса.
В степную даль цветущую волной
Глядят Барчин бессонные глаза.

Там стен не строят, кровель не кладут,
Лишь степь да синь, куда ни кинешь взор.
В горах от смерти путника спасут
Стада гусей, взлетающих с озер.

К оседлой жизни не привыкли там.
На берегу реки раскинут стан,

¹ В кавычки взяты строки из стихов Ф. Юлдаша.

Где есть вода, где корм готов стадам,
И снова в путь уходит караван.

В путь караван! Нагружены вьюки;
Бряцают мерно бубенцы в ночах.
Рабы сквозь тучи гонят косяки
За горный кряж со снегом на плечах.

Шумны, как море, табуны коней.
На белой юрте блещет аксамит.
Уж сорок полностью дней и ночей
Пир свадебный без умолку гремит.

Клубятся степи свежие у ног,
Круг чертит месяц между облаков,
С рабами изнуренными жесток
Надменный бай — владыка табунов.

Конь скачет — по ущелью гром гремит,
Лишь храбрый в битвах будет знаменит.
Дождется ли народ звезды своей,
Иль дальний путь лучи ее затмит?

Как туча града, налетает враг,
Князья играют на лихих конях.
А стон народа потрясает мир,
Рабы восстали — топоры в руках!

Нет песням счета, горю — берегов.
Полны им были судьбы пастухов.
Рыдали в песнях скорбь и нищета,
И пас отары слушатель стихов.

Нет песням счета. Лебедей весны
Взлетает меньше с утренней волны.
Нет песням счета. Песни, мой отец,
Мильоны воль живых поднять вольны.

Заветные желания сердец
Находят в них опору и ответ.
Взмывает с песней из гнезда птенец,
И ветры с песней облетают свет.

Нет песням счета. . . Плачет в злую ночь
Поэта обесчещенная дочь.
И, окровавив седину певца,
Карательный отряд умчался прочь.

На виселице братья и сыны,
Рыдали песни, скорбны и больны. . .
Творец напевов, осенивших степь,
Седел, и были дни его темны.

Теперь свободны песни и сердца.
Стан распрямляет каждый человек,
И песен мир без края и конца
Родит страна, свободная навек.

Ликуют села, степи и поля. . .
Взлетает песня ярко в небеса.
Поет моя прекрасная земля,
И вторят песне горы и леса.

Для жизни мужественной, молодой
Слагает песнь крылатую певец.
Кто песен дар имеет золотой,
Придет к желанной цели, мой отец!

1936

206. СМЕРТЬ ОФЕЛИИ

1

Хочешь петь ты, но вместо слов
Стынет стон на сухих губах.
Ворох белых лесных цветов
В распростертых твоих руках.

Столько муки в твоей крови,
Так сгорающий взор глубок,
Что плывешь ты в слезах любви,
Как размытый волной цветок.

Что ж, плыви. . . Небосвод угрюм,
И пучина реки жадна,

Сколько жалоб, и слез, и дум
Похоронено в тине дна.

Будь ты чище хоть во сто крат,
Будь альпийских снегов белей —
Панихиды слова звучат
Над погибшей мечтой твоей.

Только странно, к чему тогда
Столько света в глазах твоих,
Что царица ночей — звезда —
Подражает сиянью их?

Почему тогда, для чего
Грудь бела, как снега вершин,
И у влажного рта твоего
Взял окраску свою рубин?

Хочешь петь ты. Но вместо слов
Стынет стон на сухих губах.
Ворох белых лесных цветов
В распростертых твоих руках.

2

Может, будь некрасива ты,
Меньшим было б горе мое, —
Беспричинна смерть красоты,
Неоправданна скорбь ее.

Старый мастер цветов и трав,
О природа, где разум твой?
И зачем, красоту создав,
Оскорбляешь ее бедой?

И для этого ль в тишине
Дочку нежно растила мать?
Цвет мой розовый! Трудно мне
О любви без тебя писать.

... Как печально и тихо как
Над пучиной плывут цветы. . .

Черным пламенем вьется мрак
Над могилою красоты.

3

Датский принц уже был угрюм;
Свой бессвязный вели рассказ
Окруженные тенью дум
Два пылающих угля глаз.

Он любил тебя, как глухой
Любит звон ключевой воды;
Он любил тебя, как слепой
Любит свет золотой звезды.

Только даже такой любви
Не разрушить безумья плен. . .
Милым Гамлета не зови,
Не склоняй перед ним колен.

В склепе скорби душа его,
Взор его омрачен и пуст,
И ни возгласа, ничего
Не сорвется с холодных уст.

Страшный дух, что пред ним предстал,
Опаливши дыханьем грудь,
Ночью сказку ему рассказал
И в далекий отправил путь.

Небосвод над тобой суров,
Он — темница для соловья.
. . . Меж размытых водой цветов
В темном иле коса твоя. . .

4

Чуть увяли цветы твои —
Старый мир мечты растерял
Стал он нищим в садах любви,
Безнадежным скитальцем стал.

С той поры по путям веков
Гамлет бродит, упрямя и груб,
И цветут у его следов
Лепестки твоих алых губ.

1936

207. УТРО ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Сегодня будет солнце! Возле гор
Расталкивают пальмы полутьму,
И звезды, выйдя утром на простор,
Дыханьем согревают путь ему.

Сегодня будет солнце! Под окном
Магнолия внезапно расцвела,
И синева над радостным цветком
Воздушна и безоблачно светла.

Сегодня будет солнце! На бегу
Волна волне ведет о нем рассказ.
И я стою на мокром берегу,
С его дороги не спуская глаз.

Люблю я солнце вдохновенней их —
Язычников из племени Дашна.
Оно придет! Тому порукой стих
И моря мраморная тишина.

1936

208

Зульфие

В года цветущей юности моей
В душе моей ты тихо расцвела.
Тогда весна открылась для очей,
И в жизнь впервые милая вошла.

Сверкали в солнце склоны снежных гор,
Цвели в тюльпанах красно-золотых,

И я ушел в тюльпановый простор,
Весь день бродил меж зарослями их.

Как я собирал охапками цветы,
Как мы потом не спали до утра, —
Всё помню до мельчайшей я черты,
Как будто было это лишь вчера.

С тех пор со мной огонь твоих очей
И черных кос струящаяся мгла. . .
В года цветущей юности моей
В моей душе ты тихо расцвела.

1937

209

Я вижу пчел в сверканье цветника
И всей душой ревную к ним цветы.
Люблю поймать в глазах у старика
Живой огонь лукавой красоты.

Когда душа свежа и молода,
То седина — как иней поутру,
И на груди седая борода —
Как пена волн на солнечном ветру.

О, как хорош расцвет седых долин!
Становится природа молодой,
Когда ее могучий властелин
По ним ступает твердою ногой.

1937

210. КОГДА ЦВЕТЕТ УРЮК

Под окном моим за ночь вдруг
Белый-белый расцвел урюк.

Каждый цветок, на ветке дрожа,
Славу жизни страстно запел.
Теплый ветер, зарю сторожа,
Первый запах украсть успел.

Что ни год — приходит в цветах,
Обольстит и уходит весна.
Что с бесстыдницей делать? Ах,
Ведь опять обманет она!

Но, обиды свои глуша,
На весенний глядя рассвет,
Я твержу: «Весна хороша.
Будет счастье мне или нет?»

Нежно глядя щеки мои,
Ветер шепчет: «Счастье с тобой!»
И чирикают все воробьи:
«Пой, счастливец, радуйся, пой!»

Выйду в сад, по дорожкам пройду, —
Лунной ночью, солнечным днем, —
Всё мне радо в белом саду,
Всё мне тайно поет об одном:

«Мир цветов пред тобою возник,
Ты домой унеси его весь,
Но обилен счастья цветник, —
Не снесешь — оставайся здесь.

И за всех ушедших давно,
Кто в слезах без цветов зачах,
Право счастья тебе дано
В белых-белых урючных садах. . .»

Под окном моим за ночь вдруг
Белый-белый расцвел урюк.

1937

211. КАК ПРОЗРАЧНА РЕКА...

Как люблю я прекрасную землю свою,
От чудес ее полнятся светом глаза.
Луч в воде утонул. И в живую струю
Опускает копытца степная коза.

А на желтом песке — уголками следы,
Словно буквы еще не разгаданных слоз. . .
Это счастье мое, что до поздней звезды
Изучаю повадки зверей и цветов;

Что за тенью своей по дорогам гонюсь
И уставшая рядом качается тень,
Что встаю до рассвета и громко клянусь
Веселее прожить свой сегодняшний день.

Как прозрачна река. . . И горды чистотой
Прямодушные люди в краю золотом.
Это счастье мое, что над синей рекой —
На крутом берегу — мой отеческий дом.

1937

212. ХВАЛА ДОМБРЕ

Народному певцу Абдулле-шаиру.

О дурном и о добром скажу я в стихах,
Вторит голосу сердца твой звук, о домбра!
Я прошел по вселенной с тобою в руках,
Свет очей моих, истинный друг, о домбра!

Что мне бедность и голод, только ты будь со мной:
Без тебя не расправлю я крыл за спиной,
А с тобою могуч я, как ветер Степной,
Ты служила мне в рабстве, средь мук, о домбра!

Нет другого в моем цветнике соловья.
Чуть ты смолкнешь — душа затоскует моя,
Станет сердце, как полная кровью ладья,
Но врачуешь ты скорбь и недуг, о домбра!

Ты со мной — мне по силам любые труды,
Ты со мной — не страшусь ни нужды, ни беды.
Вот иду я в поля, в золотые сады, —
Слава в землю вонзающим плуг, о домбра!

Никогда ни пред кем не склонял я главу,
Я с правдивой домброй неразлучно живу.

С песней ты, как Семург, меня мчала в Москву,
Озарявшая труд и досуг, о домбра!

С уваженьем тебя я в ладони беру,
Молодую звенеть заставляя домбру,
Ты — волшебница-пери, весной поутру
На цветущий слетевшая луг, о домбра!

Ты — прекрасной луной озаренная высь,
Ты — обильем плодов озаренная жизнь,
Ты — счастливо в колхозе найденная жизнь,
Ты — врага поражающий лук, о домбра!

1937

213

Счастливы я, что сад возделал я в родной своей стране,
Что всегда с народом вместе шел навстречу я весне.
Если кто с пути сбивался, не делил я горя с ним,
Оттого, что ум и сердце солнцем напоил живым,
Оттого, что ты, отчизна, дар взлелеяла певца,
Оттого, что тот чужой мне, кто не с нами до конца.

1937

214

Если выжмет слезу беда — не смирюсь.
Побледнею ли иногда — не смирюсь.
Если путь свой крутой с ошибки начну,
Я с самим собой и тогда не смирюсь!

В цветнике моем роз на кустах — не счесть.
И в саду соловьев на ветвях — не счесть.
Сколько в мире есть цветников — обойду,
Их на данных судьбой мне путях — не счесть.

1937

215. НАСТРОЕНИЕ

Откуда пришло ты и вторглось в сознание,
Смутило мне душу тревогою темной?
Зачем дружелюбья разрушило зданье
И сделало думы толпою бездомной?

Страну мою мысли мои облетали,
В них были горенье, порыв, откровенье.
А в чувствах моих — в их строю, в их накале —
Чудесно господствовало вдохновенье.

Струна только дрогнет — и звука довольно,
Чтоб душу мелодия заморозила.
Воробушек малый чирикает вольно
О том лишь, чему его мать научила.

Слух сердца я чутко настроил сначала,
Дал разуму волю — всё было на страже
И напряжено, и мешала мне даже
Случайная муха, что вдруг прожужжала.

Постой, дай продлиться волшебному свету,
Пускай завершится картина цветная!
Постой, допишу я последнюю эту
Страницу, в кровь сердца перо окуная.

1937

216. ПОИСКИ НОЧИ

По небу полная Луна
Плывет, меж туч яснея.
Ночь ищет на земле она,
И звезды ищут с нею.

А ночь пропала без следа —
Тень над землею тает.
В ложбине мутная вода
И та — в лучах блистает.

И на закат плывет Луна
С закрытыми очами,
А вся земля озарена
Рассветными лучами.

1937

217. КАЗАХСТАН

Казахстан — это край золотой,
О котором мой предок мечтал
И, придавлен к земле нищетой,
Сам мечту свою сказкой считал.

Казахстан — это счастья родник,
Край, где дышит свободно народ,
Где под каждой горою рудник
Нам богатство свое отдает.

Казахстан — это недра земли,
Что полны драгоценной руды,
Это нефть — солнце щедрой земли,
И Балхаш — чаша синей воды.

Казахстан — это горы до туч,
Это горный целительный ключ,
Это трав изумруд на лугах,
Это солнца сияющий луч,
Это клекот орлов в облаках.

Казахстан — это светлая ширь,
Это — золото и серебро,
И пшеницей наполненный мир,
И садов плодоносных добро.

И земля, и угоды страны,
Что извечно дехканам даны,
И заоблачных пастбищ простор,
Где пасутся коней табуны.

Казахстан — это добрый Джамбул,
Чьей домброю отчизна горда.

Это — угля немолкнувший гул,
Это — славная Караганда.

Это — грамотный, вольный народ,
Это — смелых наук торжество,
Это — к знаниям высоким восход,
Это — песен и игр торжество.

Это — с гнетом покончивший край,
Это — светлого счастья пора,
Это — Амангельды и Абай,
Это — наша плясунья Шара.

Это — синее небо весны,
Это — хлопок серебряный наш,
Это — сладкие звуки струны,
Это — шелковый голос Куляш. . .

Казахстан — это край золотой,
О котором мой предок мечтал
И, придавлен к земле нищетой,
Сам мечту свою сказкой считал.

Да живет Казахстан молодой,
Озаренный счастливой звездой,
Как под солнцем до самых высот
Озарен Алатау седой! . .

1937

218. СЧАСТЬЕ НАРОДА

Хоть своя у любого судьба,
Каждый к счастью по праву стремится.
Жажда жизни — в крови у раба
И у вольно летающей птицы.

Только многих, кого уже нет,
Пламя горестей испепелило.
Им мерещились небо и свет,
А досталась сырая могила.

С детства к солнцу тянулись они,
Но в потемках его не встречали.
И не в радости долгие дни
Проходили, а в горькой печали.

За глухими годами года
Шли, гася даже проблеск желаний.
Черным светом горела звезда
Над дорогою вечных скитаний.

У дверей стерегла нищета
И плелась по следам человека.
Каменела любая мечта
Под пятою угрюмого века.

Счастьем жизнь не согреет нагих,
Если край наш не станет свободным,
Если рай создавать для других,
Самому ж оставаться голодным.

Славным племенем большевиков
Завоевана наша свобода.
Не о скорби минувших веков
Я пою, но о счастье народа.

Изобилием дышит мой край.
Жизни ключ в нем бурлит неустанно.
Новый мир, словно сказочный рай,
Вместо старого Узбекистана.

Распускаются хлопком поля.
Тополя шелестят надо мною.
И звенит родниками земля,
Озаренная вечной весною.

1937

219. РОДИНА

Чуть глянул на мир я, как той же порой
Всем сердцем постиг и запомнил навек:
О родина, счастлив и жив человек
Лишь в полном, предельном слиянье с тобой!

Частицей твоей ощутил себя я
В долинах родных, что, ликуя, цвели. . .
Желанней, чем дождь для иссохшей земли,
Мне стала высокая слава твоя.

Тому не скажу я: «Мне спутником будь»,
Кто жало таить под улыбкой привык,
В ком жив только лживый, бесчестный язык,
А сердце мертво и безжизненна грудь.

С тобой, чьи за правду священные бои,
Я буду — лишь кликни — всегда и везде,
И в грозных сраженьях, и в мирном труде,
И глаз не сомкну я, как реки твои!

1937

220. РЕКА ПРОЗРАЧНА, ДАЛЬ ЯСНА

Я счастлив, а когда ликую —
Всё по душе мне. Солнце льет
На доли краску золотую —
Она в словах моих поет.

От памяти я отсекаю
Влачащих мрачно жребий свой.
Здесь радости я присягаю,
Любуясь неба синевою.

Белейший снег венчает скалы,
Река прозрачна, даль ясна.
Здесь мой исток, мое начало,
Мое жилье, моя страна.

Здесь каждый, кто добру причастен,
С друзьями делит дни свои;
Здесь человеческое счастье
Поют цветы и соловьи.

1937

221. ОТВЕТ

«Почему ты подолгу не скажешь ни слова?» —
Ты настойчиво снова спросила меня.
«Знаешь, друг мой, в минуты молчанья такого
Тело полнится предошущением огня.
А когда я беру в собеседницы думы,
Я смолкаю, мне тяжки словесные шумы.
Мысли, образы, сернам подобно, летят
По вершинам крутым моего поднебесья,
Облака покидают, спускаясь, и весь я —
Весь в их власти, я их вдохновеньем объят!
А потом, будто мощной рукою подхвачен,
Я в неведомый мир уношусь в забытьи.
Я молчу — только множатся мысли мои».

1937

222. ПУШКИН

Мужал он, а мир, одряхлевший, седой,
Когтил его сердце живое,
Терзал его тяжкою долей людской —
Горчайшею мукой земною.

Стремление к счастью в нем душу зажгло.
И, гневом великим палимый,
Бунтарь, обличал он насилье и зло,
Скитался, врагами гонимый.

Он взоры свои отвратил от дворцов,
От знати кичливой, холодной.
Пусть прозван был «вором» казак Пугачев,
Он видел в нем подвиг народный!

Подобно взволнованной бурной реке,
Со дна поднимающей тину,
Явил он Россию в слезах и тоске,
Рабов вековую кручину.

Но сам он себя не укрыл от беды.
Прямой, непокорный, кипучий,

Погиб, захлебнулся в потоке вражды,
В обиде и горести жгучей!

Как солнце, сиял над отчизною он,
Сердца пробуждая для жизни.
Жестокою ссылкой не покорен,
Был знаменем чести в отчизне.

Вершина Эльбруса в горниле лучей
Сверкала красой снеговою.
День юга! Дышал здесь изгнанник вольный
И песен дивил красотой!

Россия, Россия снегов и равнин,
Великая мощью народа, —
Без ласки, как пасынок, лучший твой сын
Стал пленником вечной невзгоды!

Под выстрелом подлым он наземь упал,
Как тополь, грозой сожженный.
В Россию под маской Дантеса стрелял
Ее притеснитель исконный!

И смерть, приближая конец роковой,
Объятая поэту раскрыла,
На алом снегу он поник головой. . .
Где ж русская эта могила?

Был тайно зарыт он. Чернее ночей
Дни общенародной печали,
И тысячи тысяч скорбящих людей
К могиле тот гроб провожали.

1937

Прощалась. . . Томимая счастьем, пошла,
Ссла возле моста через светлый ручей,
На сияющий месяц глаза подняла
И себя увидала в объятых лучей.
И, на воду глаза перекинув с небес,

Захотела, нагнувшись, воде рассказать
Ей одной лишь известную повесть чудес —
И себя не могла в отраженье узнать.
Из прозрачного зеркала струй, где эфир
Опрокинутой выси бездонно синел,
С белой девичьей грудью неведомый мир
Взглядом черным в глаза ей глядел.
Не дыша, замирая, смотрела она
В этот мир, что возник в глубине у моста,
А когда говорить захотела она —
Отраженье в ответ приоткрыло уста.
И, вглядевшись в мерцающих вод глубину,
Вдруг себя в отраженье узнала она:
То она сквозь прозрачную смотрит волну,
То ее одевает в сиянье луна.
Застыдясь, поднялась, ничего не сказав,
И пошла молчаливо и тихо домой,
Позабыв меж обрызганных росами трав
Серебристого шелка платок головной.

1937

224. САМАРКАНД 21 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

Тот день не позабудется вовек,
В воображенье оживает он.
Как стаи аистов, кружился снег,
Весь мир был белым снегом занесен.
В густом снегу все ветки и кусты,
В снегу, запахиваясь на бегу,
На площадь торопились старики.
И дети пробирались сквозь пургу
Между садов из дальних кишлаков,
И женщины бежали, все в снегу,
Отбрасывая паранджи покров.

В волнении великом вся страна,
Огромная печаль у всех одна —
Печаль утраты горше всех утрат.
Кто ж в том всеобщем горе виноват?
Какая весть сердца живых прожгла,
Как огненная грозная стрела?

И в изумлении старик один
Спросил в толпе у сына своего:
«Кто был тот человек, скажи мне, сын,
Что провожает весь народ его?
И ведь не в Самарканде умер он,
И даже не жил в наших он краях!
Так почему ж печаль во всех глазах,
И тьмы людей пришли со всех сторон?»
— «Сегодня умер Ленин! — сын в ответ. —
Таких, как он, еще не видел свет!
Стара вселенная, и много в ней
Рождалось мудрецов, богатырей.
Но Ленин всех великих превзошел.
Всю книгу жизни мира он прочел,
В ночи кромешной, в заточенье он
Голодных миллионов слышал стон.
Свой гнев он на тиранов устремил
И тиранию в пепел превратил.
В твердыню мрака рухнули врата,
Исчезла вечной ночи темнота!
Сквозь ураган провел он караван
Опустошенных, разоренных стран
И вывел страны на великий путь,
Где светит солнце, вольно дышит грудь!
Он хлеб голодным, кров бездомным дал,
Он беднякам навечно землю дал.
Будь жив сейчас могучий Прометей,
Огонь небес добывший для людей,
Увидев Ленина, он на вершинах гор
Порвал бы цепи, вышел на простор!
И вот кого смерть нынче унесла!
И вот чья смерть скорбь эту навлекла!
Всё будет мало — сколько ни скорбим.
Не хватит в мире слез — рыдать над ним!»

Печаль в глазах народа моего,
Печаль и скорбь в душе большой его.
Как море, дышит площади жерло.
Как море, толпы дышат тяжело.
И души-волны мчатся без конца,
И бьются, как морской прибой, сердца...
И снег валил. Косматый, талый снег,
Как хлопок белый, небывалый снег.

И облаков, тот снег несущих, мгла
Тяжелой тенью по земле легла,
И тени той, казалось, не отвесть. . .
И в сумерках всё гуще падал снег.

В воображенье оживает весь
Тот день, незабываемый навек.

1938

225. НА БЕРЕГАХ ЧИРЧИКА

Цветники долин я жадно созерцал
И, потоком дум объятый, онемел.
Над седой водой звездой сиял Чаткал,
Из-за гребней гор в глаза мои глядел.

Изумлен, стоял перед Чирчиком я —
Тайну бытия в волнах я увидал.
Мне отсель видны Аму и Сырдарья,
Их слиянья шумный, неумный вал.

Вкруг меня сыны народа — мудрецы,
Первые в отчизне смельчаки:
Ведуны воды, грядущего творцы,
Лучшей из наук о счастье знатоки.

Жизнь пескам пустынь несут они в руках,
Струи новых рек, что потекли в песках.
И земля тучнеет волею труда,
И весна, весна бушует в ледниках.

Хлопок пышно зреет. А в тени садов
Медом тяжелеет урожай плодов.
А вдали — пустыни огненная синь,
Желтая гряда пылающих песков.

Старого Востока степь окрест легла.
Говорит: «О, дай мне воду Ферганы!
Я столетья жажду. Мощь моя ушла,
Дай испить чирчикской сладостной волны!

Где арыки те, что вырыл Навои?
Высохли, вода по руслам не идет.
О Чирчик! Когда б, как берега твои,
Зеленеть и мне у говорливых вод!»

Дивно ль, что в степях рожденный человек,
Увидав плотины и кипенье вод,
Из суровых глаз, не знавших слез вовек,
Слезы умиленья на землю прольет.

Я — поэт Востока. Помню огневой
День, когда те слезы бедняков-дехан
Стали песней! Песня ж повела на бой,
Беды сотен лет смела, как ураган.

Миллионов песнь о Ленине была.
Эта песнь всегда на подвиги вела.
Эта песнь в боях победы нам дала,
Солнце бытия бессмертное зажгла.

Диво ль, что всю жизнь страдавший человек,
Увидав Чирчик, кипенье светлых вод,
Из суровых глаз, не знавших слез вовек,
Слезы умиленья на землю прольет.

Ибо ей, воде, могущество дано
Исцелять недуги, мертвых оживлять.
В сердце у певца желание одно:
Весь Восток, весь мир свободным увидеть!

Почью над Чирчиком тысячи огней.
Предо мною мир — прекрасней, чем весна.
Песнь о нем в душе рождается моей,
Как над гранью гор апрельская луна.

1938

226. УЗБЕКИСТАН

Когда брожу по стране родной,
Странное чувство владеет мной:
Землю ее цветущих садов —
Что ни миг — целовать я готов.

Расскажам людей внимать люблю —
Мысли и песни в душе коплю.
С песней вдоль рек родных прохожу,
С песнями я по долинам брожу.
Но краше всех легенд старины
Нынешний облик моей страны.
Вот он вновь предо мною возник,
Край мой родной, мой пышный цветник,
Солнцем и синевою осиян,
Звонко названный — Узбекистан!
О родина-мать, как ты хороша!
Тобой через край полна душа.
Словно невеста счастливая ты —
У ног твоих пестреют цветы.
Это долина, радуя взор,
Свой живой расстилает ковер.
Как мириады алых пиал,
Тюльпаны в горах — красней, чем лал.
Чело твое венчает убор
Снежных серебряно-белых гор,
И, полноводны и широки,
Тебя омывают две реки.
Их живой водой побежден,
От глаз людей убегает сон.
Радостный тут закипает труд,
Без песни не работают тут.
Щедро за труд человеку воздав,
Хлопок растет, высок и курчав,
Яблони, цвет осыпав с ветвей,
Никнут под сладкой ношей своей,
Гнется колос под грузом зерна. . .
Богата моя родная страна!
В поле — работа. Войдешь в города —
И здесь не смолкает песня труда,
Люди на фабриках ткут, прядут,
Радостен в стране моей труд.
Нет, страной скорпионов и змей
Мой край теперь называть не смей!
Эта экзотика нам смешна:
Она не такая, наша страна!
Свободен и счастлив наш народ, —
Тутовый червь нам шелк дает,
Птицы не любят от нас улетать,

Пчелы рады нам мед давать,
Чтобы, довольства и счастья полна,
Была прекрасна наша страна.
Верен по-прежнему розе своей,
Теперь не стонет над ней соловей,
Новой ее красотой восхищен,
Счастлив в моей стране и он.
Поэты газели поют, но стих
Теперь не отравлен слезами их.
Матери над колыбелью поют —
Судьбу своих детей не клянут.
Счастливая на все времена —
Вот такая моя страна!
Каких героев мой край воспитал!
Взгляни на Большой Ферганский канал!
Кем же тебе эта мощь дана,
Любимая, родная страна?
Кто тебе вырасти так помог,
В чем твоей громкой славы залог?
Это Партия, это Москва —
Вечно святые для нас слова.

1939

227. МОСКВА

Ночь настает. . . На крыльях смерть неся,
С глазами, налитыми черной кровью,
Стервятники взлетают в небеса,
Таясь, кружат уже над Подмосковьем.
Врагу навстречу гневная Москва
В броне из стали, матовой от дыма,
Встает. Она в суровости права,
И ненависть ее неистребима.
О город мой! Забыта тишина.
Настороже. И ни на миг покоя. . .
В твоей душе к победе страсть одна,
В твоём быту один обычай — боя!
Вот истребители — к звену звено —
Грозят бандитам смертью неминучей,
И волны рек вздымаются всё круче —
Свалить врага и утянуть на дно.

Стервятникам не избежать нигде
Прожекторов, зениток грозной силы.
Безмолвные просторы площадей
Разверзнутся и станут им могилой.
Москвы не знаешь ты, коварный враг,
И разобьешься об ее твердыни,
И по ветру развеется твой прах,
И память о тебе навеки сгинет!
Москва моя! Народов светлый дом!
Твоим щитом стоят бойцов отряды.
Пусть знает враг:
За жизнь — мы жизнь возьмем,
И кровь за кровь прольем мы без пощады.
Москва моя! Любой из нас хранит
Тебя, как сердце, как свое дыханье.
Неколебим навеки твой гранит,
Незыблемо знамен твоих сиянье!

1941

228. ВОЗЬМИ ОРУЖЬЕ В РУКИ

В утреннем тумане жизнь кипит,
По дорогам слышен стук копыт.
Родина великая не спит,
Клич: «В поход!» — по всей стране родной,
Меч заветный свой
Точи на бой!

Если хочешь ты, чтоб лютый град
Не побил твой хлеб и виноград,
Если хочешь ты, чтоб младший брат
Не лишился жизни молодой,
Меч заветный свой
Точи на бой!

Если хочешь человеком быть,
Если хочешь на свободе жить,
Если ты не хочешь цепь влачить,
Словно раб, покорный и немой,
Меч заветный свой
Точи на бой!

Если кровь в тебе, а не вода,
Если дороги тебе всегда
Честь твоя, плод твоего труда, —
Юноша ты иль старик седой —
Меч заветный свой
Точи на бой!

Если ты не хочешь, чтобы враг
Стал охотиться в твоих горах,
Раздави его, сотри во прах,
Грянь грозой над черною ордой!
Меч заветный свой
Точи на бой!

1941

229. ПИСЬМО

Я не забуду слов твоих,
Трех слов, зажегших нас,
Я не забуду глаз твоих,
Горящих гневом глаз.

Сказав: «Умри иль победи!» —
Ты мне вручила меч.
Я с именем твоим в груди
Бросаюсь в бурю сеч.

Я крепну в яростных боях
С фашистскою ордой.
Найдет могилу враг в полях
Земли моей родной!

Я ночью не поддамся сну.
Лес темен, недвижим;
Я вслушиваюсь в тишину
Всем существом моим.

Чу! — шорох: как за волком волк,
Тревогою гоним,
Проходит в чаще вражий полк
По просекам ночным.

Ну что ж, злодей, погибнешь ты,
Коль жизнь не дорога, —
Я, словно беркут с высоты,
Нагряну на врага.

Ударом молнии ему
Я сердце расколю,
Как море — волны подыму
И, хлынув, затоплю.

Кровавые потоки вброд
Не перейти врагу,
Он гибель черную найдет
На нашем берегу!

Он миру, как чума, грозит,
Как вор, ползет в наш дом.
Но в ужасе он побежит
Перед моим штыком.

О мать, не бойся за меня,
Приободришь и жди.
Несокрушимее кремня
Сердца у нас в груди!

Сквозь море пламени пройдет
Твой сын — и не сгорит,
Его и пуля не возьмет
И сабля не сразит!

И сын твой званьем удальца
Тогда лишь станет горд,
Когда фашизм навек с лица
Земного будет стерт.

Сказав: «Умри иль победи!»,
Ты мне вручила меч.
Я с именем твоим в груди
Бросаюсь в бурю сеч.

1941

230. ДРУГУ, ИДУЩЕМУ С ВОСТОКА НА ЗАПАД

Держи свой путь на Запад, богатырь!
Твои друзья скорбят от горя злого,
Их города захвачены врагом —
У наших братьев нет угла родного.

Ты — солнце скорбной родины, мой друг,
Окровавленных нив освободитель.
За стон и слезы гитлеровских жертв
Идешь ты в бой, как беспощадный мститель.

От крови пьян, взбесился живодер,
Петля и нож милей всего злодею.
Еще надеясь, бледный, ждет тебя
Старик в петле, накинутой на шею.

В боях твой друг ослабил мощь врага
И пал, убитый, на твою дорогу.
И жены ждут прихода твоего,
Тая нетерпеливую тревогу.

И дети плачут, потеряв отца,
И ждут тебя бессонными ночами.
Благословляют матери тебя,
Мечтая расквитаться с палачами.

Держи свой путь на Запад, богатырь!
Подобно солнцу, ты придешь с Востока.
Освободишь друзей из черной тьмы,
Куда насильник ввергнул их жестоко.

Поля, врагом истоптанные, ждут,
В ожогах черных, в диком запустенье.
Спешите туда! Бесплодные сады,
Тоскуя, чахнут в горестном смятенье.

Пока ты здесь — на Украине тьма,
Там не тюльпаны, там лишь кровь краснеет.
Пока ты здесь — там солнце не блеснет,
Пустых полей крестьянин не засеет.

Спеши туда, освободитель, друг!
Казни врага, у смерти вырви брата.
Где ты прошел — в сердцах народов скорбь,
Как снег под солнцем, тает без возврата.

Ответь таким ударом на удар,
Чтобы враги в беспамятстве бежали.
Держи свой путь на Запад, богатырь,
Рассей в сердцах народа тьму печали.

Ночную тьму избавь от волчих стай,
День золотой избавь от чужевластья!
На каждый холм, отбитый у врага,
Внеси багряный стяг труда и счастья.

1942

231. ДЕРЕВЦЕ

Друг мой далекий! Весною в саду
Деревце ты посадил.
Деревце это глядит на звезду
И набирается сил.

Деревце стало высоким, как ты,
Пышным, как майский рассвет.
Белые мне протянуло цветы,
Словно от друга привет.

Ночью, когда в задремавшем саду
Травы окутает тишь,
К деревцу я в темноте подойду:
«Тоже не спишь? Грустишь?»

Солнце над садом росистым встает —
Деревце думает: ты;
Лунная ночь по тропинкам идет —
Деревце думает: ты.

Ветер летит, и в зеленой листве
Нетерпеливая дрожь:

Кажется — ты по шумящей траве
К дому родному идешь.

Дереvence склонит верхушку свою —
Светлые ветки шумят,
И лепестки на дорогу твою
Белою стаей летят.

Яблони, вишни и весь голубой
Сад у родимой реки,
Где бы ты ни был — следят за тобой,
Слышат твои шаги.

Нет, не цветы, не деревья, не сад —
Я истомилась, любя,
Скоро ли, милый, вернешься назад,
Скоро ль увижу тебя?

Бейся, джигит мой, в пожарах боев
Гибель неси врагам.
Пыли щепотку с твоих следов
Мне бы прижать к глазам!

Мне бы в ручье между темных ив
Образ увидеть твой! . .
Друг мой далекий! Врага победив,
Скорее вернись домой!

1942

232. ДЖИГИТ

Когда орел взмывает к тучам —
Воробы прочь летят;
Когда скакун бежит по кручам —
Ущелья вслед гремят.
Когда джигиты, ставши в стремя,
Вперед коней стремят —
Руби врага! Настало время,
Коси за рядом ряд!
Клокочет гневом сердце наше,
Так не щади врага!

Давно полна терпенья чаша,
Так не щади врага!
В боях отважен будь и страшен,
Вынослив будь, солдат!
Пусть наших рощ, лугов и пашен
Враги не осквернят!
В лесах, в степях, под высью звездной
Врага-гиену бей!
Пока враги не сгинут в бездне,
В огне геенны — бей!
Пока весь род их не исчезнет
С лица вселенной — бей!
Твои дела в нетленной песне
Потомки сохранят!
Ты наш, ты рос под ясным небом
Отчизны дорогой.
Все ждут тебя. Столь жданным не был
Нигде никто другой.
Рази врага рукой героя,
Железную рукой!
Придешь ты — горы пред тобою
Седины преклонят.
Разбей скорее орды вражьи —
Фашизма злой оплот!
Тебя с победою, отважный,
Страна Советов ждет,
Ждет из далекого похода,
Считая дни, народ.
Сады, склоняясь к журчащим водам,
Ждут, шелестя, не спят.

1942

233. ЛЮБОВЬ

Пришла смущенная — с букетом роз.
«На память сохрани», — сказала ты.
В моих глазах застыл немой вопрос,
Мне руку обожгли твои цветы.

«Сегодня молодость — слуга войне,
Судьбу любви решит судьба войны.

Проверить на святом ее огне
Все чувства наши мы теперь должны.

А если не вернусь. . . Мой милый друг. . . —
И влагой грусти взор твой налился. —
Ты не забудешь обо мне. . .» И вдруг
С твоих ресниц закапала роса.

Я удержать не смел тебя, не мог,
И в западне забилося сердце вмиг:
Мне в нежности твоей звучал упрек,
Я совести своей услышал крик.

Да, нам теперь пути иного нет,
Нельзя теперь шагать другой тропой.
Как солнце месяцу выходит вслед —
Я на войну ушел вслед за тобой.

Нас разлучила грозная война,
Но в сумке я твои цветы держу,
И родины, и милой имена,
Скача в атаку, с нежностью твержу.

Преследуя захватчиков, губя,
Жестоко мстя за родину свою,
С клинком в руках стремлюсь к тебе, любя —
Струна любви не молкнет и в бою.

Чем горячее бой, чем он грозней,
Чем яростней сражаюсь я клинком,
Тем поцелуй мой мысленный нежней,
К тебе летящий легким ветерком.

А может быть, скитальцами в веках
Стать нашим поцелуям суждено?
Но любящим сердцам, презревшим страх,
И в гибели бессмертие дано.

Нет, не исчезнут наши имена!
На празднестве победы — будет час! —
С живыми наравне почтит страна
Овеянных легендами и нас!

Вновь Украины расцветет краса,
Позолотит она поля свои,
В зеленые российские леса
Слетятся петь нам славу соловьи.

И колосом пшеничным встану я,
И заискрюсь горячей кровью вин,
И заиграет в розе кровь твоя,
Речную гальку превратит в рубин. . .

Нет, храбрых в жизни смерть не заберет,
Любовью смелых озарится мир.
Любимые, друзья! Родной народ
Победы ждет. Мы явимся на пир!

1942

234. РОССИЯ

О Россия! Россия! Могучая Родина,
Беспредельно огромная, как небосвод.
Даже солнце, пока полпути им не пройдено,
Тебя сразу лучом своим не обоймет!

Поезда в многодневном пути задыхаются,
Пробежав от закатной черты на восход.
Птицы с неба не раз отдохнуть опускаются,
Совершая над ширью твоей перелет.

Не обнять богатырской твоей поясницы
Рекам, славным длиной и обилям вод,
И с великим народом твоим не сравнится
Ни один во вселенной живущий народ.

Сокрушит твоя сила все злые напасти,
Землю солнце любви твоей светом зальет.
Ты воздвигла твердыню свободы и счастья,
Где семья наших братьев-народов живет.

Честь великая дней своих гостреть начало
В колыбели твоей, под напевы твои.

В каждом доме, где Пушкина имя звучало,
Дышит, свято хранима, и речь Навои.

О, какую громадою дум обняла меня
Моя память у дальних твоих берегов! . .
И увидел я меч твой карающий в пламени,
Под Москвой опрокинувший орды врагов.

И когда перед холода силою лютой
Птицы падают замертво в снег на лету,
Твои дети, могучие храбрые люди,
Гонят вражьи полки, как заря темноту.

Под лучами любви твоей солнце светлеет,
Под лучами любви твоей тают снега.
Но пред гневом священным твоим цепенсет
И во прах сокрушается сила врага.

И увидел я вражьи твердыни разбитые,
И услышал твой гром, грохотавший в бою,
Видел я, как орлы твои плыли над битвою,
И наполнился верой в победу твою!

О Россия! Россия! Твой сын, а не гость я.
Ты — родная земля моя, отчий мой кров,
Я — твой сын, плоть от плоти твоей, кость от кости,
И пролить свою кровь за тебя я готов.

1943

235. ШИНЕЛЬ

Цвет твой — серой пыли цвет.
Ах, шинель моя, мой свет!
В дни, когда я шел к желанной,
Был я иначе одет.

Был к лицу мне, спору нет,
Шелковый узорнотканый
Бекасам из Маргилана
В пору юношеских лет.

Но забота из забот,
Словно буря, налетела,

И в шинель меня одела,
И отправила в поход —

Прямо в край далекий тот,
Где жестокий бой идет,
Прочь от милого предела,
Где отцовский сад цветет.

Стан затягивает мой
Жесткий пояс боевой.
В битве будет не у дела
Поясной платок цветной.

А в ладонях у меня
Блещет вместо кетменя
Ствол, заряженный грозою
Смертоносного огня.

Как подушки пух, мягка
На ночлеге ты была мне,
И в болоте, и на камне
Грела лучше тюфяка.

Ты мой спутник навсегда.
Если я убит не буду,
Я тебя не позабуду.
Не заброшу никогда.

На почетном месте впредь
Дома будешь ты висеть.
Шелк на праздник надевая,
С уваженьем на тебя я
Не забуду посмотреть. . .

1943

236. ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНИЯ

Сегодня день рождения твоего.
Сегодня дом, как луг весенний, ярок.
Лишь я один сегодня
ничего
Не принесу возлюбленной в подарок.

Тебе сегодня девятнадцать лет,
С тобой — весны счастливые соцветья,
А я в бою встречаю свой рассвет,
Справляю праздник совершеннолетия.

В окопе дымно. Только в щель видны
Две-три звезды над тучкой голубою.
И небом родины глаза мои полны,
И вся душа моя полна тобою.

О, выйди в сад! Взгляни на небо ты,
К нему прислушайся на миг единый,
И, может быть, из дальней высоты
Тебя напев коснется соловьиный.

Пусть будут нынче веселы друзья,
Красноречивы будут поздравленья,
Но пусть никто не слышит соловья,
Не замечает твоего волненья.

Пусть пьют друзья сегодня допьяна,
Пусть вдоволь будет и вина и хлеба,
И только ты, красавица, одна,
Подняв бокал, опять взгляни на небо.

Тебе сегодня девятнадцать лет,
И нет поры для молодости краше.
Но дашь ли ты торжественный обет,
Любовь моя, не становиться старше?

Не говори ни слова мне в ответ
И не шути над выдумкою друга,
Не уходи за девятнадцать лет,
Не покидай весны, моя подруга!

О, не спеши, красавица, постой,
О, удержи в груди своей дыханье,
Чтоб расцвести девичьей красотой
Тогда, в минуту нашего свиданья.

Пусть будет только девятнадцать ей,
Любви твоей, и больше — ни мгновенья.

Невесты ждать должны богатырей,
Когда идут великие сраженья.

А мы, обычай верности храня,
Идем к победе в пламени и дыме,
И если я погибну средь огня —
Шепну твое коротенькое имя.

Ну, вот и всё. . . На небе вспыхнул свет,
И стали залпы раздаваться часто. . .
Тебе сегодня девятнадцать лет,
Мое далекое, большое счастье.

1943

237. КОГДА УХОДИЛИ НА ВОСТОК

(Из цикла «Эвакуация»)

Под воем бомб, под смертоносным градом
Из городов горящих люди шли,
Из мирных сел, внезапно ставших адом,
Осыпанные комьями земли.

Шли люди, стоном небо содрогая,
Кровь застывала в колеях дорог.
Шли пахари, свой хлеб в полях сжигая.
Безвестный путь был страшен и далек.

«. . . Обычай мира верно мы хранили.
Ты, враг, его нарушил в черный час!
Будь проклят! Спать с тобой в одной могиле —
Позор и нестерпимый стыд для нас!

. . . Будь проклят, зверь, виновник лихолетья!
Будь проклят, черный изверг и палач!»
Шли старики, старухи, жены, дети,
С мычаньем стад мешался стон и плач.

Спаленные степною жаждой горла,
Растерянность, безумие и тьма, —
Такая тьма, как будто распростерла
Над миром крылья древняя чума.

Глаза, засыпанные пылью, плача,
Не различают неба и земли.
Пыль над землей встает стеной горячей,
И броды рек — в удушливой пыли.

... Что им, в бесчувствии упавшим, снится,
Что ждет нагих, беспомощных, больных?
От пыли тяжелы их глаз ресницы,
Как лес, что преградил дорогу их.

Тот, потеряв ребенка, обезумел,
Тот вдруг лишился всей семьи своей,
И кто из них предполагал, кто думал,
Кто ждал беды внезапней и грозней?

Шли толпами. Шли, как морские воды,
Не ведая, куда они идут,
И где предел их страшного похода,
И где они приют себе найдут.

Лишившись крова, без воды и хлеба,
Шли люди, как гонимый ветром дым.
И утром кровью обливалось небо
И плакало от состраданья к ним.

С заката на восток — не как когда-то,
Не от востока — тек людской поток,
Как будто реки крови шли с заката,
Как будто кровью шар земной истек.

«Куда? — леса шумели по дороге. —
Куда, родной? Куда от нас ушел?»
Земля хватала за босые ноги.
Несжатый хлеб цеплялся за подол.

«Куда вы?» — плакал дождик на рассвете.
«Останьтесь!» — грохотала им гроза.
И беглецы не знали, что ответить.
«Куда? Идем куда глядят глаза.

Нам всё равно, где дни влачить на свете,
Где прятаться от холода ночей.

Нам всё равно, лишь только б наши дети
Не видели фашистских палачей.

Хоть, может быть, без крова и без пищи
Придется видеть нам своих детей,
Хоть, может быть, не сыщется жилища
Принять такое множество гостей, —

Мы всё снесем, любые муки в мире
Мы выдержим, и в дальних землях нам
Любые подойдут весы и гири,
Но мы не покоримся палачам!»

1944

238. ШАХИМАРДАН

1

Прохладный ветерок,
По склону пролетая,
Пылающий флажок
Несет навстречу мне.
Здесь кровь кипевшая, за счастье пролитая,
В могиле каменной уснула в тишине.
Той кровью окроплен флажок, и неустанно
Трепещет на крутой горе Шахимардана...

Картины прошлого передо мной стоят —
Род умирающий спасенья ищет в мести.
Вот бай, мулла, кулак, собравшиеся вместе.
На языке их — мед, а в сердце — черный яд.
Ревнителю чалмы, поборники Корана
Смеются злобно на горе Шахимардана...
Круг жизни завершён — тебя уж больше нет.

Здесь ты родился, здесь и умер ты, поэт!
Картины прошлого стоят передо мной:
Плетутся лошади по тропке каменной,
Скрипят колеса арб над самой крутизной.
Клубится пыль тропы над пылью водянистой.

Поток, могуч и скор,
С крутых сбегает гор, —
Поток стремительный, поток Шахимардана,
Шумя, ворочающий камни непрерывно.
Картины прошлого стоят передо мной:
Живя среди красот, под синим сводом неба,
Среди хрустальных вод, среди листвы сквозной,

Несчастный человек, куска лишенный хлеба,
Отчаявшись, пошел против судьбы войной.
Вдоль тальника струясь, поющие арыки
Поили не его прохладною волной.
В его судьбе зима дышала и весной,
Несчастный человек и мученик великий,
Отчаявшись, пошел против судьбы войной.

Картины прошлого стоят передо мной:
С природой райскою Шахимардан гористый
Был баем превращен в постылый ад земной,
В обитель ужаса, в паучий дом нечистый.
Жестокий бай душил дехкан, шепча: «Аллах!»
Он грязною душой окутал страхом души
Людей, чья жизнь прошла в нужде, в голодных днях,
В арбах с чужим добром, в слезах, во тьме и стуже.
Прожившие всю жизнь с отчаяньем в сердцах,
Искали бедняки от бедствий избавленья,
Флажки святые с волосками на концах
Повесив на ветвях и плача в испугенье.
Часами кланяясь, молилась нищета
В местах безрадостных, где и не пахло богом.
«Благодарю, аллах. . . жизнь наша — суета. . .»
И вновь склонялись лбы к земле в смиренность строгом.
Как листья осени, унылы и желты,
Они светильник над могилой защищали.
Мечты о счастье — непрерывные мечты —
К порогу байскому их за землей толкали, —
Как будто горсть земли от байского порога
Способна счастье дать, умилоствивить бога. . .
Так жизнь кончается у бедняка —
Раба, поденщика в чапане рваном,
Раба, что черствого лишен куска,
Раба, что и воды лишен глотка, —
Раба, родившегося под Кейваном.
Чужой себе и дому своему,
В своем углу, в жилище темном,
Живет он нищим и бездомным,
Растоптанным, поверженным во тьму. . .
Поэт, что красоту творит и ею дышит,
Поет свою газель, но сам ее не слышит:
Он слышит стон рабов, и свист плетей,
И плач голодных маленьких детей. . .

Еще одна стоит картина предо мной:
 Поют, журчат ручьи, играют с легким всплеском,
 Зверху звезда горит над горной вышиной
 И освещает всё своим далеким блеском —
 И горы, и ручьи, и весь простор земной.
 И здесь поэт стоит.
 Места, что мглой объаты,
 Он хочет осветить, как яркая звезда,
 Сердца, которые сосет паук проклятый,
 Избавить хочет он от боли навсегда.

И завтра:
 Тот, кто был задавлен байской властью, —
 Батрак — войдет в колхоз, в могучий коллектив,
 Ему не поднесут ведь на ладони счастье —
 Он сам его возьмет, всех баев победив.

И завтра:
 Не боясь ужасного колодца,
 Саври произнесет:
 «Пусть кровь моя прольется,
 Пусть смерть моя придет,
 Но я не задрожу.
 Я сброшу черную, как туча, паранджу!
 Начну другую жизнь!
 И чтоб ей быть счастливой —
 Пусть пропадет навек закон Корана лживый,
 Аллах на небесах и в преисподней дивы! . . .»

И завтра:
 Пионер придет сюда веселый
 И выбросит навек флажки святые вон,
 И знамя красное над клубом и над школой
 Он утвердит — как счастья нашего закон.
 И скажет:
 «Праздник мы устроим на вершине
 В честь пламенных сердец, не знающих преград.
 Мы жизнь дадим степям, безрадостной пустыне —
 Их мертвенный песок потоки оживят! . . .»

Почуяв смерть, дрожат мулла и бай свирепый:
Пришли богатыри, чтоб им за всё воздать.
Их сила велика: не только рабства цепи —
Громады вечных гор им сокрушить под стать.
Шипят враги и днем, и в черный час вечерний,
Пылает ненависть, навет ползет, как вор.
Во тьме таившиеся, выползают черви,
Клубком коварных змей свернулся заговор.

Хамза Хаким-заде,
Любимый всем народом,
Их пламя черное ты погасить решил,
Ты за народ пошел на бой с проклятым сбродом.
Поэт! Против тебя — вся злоба темных сил!
За то, что ты восстал на скряг и на сутяг,
Продать готовых край, народ свой — за пятак,
Они тебе, поэт, смертельно мстить готовы:
Беснуются, шипят и злобно жаждут крови...

3

Сверкает над горами жаркий день,
Средь скал и круч звенит строка газели —
С вершин легко, как молодой олень,
Спускается Хаким-заде в ущелье.
Горячий день. Чуть дует ветерок.
А он поет, жары не замечает,
Меж тем поэта банда окружает —
И каждый выступ, каждый бугорок
Поэту лютой смертью угрожает...
С злорадным криком, предвкушая торжество,
Один бросается, как ястреб, на него,
Другой веревкой вяжет руки...

«Прочь с дороги!» —

Им голос времени приказывает строгий.
Но смерть уж близится...
Земля в глаза летит...
Сознание молнией внезапно бороздит
Горящий мозг...
И вот,
Как бы лишившись крыльев,
Поэт, что сладко здесь о будущем мечтал,
На окровавленные камни, обессилен,
Как дерево подрубленное, пал...

Хамза Хаким-заде, струится кровь твоя —
Сокровище бесценнейшее жизни.
Взгляни на свой кишлак, на горные края —
В последний раз, поэт, пошли привет отчизне!
Но поздно... ты лежишь... твой взор уже погас,
В твоей груди уж сердце еле бьется...
Хамза Хаким-заде, настал твой смертный час —
Дыхание с тобою расстается...

У темных сил сегодня торжество.
Кичатся:
«Видели? Еще мы живы!..»
Но обмануть не смогут никого
Улыбка палача и байский голос лживый.
Вас, баи, окрылил кровавый ваш успех.
Хотите дни свои продлить, убив поэта.
Но знайте же, что вас переживет он всех
И не спасетесь вы, свершив злодейство это!..

4

Поток, могуч и скор,
Шумя, сбегает с гор —
Стремительный поток Шахимардана.
Вода его чиста,
Как светлая мечта
Людей, творящих счастье неустанно.
Навек рассеяв мрак,
Свободным стал батрак —
Нет больше баев ни в домах, ни в поле.
Мужая с каждым днем,
Шагает он путем
Зажиточности, радости и воли.

И слышится в горах поэта гневный голос,
И вместе с ним народ свободный говорит:
«Земля на два враждебных мира раскололась,
Один — почти мертвец, другой — живет, творит».
Так скажем гневно умирающему миру:
«Конец твой близится — наш приговор суров!¹
Всю жизнь, подобно жадному вампиру,
Безжалостно сосал ты нашу кровь!..»

Не умолкает гнев убитого поэта:
«О старый мир, взгляни на пышный сад земли,
Взгляни на те поля зеленые вдали,
Взгляни на вьющийся в горах арык —
Всё это
Мы сами создали, взрастили, провели.
Ты слышишь, старый мир, как, падая с нагорья,
Потоки пенные поют среди камней
О наших прошлых днях, о безграничном горе
И о слезах, что чище горных всех ключей.
Всё на костях на наших выросло,
А сами были мы приравнены к скоту,
Как лошадей, и нас камча хлестала,
Нам было и дышать не вмоготу.
И на родных лугах,
Что столько благ таят,
Враги вкушали мед,
А нам давали яд! . . .»

Не умолкает гнев убитого поэта:
«О старый мир, весь век ты нашим жил трудом,
С утра до темноты и снова до рассвета
Зерно, как муравьи, мы в твой таскали дом.
Весь день голодные, под солнцем раскаленным,
В изнеможении мы падали без сил,
Но старый мир, склонясь над телом утомленным,
«Ты умер или жив?» — ни разу не спросил.

О старый мир, весь век ты прожил, лицемеря,
Слезой и словом был ты каждому родня,
Но ты на смерть раба взирал глазами зверя,
Корову ж павшую оплакивал три дня. . .»

Не умолкает гнев убитого поэта:
«О старый мир, тебе спасенья не найти!
Мы выполним слова великого завета:
Разрушим старый мир — другого нет пути!
Нет места вам у нас, насилие и лживость,
Исчезни, старый мир, — чудовище, дракон:
Вот нашей жизни цель, вот наша справедливость.
Вот счастья нашего ликующий закон! . . .»

Прохладный ветерок,
 По склону пролетая,
 Пылающий флажок
 Несет навстречу мне.
 Здесь кровь кипевшая, за счастье пролитая,
 В могиле тихой спит на горной крутизне.
 Поет Шахимардан — как прежде и не пели —
 На утренней заре и в полуночный час.
 И в песне вод его, и в горной колыбели
 Так много красоты, родившейся для нас.
 И день и ночь поет река, не уставая,
 Вот так и наша жизнь колхозная поет.
 Величье дней и счастье создавая,
 Народные сердца она к себе влечет.
 И этим счастьем враг хотел владеть навечно.
 Но с кровью у врага мы вырвали его,
 И в этом — наша мощь, и наша человечность,
 И наша истина, и наше торжество.
 Ушли навеки дни муллы, ишана, бая,
 Настало время хлопкороба и ткача.
 То время новое, как солнце, улыбаясь,
 Нам светит в лампочках чудесных Ильича.

...С вершины громкий голос раздается —
 И вторит всё ему на тысячи ладов.
 Он в каждом вольном сердце отдается,
 Он в шуме ветерков и в шелесте садов.
 То — голос воина-певца, чье сердце было
 Гранита тверже и нежнее роз,
 Чья песенная закипела сила,
 Чье имя носит с гордостью колхоз,
 Кто в наших песнях жив, и в детских взорах,
 И в заплескавшей в степи воде,
 И в тех делах, которыми везде
 На благодатных солнечных просторах.
 Прославился колхоз «Хаким-заде».

1932

239. ЖИЗНЬ СТАРИКА

«Жаль, что жизнь прошла, — вздыхает старик, —
Жаль, что мало мне остается жить,
Я уже на краю могилы стою,
Дней моих остаток — короткая нить —
На исходе, и горестно мне, что нельзя
На вершок хотя бы ее удлинить. . .»

Взором пристальным он следит за тем,
Как, выращивая на лугах цветы,
Неустанным трудом прекрасный ковер
Ткет красавица жизнь.

«Все свои мечты,
Все богатства свои, — говорит старик, —
В дар подруге весне, жизнь, приносишь ты!»

Как волшебен и красочен жизни узор!
Рядом с девушкою, чьи щеки цветут,
Словно розы, и седовласый старик,
Словно юноша сильный, трудится тут
Со старухой, в чьей памяти, словно во сне,
Дни загубленной в рабстве весны живут.

Дружно трудятся все, и радостный труд
Молодит сединой убеленных людей,
Возвращает им свежесть весенних дней.
Да, весна труда — как цветущий луг,
Где цветы и травы подобны мечте —
Столько прелести в яркой их пестроте,
И невольно, только глянешь вокруг,
Позавидуешь сердцем их красоте.

Стариковское сердце сжигает тоска,
Воскликает он, губы кусая: «Товба! —
Рвет халата ворот. — Ужель не судьба
Мне увидеть побольше радостных дней!
Жаль, что жизнь прошла», — вновь вздыхает он
И скорбит в глубине души своей.

И старик —
В Мулькабаде его старей

Ни единого нет человека, —

старик,

Чья спина в подневольном согнулась труде,
Нищий, жалкий батрак, раб, что в прошлом

привык

Только к голоду, муке, горю, нужде,
Ожил, жизни впервые увидев свет,
Яркий свет, разлившийся в эти дни.
Долго жил старик. . .

Девяносто лет —

Срок немалый. . . И на своем веку
Многих дел он свидетелем был.

Жизнь его —

Словно длинная повесть, и старику
Стоит только начать рассказ о былом —
И слова, точно реки с гор, потекут.
Сколько раз съпучие эти пески
Ветер с места на место перегонял!
И, как эти барханы, что высятся тут,
Долго старый по этим местам кочевал,
Здесь на баев работал он, здесь голодал,
Здесь, бывало, не раз приходилось ему
Понапрасну стучаться в чужую дверь.
Так он здесь и состарился, и теперь
В Мулькабаде знают:

его старей

Не найдется во всей округе людей,
Но впервые, на склоне долгих лет,
Жизни радостной он увидел свет.

*

В Мулькабаде шел великий спор,
Испытанье грозное сердец.
И барханы, и полей простор,
Все равнины из конца в конец,
Все, кто в рабстве жил до этих пор,
В горе жил, потупя в землю взор,
Ждали, чем решится этот спор.

Как бороться с правдою лжецу,
Как ее осилить может вор?

С баем встретился лицом к лицу
Раб его недавний — чайрикёр,
И друг друга угольями глаз
Каждый был готов на месте сжечь,
Бая не могли спасти сейчас
Ни обман, ни вкрадчивая речь.

Козни бая и его друзей,
Всё, что здесь исподтишка злодей
Замышлял, чтоб власть свою вернуть,
Чтоб закрыть дехканам к счастью путь,
Их дела, что полночи черней,
Смело пред судом раскрыл старик.
Мстителем бесстрашным был старик,
Он обман и зло изобличил,
Жала острого змею лишил, —
Как проклятый ни юлил, ни лгал,
Правый суд злодея покарал.

Так закончился великий спор.
Сбросил тяжкое ярмо узбек.
Кишлаки избавились с тех пор
От отребья подлого навек.

Вместо жалких узеньких полос,
Что сдавали бан нам внаймы,
Всей землей теперь владеем мы,
И растёт и крепнет наш колхоз.
Славится на весь родимый край
Наш колхоз «Дзержинец».

Что ни год,

То богаче хлопка урожай
Он отчизне-матери даёт.

*

За весной весна идет вослед,
Тал к ручью шумливому приник,
И, как будто скинув бремя лет,
Вновь увидел молодость старик.

Всё вокруг: свободный труд дехкан,
Трактор, утром выходящий в путь, —

Распрямляет сгорбившийся стан,
Наполняет новой силой грудь.

Нелегко ему еще порой
Разумом всё новое объять,
Но вперед стремится он душой:
«Ведь нельзя от жизни отставать!»

Он на склоне долгих лет постиг
Лицемерье и продажность мулл,
От мечети взоры отвернул
Правды свет увидевший старик.

С гулом мчится времени река,
Волны светлые о берег бьют,
Сыновья и дочери старика
Новой жизнью радостно живут.

Сколько внуков у него! . . На них,
Боевых, веселых, молодых, . .
День-деньской не наглядится он:
Ясным солнцем путь их озарен.

*

Вспоминает порой старик о былом:
«Знайте, внуки, рабыней у бая была
Ваша бабка, а я был его рабом,
Ни жилья не имел своего, ни угла.
Наркузы, твой отец не мог для детей
Серой бязи хоть пол-аршина купить.
Мать зато мастерицей слыла среди людей
На заплату снова заплату лепить».

Вел он речь о царе, что народ угнетал,
О жестокости баев, их черных делах,
То, внезапно смолкнув, только вздыхал,
Вспоминая с болью о тех временах.
Помолчит он, очнется — и видит: вокруг
Уж затеялись игры, в разгаре спор —
Младший внук, похваляясь силою рук,
С каждым рвался скорей заключить договор:

«Знаю, готовитесь все вы сейчас
К сбору хлопка...» — «Да, он уж не за горой...»
— «Так пускай же тогда любой из вас
Соревнуется в этом деле со мной!»
А старик улыбался и говорил:
«Лезть в петлю лишь только барану под стать,
Но всё ж, хоть я стар, а хватит сил
И двоих таких, как ты, обогнать!»

*

Что ж, хотя наступил уже
Вечер жизни для старика,
Не сидится на месте ему —
Вновь по улицам кишлака,
По выгону и по полям,
Опершись на посох, идет,
Словно хочется оглядеть
Напоследок всё, что цветет.
Чудеса творятся кругом,
Как прекрасно, как солнечно тут!..
И у старого по щекам
Слезы радости светлой текут.

«Не увидишь горя нигде
И не встретишь былой нужды.
«Ты хозяин наш!» — говорят
Мне все эти поля и сады.
Одного мне жаль, что нельзя
Снова юным и сильным стать,
Чтобы сызнова счет годам
С этой светлой поры начать.
Как печально, — думает он, —
Что подходит к концу мой путь
В дни, когда наконец могу
Счастье полным ковшом зачерпнуть,
Мне годами горя и бед
За него пришлось заплатить.
Тяжело расставаться с ним,
Право, хочется жить и жить».
А в былом — он смерть призывал,
И, стеля для себя кошму,
Думал он, что лучше всего
Вечным сном уснуть бы ему.

А теперь, на старости лет,
Он большого счастья достиг.
«Так легко ли расстаться с ним?» —
Вновь и вновь вздыхает старик.

Горько думать: последний почет
Скоро люди ему воздадут —
Весь кишлак придет проводить
В путь печальный его табут.

*

И снова старый жизнь свою
Перебирает день за днем.
Немало войн, убийств, смертей
Он видел на веку своем.

Набеги вражья, кровь, резня
Ушли в былое, словно сны,
Но ярко в памяти встают
События одной весны.
Был радостен ее приход.
Как заждалась ее земля,
Как пили вешнее тепло
Позеленевшие поля!

Бурлила, клокотала жизнь,
Но не весна избытком сил —
Народа богатырский труд
Пески пустынь животворил;

Дыханье жизни не она
Дарила высохшим пескам,
А сила, что дехкан вела
К победам, к ясным светлым дням.

Мы всей колхозною семьей
В полях трудились. . . Ни души
Не оставалось в кишлаке.
Построив наспех шалаши,
Мы спать ложились на часок —
И вновь за труд. . .

Заветный срок
Был близок. . . Праздник наступал,
Победы знамя расправлял
Над всей страной Первомай,
И наш счастливый вольный край
Своим успехом трудовым
Стремился праздник увенчать.
Как сына наряжает мать,
Готовясь к праздничному дню,
Так нарядилось всё кругом.
Уже был праздника канун,
И мысли светлые о нем
Владели сердцем старика.
Он по полю спешил домой,
Чтоб встретить праздник всей семьей,
Как вдруг еще издалека
Он увидел — средь кишлака
Толпился и шумел народ.
Какая же стряслась беда,
Когда и воздух напоен
Дыханьем праздника труда? . .
И ускоряет он шаги.
Чей слышен плач, что там орут?
Чье тело четверо дехкан,
Согнувшись, сумрачно несут
К его порогу? Он туда,
Не понимая ничего,
И вдруг, увидев мертвеца,
Узнал в нем сына своего.
Дыханье счастья, цвет надежд,
Всё, что любил он, было в нем.
Старик на тело сына пал,
Как дуб, сраженный топором.
Померкло солнце, свет погас!
Отчаянье сдавило грудь,
И старый сына обнимал,
Стараясь жизнь в него вдохнуть.
И люди в горести над ним
Склонились. . . Замерли слова,
И слышно было, как вокруг
Шуршала жухлая трава.
Вдруг чей-то голос прошептал:
«Бежал сегодня Кадырбай

И напоследок осквернить
Решил злодейством светлый май.

В мечети часто по ночам
Он собирал тайком друзей,
Должно быть, свой творя намаз,
О мести помышлял, злодей.

Недалеко от кишлака,
Где начинается овраг,
Успел свой замысел свершить
Перед побегом подлый враг.

Я говорю не для того,
Чтоб слезы брызнули из глаз,
Хоть лучшего среди нас змея
Ужалить в свой предсмертный час

Успела. . . Пламя гнева пусть
Пробудится в сердцах дехкан!»
И распрямил старик отец
Свой сгорбленный годами стан.

И, гнев и горе затая,
В молчанье люди к телу шли,
И думал каждый: «На борьбу
За свет и счастье для земли
Пойдем мы дружную семьей.
И ты, старик, не одинок:
Мы вместе встретим светлый день,
Победы полной близок срок!»

*

По улицам родного кишлака
Идет старик, и ясен взор его.
Куда ни глянет — радостно душе:
Везде, во всем народа торжество.

Ведь что ни день — то радостная весть,
И дням таким ни края, ни конца.
Как люди выросли, как вольный труд
Преобразил их лица, их сердца!

Ему не спится. В мыслях по ночам
Он с посохом идет землей родной,
Он видит жизнь и радуется ей,
И на душе и счастье, и покой.

Когда же он достигнет наконец
Предела жизни и померкнет взор,
Он не оставит нищими детей,
Не разгорится подле гроба спор,

Позорный спор, как в давние года,
Когда дороже, чем сестра, чем брат,
Была одна каса, одно ведро —
Всё то, чем был бедняк в те дни богат.

Нет, иначе на свете повелось —
Сын не спешит похоронить отца.
Все трудятся, все радостно живут,
И озаряет счастья свет сердца.

Достигнет он предела жизни. . . Что ж,
Покроет саван бороду его,
Но счастья будет шириться река,
И вечным будет жизни торжество.

1934

240. ПОВЕСТИ ДВУХ ДЕВУШЕК

В тот час, когда, закатно рдея,
Уходит солнце на покой,
Пришли две девушки на берег,
На камень сели вековой.

На чистой глади вод прозрачных
Их красота отражена.
Горят две пары глаз девичьих
На ложе мраморного дна.

Одна вплетает розу в кудри,
Другая сбросила платок,
И волны кос ее душистых
Расчесывает ветерок.

Над ними облака белеют
И отражаются в реке.
Рассказывают две подруги
Две повести о Чирчике.

ПЕРВАЯ ПОВЕСТЬ

На берегу реки когда-то
Жила красавица одна.
Совсем одна. Дружили с нею
Лишь небо, ветер да волна.

Однажды юноша приехал
Из чужедальной стороны.
Расспрашивал о ней повсюду —
У птиц, у ветра, у волны.

Но даже друг ее заветный —
Весна — ответила: «Поверь,
Я и сама скорблю и плачу,
Не зная, где она теперь».

Ища ее, чтоб отразиться
В чудесных девичьих очах,
Река неслась, рвалась, кипела,
Вселяя в души смертный страх.

Ярясь, посева затопляла,
О берег билась, ошалев,
На всем живом, на всем цветущем
Безумный вымещая гнев.

И небо одевало траур,
И слезы лили облака,
Но не стихала — клокотала,
Вольнолюбивая река.

Ковры парчовые раскинув,
Устлав цветами всё вокруг,
Весна томилась, ожидая
Прекраснейшую из подруг.

В горах тюльпаны расцветали,
Снег оседал, текли ручьи,

Удручены разлукой с нею,
Стонали в рощах соловьи.

Везде краса, и лишь прелестной —
Как не было, и след исчез.
От огорченья даже звезды,
Срываясь, падали с небес.

Могуч был юноша. Он гору,
Ударив, мог рассыпать в прах.
Летучих облаков касался
Железных рук его размах.

Но сердце юноши сжигала
Неугасимая любовь.
Скорбя, он приходил на берег
И днем и ночью, вновь и вновь.

Он говорил: «Скажи, волна, мне,
Как звать ее? Скажи, волна!»
Он и скалу просил, тоскуя:
«Скала, скажи мне, где она?»

Скала ответа не давала,
Спала безмолвно день и ночь.
Река бессонная вскипала
И уносила волны прочь.

Безмолвна, как скала, бессонна,
Как с гор сбегающий поток,
Таилась девушка. Неведом,
Невидим был ее чертог.

А юноша не знал покоя. . .
Сменялась за зарей заря,
Листва алела, опадала,
В пожаре осени горя.

И вновь весна своих узоров
Плела расцвеченную нить. . .
А той всё нет, к ногам которой
Он море слез готов пролить.

Лежал в ущельях снег алмазный,
Сверкая вечной белизной.
Лежал незыблемо, не таял
Ни жарким летом, ни зимой.

Над тучами, над облаками,
Как стража мира, как дозор,
Жемчужно-белыми чалмами
Касались неба гребни гор.

И юноша всходил на горы.
Что ему буря? Что обвал?!
Он шел и шел, одолевая
За перевалом перевал.

Спал на снегу, вставал с рассветом
И снова, снова — в путь, как в бой,
Давя снега, как будто лавиной,
Тяжелой каменной стопой.

В долинах шел, в степях скитался
Не день, не месяц — много лет.
И вновь на берег возвращался,
А девушки всё нет и нет.

Но где ж она? И где спасенье
От этой огненной тоски?
Решил он гору опрокинуть
На грудь стремительной реки.

Он, запрудив горою реку,
Похвастать силою хотел.
Он дерзостью такой безумной
Сквитаться с милою хотел.

И схватка началась. Ревела
В бессильной ярости река,
Гора гудела и трещала
В руках железных смельчака.

И он сломал ее и бросил
С размаха в реку, и река
Взлетела тысячами молний,
Пронзая в небе облака.

И тут вот девушка возникла,
Подобно солнцу. И тогда
В реке затихшей отразились
Долины, горы, города. . .

А дерзкий вновь огромным камнем
Хотел взмахнуть, но в этот миг
Глаза красавицы сверкнули,
И он, затрепетав, поник,

За грудь схватился, зашатался
И, потеряв остаток сил,
С расколотым на части сердцем
Упал и камень уронил.

Окончила рассказ подруга,
Сказав: «Тому уж много дней».
И вдруг взглянула изумленно
На камень, что лежал под ней.

«Смотри! Вот он, тот самый камень,
Что выпал из могучих рук!»
И по реке вечерней тихо
Разлился нежный смех подруг.

«Да, — молвит девушка другая, —
Тот камень стал скамьей для нас.
Теперь послушай, дорогая,
Другой о Чирчике рассказ».

ВТОРАЯ ПОВЕСТЬ

Течет, бурлит река шальная,
Течет, бушуя, сотни лет.
В ее груди сказаньям древним
И древним тайнам счета нет.

Рожденная в снегах нетленных,
Навски в сердце лед храня,
Она торопит с гор в долины
Алмазногривого коня.

О чем шумит, что хочет эта
Необычайная река?

Ее такую сотворили
Чье озаренье, чья рука?

Где человек, раскрывший тайны
Ее мятущейся волны,
Где тот, кому ее загадки,
Ее стремления ясны?

Не раз, не два пытались люди
Смирить ее мятежный нрав,
Но низко головы склоняли,
Свое бессилие признав.

И не одна душа навечно
В ее волнах погребена.
Вот почему рыдания, стоны
Доносятся с речного дна.

А ей ничто! Ломая скалы,
Она бежит вперед, вперед.
Бежит, кипящая, как лава,
И всё ж холодная, как лед.

Но в ней и благо. В каждой капле
Она несет горячий ток.
Порою даже гальке влажной
Дарует жизнь ее поток.

И долго тайну этой силы
Не мог постигнуть человек.
Река дарила и губила
Из года в год, из века в век,

Но не напрасно за свободу
Боролся в Октябре народ.
Раскрепощенная наука
Пошла стремительно вперед.

И вот недавно к нам в долину
Приехал мудрый инженер.
Как воду, впитывая знания,
Проник он в тайны многих сфер.

Всю жизнь свою отдав наукам,
Служеньем родине горя,
Он изучил все реки мира,
Озера все и все моря.

Приехав, о своей задаче
Поведал этот человек —
Сказал собравшимся, что знает,
Как реку усмирить навек.

Сказал, что ныне для науки
Неодолимых нет преград,
Что даже нашу реку можно
Взнуздать и повернуть назад.

В работе показал машины,
Раскрыл нам смысл полезных книг,
Сказал нам, что, учась, мы сможем
Достичь всего, что он достиг.

Тогда к нему, как ливень хлынув,
Потек народ со всех сторон,
И с лучшими из многих тысяч
Большую стройку начал он.

Заполнилась людьми долина.
Потом почетный старожил
Для стройки первый ящик глины
Сам накопал и замесил.

С тех пор упорно, неустанно
В долине трудится народ,
Чтоб умножалось наше счастье
День ото дня, из года в год.

Тут нет ленивых. Днем и ночью
В гранит вгрызается кирка,
Чтоб новое родила солнце
Неугомонная река.

Растет могучая плотина
И заграждает путь волне,
Вздымая бешеную реку
С горой крутою наравне.

А после с высоты нагорной
Вниз упадет река. Тогда
Мильоном новых солнц заблещут
Все кишлаки и города.

Не будет яростных разливов,
И успокоится народ.
Не будет множества несчастных,
Погибших в дикой пляске вод.

«Быть может, утонул мой мальчик», —
Ища сынка, не скажет мать;
Тревожась, не придет на берег,
Не станет реку проклинать.

Тогда в долинах изумрудных,
В цветущих бархатных полях
Жизнь станет райскою. Исчезнут
Слова «несчастье», «горе», «страх».

Дома просторные построив,
Забудут люди чад лачуг,
И солнце в ночи их навечно
Войдет, как верный добрый друг.

И все заветные желанья
Тогда окажутся просты,
И человек, века страдавший,
Перешагнет порог мечты.

Рекою будет литься радость,
Сверкать алмазным родником.
Во всей стране, в селенье каждом
Не будет горести ни в ком.

Встречая соловьев приветом,
В долинах розы расцветут,
И соловьи в жемчужных трелях
Прославят вдохновенный труд.

И назовут долиной счастья
Холмы и доли Чирчика...
Вот эту тайну, эту силу
Веками прятала река...

Когда тот инженер ученый
Всех местных пригласит на той,
На многодневный праздник счастья,
На праздник славы трудовой.

Он будет сорок суток длиться
И дни и ночи напролет.
И вместе с нами вся природа
О нашем счастье запоет.

И скажет инженер народу:
«Друзья, ответьте мне сейчас —
С несбывшимся большим желаньем
Остался кто-нибудь из вас?»

И все ответят инженеру:
«Несбывшихся желаний нет».
И подойдут, и поцелуют,
И пожелают долгих лет.

эпилог

Тут девушка легко вздохнула,
С улыбкой косы заплела,
Смеясь, взглянула на подругу
И речь такую повела:

«А как ты думаешь, подружка,
Что, если вешнюю порой,
Не тратя время по-пустому,
Пойдем туда и мы с тобой?»

Того ученого увидим,
Работать будем вместе с ним
И, может, знающими станем
Под стать строителям другим?»

Задумалась ее подруга
И в воду бросила цветков;
В ее сознание мысль за мыслью
Стремилась, как речной поток.

Как будто въяве, возникали
Картины дружного труда. . .
И вот она решилась: «Ладно!
С утра и мы пойдем туда».

Смеркалось. Шли домой подруги,
Их цель была светла, ясна. . .
И в двери их вошла, ликуя,
Большая яркая весна.

А бурная река ревела,
Крошила берега свои.
Со всех сторон гудели ветры,
И в рощах пели соловьи.

1935—1937

241. ЗАЙНАБ И АМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я не знавал светлей повествований,
Чем о Зайнаб и преданном Амáne.

Послушайте и вы, как в двух сердцах
Зажглась любовь, испепеляя страх.

Что верность оба сохраняли строго,
Узнаете вы из правдивых слов.

О двух влюбленных говорилось много,
Однако же рассказ мой будет нов:

Ни злоязычие, ни яд, ни меч
Не смогут жизни юные пресечь,

Поскольку время лучшее настанет.
Зайнаб, как лист осенний, не увянет.
Аман, хотя ему придется туго,
Всё ж избежит печального конца. . .
Увидите, — они найдут друг друга,
Навек соединятся их сердца.

Беспечно, вольно, как цветок весной,
Росла Зайнаб в семье своей родной.

Безгорестно щебечущие птицы
Могли б веселью у нее учиться.

Доверчива, приветлива, смела,
Зайнаб еще не испытала зла.

Ни разу даже легкой тенью боли
Девический не омрачался взор,

И под ноги ей подстилало поле
Зелено-красный бархатный ковер.

Когда Зайнаб вставала на заре,
Тюльпаны, расцветая на горе,
Вослед ей посылали поцелуи,
А Зеравшан, перебирая струи
И вправду, чистым золотом блестя,
Приветствовал прелестное дитя.

И отражалось у Зайнаб в глазах
Всё это ликование земное.
Зайнаб не знала, что такое страх,
Она дышала счастьем и весною.

Шаля, играя, подросла Зайнаб.
В чудесном крае расцвела Зайнаб.

Казалось, тут от века жизнь сладка,
Заметивший тот край издалека,

Усталый путник ликовал заране
И предвкушал свершенья всех желаний.

Здесь воздух был так первозданно чист,
Меж трав арык струился говорливый,
И за листом роняли узкий лист
В его прохладу трепетные ивы.

Разбрызгивал алмазы водопад,
Соперничал озер лазурный взгляд

С голубизною неба и фиалок,
Луг походил на пестрый полушалок,

И строгое величье снежных гор
Лишь оттеняло красочный узор.

Из-под скалы источник бил целебный.
Когда ж всплывала по ночам Луна,
Была округа в синеве волшебной
До камушка мельчайшего видна.

А поутру джида слагала сказки
И обещала, расточая ласки,

Что сбудется заветная мечта.
...Такая нега всюду разлита,

В лугах, в садах — такое изобилье! . .
Вот-вот взлетит любовь, расправив крылья.

Не зря уроки страсти небывалой
Дает цветам влюбленный соловей! . .
...Вот где Зайнаб росла и достигала
Расцвета нежной прелести свсей.

3

Любовь. . . С тех пор как создан род людской,
Любовь смущает наш ночной покой.

Все люди любят — нам нельзя иначе:
С холодным сердцем не достичь удачи.

Но в старину царил такой закон:
Кто любит истинно — тот обречен.

Любовь! . . Жестоким было это бремя
Во всех краях, во всех концах Земли. . .

Как беспощадно растоптало Время
Надежды нежно-преданной Лейли!

Был век подобно деспоту — жесток:
Меджнун блуждал по свету — одинок.

Эпоха — счастьем древняя преграда —
Лишила милой родины Фархада. . .

Неужто проклята любовь от века
И неизбежен роковой исход?

Нет, это — плод бесправья человека,
Погибнет ядовитый этот плод! . .

Мы видим, до иных дожив времен,
Что человек любовью окрылен.

Подобно вдохновляющему чуду,
Любовь ему сопутствует повсюду.

Любовь — мятежный, яростный поток
И нежный, чуть раскрывшийся цветок.
Оставшись неизменно загадкой,
Она в просторы намечает путь:
Девичью грудь взволнует тайной сладкой,
У ююши расправит гордо грудь.

4

В душе Зайнаб, не ведавшей печали,
Казалось, что-то дрогнуло вначале.

Как будто завязь вешнего цветка
Возникла, чуть заметная пока,

Растет — неуследимо и несмело. . .
Зайнаб внезапно так похорошела,
Что думал, глядя на нее, любой:
Ресницы-стрелы, и косички-змеи,
И родинка-малютка над губой
Земных сокровищ во сто раз ценнее. . .

Крыльями ласточки — разлет бровей. . .
Все девушки другие перед ней —

Как звезды пред Луной прекрасной...
В неясном чаяньи любви великой

Зайнаб мятется: то бежит домой,
То вновь из дома, не найдя покоя...

Смеется, плачет... Странно ей самой —
Да что же с ней содеялось такое?!

Что ждет ее?.. Веселье? Торжество?..
Беда?.. Не зная в жизни ничего,

Зайнаб не верит в горе и препоны.
Ей кажется: довольно быть влюбленной,

Довериться любимому во всем —
И будешь век счастливой с ним вдвоем!..

Откуда жизнь познать она могла б?!
Но в некий час неведомая сила,
Как буря, ворвалась в судьбу Зайнаб,
Сместила всё.

И разум разбудила.

5

Не счесть цветов на яблонях весенних,
А юных смельчаков — у нас в селеньях.

Так что ж Зайнаб вздыхает об одном,
О том, кого считают чужаком?..

Так почему она так неустанно
Желает видеть лишь его, Амана?..

Напрасно ей рассудок говорит:
Другой — он тоже чести не уронит.
В огне, как говорится, не сгорит,
В воде, когда случится, не потонет.

Он тоже может ослепить отвагой,
Пустыню напоить живою влагой.

Любой другой в труде горяч и смел,
Достиг бы славы, если б захотел,

В сраженьях мог бы превзойти Рустама.
Так что ж Аман?! . Неужто — лучший самый?

«Ну почему Аман мне всех дороже,
А на других не хочется смотреть?!
Он стал моим избранником. . . За что же?
Скорее, сердце глупое, ответь!»

Но разве может сердце дать ответ,
Ведь сердцу только девятнадцать лет!

Подобно розе, угодившей в пламя,
Оно лепечет что-то лепестками,

Дрожит, бессильно корчится в огне. . .
«Аман! . . Да что о нем известно мне? . .

Хорош он впрямь? Иль только показалось?
На счастье эта встреча? На беду?»

Порой страшит Зайнаб любая малость,
Тоскует сердце. . . Мечется в чаду. . .

А иногда — в душе светло и ясно.
«Молва молчит о нем? Ну и прекрасно!

У слуха злостного проворный бег,
А ни один досужий человек

Ни здесь, у нас, ни в кишлаках соседних
Не поминал его, Амана, в сплетнях.

Никто из кумушек худого слова
И мимоходом не сказал о нем! . . .»
И, просветлев, Зайнаб смеется снова
И снова хорошеет с каждым днем.

Ночь наступила. . . Зеравшан — в тумане
Кышлак закутан в призрачные ткани.

Над спящими садами — лунный свет,
Весь мир дрожащим серебром одет.

Но почему Зайнаб опять не спится?
Глаза ее мерцают сквозь ресницы. . .

С постели поднялась. За столик села,
Взяла перо — взволнована, бледна. . .
На столике — листок бумаги белой,
На нем играет полная Луна.

Зайнаб писала:

«Сон бежит от глаз. . .
Аман! Аман! Беда со мной стряслась,

Мне совладать с собою не под силу.
Аман! Аман! . . Тебя я полюбила.

А ты. . . Ты — равнодушен и жесток. . .»
Перечитала. Порвала листок.

И пишет вновь, вздыхая глубоко,
В который раз! Всё — снова, всё — сначала:

«Ты думаешь, признаться мне легко?
Клянусь, любимый! . . Я бы промолчала,

Когда б ты сам со мной заговорил.
Но ты молчишь! . . Таиться нету сил,

И за письмо к тебе я села ночью. . .»
Читает. . . Снова рвет бумагу в клочья,

А сердце замирает и болит. . .
Терзают бедную сомненья, стыд. . .

«Нет, первую писать ему не буду,
Я всё же гордость сохранить должна. . .

Пойду на улицу. . .»

Безлюдно всюду.
Над спящим кишлаком плывет Луна.

7

Как ночью всё таинственно и строго!
По Зеравшану лунная дорога

Бежит и зыблется среди черноты.
О чем-то глухо шепчутся кусты,

Лишь кое-где облитые Луною.
«Они как будто недовольны мною. . .

А в чем я перед ними виновата? . .
И лунный путь, и черная вода,

И берега зовут меня куда-то.
Велят бежать отсюда. . . Но куда?!»

Но в этот миг ее горящих щек
Коснулся сердобольный ветерок,

И на душе как будто легче стало.
Зайнаб в себя пришла мало-помалу.

«Да, нелегко любить! . . Но всё равно
Любовью всё кругом просветлено! . .»

. . .И словно бы глаза ее прозрели,
И перед ними расступилась мгла. . .
. . .Зайнаб вернулась. Подошла к постели. . .
Поправила подушечку. Легла. . .

8

Но спать не удастся ей никак. . .
В ее душе опять сгустился мрак.

В уме возникли новые сомнения:
«Что, если пред Аманом, без стеснения,

Во всем признаться, вслух сказать, как есть?!
Неужто это запятнает честь? . .

Мол, так и так. . . Я избрала тебя.
И если я твоей душе угодна,

Твоей женою стану я, любя. . .
Нет! Нет. . . Такая смелость мне несродна!

Да повернется ль у меня язык, —
Ведь он к таким признаньям не привык! . .

А если он, Аман? . . Подумать тяжко! . .
Вдруг засмеется?! . .»
Мучится бедняжка. . .

Пылает. . . Руки холодны как лед.
Да как же так — она к нему придет?! .

*

«Аман! . . Каким заклятьем ты достиг,
Что ты в моих мечтаньях — каждый миг?!

Из памяти уйди! Души не мучай!
В моей груди пылает уголь жгучий.

Зачем тебя я встретила, Аман?!
Жила бы я беспечно и привольно,
Не знала бы душевных тяжких ран! . .
Как стыдно мне, любимый! Как мне больно!

Ох, если бы тебя я не встречала! . .
А сердце чувствует: это — лишь начало

Жестоких бед. . . Из-за тебя (прости!)
Придется столько мук перенести,

Такая тяжесть плечи мне придавит,
Что буду я бродить, едва дыша.
Все надсмеются. Все меня оставят.
Да разве это вынесет душа?!»

. . . Всю ночь Зайнаб вzywала без ответа.
В слезах стонала и ждала рассвета.

И наконец оконца просветлели. . .
Зайнаб встряхнулась, спрыгнула с постели,

В лицо плеснула ледяной воды.
Скорей, к подругам — в поле! . . За труды!

. . .А в поле грусть как будто ветром смыло.
Работа девушке вернула силы,

Приободрил веселый смех друзей. . .
Подружки-розы, парни озорные
Так улыбались, так шутили с ней,
Что горести рассеялись ночные.

И опасений словно не бывало. . .
Спокойно и светло на сердце стало,

И флейты радости в ушах поют. . .
Простор полей, кипучий общий труд,

И вешний ветерок, и помощь друга —
Не лучшее ли средство от недуга?! .

И вновь Зайнаб уверена, смела,
Душа, как птица, вырвалась из плена,
Рванулась к небу, развернув крыла:
«Нет, счастье будет, будет — непременно!

Любовь — не прегрешенье, не порок,
Любовь — великой радости исток.

Пускай молва потом меня осудит.
Но я права, а дальше будь что будет!»

Садится солнце. Завершился труд,
Чредою девушки домой идут.

Плывет их песня надо всей округой. . .
Зайнаб идет с Хури — своей подругой.

Адаль — с певуньей звонкой Рухсарой,
Асаль — с плясуньей тонкою Сарой.

Сурма идет, за ней Суксур, Анар,
Вослед Гульнар, которой мил дутар.

Смеются все, работа им — отрада. . .
Во всей красе, как звездная плеяда,

Идет чредой прекрасный строй сестер,
И над землей плывет их дружный хор.

11

На улочке, что издавна знакома,
Зайнаб неспешно повернула к дому.

Помедлила. . . Жаль покидать подруг! . .
И, на пороге став, глядит вокруг.

Смеясь, болтая, оживленно споря,
Колхозники идут сегодня так,
Как будто возвращаются с нагорий,
Где было козлодрание — улак.

Так весело на улице сегодня,
Ну точно в славный праздник новогодний! . .

Сдается, что никто и не устал,
Все так довольны нынче — стар и мал, —

Как будто бы не с поля, а с гулянья
Веселый возвращается народ. . .
Зайнаб стоит и смотрит в ожиданье:
«А вдруг Аман среди других мелькнет? . .»

12

Но кто Аман? . . Отец его и мать?
Об этом даже слыхом не слыхать.

И так и сяк Зайнаб разузнавала,
Да от расспросов толку было мало.

Никто не знал, откуда он пришел.
В каком гнезде он подрастал, орел...

Никто не виделся с его родными.
Где жил он, что он делал до сих пор?..
Что, если у него — дурное имя?!
Тогда падет на голову позор!

Тогда с презрением скажет кто угодно,
Что приглянулся девушке безродный

Пришлец, бродяга жалкий — без корней...
Тогда проклятий не избегнуть ей,

Все назовут беспутною, дурною.
Подруги повернутся к ней спиною...

Тогда придется бесприютной тенью
Бродить ей по родимой стороне...

... Вот почему Зайнаб молчит в смятенье
И тайну сердца бережет вдвойне.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Зайнаб и не предвидела тогда,
Что к ней другая близится беда,

Что тучи надвигаются и вскоре
Над самой головой нависнет горе,

Жестокою грозой разразясь,
Что прошлое — жесточе урагана —
Ворвется вдруг, затопчет чувства в грязь
И отодвинет от нее Амана.

Зайнаб не знала, что вчерашний день
Способен бросить на «сегодня» тень,

Хотя — как рассудить! — совсем недавно,
Влачась во тьме покорно и бесправно,

Жил человек в оковах — точно раб...
О том забыла юная Зайнаб.

Не думала она, что может кто-то
По простоте души, а не со зла,
Как будто даже проявив заботу,
Стянуть концы проклятого узла,

Что дух былого — тягостный и жуткий —
Царит еще и в сердце, и в рассудке

У множества старух и стариков,
Что он живуч и цепок — дух веков,

Что он — в обличье ласки и участия —
Угрозой станет молодому счастью.

Но чтоб об этом толком рассказать,
Мы повернем повествованье вспять.

2

В судьбе Зайнаб проклятый узел бедствий
Затянут был еще в далеком детстве.

Ей было от роду лишь два-три дня,
Когда в их доме собралась родня.

Все нарядились будто бы для пира,
С собой ребенка принесли — Сабира:

«Вот он — для вашей девочки жених!..» —
И преломили над столом лепешку.
Так накрепко связали их двоих:
Малютку-жениха, невесту-крошку,

Короткую молитву прочитав.
Сабира отличал спокойный нрав,
И он игрой был поглощен всецело.
От голода невеста заревела,
И был истошным криком завершен
Обряд, столь роковой для многих жен.

Казалось, все о том забыли позже
В чередованье радостей и бед. . .
Но мы увидим, что обычай всё же
На девичьей судьбе оставил след.

3

Шли годы унижений и нужды.
Осыпались, как с дерева плоды,

Родные, разбрелись куда попало. . .
Отца и матери Зайнаб не стало. . .

И вот сиротка в кишлаке — одна.
Кому она, бездомная, нужна?! .

Нет у бедняжки ни угла, ни крова,
Нет матери и нет отца родного,

И друга нет, кто б в горе пожалел. . .
Печален обездоленных удел! . .

Легко ль чужие обивать пороги? . .
Бредет Зайнаб-сиротка по дороге.

Вон дом богатых — ладен и высок.
Зайнаб рукою отирает слезы,
Дрожмя дрожит, как слабенький росток,
Когда в него ударили морозы.

Приюта робко просит сирота,
Но дверь в богатом доме заперта.
Зайнаб напрасно молит об ответе. . .
. . . Однако не без добрых душ на свете!
Нашла Зайнаб гостеприимный дом
И приютилась под его крылом.

Домишко этот — неприметный, скромный —
Был неухожен, был убог и стар. . .
Сиротка стала дочерью приемной
Не злой, но шумной тетушки Анар.

В те годы тетушка была бедна. . .
Зайнаб в делах — с рассвета дотемна:

Встает с зарей — и тут же за уборку.
Пылиночку и ту заметит зорко. . .

Так прибран дом, что любо поглядеть!
. . . Зимой сиротке нечего надеть,

Дрожит, бывало, в драной одежонке,
Но твердо помнит: жаловаться — стыд,
И только голосок — дрожащий, тонкий —
О потаенном горе говорит.

4

Луна и черной ночью свет зажжет.
Растопит солнце самый толстый лед.

Те времена лихие миновали,
Хотя сотрутся в памяти едва ли

Царапины и шрамы прошлых лет —
Нет-нет да обнаружится их след. . .

Но всё слышнее поступь жизни новой,
И будущее — рядом, за дверьми.
Минувших дней прогнившие основы
Навеки уничтожены людьми.

Привольней беднякам живется ныне.
Колхозы стали строиться в долине,

В них записалось множество семей,
Средь них — Анар, Зайнаб, конечно, с ней!

И пред глазами девичьими скоро
Открылись необъятные просторы.

Зайнаб узнала, что, как все, она
На уважение имеет право,
Что новые настали времена
И перед нею — трудовая слава.

Опять Зайнаб, как в детстве, весела,
В колхозе ценят все ее дела,

Терпенье, трудолюбие, умелость,
Пожить ей по-иному захотелось,

Не так, как жили бабушка и мать, —
Своей судьбы хозяйкой полной стать.

Глаза ее — искристые, живые —
Глядят на мир, не опуская век.
Зайнаб всем сердцем чувствует впервые,
Что ведь она и вправду — человек.

Судьба к сиротке проявила милость.
Тогда и чувство в сердце пробудилось,

Преображая всё, как свет зари.
Зайнаб решила: «Хватит мне скрываться!»

И в тот же день к ней подвела Хури
Амана...

Мы о том расскажем вкратце.

5

Свершилось то, что было неизбежно.
Он смотрит на нее тепло и нежно,

Он покраснел... («А ведь, пожалуй, он
Уже с давнишних пор в меня влюблен?..»

Как я, быть может, с первого же взгляда?..
О сердце, сердце!.. Нет с тобою сладу!..»)

Но о любви не заводил он речи.
(«Иль чувство проверяет он сперва?») —
Нечасты были первые их встречи,
Робки Амана первые слова.

Как будто что-то он сказать не может,
Как будто мысль какая-то тревожит

Джигита втайне... («Или, может быть,
Меня боится речью оскорбить?») —

А может, посерьезней есть причины? . .
Пооди пойми, что в сердце у мужчины!»)

Но час настал. В июньский вечер лунный,
Когда звенел и щелкал соловей,
В душе Амана задрожали струны
И, наконец-то, он признался ей.

И слушала Зайнаб, опьянена,
Слова любви, забыв о целом мире,
О всех сомнениях забыв сполна
И уж совсем не вспомнив о Сабира. . .

К тому же в кишлаке Сабира нет.
Уехал, ходит в университет

И с головою погружен в ученье. . .
Жених?! Да кто же придает значенье

Тому, что начудили старики?!
Но, времени и смыслу вопреки,

Родня Сабира помнит это свято,
И мать его готовит пир богатый.

«Как только сын мой ступит на порог —
По мне, так лучше и не уезжать бы! —
Исполним то, что повелел пророк
И выберем счастливый день для свадьбы!»

6

Зайнаб о том не знает ничего.
В ее душе восторг и торжество.

Она о радости своей огромной
Поведать хочет матери приемной.

Но как начать? . . Зайнаб мешает стыд.
За смелую Хури она бежит. . .

Весь путь они проводят в жарких толках,
Как поучтивей подготовить мать.

Пришли. . . Анар сама — как на иголках.
И разговор сама спешит начать:

«Зайнаб, ты знаешь, что спокон веков
Удел узбекской женщины таков:

Стать мужу своему женой примерной,
Богобоязненной, до гроба верной,
И послушаньем заслужить свой хлеб.
Так велено и Книгою судеб.

Все ищут пару — молодой и старый,
И птицы разбиваются на пары.

Жить по двое всё в мире норовит. . .
Хороший муж — от всех напастей щит,

А к одинокой не спешит отрада,
Горит и мучится ее душа.

Недаром за пророка Мухаммада
Пошла девятилетняя Айша. . .

7

Кому отец твой прочил дочь свою?
Зайнаб, он тешился мечтой одною,
Чтоб ты вошла в Сабирову семью,
Чтобы Сабиру стала ты женою!

Так завещал пред смертью твой отец. . .
Счастливица! Жених твой — молодец!

Ученый он, умелец в каждом деле.
А ты — его невеста с колыбели:

С молитвою лепешку преломив,
Соединили вас навеки вместе.
Сабир учтив, разумен и красив.
Все позавидуют его невесте!»

Так, торжествуя, говорит Анар,
И за ударом падает удар

На сердце девушки, как лист дрожащей.
Зайнаб молчит, но дышит чаще, чаще —
И в страхе слышит:

«Подошла пора.

О сроках говорили мы вчера.

Когда Сабир — жених твой золотой —
Закончив курс, из города приедет,
Сыграем свадьбу, справим славный той...»
...Зайнаб — ни слова...

Может статься, бредит

Она, Зайнаб? .. Всё точно злой кошмар!
Нет, наяву ей говорит Анар:

«Да, вот еще! .. По просьбе всей родни
И ради соблюдения приличий
Наденешь паранджу на эти дни,
Как нам велит старинный наш обычай!»

Зайнаб сидит, как будто онемев.
Обида, возмущение и гнев

Кипят в груди глубоко и подспудно.
Словами высказать всё это трудно.
Сидит, как ночь беззвездная, глуха, —
Ужасна боль, когда она тиха.

С негодованьем слившись воедино,
Она терзает, мучит изнутри...

Тут, как река, ломающая льдины,
Внезапно речью прорвалась Хури.

«Апа, простите мне прямое слово,
Но вы нас к рабству возвратили снова.

От вашего решения Зайнаб
В былые годы умереть могла б,
То, что зовете вы богобоязнью,
Могло бы обернуться лютой казнью.

«Зайнаб обещана была когда-то!..»
Но изменилось всё житье-бытьё.
И если к девушке приходят сваты,
Как не спросить согласия у нее?!

Считать ее невестой — просто бред!
С тех пор прошло почти что двадцать лет!..

А, может быть, Зайнаб за это время
Сама кого-то избрала меж всеми?..

Решенье, может статься, приняла
И обещание сама дала...

Так как же ей свое нарушить слово?!
Апа, решайте сами — где исход...
Зайнаб не может выйти за другого!
Она как лист засохнет и умрет!..»

Анар вскочила. Щеки у Анар
Дрожали и пылали, как пожар,

В течение всей строптивой этой речи.
Тяжелым грузом ей легло на плечи

Всё, что сказала горячо Хури...
«Девчонка! Что ты там ни говори,

Закон нельзя нарушить! И к тому же —
Да обойди Зайнаб весь белый свет —
Где, где она отыщет лучше мужа?!
Умней, достойнее Сабира нет!

Сабир — мечта красивейших невест.
Как солнечный восход — его приезд.

Тебе, Зайнаб, завидует любая! . .
Сабир умножит хлопок в нашем крае,

И хлынет золото к нему в хирман! . .
Да можно ли, решившись на обман,

Вдруг отказать Сабиру?! Дико это! . .
А что тебе, Зайнаб, велел отец?!

Отцов и дедов мудрые заветы
Кто смеет нарушать?! Какой подлец?!»

12

Зайнаб молчит, в себя погружена.
И разговор ведет Хури одна
Теперь помягче, просто и сердечно:
«Я понимаю вас, апа! . . Конечно,

И вам, апа, нерадостно сейчас.
Зайнаб хотела б выполнить наказ

И сделать так, чтоб всем приятно было,
Сдержатъ обет, хоть он не ею дан. . .
Но ведь она Амана полюбила,
Ее избранник — молодой Аман. . .

Он объяснился. . . В этом нет греха!
Не надо ей другого жениха! . .

По счастью, злые годы миновали,
Когда насильно замуж выдавали!

Аман — ее любовь, ее судьба. . .
Нет, женщина сегодня — не раба,

Не вещь бездушная, и не забава,
И не служанка мужа, наконец! . .
Кто у Зайнаб теперь отнимет право
На счастье, на любовь?! Какой подлец?!»

Слова Хури звучали гордо, смело,
Глаза метали огненные стрелы

В противницу. . . А та — горит огнем,
Она готова в бешенстве своем

Избить Зайнаб, Хури. . . Чернее тучи
Вскочила, и поток упреков жгучий

Обрушился на голову Зайнаб:
«Выходит, вот она — твоя работа! . .
Бесстыжая! Ох, знала я когда б! . .
Хотя б намеком надоумил кто-то! . .

Твердила мне о деле, а пока
Нашла себе сердечного дружка

И, с подлою подружкой условясь,
Гуляла с ним, забыв и честь, и совесть! . .

Вот где твои колхозные дела! . .»
Всё не могла Анар уговориться,
К Зайнаб она вплотную подошла
И крикнула: «Бесстыдница! Блудница! . .»

И, словно молнией обожжена,
Зайнаб качнулась. . . Вся дрожит она,

Однако оскорбительнице прямо
Глядит в глаза:

«Остановитесь, мама! . .

Прошу, не торопитесь оскорблять!
Ведь вы мне были как родная мать!

Когда б вы поняли, как мне обидно! . .
Смирите свой несправедливый гнев!

Увидите, вам тоже будет стыдно,
Когда увяну, чуть зазеленев. .

Не будьте так жестоки, так упрямы. . .
Спокойно выслушайте правду, мама!»

«Да, да, всю правду! — крикнула Анар.—
Всю правду! . . Как тащила на базар

И красоту свою, и стыд дивичий!
О чем ты думала, презрев обычай?!

Какой наглец тобой руководил,
Толкая на презренную дорогу?
Какой хитрец с пути прямого сбил?!
Да, да, скажи всю правду, ради бога!

С кем ты слюбилась?! С чертом, с сатаной →
Ты, что могла быть честною женой! . .

Меня в пример хотя бы взять могла б. . .
Достойной жизнью я жила, Зайнаб,

Шестнадцатый всего пошел мне год,
Когда на свадьбу повалил народ.

Сказали, что приданое готово,
Но больше мать не проронила слова.

Кто мой жених — о том не говорят. . .
Красивый, помню, был на мне наряд,

Дрожала я от страха и стыда. . .
День показался бесконечно долог.
А кто мой муж, узнала я тогда,
Когда передо мной раскрыли полог. . .

Родителей за то я не кляла. . .
И что дурного? . . Я не умерла.

Здоровьем — видишь — с молодой поспорю.
От мужа мало я видала горя,

Хоть и счастливого не знала дня.
Жила, как все другие до меня,

Как жили сотни бабушек и дедов
За много лет до нынешних времен,
Хваля аллаха, злобы не изведав
И соблюдая мудрый наш закон. . .

А ты, блудница, вздумала роптать
И всё, что нам священо, в грязь втоптать,

Всё уничтожить за одно мгновенье,
О кротости забыв и о терпенье! . . »

15

Пронзительные крики сердце жгут,
И слезы непрерывные бегут

По бледным щечкам девушки несчастной.
Хури молчит. . .

Внезапно с мукой страстной
Зайнаб сказала, голову подняв:
«Как черен ваш обычай! Как не прав!

Ведь даже и по вашему рассказу
Его жестокость очевидна сразу.

На свадьбе мужа увидеть впервой! . .
Да это ж — гибель для души живой,

Источник всех обид и унижений! . .
Пускай не испытали вы лишений,

Но — сами согласитесь вы сейчас,
Что счастье тоже обходило вас! . .

Все годы — в беспросветной кабале,
Без радостей любви брести устало. . .
Нет, изо всех неправных на земле
Бесправней наших женщин не бывало!

Защитника вы в муже обрели?!
Но кем был муж? . . И он лежал в пыли,

И муж, и вы в течение поколений
Склоняли пред богатыми колени!

Для вас — хоть вы не сознаёте в том! —
Богатство было высшим божеством.

Рабом был муж. . . Рабой вдвойне — жена!
Тьма, униженья в тысяче обличий! . .
Нет, мне такая участь не нужна!
Будь проклят он — священный ваш обычай!

16

Вы прожили, апа, немалый век.
Но как вы жили? . . Так, как человек? . .

Сначала были дочерью послушной,
Потом женою стали равнодушной

И уступали мужу, не любя. . .
Как страшно обокрали вы себя,

Смирясь и покорившись без усилий!
Иль вы не поняли, хотя б теперь:
Те, что на свадьбе полог приоткрыли
Пред вами, — к радости закрыли дверь,

В тот миг на вас обрушили несчастье,
Вас обрекли на вечное ненастье,
А вы, в смиренье пагубном своем,
Считать его хотите ясным днем! . .

Неужто, если б вас лишили зренья,
Вы и тогда бы, копошась впотьмах,
Не потеряли рабского терпенья
И повторяли: «Так велит аллах!»

Я порвала с терпеньем. И — не каюсь!
От вашего закона отрекаюсь.

Да, я хочу и счастья, и любви,
И сердцу говорю: «Люби! Живи!»

Рвануться к небесам я захотела,
Мечтанья воплотила наяву,
И ту судьбу, что вы считали белой,
По праву черною теперь зову.

Ко мне, апа, пришла весна в цветах.
Очнулась я. Я победила страх,

И в каждой жилке заиграла смелость,
В груди большое пламя разгорелось,

Как будто неподвластное уму.
И вот я устремилась к одному,

Заметила его меж остальными,
Хоть, может быть, он даже нехорош...
Но чуть слышу дорогое имя,
Тотчас по телу пробегает дрожь,

Огонь в груди, в глазах моих туман...
Как сладостно зовут его — Аман!

О мама! Я честна перед тобою.
Аман, Аман! Он стал моей судьбою!

Один Аман желанен и любим!
О мама! Я неразделима с ним!

Неужто преступленье я свершила,
Что, на людей смотря без паранджи,
Нашла такого, чье лицо мне мило!...
В чем виновата я,— сама скажи!

17

Я слишком долго говорила, мать:
Всё для того, чтоб вы могли понять,

Чтобы меня вы отпустили с миром...
О мама! Не терзай меня Сабиром,

Не раскаляй на медленном огне!
Пусть он хорош, он всё же — не по мне.

Пусть он ученый, пусть он — самый лучший,
Но сердце не способно на обман.
Словами гневными меня не мучай.
Что мне Сабир?! Мне нужен мой Аман!

Сабир прекрасен, это всем известно,
Так пусть с любою девушкой прелестной

Идет он подобру и поздорову...
А мне оставьте моего дурного

И неученого — какого есть!
В любви Амана — жизнь моя и честь!..

Когда я с ним, душа моя спокойна...
Апа! Я сожаления достойна!

Вы были доброю ко мне всегда,
Так не лишайте и сейчас участия.
Поймите вы: Сабир — моя беда.
Аман — мое единственное счастье!»

18

В глазах Анар горит всё та же злоба...
«Аман... Аман... Противны мне вы оба!..

Так, значит, за Сабир не пойдешь?»
— «О мама!.. В сердце не вонзайте нож!

Я всё вам рассказала, не тая».
— «Тогда решай: любовник или я?..
Я иль Аман?..»

— «Аман мне всех дороже!»
— «Ох, слышать не могу о нем без дрожи!

Да кто он, подлый этот негодяй?
Откуда родом?.. Слышишь?.. Отвечай!»

«Апа!.. Об этом я не дознавалась.
Сама я в нем сначала сомневалась,
А ныне верю. Верю навсегда.
И этой верою душа горда.

Меня он любит... Разве мало это?!»
Анар невзвидела от злости света:

«Прочь! Убирайся с глаз моих долой!
Уйди, змея! Чьей хочешь будь женой,

Себе, отцу покойному на горе!
Околевай в презрении, в позоре!

Тебе я много сделала добра!
Другое подыщи себе жилище!
Ох, вспомнишь обо мне!

Придет пора,
Тебя он бросит... И — бездомной, нищей —

Поймешь тогда, как ты была слепа!..»
— «Не нужно проклинать меня, апа!

Не причиняйте сердцу лишней боли
И не жалеете вы о хлебе-соли,

О том, что дали девочке приют...
Проклятья ваши точно плеткой бьют.

Всё ж прежней доброты я не забуду,
И больно мне, что я, уйдя отсюда,

Свои долги с лихвой не отдала...
Когда в себя придете вы от зла,

Того, что мысли вам сейчас туманит,
Увидите — вам тоже горько станет,

А я пойду, покинув этот дом,
Дурным ли, добрым, но своим путем!»

И слезы льются у Зайнаб опять,
И, тихо плача, стала собирать
Она свои нехитрые вещицы,
Всё то, что оставалось в ичкари... .

А старая не думала смириться,
Браня Зайнаб, а вместе с ней Хури,

Кляня свои убытки и потери,
Пока не вышли девушки за двери.

Старуха, распалясь, вопила так,
Что говорил в тот вечер весь кишлак

О ссоре, о Зайнаб и об Амани...
...А поутру, когда в рассветной рани
Сверкнуло небо розовой каймой,
Сабир вернулся к матери домой.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Как только над селеньем тьма сгустилась,
Зайнаб в уже знакомый путь пустилась.

Шаги ее пугливы и легки...
Пришла... Стоит у Зеравшан-реки.

Заводит с ней загадочные речи
Свидетель первый — черная вода.
Второй свидетель тайной этой встречи —
Над Зеравшаном горняя звезда.

Свидетели такие не опасны,—
Они к прелестной девушке пристрастны.

Обет молчанья всей природой дан...
Кусты, шурша, раздвинулись... Аман,

Волненья полон, полон ожиданья,
Торопится к любимой на свиданье.

Но что случилось?.. Кто ее обидел?
Лицо возлюбленной бледней Луны.

Столь грустною Аман ее не видел:
Слезами очи звездные полны.

2

Дрожа, Зайнаб шепнула еле внятно:
«Аман!.. Должна молчать я, вероятно.

Но, милый, сердце у меня болит...
Недавно я... ох, даже вспомнить стыд!..

Я поступила недругам в угоду
И не сказала — из какого рода

Ты, мой любимый, где твой отчий кров,
К нам ты явился из каких краев?

Кто твой отец? Кто мать твоя родная? . .
Ведь ничего я о тебе не знаю!

Поведай мне: в каком достойном месте
Тебя растили родители твои? . .
Всё расскажи подробно, честь по чести,
И ничего — прошу! — не утай.

Я и сейчас, Аман, горжусь тобою
И — верь, мой друг! — гордиться буду вдвое,

Простой, правдивый выслушав рассказ. . .
Что ж ты молчишь, любимый? . . .»

Свет погас

В глазах Амана. Щеки побледнели.
«Ты рассердился, милый?! . Неужели,

Спросив тебя, я совершила грех? . . .»
Аман молчал. Он был далек от всех,

И от Зайнаб. . . Путь совершал он длинный:
Взбирался на пригорки, шел долиной,
Селенья посещал и города. . .
Он погрузился мыслью в те года,

Когда судьбы чуть намечалась завязь. . .
И, наконец, с волнением жгучим справясь

И глядя в нежные глаза Зайнаб,
Он речь повел о бедах, о печали.
Был голос у джигита тих и слаб,
Как шум травы, слова его звучали.

3

«Ты мне велишь всё рассказать! . . Изволь.
Но твой вопрос разжег такую боль! . .

Едва дышу от муки нестерпимой. . .
Как всё мне рассказать моей любимой?

Клянусь, не повинуется язык! . .
Печальны главы повести унылой.
И хоть мужчина плакать не привык,
Но удержать рыдания — не под силу!

Что мне известно о себе — Амане?
Воспоминанья? . . Нет воспоминаний!

Какое имя я ни назову,
Ни в сокровенных снах, ни наяву

Оно не будет связано с чертами
Родимой матери или отца! . .
Как тяжело мне! . . Меня сжигает пламя.
Но всё же слушай. . . Слушай до конца! . .

4

Ты знаешь, чем подлунный мир живет?
Его опора, светоч, и оплот,

И противостоянье вероломству —
Любовь и нежность матери к потомству.

Весь мир согрет любовью и теплом,
Он материнским осенен крылом.

Над всем живущим сень оно простерло. . .
И если смерть хватает мать за горло,

То, прежде чем оцепенеет взгляд,
Пока еще он стынет понемногу,
Следит он за ребенком, говорят, —
Не надо ль оказать ему подмогу?

Безгранна эта нежность и крепка.
Собака воеет, потеряв щенка.

Над малыми птенцами суетится,
Питает их неутомимо птица.

Везде, Зайнаб,— ты погляди вокруг! —
Любовь родимой. . . Даже мама-жук,

На черного жучонка глядя нежно,
Жужжит тихонько: «Ах, мой белоснежный!»

Все, даже змеи, даже скорпионы,
Что, как известно, ядовито-злы,
На чад своих любуюсь умиленно,
Бормочут: «До чего они милы! . . .»

5

Благоухают по весне сады,
Под осень наливаются плоды,

А в сердце материнском круглый год
Любви и нежности сияет плод.

Какая мать ребенка не голубит?
Какой ребенок мать свою не любит? . . .

Дитя — цветок, а мать — цветущий сад;
Цветы, пестрея, сад благодарят.

И только я, угрюмый, нелюдимый,
Один бродил по свету с детских дней,
Грустя о матери своей родимой
И ничего не ведая о ней.

Лишь я тоскую, плача и стенаю,
О песенке, которой я не знаю,

О той, что до меня и не дошла,
Той, что лучами света и тепла,

Что звуками своими золотыми,
Как ручеек, журчала над другими.

Журчанию такого ручейка,
Случалось, я внимал издалека.

Бывало, чуть на улицу я выйду,
Услышу, как ребенка кличет мать,

Такую чую зависть и обиду,
Что не могу тебе и описать!

6

Мне было девять в горьком том году,
Когда узнал я про свою беду

И навсегда утратил бодрость духа.
В тот самый год согбенная старуха,

В чьем бедном доме я, мальчишкой, рос,
Сказала, не удерживая слез:

«Узнай всю правду-истину, сынок,
Ты, как листок последний, одинок.

Истории твоей скрывать не стану
И больше притворяться не могу.
Однажды подошла я к Зеравшану
И там нашла тебя на берегу.

Нет ни сестрицы у тебя, ни брата,
Нет женщины, что приняла когда-то

Тебя, склонясь над матерью твоей.
Нет у тебя ни близких, ни друзей:

Нет никого на целом белом свете,
Кто б за тебя, несчастный, был в ответе!

Тебя я возрастила, как могла,
Но доля престарелых тяжела,

Слаба я, видишь. . . Иссякают силы,
И мне тебя не прокормить. . . Прости!
Покинь мой дом! Ступай в дорогу, милый!
Да сохранит аллах тебя в пути! . .

За эти годы поутихли войны.
Наш край родной теперь живет спокойно.

Быть может, там, куда направишь путь,
Родных своих ты сыщешь где-нибудь.

Мне жаль тебя, я безутешно плачу!
Но, может быть, судьба пошлет удачу,

А Зеравшан подаст сиротке знак,
И ты узнаешь свой родной очаг...»

Старуха замолчала и с тоскою
На небо устремила тусклый взгляд...
Я понял всё... Я встал, махнул рукою
И зашагал — куда глаза глядят.

7

Я шел вдоль Зеравшана. Но, однако,
Река нигде не подавала знака:

«Вот, мол, твой дом!.. Стучись и заходи!..
Меня хлестали ветры и дожди,

Жара томила, с ног сбивали грозы.
Глаза кровавые струили слезы.

Я всюду был бродягой из бродяг,
Пришелец жалкий, робкий и безмолвный.
Я речку заклинал: «Яви мне знак!»
Но равнодушные звенели волны.

Бывало, дом завижу за холмом —
Взбегу на холм, спешу с надеждой в дом...

Выходят мне хозяева навстречу.
Случается, приветливы их речи:

«Садись, мол, путник! Отдохни в тени!»
Но ни один не знал моей родни.

Никто из жителей окрестных стран
Не слышал, чтоб ребенка потеряли...
Я продолжал свой путь...

И Зеравшан
О берег бился, устремляясь в дали.

И, как река, меж гор, среди долин
Я шел всё дальше. . . Шел один, один! —

Расспросами всех встреченных тревожа,
Но слышалось в ответ одно и то же:

«Нет, не знавали мы твоих родных!
Да что искать?! Их, верно, нет в живых.

Несчастья нашу землю посетили,
И люди гибли жертвами насилий,

От голода и от иного зла. . .
Бесчисленны жестокие потери! . .
Творились в мире страшные дела.
Брось поиски! . .»

Но, никому не веря,

Я шел всё дальше. Я менял места
И плакал, как ягненок-сирота,

А надо мною щебетали птицы:
«Не мучься попусту! Пора смириться!»

Шептали мне тенистые сады:
«Смирись! . . Напрасны все твои труды!»

Но шел я дальше — через перевалы. . .
Страна моя повсюду расцветала.

Живет в довольстве, в радости народ,
Забыв о злополучье, о ненастье.

И лишь меня всё та же боль сосет,
Непоправимо лишь мое несчастье! . .

Дурной вопрос ты задала Аману.
Ты старую разбередила рану,

Невольню на нее насыпав соль!
За что, Зайнаб, ты причинила боль

Тому, чье сердце издавна разбито?!
Вновь поднесла ты кубок ядовитый

К губам, сухим от жажды с юных лет! ..
Кто я, Зайнаб?! . Что мне сказать в ответ?!

Ты разбудила сонмище смятений.
Ты пламя гнева разожгла во мне! ..
Зайнаб, я сохну, словно лист осенний,
Зайнаб, я гибну в медленном огне!

Откуда я? .. Спроси у Зеравшана,
Что земли оmyвает неустанно, —

Кто мать моя? И сам я — кто таков?
Спроси у седовласых стариков,

Спроси у горлиц, что на ветках ивы
Стенают жалостно и сиротливо,

Спроси у ветра, что летит в поля,
Спроси у ветки белой миндаля:

Кто твой Аман, твой друг, кого, тираня,
Ты ввергла в жесточайшее из зол? ..

Они тебе расскажут об Амани —
Кто я таков, откуда я пришел. . .

9

Ох, сколько утекло воды с тех пор,
Как начал я среди пустынь и гор

Искать свое родное пепелище,
Родителей или хотя б кладбище,

Где успокоился их бедный прах. . .
Нигде о них я не слышал ни слова,
И Зеравшан, волнуясь в берегах,
Не подавал мне знака никакого,
Где родина моя, моя семья. . .
Зайнаб! Я к вам пришел, в твой край,

От горя пожелтевший, как солома,
И встал усталый на пороге дома,

Смотря на лица через сетку слез...
И стал мне отчим домом ваш колхоз.

Здесь я нашел себя, покой и честь
Среди друзей моих — в работе славной.

Я стал самим собой, каков я есть.
Я — человек, я между равных — равный.

10

Здесь я обиды позабыл свои.
Я здесь, у вас — в кругу родной семьи,

И не унижен, и не обездолен,
И наконец своей судьбой доволен.

Я честно зарабатываю хлеб.
И понял я, что жалок был и слеп,

Не видя счастья, что сокрыто в мире,
Не видя красоты его и шири.

И в заигравшей весело крови,
В душе моей, очнувшейся впервые,
Возникла жажда радости, любви,
Любви, которой дышат все живые.

11

Зайнаб! К тебе я стираю руки,
А с ними сердце, где тоска и муки

Преобразились в нежные цветы,
И это чудо совершила ты!

В твоей любви нашел я обновление,
Забвенье всех моих минувших бед,
Ты, как заря, блеснула в отдаленье,
И над землею разгорелся свет,

Степь расцвела. Зашелестели травы,
О милая! Ты мне вернула право

На жизнь и радость... Где найду слова
Для той, чьей нежностью душа жива?!

Не мучь меня за то, что я измладу
Отвержен был — не по своей вине,

Не изгоняй из благодного сада
Твоей любви, что навсегда — во мне!»

12

Всё это высказав, умолк Аман,
Рассеялись сомненья, как туман,

В душе Зайнаб... Глаза ее сияли
Глубоким светом нежности, печали,

Всепониманья, высшей доброты...
Еще милее сделались черты,

Освободясь от тени недоверья.
И ощутил Аман, что он в преддверье
Большого счастья. Пламенем сердец
Окрестный мир был озарен, казалось.

Все осияли — из конца в конец —
Взаимная любовь, доверье, жалость.

13

В ночи струился Зеравшан, шумя,
Двумя глазами, звездами двумя

Был освещен благоуханный воздух.
И влажно трепетали в этих звездах

Еще не высказанные слова...
Был берег тих, не двигалась трава,

Но в ветках трепетали ветра струи,
И листья посылали поцелуи

Друг другу — рядом, и влюбленным — вниз,
Влюбленным, чьи сердца так сладко бились,
Чьи руки так доверчиво сплелись,
Чьи губы — наконец! — соединились. . .

14

. . . Как только посветлело за окном,
Зайнаб вскочила и с Хури вдвоем

По улице пошла походкой смелой. . .
Куда они? . . .

 Пред ними домик белый.

Чинары зеленеют у ворот. . .
С родителями тут Сабир живет. . .

Семья пила неспешно чай зеленый,
Когда калитка закрипела вдруг.
Сабир привстал навстречу, изумленный,
Приветствуя вошедших двух подруг.

Одна из них — Зайнаб. . . Что приключилось? . . .
«Да, я к тебе, Сабир! . . Яви мне милость!

Сабир! Надежда только на тебя!
Мне тяжело, Сабир. Я погибаю.
Разбили сердце у меня, дробя. . .
Виною — ты. . . Нет, нет, судьба слепая!

С младенчества связали нас двоих:
Я, мол, твоя невеста, ты — жених.

Так старики считают и старухи,
Они к моим слезам и просьбам глухи,

И нет конца проклятьям и хуле!
А мне всего дороже на земле . . .

Аман мой милый, мой жених желанный.
Из всех других я избрала Амана...

Прости, Сабир!.. Не ты, не ты мне дорог!
Да, верно, и тебе не я нужна!..
Всё это бредни бабок, у которых
В оковах разум и душа темна.

Мы оба связаны не нашей клятвой...
Проклятый узел разрубил, о брат мой,

И мы освободимся — ты и я,
Мы — не супруги. Мы с тобой — друзья.

И мы с тобой, Сабир, совсем не пара.
О, помоги сломить обычай старый,

Любовь и счастье превративший в ложь!..
И ты, Сабир, любимую найдешь,

Которая во всем тебя достойна...
От нас обоих отстрани беду!..
Пусть будет сердце у меня спокойно.
Освободи меня, Сабир!..

Я жду».

Пока звучали тихие слова,
Сабир молчанье сохранял едва,

Он морщился, как будто выпил яда,
И, всем горящие бросая взгляды —

То на Зайнаб, то на отца и мать,
Не смел рассказа девушки прервать.

Когда ж Зайнаб замолкла, покраснев,
Он распрямился, он излил свой гнев

В негромкой речи, сказанной сурово.
Немногословен был его ответ,
Но каждое продуманное слово
Зачеркивало мудрость прошлых лет.

«Пусть злые старики уйдут с пути,
Пусть не мешают молодым идти,

Как нам велит душа и наше право!
Людские чувства — больше не забава

Для старших и не рыночный товар!
Мир — не темница больше, не базар,

Где женщину — и дух ее и тело —
Друг дружке предлагают торгаши.
Мы сами избираем гордо, смело
Тех, кто всего желанней для души!

Не мучься, милая! Люби Амана!
Кто-кто, а я тебе мешать не стану.

Я знаю цену подлинной любви.
Будь счастлива, сестра моя!.. Живи

В спокойствии и радости всегдашней!
Да сгинет он бесследно, день вчерашний!..

Забуть о нем давно пришла пора.
Ты — не моя невеста, ты — сестра,

А у меня есть девушка другая,
С которой разлучиться я б не смог!..
Будь счастлива с Аманом, дорогая!..
Да озаряет радость ваш порог!..

Ступай, Зайнаб!.. Ступай, сестричка,
с миром!..»

Зайнаб сияла. И перед Сабиром

Склонилась низко, чуть не до земли...
Вдвоем с Хури они домой пошли,

Сабира восхваляя неустанно.
Сейчас они порадуют Амана...

На крыльях добрая помчалась весть,
И в кишлаке все жители как есть

Слова Сабира громко повторяли,
Судили, и рядили, и гадали,

Что скажут мать Сабира и отец,
Что сделает Анар. . . И, наконец,

Решили в кишлаке единогласно,
Что, мол, Анар кричала понапрасну,

Что прежнее забыто сватовство,
И что Зайнаб добилась своего,
И что никто ей не желает зла.
Твердили молодые: жизнь пошла
Добрее, справедливей, чем когда-то,
И согласился дружно млад и стар,
Что скоро-скоро посреди рабата
Столы поставят и споют «яр-яр».

На пышный той собрался весь кишлак.
По-своему о свадьбе думал всяк:

Седым всё это было не по нраву,
А тот, кто молод, пел невесте славу

За то, что смелый проявила дух,
Не убоявшись стариков, старух

И древнего жестокого закона.
Кто горестно смотрел, кто — восхищенно,

Все пожилые проявляли страх,
И всё ж иная женщина в летах
Нет-нет да и вздыхала поневоле
О юности своей, о горькой доле,

О девичьей загубленной красе.
Зазря увядшей, точно лист в ненастье,
А молодые радовались все,
Аману и Зайнаб желая счастья.

19

И в этот день чудесный, говорят,
Битком набит колхозный был рабат.

Народ сюда стремился отовсюду —
Из мест соседних шли, издалека. . .
Храпели кони, горбились верблюды. . .
Из самого глухого кишлака

Спешила молодежь — не опоздать бы!
Народ струился, как весенний сель.
Хотелось всем поспеть на праздник свадьбы,
Еще не виданной у нас досель.

20

На этом пире отыскалось место
И тем, кто раньше осуждал невесту,

Кто сгоряча желал влюбленным зла. . .
Хоть грустно было, всё ж сюда пришла

Анар — притихшая, с погасшим взглядом,
Со старой матерью Сабира рядом,

Она забилась в дальний уголок,
Чтобы никто к ней подойти не мог.

Зато Хури смеялась, ликовала,
В девичьем звонком хоре запевала.

Она, хваля подругу, как всегда,
Счастливейший ей обещала жребий.

Хури была сегодня как звезда —
Светлее, ярче всех сестер на небе.

Рубаб и чанг звенят. Цветной ковер
Великолепный развернул узор.

На пестром фоне, как большие птицы,
Порхают и кружатся танцовщицы.
«Яр-яр» напев звучит со всех сторон.
Поет нам соловей — Халимахон. . .

Подобно облакам, кружатся пары.
Поют согласно молодой и старей. . .

Сменяет пляску буйная игра. . .
Сегодня не затихнут до утра. . .

И только двое — лишь молодожены —
Как будто от веселья в стороне,
Но радость в них сияет потаенно,
Как отблеск звезд в полночной глубине.

21

Так наконец друг друга обрели
Зайнаб с Аманом — детища земли,

Взломавшей ковы древнего завета. . .
Немного оставалось до рассвета,

Когда подруги, обступив кольцом,
Молодоженов проводили в дом,

Где жизнь свою они начнут сначала.
И песнь «яр-яр» как никогда звучала,
Всё обещало счастье им двоим. . .
Был этот дивный миг — неповторим.

. . . Вставало солнце, Зеравшан-река,
В лучах зари — и правда! — золотая,
Струилась, освежая берега
И новое сознание пробуждая.

1938

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Много ль, мало ли лет назад
На земле жила Паризад,
И была хороша она,
Как в цветущем саду весна.
Кипарису подобный стан
Черным блеском кос осиян.
Как нарциссы, глаза нежны,
Стрелы гнутых ресниц длинны.
Ее брови на белом лбу,
Изгибаясь, вели борьбу,
Прикоснуться желая к ней,
К черной родинке меж бровей.
На коралловых губ изгиб
Кто засмотрится — тот погиб.
Чтоб такой красоты гроза
Не слепила людей глаза,
Обнесен был стеною сад
Ханской дочери Паризад.

2

Шла молва о ее красе,
Словно ветер по полосе;
Рассыпала кругом молва
Золотые свои слова.
И джигиты теряли сон —
Каждый был в Паризад влюблен.
Каждый плакал, как соловей,
У закрытых ее дверей.
Был в разгаре большой базар —
Всем по вкусу такой товар,
Все спешили средь суеты
К заповеднику красоты.
Нагружали своих ослов,
Посылали седых послов.
Скакуны их туда несли,
Их верблюды туда везли.

Женихи устремлялись в сад
Ханской дочери Паризад.

3

Но, собою опьянена,
Равнодушна была она.
Что ей розы, что соловьи,
Что ей муки чужой любви?
Занималась только собой,
Любовалась только собой.
Об ограду ее дворца
Разбивались не раз сердца.
И сгорали они дотла,
Оставалась одна зола.
И шумела кругом молва:
«Дочь-то ханская какова!
У красавицы, погляди, —
Сердце каменное в груди.
Червоточинка скрыта в нем,
В этом яблоке золотом».
Этой славы дурной слова
Разносила кругом молва,
Закрывая дороги в сад
К ханской дочери Паризад.

4

И услышал про это хан,
И не спал до рассвета хан.
На рассвете с постели встал
И к себе Паризад позвал.
Не скрывая тоски своей,
Он воскликнул навстречу ей:
«Слушай, роза моих услад,
Слушай, дочь моя Паризад!
Я не спал напролет всю ночь, —
Не могу тоски превозмочь.
Ты свела старика с ума,
Что мне делать, скажи сама,
Коль в народе идет молва:
«Вот у хана дочь какова!
У красавицы, погляди, —
Сердце каменное в груди.»

Никогда ей любви не знать,
Старой девою вековать.
Червоточинка скрыта в нем,
В ханском яблоке золотом».

Червоточинка! . . . Слышишь ты?
Иль от гнева не дышишь ты?
Я от этих слов поседел
Больше, чем от военных дел.
Я не знаю, как быть с тобой,
Со своею большой бедой. . . »

И прекрасная Паризад
Опустила горящий взгляд,
Загорелся лик кумачом,
Побледнела она потом
И сказала едва дыша:
«Слава всякая хороша. . .
Ладно! Пусть богатырь любой
Хоть сегодня придет за мной.
Выйду замуж я за него,
Но условие таково:
Там, где конный шумит базар,
Исполинский стоит чинар,
Оплетает ветвями он
Весь лазоревый небосклон.
Много силы в его корнях,
В чернобурых седых ветвях.
Он столетьями в землю врыт,
Тайны вещице он хранит.
Тот джигит будет мужем мне,
Кто на резвом своем коне
На столетний чинар взлетит,
Вырвет с корнем и сокрушит.
Знайте, сердце мое тогда
Станет пламенем вместо льда.
Знайте, стану его женой!
Пусть приедет джигит за мной. . . »

Хан улыбкою просиял
И придворных своих созвал,
Приказал разгласить тотчас
Высочайший такой указ:
«Эй, джигиты моей страны!
Вы в походах закалены,

Вам сверкает сквозь мрак времен
Красным золотом ханский трон.
Эй, скачите во весь опор!
Эй, летите на ханский двор!
Будет пир изо всех пиров,
Состязание удальцов,
И достанется сверх наград
Победителю Паризад,
Будет верной женой его.
А условие таково:
Там, где конный шумит базар,
Исполинский стоит чинар,
Корни в толщу земли вросли,
Ветви небо всё оплели.
Пусть разгонит коня джигит,
Пусть на древний чинар взлетит,
Свалит дерево на скаку, —
И достанется смельчаку
Дочка ханская, сверх наград,
Луноликая Паризад.
Эй, скачите во весь опор,
Все джигиты, на ханский двор!»

5

Эту весть разнесли в ночи
Быстроногие карнайчи.
Вдоль базара летит она,
У мазара гудит она. . .
Ой, как пыль по полям пылит,
Сбруи звон по ветрам летит!
То не солнце в огне лучей,
То сверканье кривых мечей —
Едут, едут богатыри
От зари до другой зари,
Бьют нагайками на скаку
По узорному чепраку.
Едут мимо солончаков,
Едут мимо пышных лугов,
Горяча молодых коней,
Джигитовкой гордясь своей,
От зари до другой зари
Едут, едут богатыри.

Над землю взошла заря,
 Как цветущий гранат горя.
 Алокрылые лепестки
 Осыпают все чепраки,
 В блеске их, как большой пожар,
 Черно-бурый горит чинар.
 Тяжко ветви его скрипят,
 Грозно ветры в ветвях гудят,
 А под черною гущей ветвей,
 Оседлавши своих коней,
 Здесь и там женихи снуют,
 Скакуны удила грызут
 И зевак любопытных круг
 Обсуждает красу подпруг.
 И, величием осиян,
 В златотканом халате хан,
 И прекрасная Паризад
 Поднимает лукавый взгляд.

Вот над замершею толпой
 Первый ринулся вверх герой.
 Треск! И в корчах скакун хрипит,
 И, повержен, герой лежит.
 И, стрелой пролетев, второй
 Оземь грохнулся головой.
 Третий, съевший кожу змеи,
 Руки, ноги сломал свои.
 А четвертый легко взлетел,
 Спрыгнул вниз... а чинар-то цел!
 Недвижимо чинар стоит,
 Только ветер в листве шумит,
 Грозный рокот в седых ветвях,
 Под ветвями — кровавый прах...
 Семь бессонных ночей и дней
 На дыбы вздымали коней,
 С исполином вели борьбу
 Те, кто верил в свою судьбу,
 А другие, потупив взгляд,
 Погоняли коней назад.
 Вот восьмая заря видна,
 А задача не решена.

Косы шелковые свон
 Омочив в пролитой крови,
 Опустила надменный взгляд
 Неподвижная Паризад.
 Хан на месте едва сидел,
 За семь суток он поседел,
 Слезы горя, давясь, глотал,
 Трясся, охал — потом вскричал:
 «Что же это? Иль будем мы
 Так и жить средь позорной тьмы?
 Или нет у коней подков,
 Или нет в стране удальцов?
 Эй, глашатаи, карнайчи!
 Во всю глотку опять кричи!
 Ищут пусть по земле его,
 Зятя славного моего!
 Если есть хоть один джигит,
 Что, не слыша указа, спит,
 Что на празднество опоздал
 И своей судьбы не узнал,
 Если есть хоть один в стране, —
 Приведите его ко мне!»
 Снова вскинули карнайчи
 Трубы звонкие, как мечи,
 По дорогам пошли опять
 Волю ханскую выполнять.

Степь закатная широка,
 В алом пламени облака.
 Тихо так, что услышишь тут,
 Как травинки в степи растут,
 Как роняет степной тюльпан
 Лепестки на седой курган,
 Как звенят угольки в костре,
 Догорающем на заре.
 И сидит над костром пастух,
 Горьковатый вдыхает дух,
 Низко голову опустил,
 Руки смуглые уронил.

Овцы сонные шерстяной
Окружили его стеной.
В красноватом костра огне
Овцы что-то жуют во сне.
Звезды выплыли на простор.
Дышат травы. Дымит костер.
Только чьи-то шаги хрустят,
Чьи-то люди к нему спешат.
«Что сидишь, словно в землю врыт?
Поднимайся скорей, джигит,
Лучший свой надевай чапан, —
Ко двору тебя просит хан».
И пошел по степной тропе
Он навстречу своей судьбе.

9

Вот и конный шумит базар,
Вот и темный стоит чинар,
Оплетает ветвями он
Весь лазоревый небосклон.
Вот, величием осиян,
В златотканом халате хан,
Рядом с ним, словно в звездах ночь,
Красотою сверкает дочь.
И поодаль от ханских слуг
Перед ними стоит пастух.
«Ты откуда и кто, герой?»
— «Мудрый хан, я пастух степной».
— «Твоему я приходу рад.
Как зовут тебя?»

— «Я — Буньяд».
— «Почему ж ты, Буньяд, проспал
И на скачки не прискакал?
Или ты, мой пастух, не рад
В жены высватать Паризад?
Или счастье нейдет к тебе
По заросшей степной тропе?»
И волшебница Паризад
К пастуху обратила взгляд.
Опускает Буньяд свой взор,
Продолжает он разговор:
«Мудрый хан, я пастух простой,

Я живу в тишине степной,
И не видел я никогда,
Чтоб летела ко мне звезда.
Счастье прячется от меня,
Чтоб найти его, нет коня.
Не по мне, видно, звездный свет, —
Нет коня, значит, крыльев нет!
Хочешь, песню тебе спою
Про широкую степь мою?»
— «Запоешь! — рассердился хан. —
Запоешь у меня, чурбан! . .
Эй, ведите из табуна
Красногривого скакуна!
Если свалит чинар пастух,
Будь он на уха оба глух,
Будь он увальнем, дураком,
Прокаженным иль бедняком, —
Я отдам ему в жены дочь,
Той отпраздную в эту ночь!
Нет терпения у меня. . .
Эй, ведите скорей коня! . .»

10

Конь копытами землю бьет,
Гневно конь удила грызет.
Неотрывно глядит Буньяд
На красавицу Паризад,
А над ними чинар седой
Черно-бурой шумит листвою,
Грозный рокот в тугих ветвях,
Под ветвями — кровавый прах.
Конь копытами землю бьет,
Хан глядит, все глядят. . . и вот,
Исступленным огнем объят,
Скакуна осадил Буньяд,
Полоснул скакуна камчой
Так, что брызнула кровь струей,
Растоптал по пути траву
И, как молния, — в синеву!

Степь ли силу ему дала,
Буйный ветер — свои крыла,

Звезды ль дали над небом власть,
Чары ль ночи — к победе страсть,
Или это лукавый взгляд
Брови вскинувшей Паризад, —
Только гром в синеве растет,
Только шум по земле идет:
Загудел, как большой пожар,
Исполинский седой чинар.
Конь распластан во весь прыжок,
От передних до задних ног,
Богатырская мнет рука
Ветви, вздетые в облака.
И еще, и еще удар!
Пошатнулся седой чинар,
Корни вырвал он из земли —
В черных комьях, во мху, в пыли, —
Пошатнулся, вновь прямо встал
И на землю плашмя упал.

И с презрением наш герой
Попирает чинар ногой,
Сам прекрасен и невредим!
Все склоняются перед ним,
Но глядит он поверх людей,
В очи гордой любви своей.

11

Где она? Почему она,
Как ненастная ночь, темна? . .
И спокойно Буньяд идет,
Тихо руку ей подает,
Но она от руки любви
Отшатнулась, как от змеи,
И, отмеривая слова,
Процедила едва-едва:
«Вижу, ты победил, герой.
Что же, можешь своей рукой
Ты холодную руку взять
И женою меня назвать.
Я согласна идти на той —
Это право твое, герой.

Только как бы ты был любим,
Если б сердцем владел моим,
Если б выслушал ты меня,
Поднял меч и погнал коня
Вон туда, на огонь зари...
Как прикажешь ты?»

— «Говори!

Говори! — прошептал Буньяд. —
Всё, что хочешь, я сделать рад.
Все дороги смогу пройти,
Лишь бы сердце твое найти,
Если сделать что не смогу,
Если буду еще в долгу, —
Откажись от меня тогда,
Отвернись от меня, звезда!»
Со склоненною головой
Он услышал рассказ такой!

12

«В царстве ночи, где запад сед,
Есть гора человечьих бед:
Безобразна и высока,
Зацепилась за облака,
Черепами усыпан низ...
Див чудовищный Ялмогыз
У подножья горы сидит,
Кости желтые сторожит,
Кровь людская — его еда,
Не насытится никогда.
Смерть несет его каждый взгляд,
Изо рта его брызжет яд,
И от взмаха тяжелых рук
Цепенеет вся жизнь вокруг.
А вокруг до семи небес
Возвышается мертвый лес,
И безмолвно он стережет
Злой пучины водоворот.
У реки меж свинцовых глыб —
Только груды гниющих рыб;
За пучиной пески, пески,
Бесконечны и широки...»

Если эти пески пройдешь,
И пучину переплывешь,
И пробьешься сквозь мертвый лес
Высотой до семи небес,
Если ты богатырь такой,
Что сумеешь своей рукой
Ялмогыза убить в бою, —
Поцелую руку твою,
Буду нежной тебе женой!
Поезжай, если ты герой!
Знай: когда б ни пришел назад,
Будет ждать тебя Паризад».

13

Удивленный народ роптал,
Хан от ярости весь дрожал,
Руки сжав, затаивши дух,
Слушал страстную речь пастух,
А потом поглядел сквозь пыль
На волнистый степной ковыль
И сказал: «По джигиту — честь,
Был бы конь, а наездник есть.
Чтобы счастье свое добыть,
Мир не трудно исколесить!
Обещанье тебе даю:
Ялмогыза убью в бою,
Дайте меч по моей руке,
Дайте горстку земли в платке —
И прощайте!» — и отдал он
Дочке хана земной поклон.
... Непроглядна ночная ширь,
Едет к западу богатырь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Долго трудным он шел путем —
И пустыня лежит кругом.
Ни травинки в ней не растет,
Ни былинки в ней не цветет,
А шуршат и ползут пески,
Неоглядны и высоки.

В красном зное идет Буньяд
Много дней и ночей подряд.
Вот уже ни куска еды,
Вот уже ни глотка воды,
Изнывают ступни от ран...
Опустился он на бархан,
А песчинки ползут, ползут,
И как будто они поют:
«Ой, песчинки! Куда, куда
Мы уносимся без следа?
Гонит нас над землею рок
Без разбора и без дорог,
Ветер знойный нас вдаль несет,
Вверх вздымает, крылами бьет.
Нам приюта нигде не знать,
Бесконечно нам кочевать...»
И песчинки ползут, ползут...
Эту ль песню они поют?

2

Открывает Буньяд глаза —
Неба светится бирюза,
Желтизною песок блестит,
На песке карагач стоит.
Потемневший, прогнувшийся ствол
Одичал, и угрюм, и гол, —
Видно, так с давних-давних пор
Он в небесный глядит простор,
На вершине держа своей
Несгибаемых пять ветвей.
Ветви те в вышине торчат,
Под тяжелым гнездом скрипят.
Свито, словно навек, оно
И птенцами полным-полно.
Неподвижно глядит Буньяд —
Изумлением он объят.
Вдруг шипенье, и свист, и вой
Раздаются над головой.
Огневой чешуей горя,
Ослепляя богатыря,
Страшный змей по песку ползет,
Страшный змей на хвосте встает.

Крепко дерева ствол обвив,
Пасть клокочущую открыв,
Страшный змей над гнездом шипит,
Беззащитным птенцам грозит.
Иступленно кричат птенцы,
Крик несется во все концы
И звенит над пустыней всей,
Словно жалобный плач детей.
Этот жалобный птичий крик
Сжег усталость Буньяда вмиг.
Вот он рядом с карагачом,
Вот он змея разит мечом.
Черный дым в огневых клубах,
Фиолетовых молний взмах —
Рухнул змей, устоять не мог,
И Буньяд упал на песок.
Он упал на песок пластом
И тяжелым забылся сном.

3

И тогда с бирюзовых круч
Пал на землю отвесный луч,
Загудела, запела высь,
Ветры пыльные поднялись.
Два распластанные крыла
Солнце в небе закрыли. . . Мгла,
Трубный клетот, песчаный пыл,
Трепетание тяжких крыл. . .
Мчится мира крылатый конь,
Высекая из гор огонь,
Совершая над бездной круг,
Птица счастья летит, Семург.

Кубок синих небес до дна
Осушает глотком она,
Солнце страстные, как гроза,
Пожирают ее глаза.
Пыль времен на ее крылах,
Кровь времен на кривых когтях,
Под крылом высота поет,
Смелых к солнцу она зовет.

Затаенной тоской веков
Полон этот гортанный зов...
Зачарованный мир молчит —
Птица счастья над ним парит.

4

Развернувши свои крыла,
Над пустыней Семург плыла,
Над заветным плыла гнездом.
Видит: кто-то лежит ничком;
Кто-то, дерзкий, пути нашел
В пустовавший веками дол.
Крылья дрогнули и взвились,
Птица камнем упала вниз,
Человека огнем разя,
Острым клювом ему грозя.
А птенцы увидали мать,
Стали жалобно умолять:
«Мама! Странника пожалей,
Острым клювом его не бей!
Это он, беззащитных, нас
От гремучего змея спас.
Если б не был он добр и смел,
Нас бы змей кровожадный съел,
Мама, милая! Пожалей,
Гостя нашего не убей!»
И одумалась тут Семург,
Оглянулась она вокруг —
Видит: в красной крови своей
Утопает гремучий змей.
В зное солнечном человек
Не поднимет усталых век.
И над ним, доброты полна,
Развернула крыла она,
И неделю глубоким сном
Спал Буньяд под ее крылом,

Полетела Семург к реке,
Опустилась на березке,
Окунулась в глубину,
Зачерпнула крылом волну,

Отряхнувшись над смельчаком,
Окропила его дождем.
Потянулся Буньяд, привстал,
Говорит: «Хорошо поспал!
Тень вокруг, и водица есть,
Хорошо бы теперь поесть!»
Эту речь услышав, Семург
В небесах прочертила круг,
Воротилась второпях,
Льва живого неся в когтях.
Разрывает его, и вот
Печень львиную достает
И, поджаривши под лучом,
Человеческим языком
Говорит: «По джигиту — честь,
Был бы гость — угощенье есть!»

5

Изумленно Буньяд глядит —
Чудо мира пред ним сидит.
В синих отсветах перья все
В шелковистой своей красе
Разгораются под лучом
То сапфиром, то серебром.
Из-под темных тяжелых век
Глаз ее животворный сверк,
Взгляд бездонный — сама любовь.
На изогнутом клюве — кровь,
Грива льва на когтях висит. . .
Чудо мира пред ним сидит,
Говорит оно, наклонясь,
Над смятеньем его смеясь:
«Ты не бойся меня, мой друг, —
Я — царица песков, Семург,
В сказках всяк обо мне слышал,
Но никто меня не видал,
Я живу испокон веков
В неоглядной стране песков.
Тут растения не растут,
Не летают и птицы тут.
Никогда за мой долгий век
Не встречался мне человек

В этом пекле, в краю пустом,
Под волшебным моим гнездом.
Ты прошел сквозь пожар песков,
Спас от смерти моих птенцов.
О, скажи, богатырь, какой
Отплачу я тебе ценой?
Что за дума тебя томит,
Плечи сильные тяготит?
Кто для этих могучих плеч
Отковал богатырский меч?
И какая злая беда
Привела тебя к нам сюда?
Мне желанье свое открой,
Помогу я тебе, герой!»
И в глазах ее всё видней
Торжество золотых огней.
Неподвижно она сидит
И, прислушиваясь, молчит.

6

Отвечает Буньяд тогда:
«Может, это и впрямь беда,
Только я без беды такой
Так и спал бы в граве степной.
Я пройду сквозь огонь и смерч,
Я в бою иступлю свой меч,
Если смог я сюда дойти
И в пустыне тебя найти!
Птицей счастья тебя зовут,
Песни все о тебе поют.
Мне тебя, сквозь огонь и кровь,
Показала моя любовь.
За песчинку с твоих следов
Я всю душу отдать готов,
За пушинку с широких крыл
Свой отдам богатырский пыл!
Если хочешь, узнай сейчас
О заботах моих рассказ:
Там, за далью седых громад,
Луноликая Паризад
Рассказала однажды мне,

Что в закатной чужой стране
Злобный див Ялмогыз живет,
Кровь людскую, как воду, пьет,
Давит землю горою бед,
Оскорбляет уродством свет.
Обещал я его убить,
Мир от мрака освободить.
И дорога моя трудна,
Но звезда впереди видна:
Осчастливлю народ родной,
Паризад назову женой!»
И сказала ему Семург:
«Ты обманут, мой бедный друг!
Никогда тебе не дойти
До конца твоего пути.
Бессердечная Паризад
Налила в твою чашу яд, —
Отравительница, она
С Ялмогызом давно дружна,
Посылает к нему гостей —
Тех, кто больше не нужен ей, —
Посылает на смерть к нему,
К другу страшному своему!
Див тебя загрызет живьем,
Ветер след заметет песком. . .
О, послушай меня, вернись,
От обманщицы откажись!
Если будешь здоров и жив,
Будешь ты и с другой счастлив». .
Вещей птицы правдивый взгляд
Встретил мужественно Буньяд.
Долго-долго в него глядел,
Весь от горя он почернел.
Пересиливши боль свою,
Он промолвил: «Не отступлю!
Лев пустыни седой — и тот
По следам своим вспять нейдет,
И того осрамит молва,
Кто на ветер швырнет слова!
Лучше в битве убитым быть,
Чем позором себя покрыть. . . .
Я пройду до конца пути,
Испытаю, что впереди!»

Опустила Семург глаза —
 Неба спряталась бирюза,
 Потемнела земля вокруг —
 Опустила глаза Семург.
 «Вижу я — не отступишь ты!
 Царство ночи и темноты
 Пролетим мы с тобой вдвоем,
 Слепляя весь мир огнем.
 Ты меж крыльев моих садись,
 Ты за шею мою держись —
 Отнесу я тебя туда,
 Где закатная даль седа.
 Об одном лишь прошу, герой:
 Крепче очи свои закрой,
 Чтоб кружение звезд ночных
 Не слепило очей твоих.

Полечу я вдвоем с тобой,
 Посмотрю на кровавый бой.
 Если див победит тебя,
 Слезы буду я лить, скорбя,
 Сказку новую для людей
 Расскажу о судьбе твоей,
 О тебе, богатырь Буньяд,
 Что дороги не знал назад.
 Если дива убьешь в бою,
 Песню славы тебе спою!
 Медлить нечего. . . Решено. . .
 Да свершится, что суждено!»

Обретенному другу рад,
 Влез на крылья к Семург Буньяд
 И зажмурил свои глаза. . .
 Загремела кругом гроза,
 Загудела ночная высь,
 На закат они понеслись.

Пролетели они пески,
Обогнули материки,
Небосвода лазурный круг
Разрубает плечом Семург,
Отряхая с кудрявых крыл
Серебристую пыль светил.
И герой полной грудью пьет
Сладкий ветер больших высот.

Вот восток под крылом у них
В золотистых садах своих,
Вот шафрановый пышный юг
Прошумел за спиной Семург,
Вот громады зеленых льдов
Наползают до облаков,
Вот оранжевая черта,
А за ней — одна темнота.

Жадно солнце вдохнул Буньяд,
Обернулась Семург назад,
В луч последний, тоски полна,
Обмакнула крыло она
И помчалась на всем лету
В непроглядную темноту.
Царство ночи. . . Кругом оно
Липкой тьмою населено,
Безобразною серой тьмой,
Бугорчатою, вековой.
Тьма лежит под тобой ничком,
Тьма сидит на тебе верхом,
Тьма качается над тобой
Полосатую пеленой.

Тьмою скованный, недвижим,
Встал Буньяд. И ползет над ним
Страшных, мрачных теней поток —
Темноты шерстяной клубок.
И сказала Семург ему:
«Погляди в кромешную тьму»

Не проломишь ее плечом,
Не разрубишь ее мечом.
Чтобы справиться с липкой тьмой,
Извивайся, ползи змеей,
Всё терпение собери,
Нету солнца — в себя смотри:
Хватит света в душе твоей —
Не ослепнешь среди теней!
Близок сводчатый край небес,
Близок каменный, мертвый лес,
Там гора черепов стоит,
Там чудовищный див сидит.
Там — конец твоего пути,
Ты поклялся его пройти. . .
Силу всю испытай его,
Слова страшного своего,
Дальше путь продолжай один,
Слова смелого властелин. . .
Буду ждать я тебя. Иди!
Да свершится, что впереди!
Если я не дождусь тебя,
Буду слезы я лить, скорбя,
Кровью собственной захлебнусь,
Пылью по свету разлечусь».

Так Буньяду сказав, Семург
В глины ком обратилась вдруг,
И один зашагал Буньяд
В тьму кромешную наугад.

2

Вот и сводчатый край небес,
Вот и каменный, мертвый лес,
В нем несчитанные стволы
Изувечены и голы,
За стволами гора видна,
В человеческих костях она.
А навстречу огонь гудит —
Это див Ялмогыз ворчит.

Переваливаясь на ходу,
Пережевывая еду,

Как мохнатый мешок, тяжел,
Див навстречу Буньяду шел.
Распрявился в свой полный рост,
Перепончатый выгнул хвост.
Прямо в тучу рога вонзив,
Что-то сладкое проглотив,
Говорит, изрыгнув смешок,
Этот потный мясной мешок:
«Мой бесценный сынок Буньяд,
Как я рад тебе, как я рад!
Как дела твои, гладкий мой?
Как здоровьице, сладкий мой?
На далекий мой огонек
Что тебя привело, сынок?
Уж не дружен ли впрямь ты с ней,
С милой доченькою моею?
Не она ли, моя звезда,
И послала тебя сюда,
Не прекрасная ль Паризад?»
— «Да, она! — отвечал Буньяд. —
Но сынком не зови меня,
Я чудовищу не родня,
Я сразиться пришел с тобой —
Выходи, Ялмогыз, на бой!
Слушай ты, осквернитель снов,
Слушай, кладбище храбрецов,
Над землею нависший мрак,
Мерзость мира, проклятый враг!
Выходи! Я тебя убью,
Череп твой размозжу в бою!
Имя девушки ты сказал?
Милой дочкой ее назвал?
Пусть умрет она от тоски —
Раздроблю я тебя в куски,
Размозжу круглый череп твой!
Выходи, Ялмогыз, на бой!»

Замахнулся мечом Буньяд
И ударил! Зловонный чад,
Пламя желтое до небес
Обожгли, охватили лес.
Снова грянул мечом Буньяд —
Брызнул в небо зеленый яд.

Реки яда, шипя, текут,
Из разверстого рта бегут.

Меч гремит богатырский вновь.
Наводнением багровым кровь,
Дива кровь, потекла кругом,
Клокоча под кривым мечом.
Наконец извернулся див,
Над Буньядом взметнулся див,
Стопудовой своей рукой
Размахнувшись над головой,
Оглушил его кулаком. . .
И упал богатырь ничком.

3

Мертвый лес, как вулкан, дрожит,
В небесах ураган гудит.
Птичьи стаи с высот летят,
Звери к ним из лесов спешат —
Все явились и ждут гурьбой,
Чем окончится этот бой.
Недвижим богатырь лежит,
А над ним Ялмогыз сидит.
Говорит себе Ялмогыз:
«Я бы горло ему прогрыз!
Вот сейчас отдохну часок,
Свежей крови глотну глоток,
Полежу еще, а потом
Проглочу я его живьем. . .»
И кряхтит он, и весь кипит,
И на горло врага глядит.

4

Стало тихо. Туман осел,
Ветер издали прилетел,
Обнял юношу, словно сон,
Тронул черные кудри он.
Нет, он жив еще! Будет жить,
Будет землю свою любить!
Обратясь лицом на восток,
Вынимает он свой платок,

И к шепотке земли родной
Прижимается он щекой.
Запах родины услышал —
И опять исполином стал.
«Нет, я жив еще! Буду жить,
Буду недруга злого бить!»

Дым клубится с широких плеч,
Ярким пламенем пышет меч,
Искры мечет, как гром гремит.
Див горой на пути стоит.
Грянул меч и, как сгнивший ствол,
Дива надвое расколол!
Онемевший Буньяд глядит:
Мертвый див перед ним лежит.
Мяса дикого косогор
Занял видимый весь простор,
Зацепились в лесу рога,
В поле высунута нога,
Ворон вьется над головой...
Так окончился этот бой.

5

И нахлынула синева,
Зашумела в лесу листва...
Словно вымытые грозой,
Засверкали кусты росой.
Яркой радуги луч упал,
Самоцветами засиял.
Словно месяцы в небесах,
На своих кружевных крылах
Птичьи стаи, в лучах горя,
Окружили богатыря.
Осенили крылами меч,
Отряхнули пылинки с плеч,
Освежили дыханьем грудь,
Проводили в обратный путь.

6

Еле-еле Буньяд идет,
Струйка крови за ним ползет.

Изумленно глядит окрест
И не видит знакомых мест:
Вместо страшной горы крутой
Блещет озеро синевой,
Возле синих спокойных вод
Чистит свой гребешок удод.
Там, где высился мертвый лес,
Сад прекраснее всех чудес.
Вместо серой ползучей тьмы —
Алых бархатных роз холмы. . .
Осторожно Буньяд идет.
Глины ком на пути встает.
А из глины, как чудо, вдруг
Появляется вновь Семург.
В синих отсветах перья все
В шелковистой своей красе
Разгораются под лучом
То сапфиром, то серебром;
Очи радостны и нежны
И к Буньяду обращены.
К ней навстречу Буньяд бежит.
«Здравствуй, птица моя! — кричит. —
Здравствуй, счастье! Окончен бой,
Вновь увиделся я с тобой!»
Смотрит птица в его глаза,
Видит: в них глубоко — слеза.
Видит: кудри его седы
И кровавы его следы.
Видит: меч его искривлен,
Весь в зазубринах ржавых он.

Пред героем склонилась ниц
Птица счастья, царица птиц.
И сказала: «Мой смелый друг,
Песню славы поет Семург!
Песня эта, как мы с тобой,
Полетит над родной землей.
Пусть победы твоей полет
К новым подвигам мир зовет.
К солнцу, к солнцу! . . .»

И, словно хор,
Вторил птице земной простор.

«К солнцу, к солнцу! . . .» — Шумела высь.
Над землею они неслись.

7

Там, где розовый цвел урюк,
Распрощался Буньяд с Семург,
Он на камень дорожный сел,
Долго-долго ей вслед смотрел,
Как она в синеве плыла,
Как сверкали ее крыла.
«Это слава моя летит,
Это счастье мое блеснит,
Улетает крылатый конь. . .»
Вечерело. Мигнул огонь,
Потянуло дымком родным. . .
И пошел человек на дым.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Вот знакомый шумит базар,
Здесь когда-то стоял чинар. . .
Было это — а может, нет? . . .
Осыпается легкий цвет
С белых яблонь. Ручьи бегут,
Лепестки по воде плывут.

В золотистый закатный свет
Серый мрамор дворца одет.
Перед странным пришельцем вдруг
Расступаются сотни слуг.
По текинским коврам герой
В бирюзовый идет покой.
Вот, величием осяян,
В златотканом халате хан.
И Буньяд говорит ему:
«По велению твоему
Обошел я весь белый свет,
Воротился держать ответ.

Через реки я переплыл,
Через горы перевалил,
Там, на самом краю небес,
Я прошел через мертвый лес.
Див чудовищный Ялмогыз
Подо мною камня грыз.
Это чудище я убил,
Мир от мрака освободил!
Мне не надо иных наград —
Дай мне дочь твою Паризад,
Пери ласковую мою,
Завоеванную в бою!»
Весь кипел от волненья хан,
Багровел от смущенья хан,
Тряс тревожно своей седой,
Хною крашенной бородой
И окончившему рассказ
Отвечал, не поднявши глаз:
«Да, конечно. . . Ты прав, герой,
Был у нас договор такой.
Значит, див Ялмогыз убит?
За наградой ты, джигит? . . .»

Зашептался блестящий круг
Ханских родичей, ханских слуг:
«Ялмогыза убил герой,
За наградой пришел домой
За обещанной. . .» Хан привстал,
Хриплым голосом закричал:
«Дайте мой драгоценный меч,
Шубу красную с ханских плеч
Да в придачу мешок с казной!»
— «Нет, не надо! — сказал герой. —
Унесите всё это прочь!
Обещал ты в награду дочь.
Я за нею пришел, за той,
Что сказала: «Иди на бой,
И, когда б ни пришел назад,
Будет ждать тебя Паризад. . .»
Выполняй свое слово, хан,
Не хочу я другого, хан!»
И теснее сомкнулся круг
Ханских родичей, ханских слуг:

«Отказался от всех наград!
В жены требует Паризад. . .»
Хан промолвил тогда: «Мой свет!
Сам ты мне подсказал ответ:
В бой не я тебя посылал,
И не я обещање дал.
Позовите сюда ее,
Чудо горестное мое.
Пусть скорее сюда идет,
С ним сама разговор ведет!»
В ожиданье Буньяд стоит,
На раскрытую дверь глядит.

2

А навстречу идет она,
Как апреля луна, полна,
Вся — лукавое торжество,
Чернокосое божество.
Косы черные распустив,
Белым жемчугом перевив,
Шла, не видя кругом людей,
В горделивой красе своей.
Что такое? Иль это сон? . .
Сон чудовищный видит он:
Дочь в руках Паризад несет
И сынка за собой ведет,
А за ними шумит толпой
Возбужденных придворных рой.
Им детей своих передав,
Перед хмурым Буньядом встав
И откинувшись вдруг назад,
Рассмеялася Паризад:
«А, пастух! Ты пришел за мной,
За смиренной своей женой?
Но лишь тот, кто родня ослам,
Мог поверить таким словам!
Ха-ха-ха! . . До чего красив,
И отважен, и молчалив!
Посмотрите-ка на него,
Мужа нового моего!
Я тебя проводила в бой,
Чтоб разделаться так с тобой,

Прямо к диву послала в пасть,
Чтоб упряму в нее попасть.
Лучше вышла б за петуха,
Чем за дикого пастуха!
Будь ты лучшим из всех людей,
Мне в постели, пастух, твоей
(Даже если в шелках она)
Всё солома была б слышна,
Всё бы жесткой соломы клок
В мой атласный впивался бок.
Ты уехал, и в ту же ночь
Свадьбу справила хана дочь.
И вазир наш стал мужем мне
В ту же ночь, при большой луне.
Что ж, пастух, вот и весь мой сказ!»
В хищном блеске раскосых глаз
Искры смеха еще дрожат. . .
В землю вросший, стоит Буньяд.

3

Словно молнией поражен,
Задрожал, покачнулся он.
Захлестнула Буньяда страсть,
Потерял над собою власть,
Вырвал меч. . .

Заметался круг
Ханских родичей, ханских слуг:
«Тише, тише! Не то Буньяд
Может всех нас сразить подряд!
С Ялмогызом сразился он,
За наградой явился он.
Он и хана и дочь убьет,
Наше ханство себе возьмет.
Тише, тише!»

Стыдом объят,
Отшатнулся назад Буньяд,
Острый меч опустил в ножны,
Очи черные слез полны.
С удивлением и тоской
Говорит он, как сам с собой:
«Паризад! Светлый образ твой
В моем сердце — совсем иной.

Нет, красавица, не тебя
Убивать мне, в слезах скорбя!
Нет, ни гибель твоя, ни кровь
Не вернут мне мою любовь.
Ты — не та, для которой я
Все земные прошел края,
Видел реки, вершины гор,
Неоглядных песков простор,
Звал меня в богатырский бой
Ясный голос совсем не твой.
Не тебя я в душе носил
И совсем не тебя любил.
Если б ты была Паризад —
Слов своих не взяла б назад!»
И поблекла лицом она,
Опозорена и темна;
Растрепалися волоса,
Вдруг исчезла ее краса...
Смотрят все и отводят взгляд.
Посмотрел на нее Буньяд,
Отвернулся и вышел вон.

В тьме сиреновой небосклон,
Ветви, полные лепестков,
Волны синие ручейков —
Всё навстречу спешит ему,
Сыну верному своему,

4

В трепетанье ночных костров
Краснотканый узор ковров;
Дышат шелковые цветы,
Выступая из темноты;
Тенью бархатный виноград
Обвивает просторный сад:
И прекраснее всех огней
Восхищенье в глазах людей.
Все героя Буньяда ждут,
Все навстречу ему встают.
Стало весело и светло,
Словно солнце в саду взошло,

Песня плачет, шумит, поет. . .
 В ней — прибой голубых высот,
 Неоглядная степь в огне,
 Богатырь на своем коне,
 И короткий прощальный взгляд
 Брови вскинувшей Паризад,
 И далекий-далекий путь,
 И открытая ветру грудь,
 И единственный в жизни миг,
 Когда к горлу подступит крик,
 Когда смерть с четырех сторон,
 А в тебе огонек зажжен
 И щекочет ноздри твои
 Теплый запах родной земли, —
 Миг, в который проходит век,
 И становится человек,
 Незаметный, совсем простой,
 Великаном земли родной. . .

Нет, не песня в саду гремит,
 Это птица Семург летит.
 В синих отсветах перья все
 В несказанной своей красе
 Разгораются под лучом
 То сапфиром, то серебром,
 Мчится мира крылатый конь,
 Высекая из гор огонь.
 Совершая над бездной круг,
 Птица счастья летит, Семург.

1939

243. БАЛЛАДА О БОЙЦЕ ТУРСУНЕ

Бой над речною переправой—
 Тяжелый, многодневный бой.
 Глядит Турсун на бой кровавый,
 Горюя над своей судьбой.

Жестокость первого сраженья
 Его невольно потрясла,

И в душу, полную смятенья,
Мысль о побеге заползла.

Ему тревога сердце гложет:
«Как в бурю плод, что не созрел,
Сегодня я паду, быть может. . .»
Но убежать он не успел.

Уходит рота в наступленье
Вослед ушедших в бой колонн.
Письмо в последнее мгновенье
Принес Турсуну почтальон.

Увидел он знакомый почерк
И, словно лист, затрепетал,
Писала мать:
«Вестей, сыночек,
Ждала я, ты же не писал.

Ждала с надеждой и тревогой. . .
И вести черные пришли,
Что отступил ты и что много
Врагам оставил ты земли.

И гнев, и горе жгут мне душу.
И я кричу тебе, кричу:
«Остановись! Опомнись!
Слушай,
О чем спросить тебя хочу!

Куда, куда ты отступаешь
С родной земли? Или она —
Земля, которую бросаешь, —
Уже нам стала не нужна?

Затем ли я тебя растила,
Чтоб ты в опасный час не смог
В бою схватиться с темной силой,
Что осквернила наш порог?

Я родила тебя затем ли,
Чтоб нашу честь ты бросил в грязь,
Чтоб люди здесь глядели в землю,
За сына моего стыдись?

Чтобы позор повис на веках
Родного солнца, чтоб вода
До дна иссохла в наших реках,
Уйдя от горя и стыда?

Ты клялся храбрым быть!
Так что же, —

Тебе, пред бурей войны,
Жизнь милая твоя дороже
Великой жизни всей страны?

Иль ты родился не мужчиной?
Иль ты и мне и людям лгал,
Был трусом бледным и личиной
Джигита трусость прикрывал?

Львы-деды в битвах, хмурия брови,
Смерть презирая, шли вперед!
А у тебя нет ложки крови,
Чтобы пролить за свой народ?

Так до какой же ты решился
Последней отступить черты?
Иль той земли, где ты родился,
Совсем лишиться хочешь ты?

Ну а потом тебя куда же
Глухая занесет судьба?
Тогда сам бог не сыщет даже
Скитающегося раба!

В чужбине дни влачить уныло
Средь унижений в море тьмы,
Хоть землю для своей могилы
Надеясь получить взаймы? . .

Нет, сын! Придет пора иная,
Всех наших бед сотрется след,
Но внуки, труса вспоминая,
Стыдиться будут сотни лет.

А я утешусь только вестью,
Что милый сын мой храбр в бою,

Мне лучше, чтоб он умер с честью,
Чем бегством спас бы жизнь свою!

Вперед, мой сын! Назад — ни взгляда!
Пусть шаг твой в прах врага сотрет,
И если ранен будешь — падай,
Идя вперед! Лицом вперед!

Ты выбери из чуждых страху
Джигитов друга на войне.
Окровавленную рубаху
Твою он пусть пришлет ко мне.

Как знак священный искупленья,
Надену я ее тогда,
Я в ней пройду через селенья,
Через большие города.

„Вот, — скажут все, где ни пройду я, —
Мать истинного храбреца.
Он умер за страну родную,
Был верен клятве до конца! . . .“»

Безмолвно, твердо и сурово
Встает Турсун в ряды бойцов.
Нет! В мире не родилось слово
Сильнее материнских слов.

Он стиснул яростней и крепче
В руках оружие свое.
И слово матери он шепчет,
И видит пред собой ее.

И в грозном смутном гуле боя
Он слышит голос матери!
В песке, хрустящем под ногою,
Он слышит голос матери!

Он слышит в непрерывном вое
Снарядов — стоны матери,
Во взрывах бомб над головою —
Крик иступленный матери!

Река померкшею струею
Течет, как слезы матери. . .
Склонились ветлы над рекою,
Подобно скорбной матери.

Мать чем-то огорченной
И строгой сыну кажется,
И ей в глаза взглянуть смущенный
Не может сын отважиться. . .

Но, гневный, яростный, бесстрашный,
Прыжками мчится он вперед,
В жестокой схватке рукопашной
Ударом каждый шаг берет.

Враги бегут, оставя поле,
Скрываясь за прибрежный склон,
Грудь у него в крови, но боли
Не чувствует, не слышит он.

«Теперь ни ран, ни смерти даже
Я не боюсь! — он говорит. —
Пролью хоть море крови вражьей —
Я не упьюсь!» — он говорит.

И мать встает над мглой степною,
Как пристально глядит она!
«Вперед, мой сын! Вперед, за мною!» —
Как будто говорит она.

И тучи с гор, очеловечась,
«Спеши! — из-за полей гремят. —
Без жалости всю эту нечисть
Кроши!» — всё веселей гремят. . .

И он неудержимо колет
Врага бегущего штыком,
Не чуя ран, не слыша боли,
Одежда вся в крови на нем.

Как пуля звонкая, он мчится,
И вдруг, осколком поражен,

Как влет подстреленная птица,
С размаху наземь рухнул он.

Кровь хлещет из глубокой раны
Ключом на вытоптаный луг,
Опершись на локоть, туманно
Он озирается вокруг.

Вся степь, куда глаз хватает,
Покрыта трупами врагов,
Темнеет, запад угасает.
Клубится мгла между холмов.

А где друзья? Вот их колонна
Вброд перешла через реку
И уж наводит мост понтонный
Вослед идущему полку.

И, облегченно и глубоко
Вдохнув, джигит смежает взгляд,
Похож на тихий, на широко
В полях разлившийся закат.

На свежем беспредельном ложе
Уснул он или умер он?
Но смерть его на сон похожа,
На смерть его походит сон.

Под мглою ласковой усталый
Лежит он среди родных полей.
Лежит он, как ребенок малый
В объятьях матери своей.

1942

244. СЛЕЗЫ РОКСАНЫ

Как ветер, закруживший прах,
По темным тропам Шахрихана
Плутая, кружится Роксана
Со свертком малым на руках,

Молчаньем скован скорбный рот.
Она бродяжкой бесприютной
То в узких улочках мелькнет,
То в степь умчится тенью смутной.

То удаляется она,
То исчезает вдруг из вида,
Как будто бы нанесена
Душе смертельная обида.

Постой, молодка, погоди,
Поведай: что с тобой случилось?
Что прижимаешь ты к груди?
Зачем ты ночью всполошилась?

Кого ты ищешь над рекой,
На улицах безлюдных, в поле?
Какой гонима ты тоской?
Куда спасаешься от боли?

Напрасны были бы слова —
Роксана ничего не слышит
И, различая путь едва,
Бежит, бежит, надсадно дышит.

Со свертком мечется своим...
Его ли хочет спрятать где-то,
Иль хочет вихрем кочевым
Носиться до скончанья света?

Одна, на всей земле одна,
Окутанная черной ночью.
Никто не знает, где она,
И некому помочь ей...

*

Передрассветная пора.
Всё спит вокруг самозабвенно.
Но вздрагивает вдруг Сарá
И просыпается мгновенно.

Встает, вздыхает тяжело,
Идет во двор, глядит: как странно!

Еще и солнце не взошло,
А двери в горницу Роксаны

Открыты настежь и постель
Пуста. . . Сара похолодела,
Развевая сна последний хмель,
Страх душу ей сковал и тело.

«Какая тут стряслась беда
С приезжей гостьей? Ведь ни крика
Не слышно было! И куда
Она бежала, горемыка?

Быть может, бродит у реки
Или в степи пустынной, темной?
Края родные далеки,
Родни здесь нету у бездомной.

Иль ненароком, не со зла
Ей рану словом нанесла я,
И, гордая, от нас ушла,
Простить обиду не желая?

Иль полюбившуюся нам
Сестру из Украины точит
Тоска по милым ей местам
И к ним она вернуться хочет?»

Тревогу подняла Сара.
И вот уже в рассвет туманный
Выходят люди со двора
На поиски Роксаны.

*

Роксана и сама, спеша,
Всё ищет что-то, с плачем бродит;
Как дудочка, ее душа
Напев тоскующий выводит,

Она идет через арык,
Дувал минует молчаливый
И отдыхает, лишь на миг
Припав к стволу плакучей ивы,

Она не знает, что Сара,
Ее судьбой обеспокоясь,
Еще задолго до утра
Соседей подняла на поиск.

Она не слышит голосов,
Ее зовущих издалека,
Ей кажется, что мир суров —
В нем страшно так и одиноко.

И сверток на руках... Душа
О нем одном болит и ноет:
Пред этой ношей — и гроша
Богатства всей земли не стоят!

Роксана бродит где пришлось,
Полужива, полуодета,
На прядях спутанных волос
Поблескивает луч рассвета.

А взгляд тяжел. Увлажнены —
Слезами иль росой? — ресницы,
И брови скорбно взметены
Крылами обреченной птицы.

Что ждет скиталицу в пути?
То, что она, ища защиты,
Прижала бережно к груди, —
От солнца даже скрыто. . .

*

Роксана бедная! В какой
Из книг судеб тебе сурово
Скитаться суждено одной
Далеко от родного крова?

Ужели горести одни
Тебе здесь выпали на долю?
Что прячешь ты, таясь в тени
От света, блещущего в поле?

Ужели в ужасе слепом
Ты прячешь ношу дорогую

От глаз людских и добрый дом
Покинула, в степи кочуя?

И неужели никому
Доверить тайну не могла ты,
И друга нет, чтобы ему
Поведать боль утраты?!

*

Вот чей-то слабый зов глухой
До слуха долетел как будто.
Иль в чьем-то сердце струнный строй
Тревожно загудел как будто.

По незнакомым кишлакам
Роксана ходит, как хмельная,
Прозрачен взор ее и прям:
Ей видится земля иная.

Едва лишь вспомнится она —
И сердце сразу бьется чаще
С какой-то нежностью щемящей,
Как будто грудь ему тесна.

Когда в их дом ворвался враг,
Ища спасения, Роксана
Оставила родной очаг,
А муж подался в партизаны.

Как ей забыть село в дыму,
Пожаров пламенные жала,
Когда она в ночную тьму
С Володей на руках бежала?!

«... Земля моя, ты всех милей!
Хоть стань золою — не в тебе ли
Могила матери моей,
Не мне ль была ты колыбелью?»

О милая моя земля!
Когда глазенки голубые
Мой сын на мир открыл впервые,
Твои увидел он поля.

Я бы могла издалека
К тебе, родная, возвратиться,
Будь я, как сказочная птица,
И быстрокрыла и легка,

Но не вернуться мне домой!
Весь мир со мною обезумел.
Сегодня ночью... Боже мой!
Сынок... Володя... Умер...»



Роксану ищет сельский люд:
Сара с соседями своими
То знак друг другу подают,
То громко выкликают имя.

В белесой мгле, за пядью пядь,
Они прочесывают местность.
И правду страшно им узнать,
И тягостна им неизвестность.

Одно их мучает: «Куда
Запропастилась наша гостья?»
Нигде не видно и следа,
Напрасно всё, хоть плачь от злости!

Но воля у Сары крепка:
«Нет, не устану, не отстану,
Не знать покоя мне, пока
Не разыщу Роксану!»



Роксана воспаленных глаз
Со свертка своего не сводит
И плачет, плачет, с ног валясь,
И к небу стон ее восходит.

И слышится на берегу:
«Как я земле тебя доверю?
Мертва при жизни, как смогу
Дышать я, пережив потерю?»

В потоке быстрая вода
О камень бьется головою.
В Роксане мыслей череда
Несется бурей грозовой.

Так мало сил, а страх велик. . .
Как всплеск на пепелище,
Отчаянный взметнулся крик:
«Где христианское кладбище?»

Сыночка примут ли в свою
Святую землю мусульмане?
Судьба! За что в чужом краю
Обречена я на страданье?

Куда ты занесла меня?»
На сердце горе тяжким гнетом. . .
Роксана шла, судьбу кляня,
К кладбищенским воротам.

*

Почтенный старец к ней из мглы
Выходит, медленно ступая;
И брови у него белы,
И борода по грудь седая.

Как перед встречей роковой,
Роксана молча задрожала
И только крепче сверток свой
К груди измученной прижала.

«Мир тебе, доченька!» — старик
С поклоном ей сказал негромко
И тотчас головой поник:
Он видит — в горе незнакомка,

«Отец! Мое дитя предай
Святой земле, приюту смерти,
Я потеряла отчий край,
Прошу тебя о милосердьи!»

Была бедняжка так жалка —
Едва душа держалась в теле, —

Что на глазах у старика
Невольно слезы заблестели!

«Я сына потерял в бою,
Твоя земля его укрыла;
Теперь в твоём родном краю
Есть и родная мне могила.

Все судьбы сблизила война,
Всех мучают одни печали,
Одни страданья, боль одна,
И общими могилы стали.

Ты землю эту — мне поверь —
Чужой не назовешь отныне,
Как не чужая мне теперь
Земля далекой Украины».

Он сверток бережно берет,
Обернутый простынкой тонкой,
И слезы горестные льет,
Целуя мертвого ребенка.

Небесная светлеет синь,
И старца жаркая молитва
Кончается: «Да минет битва!
Да сгинет враг! Аминь».

*

Всю ночь напрасно пробродив,
Сара с большой толпой народа
Дорогою садов и нив
Пришла к кладбищенскому входу,

Какая общая тоска
Соединила на погосте
Рыдающего старика
С ее исчезнувшей гостьей?

А это тельце... Вне себя
Сара бросается к Роксане,
И слезы брызнули, слепя,
Из сердца вырвалось стенанье.

Лежит младенец, ничего
Не слышит. Крепко сжаты губки.
Пусть личико его мертво,
Он как цветок, прекрасный, хрупкий.

Нет, не цветок веселый он,
Что солнцем вешним приголублен,
А нераскрывшийся бутон,
Который стужей зла погублен.

Лежит он. Лоб его широк —
Знак долголетия и счастья,
Покой на веках тенью лег,
Недвижны белые запястья,

Молчит безгрешное дитя,
Что лепетало без умолку,
И легкий ветерок, грустя,
Ему расчесывает челку.

Боль матери — всего больней,
На сетованья нет ответа,
И птицы певчие рассвета
Печально кружатся над ней.

Малыш уже землю взял,
Рождая в людях скорбь и жалость,
А в небе голуби летят,
В слезах Роксаны отражаясь.

Краса-Роксана, дочь тоски!
О, как судьба тебя пытала!
Ты азиатские пески
Слезами щедро наплатала.

Не диво, если расцветут
Цветы в песках былой пустыни
И если птицы счастья тут
Жизнь возвестят отныне. . .

*

Рассвет развеял мглу, как сон,
И мир меняет одеянье:

Он золотом лучей пронзен
И тонет в солнечном сиянье.

И люди, вспомнив про дела,
Домой торопятся — как будто
Спокойной эта ночь была
И было тихим утро.

1944

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

245. МУКАННА

Драматическая поэма в 4-х действиях и 8-ми картинах

Действующие лица

Му кан на — вождь повстанцев.

Фи руз — зеравшанский рабовладелец.

О т а ш
Гу ль о б о д } рабы Фируза.
Гу ль а й и н }

Г и р д а к }
Ба ги } зеравшанские земледельцы.
Х и ш р и }
Ха к и м }

Ку л а р т а к и н — воин.

Сей ид Б ат т а л ь — арабский военачальник.

Д же б р а и л — ишан.

На им.

Зей д.

С л у г а.

С т р а ж.

Рабы, дехкане, воины, арабские всадники
и другие.

Действие разворачивается во второй половине VIII века в Мавераннахре, Согде и Хорасане (на территории современных Узбекистана, Таджикистана и Туркмении).

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Дом Оташа. С одной стороны — горы, холмы. Весна. Одинокó сидит
Гульобод. Входит Оташ.

Оташ

Где дочка наша?

Гульобод

Там, среди полей.
Весна, природа — ей всего милей!
Когда есть поле, розы, тишина
Да воля — вот и счастлива она. . .

Оташ

Дочь — умница у нас.

Гуляин

(входит с охапкой тюльпанов)

А вот и я!

Отец мой, здравствуй!

Оташ

Здравствуй, дочь моя.

Гульобод

Моя родная! С каждою весной
Ты расцветаешь, как тюльпан степной.

Гуляин

Пусть, как тюльпан, лицо мое красно,
Но сердце. . . горя черного полно. . .

Г у л ь о б о д

Дитя, откуда горе ты взяла?
Цветы в руках твоих, ты весела.

Г у л ь а й и н

Когда б от них

(указывает на цветы)

был весел человек,

Печали в мире не было б вовек.

Цветов так много, всяк их волен рвать.

Так что ж людей счастливых не видать? . .

О т а ш

Толкова ты, красавица, умна!

Г у л ь а й и н

А ведь у нас в былые времена

Великим праздником была весна.

В пирах и играх у привольных вод

Весну беспечно праздновал народ.

Но где хоть признак праздника теперь?

Невесела я, матушка, поверь!

Пауза.

То, что ты видишь, — пепел, не цветы!

Теперь, когда не мусульманин ты,

Последний хлеб твой силой отберут.

О т а ш

Всё отберут — и в рабство отдадут. . .

Г у л ь а й и н

В отчизне нашей — как чужие мы!

Весна для нас не ласковой зимы.

А в городе что нового, отец?

О т а ш

Из Хорасана прискакал гонец.

Халиф карать и жечь велит опять.

Г у л ь о б о д

Несчастный город! Страшная судьба!

Давно ль его разрушил Кутейба?

О т а ш

Да. А когда, ограбив горожан,
Не слыша стонов их, не видя слез,
Он всё добро их кровное повез
В Багдад — за караваном караван, —
В одной кумирне отыскал у нас
Он золотую статую — ценой
Дирхемов тысяч в сорок. . .

Вместо глаз

Жемчужины в яйцо величиной
У изваянья были. . . Говорил
Сам Кутейба, что среди прочих стран
Таких богатств нигде он не встречал.
О том в Ирак Хаджиджу он писал,
Когда за караваном караван
Богатства из Пайкенда увозил.

Г у л ь а й и н

За что же город вновь ровнять с землей?

О т а ш

О-о! В этом хитрость вражьей силы злой!
Народ наш подымается опять.
А нас хотят запутать, запугать,
Вцепиться вновь когтями в горло нам. . .

Г у л ь а й и н

За что же обречен Пайкенд страдать?

О т а ш

Злодеи долго в сердце зло хранят.
Когда — лет семьдесят тому назад —
Пришли они, непрошеным гостям
Один Пайкенд отпор жестокий дал.
Там весь народ на хищников восстал,
И тысячи пришельцев полегли.
В крови их по колена кони шли.
Свирепый Кутейба примчался вспять,
Прекрасный город стер с лица земли.
Так было дело. . . А теперь опять
В народе возмущение растет.
Предав Пайкенд железу и огню,

**Наместник хочет устрашить народ,
Чтобы мятеж подрезать на корню.**

Г у л ь а й и н

Кто ж восстает теперь?

О т а ш

**Да вся страна!
Всё Междуречье наше!.. Муканна!**

Г у л ь а й и н

Сказал ты — Муканна. Кто он такой?

О т а ш

Из Мерва он...

О нем все говорят.

На голове его всегда покров.

Его лица ничей не видел взгляд.

В народе, как пророка, чтут его,

А многие в нем видят божество.

Г у л ь а й и н

А в Бухаре, отец, что ты слышал?

О т а ш

Четыре раза город отвергал

Чужую веру. Яростью горя,

Над ним улемы колдовали зря.

А знать вся в мусульманство перешла.

Г у л ь о б о д

Фируз большие делает дела.

Г у л ь а й и н

Мечеть построил этот лизоблюд.

О т а ш

Арабы даже деньги раздают

Тем, кто в мечеть молиться к ним идут!

Г у л ь о б о д

И нам пойти б и деньги взять бы там!

Г у л ь а й и н

От денег тех не легче будет нам.
Ужель пошла бы к мусульманам ты?
Ужели веришь их обманам ты?

Г у л ь о б о д

Чиста покамест совесть у меня.
Мой дух в огне «Обитатели Огня».

Г у л ь а й и н

Огонь! Кому и чем огонь помог?

О т а ш

Жрецы нас учат, что огонь есть бог.
Мы верим, поклоняемся ему.
А ты?

Г у л ь а й и н

Ах, трудно одному уму
Свой путь во тьме неведенья найти.
Как высоко птенец ни залети,
Но, и окрепши, всё же знает он
Лишь то, к чему в гнезде был приучен...
Огонь, меня учил ты, — божество!
И больше я не знала ничего.

О т а ш

Учил, чему был сам учен с пелен,
Покамест ты была еще мала.
Вот выросла и в разум ты вошла,
Я волю, дочь моя, тебе даю,
Сама дорогу избирай свою,
Лишь был бы выбор для тебя хорош.

Г у л ь а й и н

И наша, и чужая вера — ложь.
И с вами в храме, где живет мобед,
Огню я поклонялась много лет.
Но я без горя дня не прожила.
Я счастлива и часа не была.
Огонь во храме предо мной горел,
Лишь иногда глаза слепил мне дым...

Но если б я свободу обрела,
Была б свобода божеством моим.

Г у л ь о б о д

Весь в белом кто-то вышел из ворот.

О т а ш

Он прямо к дому нашему идет.

Г у л ь а й и н

В одеждах белоснежной чистоты,
Кто это?

Входит Г и р д а к в белом.

О т а ш

Э, Гирдак, да это ты!
Я думал — вижу ангела во сне!

Г и р д а к

Я нечестивец — это знак на мне.
Ведь я — я поклоняюсь Муканне.

О т а ш

А как людей Батталя ты избег?
А Муканна? Что он за человек?
Рассказывай!

Г и р д а к

Сейчас всё расскажу.

Г у л ь о б о д

Он чародей, колдун, — я так скажу.

Г и р д а к

Пророк новоявлённый, маг, хитрец —
Так, что ли?

Нет, не маг он, а мудрец!
Он выше, чем арабский Мухаммед.
Он — друг поработанных бедняков.
Он — озаривший нашу землю свет.
Он нас освобождает от оков,
Великий страх внушает он врагам.

О т а ш
(в волнении)

Но где он?

Г у л ь а й и н
Как его увидеть нам?

Г и р д а к
Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его!
Одеваются в белое те, чьи сердца страданий полны!

О т а ш
Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его?!

Г у л ь а й и н
Одеваются в белое те, чьи сердца страданий
полны? ..

Г у л ь о б о д
(смотрит наружу)
Чужие люди подошли к дверям.

Г у л ь а й и н
А эти люди в белом или нет?

О т а ш
То — волки правоверные чуть свет
Опять с мечами рыщут по домам.
Входят Джебраил, Батталь и несколько арабов-
воинов.

Д ж е б р а и л
Привет, Оташ!
(Видя, что Оташ разгневан.)

Ты нас не ждал опять?
Я помешал? Пришел я невпопад?

О т а ш
(иронически)
Желанный гость не может помешать.

Гульайин
(про себя)

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его!

Оташ

Базаром шумным стал мой тихий двор,
Купцы толкуются в нем, как мошकारа,
О малом и великом буйный спор
Здесь затевают с самого утра.
Что делать бедной голове моей?
От гордости как не кружиться ей?
Мой дом — ваш дом. Примите мой привет!

Джебраил
(Батталю)

Да! Ярости его предела нет.

(Оташу)

Благодарю, мой сын! Ты нужен нам.

Оташ

Пока еще не принял я ислам. . .

Джебраил

Без бога дальше жить нельзя. Решай!

Батталь
(смотрит на Гульайин)

И без присмотра дочь не оставляй.

Гульайин
(смотрит на Батталю)

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его!

Джебраил

В Писанье, что нам дал святой пророк,
Весь Зеравшан уверовал, мой сын!
Остался нечестивым ты один.

Оташ

Коль я один — мир для меня широк,
А более мне нечего хотеть!

Б а т т а л ь

Сегодня открывается мечеть.

Д ж е б р а и л

Коль ты, как пес, не хочешь умереть
В нечестии,
прими святой ислам!

Б а т т а л ь

Ну так идем!

О т а ш

О горе, горе нам!

Г у л ь а й и н

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его...
Оташа, Гульбод и Гульайин уводят.

З а н а в е с

Картина вторая

Обращение Гульайин в ислам. Мечеть Фируза, великолепное здание. Резные ворота придают мечети еще более внушительный вид. Люди сходятся со всех сторон. Воины Баттала, пришедшие на молитву, все вооружены. Гирдак, окруженный близкими людьми, ведет разговор.

Б а г и

Придет ли день, когда его увидим мы?

Г и р д а к

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его.
Одеваются в белое те, чьи сердца страданий полны.

Х и ш р и

Во сне ночном приходит он ко мне,
Весь день потом хожу я как во сне.
Где он?

Г и р д а к

Он здесь, он в городе сейчас.
Покров зеленый на лице его.
Он для врагов невидим, но от глаз
Его не ускользает ничего.
Слова и мысли ваши слышит он.
И вот послушайте, что пишет он.

(Вынимает из-за пазухи свиток.)

Здесь нож халифу — каждая строка.

(Читает.)

«Освободится от насилья тот,
Кто, белое надев, за мной пойдет.
Простерта беднякам моя рука.
Да слышит слух любого бедняка:
Все, кто обиды терпит от врагов,
Чей дом разграблен, чей разрушен кров,
Ко мне! Ваш Мухаммед я, ваш Иса!
Ко мне! Ваш Ибрагим я, ваш Муса!»

Б а г и

(показывает наружу)

Стой! Замолчи! Батталь идет... Беда...

Х и ш р и

С ним Джебраил-лиса. Идут сюда.

Г и р д а к

На главном месте оборвали! Жаль!

Б а г и

Прячь, прячь письмо, чтоб не видал Батталь.

Из мечети выходят Ф и р у з, его слуги и арабы. Входят Б а т т а л ь,
Д ж е б р а и л. За ними ведут О т а ш а, Г у л ь о б о д и Г у л ь
а й и н.

Д ж е б р а и л

(осматривая мечеть)

Великолепно! Каждый камень сих
Узорных стен — творцу хвалебный стих.

Того, кто веру щедро так дарит,
Халиф благоволеньем озарит.

(Смотрит на Фируза.)

Салам, Фируз!

Ф и р у з

Вам, Джебраил, салам!
И вам, Батталь, салам сердечный вам!

Г о л о с а

Добро пожаловать! Салам! Салам!

Г и р д а к

(иронически)

Весь бедный люд приносит свой привет.

Н а и м

Пошли господь Фирузу много лет!

Ф и р у з

(довольный, поднимаясь по лестнице)

Бисми-иллахи, рахмани-рахим! ..
Слух обрати, аллах, к мольбам моим!
Во славу веры я воздвиг мечеть.
Еще усерднее я буду впредь
Склонять в ислам народ земли моей.

О т а ш

(тихо)

Твой каждый шаг нам смерти тяжелей...

Д ж е б р а и л

(с возвышения)

Поближе подойдите к нам, Оташ
И Гульайин!

Друзья, весь округ наш
Уверовал в пророка в эти дни.
Без веры в Зеравшане — вы одни.

О т а ш
(*выходит вперед*)

Одни ли мы?

Г у л ь а й и н
(*смотрит на людей*)
Одни ли мы среди вас?

Д ж е б р а и л
Строптивою не будь на этот раз!..

Г у л ь а й и н
(*будто не слыша*)
Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его,

Д ж е б р а и л
Повторяй за мной:
Ля илях илля ллах
Ва Мухаммадун расулу ллах.

Г у л ь а й и н
Что скрыто в непонятных нам словах?

Д ж е б р а и л
Кул хува ллаху ахад, аллах ус самад
Лям ялид ва лам юлад
Ва лам якун лаху куффан ахад.

Г у л ь а й и н
Открой же смысл нам темных слов твоих.

Д ж е б р а и л
Аллахом дан Корана каждый стих.
Чтоб тайный смысл стихов не исказить,
Иначе их нельзя произносить.

Г у л ь а й и н
Тогда не мучь нас больше, отпусти!
Зачем ты против совести идти

Дорогой мрака принуждаешь нас?
Зачем, скажи, сердца терзаешь в нас,
Кровь клокотать ты заставляешь в нас?
Слова Корана для меня темны.
Открой: во что поверить мы должны?
Не можешь? Так не мучь нас, отпусти!

Д ж е б р а и л

Святой пророк, вину мою прости!
Ну, слушай:

«Кул хува лаху ахад».
То значит: «Бог один, нет у него
Подобия. . .»

«Аллах ус самад» —
«Не пьет он, не вкушает ничего».
И дальше:

«Лам ялид ва лам юлад» —
То есть: «Господь никем не порожден,
И никого не порождает он,
Кто мог бы власть наследовать его».
«Ва лам якун лаху куффан ахад» —
«И никого в подлунной не найти,
Кто б мог его величием превзойти».
Прими же, Гульайин, ислам святой.

Г у л ь а й и н

О, кто ты, мир? Безбрежною рекой
Меня ты мчишь и крутишь в бездне вод. . .
Всё спуталось во мне. Кто поведет
Меня в пучине неизвестных сил?
Едва я отрешилась от огня,
Как чуждый мощный бог настиг меня.
«Уверуй!» — говорит мне Джебраил. . .
Что делать?

(К отцу.)

Научи, совет мне дай!

О т а ш

Прими их веру, но не омрачай
Свой чистый дух! Пусть будет он, как был!..

Несправедливый этот Джебраил
Пусть радуется! Ты же не спеши,
Храни свободу в глубине души. . .

Д ж е б р а и л

Что ты стоишь в молчанье? Отвечай,
Кто дал тебе дыханье? Отвечай!
Кто создал мирозданье? Отвечай!

Г у л ь а й и н

Что знаю я? Ты знаешь — поучай.

Д ж е б р а и л

Внемли ж:

Вселенную и всё, что в ней
Заклучено, бог сотворил в шесть дней.
Вот дни миротворенья: было в них
По времени — шесть тысяч лет земных.
В пространстве, где предвечный мрак царил,
В два первых дня бог землю сотворил.

А р а б ы

Из полезного он всё, что есть, сотворил.
И из вредного он всё, что есть, сотворил.
В третий день, бросив взор на творенье свое,
Он земные просторы горами покрыл.

А р а б ы

Из полезного он всё, что есть, сотворил,
И из вредного он всё, что есть, сотворил.
В день четвертый черед был деревьев и вод.
Он их создал, живой их душой одарил.

А р а б ы

Из полезного он всё, что есть, сотворил,
И из вредного он всё, что есть, сотворил.
В пятый день он воздвиг над землей небосвод
И на нем свой высокий престол утвердил.

А р а б ы

В день шестой он милостью своей светил сотворил.
Их сияньем создания свои озарил.

И на землю послал Мухаммеда аллах,
Чтоб о божьих делах нам пророк говорил.

Г о л о с а

А что же в день субботний создал бог?

Д ж е б р а и л

В субботний день господь подвел итог
И от трудов творенья опочил.

М у к а н н а

(невидимый, из-за толпы)

О самом важном ты не сообщил!

Д ж е б р а и л

На всё отвечу, что б ты ни спросил.

М у к а н н а

Когда народ несчастным сделал бог?
В который день он рабство сотворил?
Зачем тебя он зреньем одарил,
А наши очи занавесил тьмой?

Д ж е б р а и л

Кошунство мерзкое!.. Кто ты такой?

М у к а н н а

Кто я? Коль ты всеведущ — угадай!

Д ж е б р а и л

Уйди же прочь! Молиться не мешай!

М у к а н н а и с ним К у л а р т а к и н выходят вперед. Лицо Мука-
нны закрыто. Г и р д а к приближается к Муканне.
Взоры всех устремляются на пришедших. Джебраил и Батталь тоже
смотрят на них.

М у к а н н а

Есть у меня еще к тебе вопрос!

Г у л ь а й и н

(в смятении)

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его!

Муканна

За что ты столько горя нам принес?
Терзаешь ты народ мой для чего?
И почему сто лет близ наших вод
Ничто не зеленеет, не цветет? . .
Мертв Зеравшан, мертва Кашкадарья! . .
Что иссушило корни бытия?
И над страной не молкнут плач и стон!
Зачем насилье ты возвел в закон?
Дневной грабеж ты «пошлиной» назвал.
Разбой «хараджем» наименовал.
Увод в неволю «верою» нарек.
Не потому ль свободный человек, .
Приняв ислам, становится рабом
Или бездомным нищим, бедняком?
Кем обездолены, разорены
Все коренные жители страны?
Ремесленники в плен уведены,
Земли своей крестьяне лишены!
Так вот в чем твой ислам, вот твой аллах?
Таков он — подвиг твой в «святых делах»?

Гульайин

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его!

Муканна

(к Гульайин)

Прими ислам. Но знай: твоей земли
Они омусульманить не смогли.
И хоть «Дома Огня» они сожгли,
В мечеть мы на молитву не пошли.
Ни меч им, ни Коран им не помог.
Но коль последний малый ты залог
Свободы хочешь потерять, ну что ж, —
Иди, прими ислам, уверуй в ложь
И повтори за Джебраилом вслед:
«Нет бога, кроме бога». Средства нет
Иного, чтоб несчастный Джебраил
Утешился, свой дух возвеселил.
Не зря же здесь трудился он сто лет!
Он меч ислама с тысячей угроз
Над бедной головой твоей занес.

Пусть он надеется, что весь народ
Вслед за тобой в их веру перейдет!

О т а ш

Смятением великим разум мой
Наполнил ты! Кто ты?

Б а т т а л ь

Кто он такой?

Г и р д а к

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его!
Одеваются в белое те, чьи сердца страданий полны!

Возгласы в толпе

Кто он такой?

Кто он такой?

Кто он?

Г у л ь а й и н

О, кто ты? Речь твоя мне сердце жжет!

М у к а н н а

Я человек. Свобода — мой закон,
Но я и бог, коль бога ждет народ,
Я — исцеление всех ваших ран.
Я презираю лживый их Коран.
Я пред исламом не паду во прах.
Обманщик, сказочник их Мухаммед,
Он не пророк. Им выдуман аллах.
До вздорных слов его мне дела нет.

Д ж е б р а и л

О, мерзость! О, кощунство! О, позор!
Как он не пожран адом до сих пор?!

М у к а н н а

Освободится от насилия тот,
Кто, белое надев, за мной пойдет!
Простерта беднякам моя рука!
Да слышит слух любого бедняка:
Все, кто терпел насилия врагов,
Чей дом разграблен, чей разрушен кров, —
Ко мне! Ваш Мухаммед я, ваш Иса!
Ко мне! Ваш Ибрагим я, ваш Муса!

Н а р о д

Он — Муканна!

То — Муканна!

Да, да.

Он — Муканна!

Д ж е б р а и л

Он смел прийти сюда?

Г у л ь а й и н

(радостно, на глазах слезы)

Привет тебе!

Живи среди нас всегда,
Счастливого созвездья властелин!

О т а ш

О Муканна, приди! Ты Гульайин

С собой от Джебраила уведи!

Ты от тирана нас освободи!

От лжи Корана нас освободи!

Г у л ь о б о д

О Муканна, приди! О, будь мне сыном!

Р а б

Пришел он, жданный долгие года!..

Г у л ь о б о д

Веди нас к свету, ради Гульайин

Измученный народ освободи!

Д ж е б р а и л

Не будь глупа, не верь ему, он лжет!

Его геенна огненная ждет.

Над ним восстанет Азраил с мечом,

Ответа спросит у него во всем.

Клокочущее олово ему

На голову там будут лить ведром!

М у к а н н а

В зеленом мужи Омейядов шли

В бой, в черном львы Абу Муслима шли.

В одеждах белых люди Муканны

Против арабов выйдут в день войны.
Я вам дорогу к счастью укажу!
Я от неволи вас освобожу!
Где белые одежды? Кто со мной,
Не дрогнув, выйдет на великий бой?

Н а р о д

Мы все!

М у к а н н а

Наденьте белое!

Муканна и Кулартакин уходят. Народ в смятении. Оташ и Гульайин растеряны.

Д ж е б р а и л

(кричит)

Стой! Стой!

Держите их!

Б а т т а л ь

Хватайте в воротах!

Несколько стражников устремляются вслед за Муканной. Сверкают мечи. В руках у Джебраила и Батталя тоже обнаженные мечи.

Д ж е б р а и л

Минуй нас грозный гнев твой, о аллах!

(Обращаясь к Гульайин.)

Прими святую веру мусульман!

Г у л ь а й и н

Оставь меня! Ни вера, ни Коран
Мне не нужны! Я не хочу их знать.
Нет сердца у меня, чтоб их принять.
Нет языка, чтоб их именовать.

Д ж е б р а и л

Ну так вини себя в своей судьбе!
Покамест не вернется ум к тебе,
Пока твой дух во власти темноты,
Наложницей Батталя будешь ты!

Гульайин уводят. Все в гневе и волнении.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина третья

Дом предводителя халифского войска Сейида Батталь. На стене висят арабский меч, бухарское копьё, железные кольчуги и щиты. Вечер. Сейид Батталь сидит, погруженный в задумчивость. Входит слуга.

С л у г а

Пришли крестьяне жаловаться к вам.

Б а т т а л ь

Нашли заступника!

Ты к ним поди.

Что говорят у них по кишлакам,
Где Муканна, — расспросы поведи!
Потом скажи им: предводитель наш,
Мол, слушать жалобы не приучен,
Халифовых владений грозный страж
И повелений исполнитель он.
И всё, что совершается в стране,
То по его приказу свершено.
А плачущих по собственной вине
Ему и слушать власти не дано.
Я звал Фируза. Здесь он?

С л у г а

Здесь.

Б а т т а л ь

Его

Впустить ко мне. А больше никого.

Слуга уходит.

Как удивляет здесь меня народ, —
Он миллионы жалоб мне несет.
Кто согласится слушать их? Сам бог,
Когда бы всех их выслушал, оглох!
И жалобы, и просьбы. . . Вся страна
На голову мою устремлена
Потопом жалоб. Самарканд гудит
От бури жалоб. Бухара горит
В пожаре жалоб на сто сотен бед.

Сайхуна и Джейхуна больше нет,
И реки жалоб вместо них текут
По желобу, что жалобой зовут. . .
Текут мне в уши. Боже! Сохрани
Меня от жалобщиков!

(Смотрит в дверь.)

Всех гони!
Скажи: Сейид прошений не берет,
Он лишь. . .

С л у г а
(входит)

Пришел Фируз.

Б а т т а л ь

Пускай войдет.

Слуга уходит. Входит Фируз.

Ты с жалобой?

Ф и р у з

Что ты изволил мне
Сказать?

Б а т т а л ь

Что ты один во всей стране
Мне жалобами слух не раздражал,
Что драгоценный носишь ты кинжал
На поясе владыки золотом.

Ф и р у з

Аллах, наполни счастьем этот дом!

Б а т т а л ь

Ну, пожеланье счастья, как на грех,
Сегодня для меня — пустой орех.
Вот силы ты не проявил своей,
И нам Нахшаб не платит податей.
Хараджа, пошлин не взыскали мы.
Едва ли треть одну собрали мы
Того, что взял когда-то Кутейба.

Ф и р у з

Страну застал богатой Кутейба.
На диво был благоустроен край.
Нам слал свои сокровища Китай,
И по путям из Ферганы в Яркенд,
Из Самарканда древнего в Пайкенд
Верблюды шелк и золото несли.
Обильны были все дары земли —
Щедры плоды усердного труда.
Свободны были все у нас тогда.
Владык над нами не было извне.
Ни слез, ни жалоб не было в стране.
Вот почему здесь Кутейба открыл
Сокровищницу — с море глубиной!
Вот почему он здесь и находил
Жемчужины в яйцо величиной!
В харадж он обращал весь этот клад,
К Хаджиджу отправлял его в Багдад.
Осталась наша родина тогда
Скуднее разоренного гнезда.
Бежали люди в страхе кто куда,
Исчез народ торговый без следа.
Пайкенд, Нахшаб — где эти города?
Где Бухара, счастливых дней звезда?
Пропал покой, нарушен мирный труд,
Остался в кишлаках лишь бедный люд.
Да им не то чтобы харадж платить —
Своих детей им нечем прокормить!
И гонят обездоленных людей
Косить ячмень для ваших лошадей...
Сто лет в стране такая благодать.
Откуда для хараджа деньги взять?
Когда иссохнет вся вода в реке —
И рыба сдохнет на сухом песке.
Вот в чем зерно народных смут ищи!
Ведь те, что носят белые плащи,
У вас отбили Самарканд и Кеш.
Кашкадарья в огне!.. Кругом — мятеж!
И всюду — Муканна...

С л у г а входит.

С л у г а

Толпа кричит,
Ворота рвет! Что повелишь, Сейид?

Б а т т а л ь

(*слуге*)

Поди скажи, утешь проклятый сброд:
Начальник, мол, приказы отдает,
А всё, что мне хотят они сказать,
Фируз уже успел, мол, передать.

Слуга уходит.

(*Фирузу с гневом и иронией.*)

Ты, что ж, их представитель?

Ф и р у з

Вовсе нет.

Я человек, построивший мечеть.
Но я свидетель всех народных бед.

Б а т т а л ь

Так расписать их — надобно уметь. . .

Ф и р у з

Мой долг — пред вами правду открывать.

Б а т т а л ь

Не долг борца ислама — защищать
Простой народ!

Но, впрочем, как с ним быть? . .

Ф и р у з

По-моему — так надо облегчить,
И люди перестанут бунтовать
И за работу примутся опять.
А если им не уступить сейчас,
Потом труднее будет и для нас.

Б а т т а л ь

Для исполнения мысль твоя трудна. . .

Ф и р у з

Для управления чернью нам нужна
И твердая и мягкая рука.
Судьба народа впрямь сейчас тяжка,
Но в гневе он всё может сокрушить. . .

(Показывая на людей за дверью.)

Поди попробуй с ними говорить!

Б а т т а л ь

Ты выйди к ним. . . Ты с ними прожил век,
Ты уважаемый здесь человек.

Ф и р у з

Давно не уважает никого
Из нас народ.

Б а т т а л ь

Но если гнать его
Имеешь ты возможность, то народ,
Как стадо, под бичом твоим пойдет.
Ты свой здесь, и значение твоё
Не меньше. . . да, не меньше, чем мое.
Толпа тебя послушает, поверь!

Ф и р у з

Нет, нас толпа не слушает теперь.
Крича: «Прогнать арабов!», весь народ
Потоком бурным к Муканне течет.
Повсюду слышно только: «Муканна!»
Власть наша черни стала не страшна.

Входит слуга.

С л у г а

Народ не хочет уходить, шумит. . .

Ф и р у з

Так как же поступить решил, Сейид?

Б а т т а л ь

(слуге)

Скажи, что выйдет к ним Фируз сейчас,

Объявит предводителя приказ.

Слуга уходит.

(Фирузу.)

С мечом вступил на вашу землю я,
И коль уйду, так только под мечом.
Вот воля вам последняя моя:
Харадж народ уплатит целиком.
Я пошлину возьму с бород, усов,
Я соберу оброк с ушей, с носов!
Так и скажи. Но умиротвори,
Утешь их, сказками заговори.
И служба не забудется твоя
Там, у халифа. . . обещаю я.

Ф и р у з

Всё сделаю! . .

Ну как же Гульайин?

Б а т т а л ь

Прекрасна, как всегда.

Ф и р у з

Ты властелин

Сокровищ, коль достиг, чего желал,
Ты клад Мавераннахра отыскал,
Какой не снился даже Кутейбе.
Не надо ли тут чем помочь тебе?

Б а т т а л ь

Нет, в этом деле помощи твоей
Не нужно. Без тебя я справлюсь с ней.

Фируз уходит.

Ух, тяжко! Будто строит рой чертей
Свой чертов дом над головой моей!
И гул в ушах, и дух стеснен в груди.

(Зовет слугу.)

Эй, где ты!

Слуга входит.

С л у г а

Здесь.

Батталь
Рабыню приведи!
Слуга уходит.

Пролей, о боже, в душу ей свой свет!

Слуга приводит Гуляйин. Она утомлена и печальна. Слуга выходит. Батталь знаком предлагает Гуляйин сесть.

Батталь
Прекрасная язычница, привет!

Гуляйин
В твоих словах тепла и света нет.

Батталь
Но о любви хочу я говорить.

Гуляйин
Нельзя тебе язычницу любить.

Батталь
Но суждено принять ислам тебе.

Гуляйин
Где суждено? На небе? Я судьбе
Иной, судьбе земной подчинена.
Огнем земного горя сожжена.

Батталь
Ты розой будешь цвести в моем саду!

Гуляйин
Но разве может роза цвести в аду?

Батталь
...Петь соловьем в моих ветвях густых!..

Гуляйин
Сгоришь от вздохов горестных моих.

Батталь
Должна ты будешь стать моей женой.

Гуль ай ин

Что ж о любви ты говоришь со мной?
Любовь лишь со свободой дружна.
Враждует с принуждением она.

Бат таль

Дивлюсь, как ты смела, как ты умна.
Кем мудрость, девушка, тебе дана?
Вот женщины арабской стороны
Трусливы, слабы, разумом бедны.
Когда же Кутейба пришел сюда,
Здесь женщина царила — Тугшада,
Как муж разумный, правя Бухарой.

Гуль ай ин

Сама она войска водила в бой.

Бат таль

Ну а у женщин нашей стороны
Ум короток, хоть волосы длинные.
Пророк в Святом писании своем
Зовет их — «обделенные умом».

Гуль ай ин

(значительно)

У вас была Лейли.

Бат таль

Глупа была,

Из-за любви к безумцу умерла.

Гуль ай ин

Для той любви земля тесна была.
Лейли с возлюбленным разлучена была
И от любви великой умерла.

Бат таль

Откуда ты могла узнать о ней?

Гуль ай ин

Я слышала от матери моей
Преданье это.

Батталь

Выдумка и вздор!
Сама ты не любила до сих пор.

Гульайин

Любви не знала до сего я дня.

Батталь

Ну, если так, тогда люби меня!

Гульайин

(вскакивает в волнении)

Исчезни прочь, мне сердце не терзай!
На счастье я надеюсь тоже, знай!

Батталь

В жестоком этом мире что одна
Надежда?

Хочешь счастья? Власть нужна,
Меч нужен, щит, чтобы добыть его.
Слаба ты, не добудешь ничего.
Ты женщина, где счастья взять тебе?
Тут нужен меч, отвага, море сил. . .
А ты должна покорствовать судьбе.

Жочет приласкать Гульайин. Гульайин отталкивает его. Входит слуга. Гульайин и Батталь разгневаны.

Слуга

Пришел высокочтимый Джебраил.

Батталь

Поди скажи, что ожидаю я.

Гульайин

Пусть околет старая змея!

Слуга поспешно выходит. Входит Джебраил.

Батталь

Какой счастливый ветер вас привел?

Д ж е б р а и л

Не ветер, смерч пригнал меня сюда!
Сквозь тысячу смертей сюда я шел.
Вокруг, как пламя Страшного суда,
Восставшие бушуют кишлаки,
И в белых саванах бунтовщики...

Г у л ь а й и н

(оживляясь)

Одеваются в белое те, кто хотят увидеть его!

Д ж е б р а и л

...В великом множестве везде снуют.
Все переулки, улицы полны
Злодеями. Рабов пророка бьют,
Жилища грабят, кровь, как воду, льют,
И всюду слышно имя Муканны.

Б а т т а л ь

Я отомщу, я поголовно их
Всех вырежу! Исчезнет весь народ!
Их кровь потоком горным потечет,
Дам тысячу дирхемов золотых
За голову злодея Муканны.

Д ж е б р а и л

Это очень мало.

Б а т т а л ь

Три тысячи!

Д ж е б р а и л

Очень мало.

Б а т т а л ь

Пять тысяч!

Д ж е б р а и л

Очень мало.

Б а т т а л ь

Дам десять тысяч из своей казны!

Г у л ь а й и н

Очень мало.

Как вам монетой солнца не затмить,

Так эту голову не оценить.

И за нее вы будете должны

Батталя головою заплатить!

Батталь ударяет ее по лицу плетью. У Гульайин на лице кровь.

О горе!

Б а т т а л ь

Эй, палач!

П а л а ч

(*входит*)

Лишь дай приказ,
Наполню кровью чашу хоть сейчас.

Б а т т а л ь

Так вырви ей язык, ударь сто раз
Ее по груди палкой, а потом
Всё тело ей исполосуй кнутом,
И волосы отрежь тупым ножом,
И труп ее нечистый выбрось в грязь!

Палач увлекает Гульайин. В смятении вбегает слуга.

С л у г а

Сейид! Толпа неверных ворвалась
Во двор!

Общее смятение. Входят Муканна, Гирдак и другие — в белых одеждах. Входят толпой все, которым Батталь только что отказал в приеме. Гульайин бросается к отцу. Джебраила и Батталя хватают.

М у к а н н а

Священна кровь, что пролилась
За правду!

Б а г и

Не хотел ты нас принять
И сам теперь о милости моли!

(*Указывая на Муканну.*)

Мы все до одного за ним пошли.
Мы стали «нечестивыми» опять.

Х и ш р и

(указывая на Батгала и Джебраила)

Но гаже, чем вот эти, отыскать
Нигде мы нечестивцев не могли!

М у к а н н а

Теперь, святые мўжи, просим вас
В мечеть за мной пожаловать сейчас!
Два слова там я вам сказать хочу.
Коран для вас я толковать хочу.
Я расскажу вам, что на свете есть
Неволя, воля, справедливость, честь,
Наука, щедрость, оскорбленье, месть.
Я о пророках мира дам вам весть.
Об адских наважденьях расскажу,
Об ангельских виденьях расскажу.
И о земле и небе расскажу,
И о судьбе и хлебе расскажу,
О смерти и о жизни расскажу,
О мире и отчизне расскажу.
Открою вам грядущие года,
Где блещет пламя Страшного суда.
Открою мироздания пути
На вечном созидания пути.
Открою людям светоч бытия,
Как звезд, бессмертной правды не тая,
И справедливости урок вам дам,
Клеймо огня вам приложив к телам.

З а н а в е с

Картина четвертая

Мечеть Фируза. День молитвы — пятница. В мечеть приходят приверженцы Муканны. Все одеты в белое. Среди них Гирдак. Входят Баги и Хишри.

Б а г и

А мусульмане что же не пришли?
Сегодня ведь молитвы день, джума!

Г и р д а к

(смеясь)

Воды для омовенья не нашли
Или от страха все сошли с ума.

Б а г и

Молитва без муллы и нам плоха!

Г и р д а к

Взамен муллы поставим петуха
И станем бить поклоны перед ним.

Б а г и

Муллу, бывало, шепотом браним,
А он посмотрит — шевелятся рты.
«Ну, — думает, — Кораном заняты!»

Х и ш р и

Зачем костер такой развел ты здесь?

Г и р д а к

Зажарю Джебраила, буду есть!

Б а г и

Что тут произойдет? Скажи ты мне!

Г и р д а к

Век не забудешь ты об этом дне, —
Ты Джебраила здесь допросишь сам.

Б а г и

Оставь! Я не учен таким делам!

Г и р д а к

Я подскажу, пока ты не привык...
Но если вспыхнет кровь в тебе — беда!
А коль из Джебраила мне шашлык
Изжаришь — друг мне будешь навсегда!

Б а г и

Не заставляй меня вести допрос!
Я без науки, в простоте возрос,

И если глупых слов наговорю —
Перед народом от стыда сгорю,
Да и тебя я опозорю зря. . .
Нет, друг, не выйдет из меня царя!

Х и ш р и

Смелей! Твой день, бедняга! Не плошай!

Б а г и

Шашлык изжарю, лишь вина мне дай!
Но где ж вино? Ислам у нас сто лет,
Сто лет у нас и винограда нет.

Г и р д а к

Вино законом их запрещено,
Батталь пьет кровь живую — не вино.

Б а г и

Гляди, гляди: толпа валит вдали!
Ну да зато мы раньше всех пришли!

Г и р д а к

И в белом все. . . Эй! Отвечай, народ,
Сильней халифы или Муканна?

Входят одетые в белое приверженцы Муканны, вооруженные мечами,
щитами и копьями. Баги смотрит наружу.

Б а г и

Гляди, и Гульайин сюда идет!

Все смотрят.

Г и р д а к

В плащ с головой закуталась она,
Лицо ей изуродовал Батталь. . .

Б а г и

Спасли ее, да красоты вот жаль.

Х и ш р и

Высокий выпрямивши стан, идет. . .

Г и р д а к

В одежде снежной с гор тюльпан идет!

Х а к и м

Батталем обещена она...

Х и ш р и

Такие вот — в былые времена —
Бедняжки умирали от стыда,
Она ж идет сюда — смела, горда.

Х а к и м

(ядовито)

Она красавица! Так что ей честь?
Знать, поважней у ней заботы есть.
Что грех ей? Да глаза людей скорей
Ослепнут, чем заметят грех на ней!

Б а г и

Честь дорога рабам была всегда...

Г и р д а к

Что делать, коль обрушилась беда?
Защитник не всегда надежный — бог,
А из людей никто ей не помог.

Медленно входит Гульайин. Все смотрят на нее, безмолвно идут ей навстречу. За Гульайин входят Оташ и Гульобод.

О т а ш

Ну, чем, Гирдак, порадуешь ты нас?

Г и р д а к

Здесь будет Джебраил плясать сейчас!

Х а к и м

Пустой орех за пазуху кладешь, —
Где Джебраила ты сейчас найдешь?

Г и р д а к

Пустых орехов воин, полный сил,
Раскалывать не станет! Джебраил
В темнице моего решенья ждет.
Батталь печенку собственную жрет
От злобы... Мне лишь слово произнесь —
Через минуту оба будут здесь!

О т а ш

Тут мало, друг мой, слова одного, —
Ты делом, делом подтверди его!

Г и р д а к

Что хуже с человеком может стать,
Чем за решеткою сидеть и ждать —
Невесть чего!

Он в рот тебе глядит:
«Сядь!» — скажешь, — сядет.
Скажешь: «Стой!» — стоит.
А где Фируз? Твой долг — поймать его.

О т а ш

Нигде мы не могли сыскать его.
Мерзавец этот, полагаю я,
В щель где-нибудь забился, как змея.

(Смотрит наружу.)

А-а, вот они!

Все смотрят.

Ведут дружков, ведут!
Изрядное веселье ждет их тут,
Они ж идут, как будто на мазар!

Стража вводит Баттала и Джебраила.

Г и р д а к

(обращаясь к ним)

Ну, женишки! Начнем, споем «яр-яр»!

Д ж е б р а и л

(озираясь)

От нечестивых сохрани, аллах!
Ты властен в наших мыслях и делах...
О благостный! Внемли моей мольбе!

(Гирдаку.)

Прочь от меня! Не ровня я тебе!
Где твой лицо свое закрывший бог?
Два слова для него я приберег!

Г и р д а к

Смотрите-ка! А с нами разговор
Ему и поношение, и позор!

О т а ш

Нет здесь муллы для разговора с ним.
Мы сами толком с ним поговорим.

(Джебраилу.)

Так вот: когда одна беда придет,
Не оберешься горя и забот.
Мы бедняки и дети бедноты.
Явились к нам такие вот, как ты,
Забрали наши земли и дома.
Ты — муж наук, а в наших душах тьма,
Но мы сумеем уши закрутить
Тебе, коль не захочешь говорить.

Джебраил и Батталь молчат. Гирдак подводит к ним Баги.

Г и р д а к

Сегодня будет он снимать допрос,
Умом он Сулеймана перерос.

Баги серьезно смотрит на Джебраила.

Ну, начинай, что смотришь? Не робей!

Б а г и

(Джебраилу)

Ну, начинай, что смотришь? Не робей!

Все смеются, Гирдак отводит Баги в сторону.

Г и р д а к

Я «начинай» тебе сказал, чудак!

Б а г и

Уволь меня! Сам спрашивай, Гирдак,

Г и р д а к

Потом и я, А ты с ним наперед
Поговори да посмеши народ.

Баги снова выходит вперед. Он смотрит на Джебраила и серьезно спрашивает.

Баги

А сколько надо угля, старый бык,
Чтобы изжарить из тебя шашлык?

Поднимается смех. Баги серьезен.

Джебраил

Прости меня, аллах! Прости, аллах!

Баги

А если сделать из тебя «улак»,
То сколько дней продлится «копкари»?
Да говори же, пес тебя дери!

Джебраил

Прости меня, аллах! Прости, аллах!

Баги

Что он лопочет? Не пойму никак.

(Обращаясь к Гирдаку.)

Ведь я предупреждал тебя, Гирдак:
Уволь, допрашивать не мастер я.
И «пусть мясник свежует воробья»!

Входят Муканна и Кулартакин. Все молчат. Они поднимаются вверх, Гирдак выбегает и сейчас же возвращается.

Гирдак

Фируз! Фируз!

Повстанец вводит Фируза, одетого в рубище дервиша,

Где ты его добыл?

Повстанец

Он в примечательном местечке был —
В лачуге у Оташа он сидел!
Видать, бежать бедняга захотел...
Но только от меня не убежишь,
Хоть вырядился, дьявол, как дервиш!

Гирдак

(Муканне)

Народ весь в сборе, предводитель наш!
Какие повеленья ты отдашь?

М у к а н н а
(Джебраилу)

Скажи, чего теперь от нас ты ждешь
За все насилья, что ты здесь творил?
Какую казнь себе ты изберешь?

(Батталю.)

И ты скажи: чего ты заслужил?

(Фирузу.)

Будь справедлив. За муки бедноты
Суди себя: чего достоин ты?

Б а г и

Вот здорово!

Что там ни говори,
Допрос ведет он лучше, чем цари!

Ф и р у з

Прости! Пускай свой лик завесил бог!
А мир мне и без бога был неплох.
И до арабов жизнь моя текла
Спокойна, изобильна и светла.
Подумав, что порядок мудрый нам
Дадут арабы, принял я ислам,
Я думал, власть их вечно не падет,
И сказками обманывал народ.
Чтоб мусульманам другом быть и впредь,
Я царственную им воздвиг мечеть.
Но разве мог подумать я в те дни,
Что жалки так и немощны они?
Что может вождь, столь гордый, как Батталь,
Стать жертвой, как откормленный баран.
Раскаянье мне грудь язвит, как сталь...
Но я прозрел! Не верю я в Коран,
Не повторяю больше: «бисмиллах!»
Раскаиваюсь в злых своих делах...
Любую кару я готов нести.
Виновен я. Но ты меня прости.

Б а т т а л ь

Я — воин. Труд мой — грозная война.
С войной приходит для меня весна.

Война и кровь на всех моих путях,
И не Коран, а меч в моих руках.
Я раб.

(Указывает на Джебраила.)

И я ему служил мечом,
Захочешь — стану я твоим рабом!
Лишь тем я отличаюсь от раба,
Что связана с конем моя судьба:
Я жив, когда меня скакун мой мчит
И пыль за мною высоту мрачит,
И брызжет кровь от моего меча,
И кровь моя сильна и горяча. . .
Лишь дай свободу мне, и я клянусь —
Я для тебя от бога отрекусь!
Лишь дай свободу мне, и я везде
Пойду с тобой — в победе и в беде!
И кровью всей своей, всем существом
Я буду в сердце kloкотать твоим!

М у к а н н а

(Джебраилу)

Ты говори, коль хочешь! Выбирай
Сам для себя геенну или рай.

Д ж е б р а и л

Не попрошу пощады никогда!
Пусть летится кровь, но слава, как звезда,
Бессмертна!

В ад я вас повергну всех!
Как горы, там на вас наляжет грех.
Я вырву вам из глоток языки
И руки изрублю вам на куски.
Судьбу свою ты у меня узнай,
А здесь со мной как хочешь поступай.

М у к а н н а

Как с ними быть, вазирь, судии,
Разумные советники мои?
Охота стала нашим ремеслом,
А враг в сетях, как птица, бьет крылом.

О т а ш

Я б резал птиц и ел бы, но — бог весть, —
(указывает на Джебраила)

Кто коршуна такого станет есть?

Х и ш р и

Поймав оленя — режут и едят.
Поймав лису — снимают ценный мех.

О т а ш

А пес подохнет — от него лишь смрад!

Г и р д а к

(указывая на Джебраила)

И от такой добычи только грех.
Опасней он и гадов и зверей.
В огонь его! В костер его скорей!
Пусть шашлыком для джиннов станет он.
Так поступи с ним, если ты силен.

М у к а н н а

Ты, Гульайин, какой подашь совет?

О т а ш

На казнь их! Кровь за кровь!
Пощады нет!

Г у л ь о б о д

О дочь моя! Иди и говори,
Народ советом мудрым подари!
Гульайин выходит на середину. Все внимательно слушают.

Г у л ь а й и н

Батталь сказал: «Тот счастья властелин,
Кто держит меч».

М у к а н н а

Дай меч, Кулартакин!

Кулартакин подает Муканне меч. Муканна вручает его Гульайин. Гульайин выпрямляется, выходит на середину и говорит, указывая на Джебраила.

Г у л ь а й и н

Его убей! Для всех опасен он,
В его мозгу таится скорпион.

(Указывая на Фируза.)

А это червь. Ни жизнь, ни смерть его,
Ни сам он — не нужны ни для кого.

(Указывая на Джебраила.)

Ад у него в груди не потушить,
Пока он жив. И он не должен жить.

(Указывая на Фируза.)

Богатств несчетно добытых лишив,
Гони его. Но пусть уходит жив.

(Муканне.)

Я обращаюсь с просьбою одной:

(указывая на Батталя)

Его судить позволь ты мне самой.
Одна я отомстить ему хочу.
Сегодня прикоснулась я к мечу,
Пусть он попробует не исполнять
Приказов, что я буду отдавать!
Пусть этот воин подметает двор,
Познает рабства горького позор!
Но если он раскается во всем —
Он будет нас учить владеть мечом.
Поэтому его не убивай!

Х а к и м

Пускай он поживет еще, пускай!
Что выйдет из него, мы поглядим,
Да заодно потешимся над ним.

Человек с дубиной

(бросается на Батталя)

Вздор говоришь! Я сам его убую!

М у к а н н а

(вырывая из рук его дубину)

Неужто ты оружием таким
Врага разбить надеешься в бою?

Человек с камнем

Тогда его мы камнем пришибем!

Му к а н н а

(берет у него камень и бросает в сторону)

Оружье разве — этот глины ком?

Победы хочешь — выходи с мечом!

(Гирдаку, указывая на Фируза.)

Гони его скорей с родной земли.

А всё принадлежащее ему

Добро меж бедняками раздели.

(К Гульайин.)

Да! Ты успела много пострадать,

И я тебе не в силах отказать.

(Указывая на Батталя.)

Что ж, этот жеребец пускай живет!

Один из наших рук он не уйдет,

Не тронет воробьиного гнезда

Под грозным оком нашего суда.

Г и р д а к

Так, значит, правы те, кто говорят:

«Тот дом, где ты отведал соль хоть раз,

Ты сорок дней благодари подряд».

Му к а н н а

Пока в моих руках он — каждый час

Мой меч над ним незримо занесен.

(Кулартакину, указывая на Джебраила.)

Его убей! Сам смерти хочет он.

Да будет нашим гневом он сожжен!

Да знают все, что суждено тому,

Кто вторгся в нашу землю.

В с е

Смерть ему!

Кулартакин уводит Джебраила.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина пятая

Крепость на горе Сом, где находятся Муканна и его сторонники. Вечер свадьбы Муканны с Гульайин. Горят светильники. М у к а н н а сидит в своих покоях, погруженный в задумчивость.

М у к а н н а

От слова в сердце не стихает боль:
Тот дом, где хоть однажды ел ты соль,
Потом как друг приветствуй сорок дней. . .
То слово как стрела в груди моей,
Как жгучий яд, течет в моей крови.
Увы, твердыня сердца моего
Сокрушена нашествием любви.
И нет — о стыд — защиты у него.
Так Гульайин из рук моих взяла
Мой меч и жизнь Батталю сберегла.
И я его доверием облек,
Дал власть ему, а кто б подумать мог,
Что Муканна, пришельцев грозный враг,
Со злейшим из врагов поступит так.
В недоумении был весь народ.
И если обо мне мои друзья
Помыслят втайне, что безумен я,
Они правы!

Входит страж.

Страж

Батталы!

Муканна

Пускай войдет.

Входит Батталы.

Привет, Батталы! Я рад тебе всегда.

Батталы

Будь здоров, мой господин!

(В сторону.)

О, боже мой!

Му кан на

Ты молвил «боже». Кто ж твой бог, открой!

Ба т т а л ь

Бог? Он один! Над звездной высотой...
Его никто не видит никогда...

Му кан на

Твой бог один — и одиночек. Ну да!
Но явно, и открыто, и всегда
Твой бог доступен взгляду твоему.
От бед и смерти он тебя хранит
Верней, чем этой крепости гранит.
Знай: вяжет он, и разрешает он,
И здесь, как богу, верят все ему,
Кто в белые одежды облачен.
Лишь ты иначе мыслишь!.. Почему?

Ба т т а л ь

Забылся я. Владыка мой, прости!
Вину мне, всемогущий, отпусти!
Взгляни: я раб твой телом и душой,
Тебе я поклоняюсь одному!..
Да озарит чудесный светоч твой
Передо мной неведения тьму!

Му кан на

Так не лукавь пред взором Муканна,
Мои мечи всегда обнажены.
Ни под землей, ни в тучах, ни в воде —
Ты от меня не скроешься нигде.
Скитаться будешь ты, судьбу кляня,
Когда замыслишь обмануть меня.

Ба т т а л ь

Достоин ли я гнева твоего?
Слуга твой просит выслушать его.

Муканна делает утвердительный знак.

Сегодня начал войско я твое
Военному искусству обучать.
Учились воины копье бросать
И голову врага мечом срубать,

И обгонять в походе на коне
Свободных птиц, летящих в вышине.
Их ликованье трудно описать.
От юношей до стариков седых
Великий жар у воинов твоих
К трудам науки. Дивно! Отчего?
А я, бывало, войска своего
Не сдвину без битья и без угроз.

М у к а н н а

Ты понял бы, когда б ты в сердце нес
То, что они. Два мощных чувства есть:
Любовь к свободе и святая месть.
Взгляни, как хороша, щедра, пышна
Прекрасная родная их страна.
Вот горы, снег. . . А там внизу — весна,
В садах цветущих шумно, там и тут
Живые воды, радуясь, бегут.
Всё это — их, всё их на бой зовет.
Не человек — любовь идет вперед.

Пауза.

А что же ты молчишь о Гульайин?

Б а т т а л ь

Я ею восхищен, мой властелин.
Теперь, как перышком, ее рука
Играет грозной тяжестью клинка.

М у к а н н а

Прекрасно. Выученицу твою
Рукою голой не возьмешь в бою.
Не так ли? Что ж, достоин ты похвал,
Ты, джинн, похож на человека стал.
Авось теперь наукою своей
Ты пользу принесешь и для людей.

Б а т т а л ь

Служить тебе я счастлив от души.

М у к а н н а

Что слышно у арабов, расскажи.
Что говорят арабы обо мне?

Б а т т а л ь

Дышать им нечем в вашей стороне,
Тут им петля на дереве любом.
Они дрожат при имени твоём.
Они, разгром тягчайший претерпев,
Бегут, лишь только б ноги унести,
Закончить омовенья не успев,
Их трупами покрыты все пути.
Бегут и проклинаят день и час,
Когда они с мечом пошли на вас.
Один араб спокоен и счастлив
Во всем Мавераннахре — это я!
Не знает ужаса душа моя.
И я, коль дальше так дела пойдут,
Единственным арабом стану тут.

М у к а н н а

Прекрасно. Слово каждое твое —
Как золотое веское литье!
Иди теперь! А вечером... постой!
Приди сюда. Здесь будет свадьба, той!

Б а т т а л ь

Власть победителю принадлежит.
Что ты ни скажешь — с чистою душой
И с радостью слуга твой совершит.

Уходит.

М у к а н н а

Дивлюсь я очень верности твоей.
Она всё непонятней, всё чудней.

Входит Г у л ь а й и н. На ее поясе меч. Муканна снимает покрывало.

Ты, Гульайин, любимая, приди!
Моя боготворимая, приди!
Живущая в груди моей, приди!
Бегущая в крови моей, приди!
Ты — жизнь, ты — крылья, ты — мой ясный взор!
Ты — бабочка весенних наших гор!

Г у л ь а й и н

Я белое надела, чтоб найти
Тебя и всюду вслед тебе идти.
Всю жизнь мою тебе я отдала.

В семье раба, в забвении я жила.
Глаза и руки — всё, чем я была,
Для бунта силы не было во мне,
Но ты явился — и так много сил,
Могучих сил во мне ты разбудил,
С мечом в руках иду я к Муканне
Со всем народом! Вот я — воин твой,
Идти готовый всюду за тобой!

Муканна

Разящий острый меч тебе под стать —
Мечом врага заставишь трепетать.
И если меч твой, как и гнев, остер,
Мир для тебя пути свои простер.

Гульайин

Твои слова убитых воскресят.

Муканна

Когда твои глаза в мои глядят,
Мой разум будто бездна захлестнет...
И радость, как разлив весенних вод,
Мне сердце поднимает и несет.

Гульайин

Когда тебя я вижу, мир земной
Встает таким прекрасным предо мной,
Что долго мне невмочь в себя прийти...

Муканна

Прекрасен мир из-за тебя одной.

Гульайин

Нашла я счастье, как его снести?..

Муканна

Оно, лучась, течет в твоей крови.
Но неразлучна будь с мечом твоим,
А счастьем, только счастьем не живи!
Не тяготей лишь к радостям одним!
Запомни и вовеки не забудь:
Коль надо — сам себе я вскрою грудь
И вырву сердце и тебе отдам.
Но ты бойцом со мною рядом будь!

Как смелый муж, иди со мною в бой
С мечом в руке и со щитом в другой.
О, смысл великий есть в судьбе такой!

Г у л ь а й и н

Мне не забыть увиденного мной.
Весь путь мой озарит оно, как свет.
Здесь, в сердце, сберегу я твой завет.

М у к а н н а

Коль ослабеешь ты перед врагом,
Как гости, ввалятся враги в твой дом,
Когда ты свадьбу празднуешь свою,
И, в грудь тебя пиная сапогом,
Тебя засыпят заживо землей.
И там, где свадебный ты правил той,
Петь над тобой начнут за упокой.
И помощи — хоть кровью изойдешь —
Ни на земле, ни в небе не найдешь.

Г у л ь а й и н

Из-за того я в руки меч взяла
И за тобой бестрепетно пошла.
И пусть убита буду я в бою,
Я упаду у твоего крыла.

М у к а н н а

Ты... ты одна меня лишь поняла.
Бог был бы, богу б ты была равна.

Г у л ь а й и н

Ты — целый мир, я в нем — река одна...

М у к а н н а

Жизнь миру целому дает она.

Г у л ь а й и н

Ты — сад, а я — один цветок в саду...

М у к а н н а

Цветка прекрасней в мире не найду.

Г у л ь а й и н

Завяну я. Ты будешь жить в веках.

Му к а н н а

Кто будет жить в нагих, сухих песках?

Г у л ь а й и н

Нас двое. Будь что будет, Муканна.

Му к а н н а

У нас два тела, но душа одна.

Г у л ь а й и н

В твоих словах — огонь. О, говори,
Не умолкай! Душа моя, гори! . .
Я жаждающей огня всю жизнь была.
Еще двух нежных слов всю жизнь ждала.
Во мне был снег, лил ливень надо мной,
Была чужда я радости земной. . .

Му к а н н а

Ты человек. Надеждой жить умеи.
Жизнь без надежды — гибели черней.

Г у л ь а й и н

Мир этот мал для молодых сердец.
Чуть пострадал — и вот всему конец.
Коль сердце как огромный мир в тебе —
Страданья не вольны в твоей судьбе.

Му к а н н а

Ты разве думала когда-нибудь,
Что счастье столь огромное придет?

(Делает знак в окно.)

К тебе на свадьбу сходится народ.

Г у л ь а й и н

Да, счастье мне переполняет грудь.
Не знаю я, отколь пришло оно.
Как небо, ясно и светло оно.
Звезда моя, всегда верна мне будь!

В х о д и т с т р а ж .

С т р а ж

Там собрались все, кто на пир званы,
Забавники, стрелки и плясуны.

Му кан на

(стражу)

Поди зови. Пусть все сюда придут.
Пусть этот день в веселье проведут!

Страж уходит. Муканна закрывает лицо.

А в рабстве праздников не знали мы. . .

Входят Кулартакин, Гирдак, Оташ, Гульобод и другие, собравшиеся на той. У всех в руках цветы и подарки. Пришедшие вручают подарки Гульайин и Муканне и осыпают их цветами.

Гульобод

Сегодня весь народ созвали мы.

Оташ

За пир мы сядем на вершине Сом.

Гирдак

Вот крепость неприступная — ваш дом.
Сюда вовеки не проникнет враг.

Кулартакин

Сегодня стоит выпить, — так поьем.
А ну-ка пляску начинай, Гирдак!

Вбегает Батталь с охапкой цветов.

Батталь

Прости меня, я опоздал на той!
Привет вам приношу от всей души.

Гирдак берет Батталя за руку и выводит на середину.

Гирдак

Ты вовремя. Ты не спеши, постой.
Арабскую нам пляску пропляши.

Батталь

Повеселиться я сегодня рад.

Гирдак

На свадьбе Гульайин попляшем, брат.
Повеселятся гости, поглядят.

Б а т т а л ь

Я рад. Но не умею я плясать.

Г и р д а к

Но ты ж плясать пришел к нам из-за рек.

Б а т т а л ь

Достойна Гульайин, чтобы у ней
На свадьбе пел, плясал бы человек.
Я Гульайин обязан жизнью всей,
Но лихорадкой нынче болен я,
Горит недугом голова моя.

О т а ш

Он болен. Перестань его терзать,
Да и охоту нужно, чтоб плясать.

Б а г и

(выходит на середину)

Сейчас мы сами спляшем, погоди!
Как птице, для которой тесен мир,
Так сердцу тесно у меня в груди.
Повей сейчас хоть легкий ветерок,
Как перышко, я полететь бы мог
И мчаться, не касаяся земли.
Меня, как крылья, руки б понесли.

Г у л ь а й и н

(Гирдаку)

Батталь ведь только к зрелищам привык,
Зачем его без пользы принуждать?
И стыдно, может быть, ему плясать.

Г и р д а к

Нельзя ли мне вопрос ему задать?

М у к а н н а

Не для вопросов позван он на пир.
А ты пляши и придержи язык.

Гирдак
(зовет Баги)

А ну-ка, птицей легкой пронесись,
В круг выходи, как буря закружись.

Пляска. Все хлопают в ладоши. По окончании пляски Батталь отходит вместе с Гульайин и Муканной в сторону.

Батталь

Я счастья вам желаю от души,
О Муканна, уйти мне разреши.
Я разболелся. Голова в огне.

Муканна

Что ж, отдохни, усни. Пойди домой.

Батталь

До часа смертного должник я твой!

(Уходит.)

Оташ

Сегодня он и заболел как раз.

Кулартакин

Да и не телом болен, а душой.

Оташ

Не может он привыкнуть среди нас.

Кулартакин

И среди войск он ходит как чужой.

Муканна подзывает Гирдака. Гирдак отводит Баги и Хишри в сторону.

Гирдак

За ним следите, не сводите глаз,
Чтоб старый джинн не одурачил нас...
Смотрите, чтобы он не убежал.

Баги и Хишри уходят.

Хотел я, чтобы тут плясал Батталь,
Да заупрямился, проклятый, жаль.

Г о с т ь

Не огорчайся. Он хоть не плясал,
Но тысяча плясала и одна
В нем обезьяна злая! . .

Пусть черна
Его душа, но в кровь уязвлена. . .

О т а ш

Ты сам пляши! И пусть народ глядит.
Пусть пляска нам сердца повеселит!
Сто лет не пели, не плясали мы,
Сто лет веселья не видали мы. . .
Пляши, ведь ты врага разбил в бою!
Пляши, ты радость воротил свою!

(*Всем.*)

Пусть пыль у всех рассеется в сердцах,
Споем «яр-яр», коль все здесь рады вы!
У ваших ног лежит разбитый враг.
Гуляйте ж, веселитесь нынче, львы!

(*Муканне.*)

Ты с нами! И сердца в нас чаш полней.

(*Гульайин.*)

Будь счастлива, о свет моих очей!

Пляска. В ходе пляски за сценой возникает шум и крик. Пляска прекращается. Все смотрят наружу. Еле дыша, вбегают Баги и Хишри.

Б а г и

Батталь с Фирузом убежал сейчас!

Х и ш р и

Мерзавцы эти обманули нас!

Б а г и

Спихнули лодку в быстрину реки
И скрылись в миг один из наших глаз!

Г и р д а к

Эх, черт! Ушел он от моей руки!

Гульайин в смятении. Муканна молчит. Все ошеломлены.

Картина шестая

Площадь перед крепостью на горе Сом. Площадь полна народа.

Х и ш р и

Его любое слово что алмаз.

Как жизнь, он дорог каждому из нас!

Х а к и м

Но видеть мы его лицо хотим.

Б а г и

За Муканну мы душу отдадим!

Х а к и м

Лицо его увидеть жаждет взор...

Нет, ты открой лицо!

До коих пор

От наших глаз скрываться будет он?

Я слышал: он проказой поражен...

Б а г и

Кто говорил?

Х и ш р и

Где слышал?

Б а г и

От кого?

Х а к и м

Один купец.

Б а г и

Веди сюда его!

Пусть подтвердит!

Х а к и м
Что толку?

Б а г и

Ты не ври.

Х а к и м

Наш вождь и прокаженный и . . . слепой.
Зияют ямы на лице слепца.
Вот почему ни летом, ни зимой
При нас не открывает он лица.
Он мудр, велик, он чудеса творит,
Но слеп и отвратителен на вид.

Х и ш р и

Глядит же Гульайин, его жена
В лицо ему?

Х а к и м

Несчастливая она, —
Увяла, хоть едва лишь расцвела,
До осени своей не дожила . . .

Б а г и

Твой разговор безумен и нелеп!
Ведь если Муканна и вправду слеп,
Как девушку с такою красотой
Он приглядел, несчастный и слепой?

Х а к и м

О, это тайна, чудо, колдовство.
Глазами он не видит ничего.
Но всё он знает!

До морского дна

Его уму вселенная ясна.
Как в зеркале, всё видит он. Сейчас
Его не видим мы, он видит нас.
И он во сне увидел Гульайин . . .
На то он всемогущий властелин.

Х и ш р и

Нам скажет правду Гульайин одна,

Х а к и м

Да разве мужа выдаст вам жена?
Да хоть на шаг подпустит ли к нему?

Х и ш р и

Несчастливая и чахнет потому! . .

Х а к и м

Ох, женщина, она всех проведет!
Сто раз на дню умрет и оживет.
Покорна с виду мужу своему,
Тайком всё повернет наоборот.
И Гульайин — такая же она,
Как все. Красива, хитрости полна,
Она была в Батталя влюблена,
И ею был обманут Муканна.
Батталя он доверием облек,
Знать, женским просьбам отказать не мог,
И что ж?

Б а г и

Да, тут ошибся он, а жаль. . .

Х а к и м

На свадьбу даже позван был Батталя!

Б а г и

А случай подвернулся, в тот же срок
Удрал шакал. Злой дал он нам урок.

Х а к и м

Собака не предаст, предаст жена.

Издали подходит Г у л ь а й и н.

Идет, идет ослица, вот она!

Х и ш р и

Нехорошо! Язык ты придержи.

Х а к и м

Беги навстречу! Ноги ей лижи!
А мне — и пусть за это я умру —
Собачье ремесло не по нутру.

Расходятся. Баги приближается к Гульайин.

Б а г и

Привет, царица!

Г у л ь а й и н

Что еще стряслось?
Зачем сюда всё войско собралось
И толпами нестройными вразброд
Рассыпалось?

Б а г и

Вот захотел народ
Лицо вождя увидеть. Все горят
Одним желаньем. Все давно хотят,
Чтоб покрывало он с лица совлек!
Народ всё приливает, как поток. . .

Г у л ь а й и н

А утром нам идти в последний бой,
Зачем им это в трудный день такой?

Б а г и

Увы! Есть много праздной болтовни,
«Он прокаженный», — говорят одни.
Другие шепчут, будто он слепой.

Г у л ь а й и н

Что слышу? Горе мне! О боже мой!
Беда, беда нависла надо мной. . .

Б а г и

Побег Батталя всем нам повредил.
Он вновь большое войско сколотил.
И вождь велел нам выступать в поход.

Х и ш р и

Но праздно занят слухами народ,
И на уме у войска — не война!

Г у л ь а й и н

Во всем, во всем повинна я одна.
Побег Батталя — то моя вина.
Когда б не я, кто б меч злодею дал?
Кто б негодяю милость оказал?
Я от него и кару отвела,
И за него поруку я дала,
И я его на свадьбу позвала...
Ягненком кротким волка я сочла!
Не отказал мне в просьбе Муканна...
О друг, какую мукой я полна!
О, лучше б расступилась подо мной
Земля, чем мне стоять пред Муканной!

М у к а н н а входит один. Гульайин при виде его вздрагивает.

Г у л ь а й и н

Зачем весь день один ты? Молви мне.

М у к а н н а

С самим собой побыть наедине
Я захотел.
Охвачен тишиной,
Советовался молча сам с собой...
И много тайн с сегодняшнего дня
Внезапно стало явно для меня...
Зачем здесь войско? Кто сюда его
Созвал без приказанья моего?
И почему полки, нарушив строй,
Теснятся беспорядочной толпой?
Иль враг разбит? И кончилась война?

Г у л ь а й и н

Твое лицо увидеть, Муканна,
Хотят они.

М у к а н н а

Зачем же это им?

Г у л ь а й и н

Не знаю я... Пусть объяснит Хаким.

Му к а н н а

Ну, объясни, в чем дело, голова,
Пронеси ужасные слова.

Х а к и м

Лицо твое увидеть мы хотим.

Х и ш р и

Мы в белое, как ты, облачены.

Б а г и

Великой верою в тебя полны,
Мы, как один, пошли путем твоим.
Сердца пришельцев черные дотла
Одежда наша белая сожгла.
Мы шли на битву с именем твоим
И беспощадно отомстили им.

Х и ш р и

Вздохнули вольно мы, живя с тобой,
Мы вновь узнали радость и покой.

Х а к и м

Но видеть лик твой хочет весь народ,
Великая тревога нас гнетет. . .

Му к а н н а

Я человек, как вы, и у моей
Природы свойства, как у всех людей.

Х а к и м

Всё так. . . Но. . . слух идет с чужих сторон,
Что будто ты проказой поражен,
Что от рождения ты был слепцом,
Что безобразно страшен ты лицом,
И потому его скрываешь ты.
Как истомились мы — не знаешь ты!
Мы молим: подними покров с лица
И успокой смятенные сердца!

Му к а н н а

Дивлюсь, как вам в сердца придет покой,
Когда враги — здесь рядом, за рекой?
И если покрывало подыму,
Страдальцев слезы разве я уйму?
И горе, что враги нам принесли,
И цепи тяжкие с родной земли
Сниму в одно мгновенье, как рукой?
А знаете ли вы, кто я такой?

В с е

Да, знаем!

Б а г и

Ты — наш вождь!

О т а ш

Ты — человек!

Му к а н н а

Я — это вы все вместе! Из-под век
Моих глядят — да! — ваши же глаза!
И если налетит на вас гроза,
И злые духи вас с пути собьют,
Чело мое морщины рассекут.
И если враг врасплох застигнет вас,
Я прокаженным стану в тот же час.
И если вы хотите с полпути,
Борьбы не кончив, на покой уйти,
Одежды белые зачем одели вы?
Зачем пришли ко мне? Чего хотели вы?

О т а ш

Прости нас!

Х а к и м

Наш вопрос — вопрос глупцов! . .

Му к а н н а

Я отдал вам имущество врагов,
Гоните ж их от ваших берегов,
Сплавляйте вниз по рекам мертвецов!
Вы, только вы — хозяйева страны.

Скачите в бой, бесстрашны и грозны!
Пусть враг, себя не помня, прочь бежит,
Пусть сам халиф в Багдаде задрожит!
И пусть потом сто лет в стране врагов
Не молкнут стоны внуков и сынов!
А вы себя спасете лишь борьбой.
Мы завтра все пойдем в последний бой,
В последний грозный бой за Бухару.
Я полчища халифа в прах сотру.
Кулартакин потом на Кеш пойдет,
Гирдак в Нахшаб отряд свой поведет,
Здесь Гульайин охрану будет несть. . .
Пусть вам сердца воспламеняет месть!
Когда ж вы всех врагов до одного
Прогоните из края своего,
Когда победы светлый день взойдет,
Тогда меня увидит весь народ.
И покажу я вам зеницы глаз,
Тех глаз, что в зрячих превратили вас,
И солнцем вам лицо мое блеснет!
А ныне — в битву, грозные! Вперед!
О львы победоносные! Вперед!

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Картина седьмая

Поле битвы на подступах к Бухаре. Шатер Муканны в степи. Издали слышится шум боя. Перед шатром проходят воины Муканны. В стороне — склад оружия: мечи, копья, топоры, палицы, луки. Старик и женщины все время подносят и складывают оружие. Муканна взволнованно смотрит то на них, то в сторону поля битвы.

Муканна

И люди гибнут, словно саранча,
И кровь течет, потоками журча. . .

Пауза.

(Громким голосом.)

Взлетайте выше, соколы мои!
Вставайте над врагами, как гроза!
О львы победы, пусть у вас глаза
Проясняются от пролитой крови!
Кто рвется в бой — драконов сам пожрет.
Вперед, герои! Вас победа ждет!

Подходят Кулартакин и еще несколько воинов. Их белые одежды залиты кровью. Видно, что они пришли с поля битвы. На мече Кулартакина кровь.

О Гульайин есть вести? Где она?

Кулартакин

Она рубилась, ярости полна,
Вблизи холма и в чаще камыша:
Врагов мечом сверкающим кроша,
Она летает молнией в бою.

Муканна

(радостно)

А кто летает молнией в бою,
Тот и победу достает свою!

(Заметив кровь на мече Кулартакина.)

Благословен твой меч и кровь на нем!

Кулартакин

Мир всем, кто пал на поле боевом!

Муканна

Как чувствуют себя мои бойцы?

Кулартакин

Вброд по крови проходят удалцы.
На землю сыплются, как спелый тут,
Враги везде, где львы твои пройдут.
Но войско поредело и у нас.
Потерям нет предела и у нас.

Мы потеряли с утренней поры,
Наверно, тысячи за полторы.

Му к а н н а

А каковы потери у врагов?

Ку л а р т а к и н

У них едва лишь тысяча голов.
Но наши всё же рвутся в бой, вперед,
В ряды врагов вонзаясь, как стрела.

Пауза.

Оружья нам, увы, недостает,
И мне сейчас такая мысль пришла:
Что, если бой хотя б на час прервать
И той порой оружие собрать?

Му к а н н а

(с горьким смехом)

Отменно ты придумал, хоть куда!
Враг тоже спать не будет в этот час,
А завтра в тыл ударит нам Муаз,
Ты что, о нем не слышал никогда?
Среди арабских воинских вождей
Он — первый. Много взял он крепостей.
Батталь не стоит каблука его.
Могуча, как судьба, рука его.
С ним двести тысяч воинов идет.
На нас войска он сам теперь ведет.
Настигнет он, как буря!

Мой приказ:

Идти вперед и раздавить врага.
Сейчас для нас минута дорога.
Не медлить! Перед нами Бухара
Должна открыть ворота до утра.

(Показывает на оружие.)

Возьми оружия, сколько нужно, здесь!
Несут нам люди, у кого что есть.
Тот, кто умеет, — нам мечи кует,
Кто меч имеет, — меч свой отдает.
Иные — от гвоздя до топора —
Всё тащат к нам со своего двора...

Мы за свободу подняли войну,
И мы должны освободить страну,
Хотя б и не хватало нам мечей!
Не сталью роет землю муравей. . .
Могуч и без оружия грозный лев.
Нас львами в битве делает наш гнев,
И если стрел нам станет не хватать,
Мы камни будем во врага метать!
Когда же и камней мы не найдем,
Мы головы свои метать начнем.
Коль меч сломался — топором рубись,
Топор сломался — палкою дерись!
Сломалась палка — в грудь врагу вонзи
Всё: ногти, зубы! . . Рви, терзай, грызи!
А будет всё исчерпано, тогда
Кровь наша хлынет бурно, как вода,
И мир зальет, не зная берегов.
В своей крови утопим мы врагов
И победим!

Не медлить в час такой,
А в руки брать оружие — и на бой!

Муканна обнажает меч. Воины разбирают оружие и уходят за ним на битву. Входит, хромая, Гуль айин. Одна ее нога в крови, в руках у нее меч. За нею показывается Батталь. В руках у него меч.

Гуль айин

Глоток воды! Огонь во мне горит!

Батталь

То пламя смерти кровь твою палит!

Гуль айин

(вздвигнув, оборачивается)

Предатель! Ты? Как ты попал сюда?

Батталь

Пока жива ты, жизнью никогда
Я не утешусь.

Гуль айин

Я горю в огне —
То ненависть к тебе горит во мне!
Слепой лишь раз теряет посох свой,
И от меня теперь ты не уйдешь!

Батталь

Как Азраил, пришел я за тобой!

Они бьются. Появляется Фируз. Он подкрадывается к Гульайин и хватает ее.

Фируз

Жив Муканна, покамест ты живешь!
И вот пришел я выпить кровь твою!

Гульайин

Ага! И ты попался! Рада я!
Ты — гадина, шакал поганый — он!
Один — как волк, другой — как скорпион!

Убивает Фирюза ударом меча, поворачивается к Батталю. Батталь
вонзает ей в грудь меч.
Входит Муканна.

Муканна

Смерть алчет поглотить тебя, змея!
Сейчас из тела дух твой вырву я.
А! Стать рабом ты не хотел? Ну что ж,
Как падаль, здесь без савана сгниешь!
И в рабстве станет жить весь твой народ,
И в рабстве поздний правнук твой умрет!

(Убивает его.)

Так получи награду.

(Бросается к Гульайин.)

Гульайин

(в забытьи)

Я в огне...

То ненависть к тебе горит во мне...

Муканна

О жизнь моя! Мой ангел, Гульайин!

Гульайин

О счастье краткое мое, прощай!
Умру я, ты останешься один...

Му к а н н а

О, мук моих, молю, не умножай!
Мне без тебя вселенная тесна,
Я задохнусь! . .

Г у л ь а й и н

Умру. . . и вновь весна
Наполнит розами прекрасный мир. . .

Му к а н н а

Ты роза в мире для меня одна!
Твоей улыбкой жизнь озарена!
Земля сияньем глаз твоих полна!
От света твоего светла Луна!
Уйдешь — и почернеет, гол и сир,
Цветник без розы, сад без соловья. . .

Г у л ь а й и н

Ты мне глаза раскрыл на мир, и я
Познала всю громадность бытия,
И равною средь равных в жизнь вошла.
Я миг жила, но счастлива была!
Свободой и надеждой я жила.
Но с горечью из жизни ухожу. . .
Скорблю, что никогда не погляжу
На край родной, свободный от врагов,
Что слишком рано умираю я!
Тебя, любимый, заклинаю я:
В живых теперь врагов не оставляй!
Один оставшись, не пренебрегай
Своею безопасностью. Прощай!

(Умирает.)

Му к а н н а

О Гульайин, бесценный мой цветок!
Ушла ты, я остался одиночек.
Меня покинув, ты в свой дом ушла
И за собою двери заперла.
И я один теперь на всей земле,
Как дуб угрюмый на нагой скале.
Меня в пути покинул спутник мой,
Мой светлый ангел облачился тьмой!

Открой глаза! Взгляни на мир земной:
Не хочет разлучаться он с тобой!
Многострадальный мир, — с тобою он
Последней будет радости лишен.
Ты не для смерти рождена была,
Не для могилы темной расцвела!
О ты! О, неужель ты умерла,
Навеки погрузилась в тяжкий сон?
И плоть твоя, как куца роз, весной
Цветущая, — смешается с землей?
Вставай, о жизнь моя! Моя заря!

Муканна берет Гульайин на руки, встает и обращается к войску.

Эй, в Бухару, герои! В Бухару!
Отважные, за мною — в Бухару!
Меч Гульайин нас в битву поведет.
И впереди сама она пойдет!
Неугасимым пламенем горя,
Она вас на последний бой зовет!

Занавес

Картина восьмая

В крепости. На горизонте лучи восходящего солнца отражаются в белоснежных облаках. Оташ и Гульобод разговаривают между собой. На полу лежат несколько раненых.

О т а ш

Пропал Гирдак — ни вести, ни письма.
Где он, бедняк, не приложу ума...
Наш город вот уж месяц как в огне...

Г у л ь о б о д

Враги золу сгребают по стране,
Другой добычи нет у них сейчас...

О т а ш

Так, значит, не совсем огонь угас,
Так, значит, здесь им не цветет весна.
И жив народ, и месть его грозна.

1-й раненый

Да! Жажды мести в нас не истощить!
Чем пред врагами голову клонить,
Уж лучше утонуть в крови своей.

О т а ш

(глядя в сторону города)

Дым над землей всё гуще и черней. . .

2-й раненый

Вновь Мусайаб вчера казнил людей,
Сказал: гнездовые змей предам огню,
А непокорных в рабство угоню!
И много виселиц средь площадей
Поставил этот Ахриманов сын!

3-й раненый

Тоскуешь, матушка, по Гульайин?

Г у л ь о б о д

Здесь у меня она была одна!
Всё, как живая, предо мной она. . .
Года прошли — немалая пора, —
А мне всё кажется, что лишь вчера
На кладбище родную унесли. . .

О т а ш

Слова ее на память мне пришли,
Как я ее могилу посетил. . .
Апрель могилу зеленью покрыл,
Тюльпаны на могиле расцвели. . .

Г у л ь о б о д

Мир наизнанку вывернут теперь.

О т а ш

Играет он с тобой, как хитрый зверь
С добычею. Ты смерти ждешь, но вот
Она твое дитя внезапно бьет
И зарывает вместе с ним, живьем,

Тебя в могилу... Летом и зимой
Зловещей одинокою совой
Сидишь ты в доме рухнувшем своем.
Уставясь в землю, молча ты идешь
И днем и ночью тщетно смерти ждешь.

Г у л ь о б о д

И смерть, как счастье, — говорит народ, —
Внезапно человека застает...

1-й р а н е н ы й

Кто смерти ждет, тот лишний век живет...

Г у л ь о б о д

Тех смерть хватает, кто ее не ждет.

О т а ш

Когда бы юный жил, а старый умирал,
Как радостен бы мир печальный стал!

Г у л ь о б о д

Как старец, согнут горем весь народ.

О т а ш

Все полегли в боях за край родной,
Со славой пали...

Б а г и и еще двое вносят раненого Х и ш р и.

Кто это?

Б а г и

Хишри!

Без памяти упал средь битвы он.

Х и ш р и

Я ранен... я изрублен... посмотри...
Я в крошево как будто превращен...
Но ни на шаг в бою не отступил...

Окружающие порезывают раны Хишри.

Б а г и

Лежи пока и набирайся сил.

Пауза.

Хишри

Нет! От подушки голова болит.
Пока хоть капля крови есть во мне, —
Там место мне, где смертный бой кипит,
Там — наше ложе!

Стыд тому, кто спит,
Когда отчизна мучится в огне!

Встает. Хишри, Баги и раненые уходят. Входит Муканна.

Муканна

(Оташу)

Отец, боишься смерти или нет?

Оташ

На странный твой вопрос простой ответ:
Я очень стар, я ничего не жду.
Из жизни без печали я уйду.
Но ты. . . ты должен жить! Не для себя,
Так для других, кому ты жизнь даришь.
Как солнце, пред народом ты стоишь.
Есть в каждом сердце место для тебя.

Муканна

Теперь спасенья нет, мой добрый друг,
Мы заперты в нерасторжимый круг.
Исчерпаны остатки наших сил,
Бойцов сильнейший голод задушил.

Гульобод

Как остров, одиноки мы сейчас.

Муканна

Злой враг отрезал от народа нас.
Мы, от родной стихии вдалеке,
Обречены, как рыбы на песке.
А без воды и дерево умрет. . .
Задавлен горем тяжким наш народ. . .

Оташ

Но всё ж сдаваться рано. Там, извне,
Сердца клокочут, как свинец в огне.

Мужи дерутся, жизни не щадя,
И умирают, с места не сходя,
Гирдак, собрав все силы, может быть,
Еще успеет нас освободить.

Г у л ь о б о д

Пусть на три четверти луна темна —
Всё ж скоро будет светлою она!
А твердо вознамерясь богатеть,
То значит — полбогатства уж иметь!
Так в мудрости своей сказал народ.

О т а ш

Тебе унынье духа не идет!

М у к а н н а

Ты прав. . .

Поспешно, тяжело дыша, входят Баги и два воина.

О т а ш

Какие вести — говори!

Б а г и

Враги на приступ яростно пошли,
Перелезают стены, разнесли
Ворота. Бой идет уже внутри
Наружной крепости.

1-й воин

Бойцы у нас

Вконец измучены, изнурены.
Они совсем для боя не годны.

Б а г и

Вождь! Войско ждет: какой отдашь приказ?

О т а ш

(к Баги)

А где Гирдак? О нем ты не слыхал?

Баги

Он в когти вражьи, видимо, попал.

Оташ

А где Кулартакин? Ты не видал?

Баги

Он боя ни на миг не покидал.

Передовые он ведет ряды.

Да нет у нас ни хлеба, ни воды.

Слышится шум боя. Муканна отходит в угол сцены и обращается к бойцам.

Муканна

О львы! Сдаваться будем ли врагам?

Друзья, искусство это чуждо вам,

Тот, кто предаст, сам попадет в беду.

Кто бой проспит — пробудится в аду.

Кто в плен пойдет — в петле, как пес, умрет,

А трус ничем позора не сотрет.

Смотрите: выжжен лик родной страны,

Отец и мать пожаром спалены,

Жилища стали горами золы,

Бездомны дети, голодны, голы.

Кто смеет перед смертью трепетать?

Кто смеет о пощаде умолять

Врагов заклятых?

Разве наш народ,

Как раб, перед насильником падет?

Нет, я не знаю никого из вас,

Кто согласился бы хотя на час

Жизнь для себя купить такой ценой,

Ценой цепей страны своей родной!

Шум боя. Осажденные усиливают сопротивление. Баги выходит. Муканна молчит. После небольшой паузы Баги возвращается.

Баги

Вся крепость внешняя врагами занята.

Пришел посол врагов.

Муканна

Пускай войдет,

Зейд
(входит)

От Мусайаба прислан я сюда.
Письмо великий полководец шлет.

(Подает письмо.)

Муканна

Ну прочитай, что у него болит.

(Возвращает письмо Зейду.)

Зейд
(читает)

«Отряд твой поголовно перебит.
И в крепости своей со всех сторон,
Как в западне, ты нами окружен.
Я предлагаю сдаться. Вам пути
Другого нет — от гибели уйти!»

Оташ

А если дух наш грозный не ослаб,
Что может с нами сделать Мусайаб?

Зейд

Великий полководец нам сказал:
«Стоять мы будем тут
До той поры — пока к концу у них
Припасы не придут.
До той поры — пока одежды с них,
Истлев, не упадут.
До той поры — пока не захрипят
От жажды глотки их,
Пока страдания не превратят
Их в стариков седых.
До той поры — пока презренной всех
Не станут на земле.
Покамест не раскаются они,
Погрязшие во зле.
До той поры — покамест пожирать
Друг друга не начнут.
Покамест, о глотке воды моля,
Сюда не приползут.

Пока, как град летящие с небес,
Их камни не побьют.
Пока, не погребенные никем,
Их кости не сгниют.
Пока не пересохнет, как ручей,
Вся кровь в сердцах у них,
Пока они не потеряют всех
Защитников живых.
Пока с лица земного без следа
Их не сотрется след,
Пока их темных душ не озарит
Ислама вечный свет!»

Му к а н н а

(смотрит на Гульбод, приказывает)

Мать! Разведи костер здесь — да такой,
Чтоб он всю землю озарил собой.

З е й д

(обращается к Муканне)

Дозволь посланья чтение завершить?

(Читает.)

«... А коль согласен миром ты сложить
Оружие и будешь нам служить,
Ты сан высокий можешь получить...»

Му к а н н а

(прерывает Зейда)

Иди! Вот Мусайабу мой ответ:
У нас предателей и трусов нет!
Скажи ему: не сдастся наш народ.
Скажи: народ наш вечно не умрет,
Его ничто не в силах сокрушить!
И чем под плетью иноземной жить,
Нам лучше в битвах головы сложить,
И в сто раз лучше горстью пепла стать,
Чем на плечах ярмо раба таскать.

(Бросает письмо в костер.)

Не говори мне больше ни о чем,
Иди и разговаривай мечом!

Зейд удаляется. Муканна уходит во внутренние покои. Вбегает Баги.

Баги

Гирдак ведет народ из-под горы!
В руках людей — серпы и топоры.
Там, под горою, бой кипит сейчас. . .

Оташ

(радостно)

Хотя бы кровь потоком разлилась,
Врагу не покорится наш народ!

Баги спрашивает о Муканне. Оташ указывает на дверь. Входят несколько раненых воинов.

1-й воин

Нет больше войска в крепости у нас!

2-й воин

Враги в ворота вломаются вот-вот!

Уходят в дверь, куда вышел Баги. Входят три-четыре человека во главе с Хакимом. Из другой двери выходят Муканна и Баги.

Муканна

(к Хакиму)

Ну говори — какие вести?

Один из пришедших

(к Хакиму)

Говори!

Хаким

Сам говори!

Второй

Ты сам скажи!

Первый

Сам говори!

Хаким

Нет больше крыльев — подыматься ввысь,
И нет надежды более спастись.
Пропало всё! Ищи скорей пути,
Чтобы отсюда душу унести.

Все растеряны.

Муканна

Ты бегством жизнь советуешь спасти?
И ты, с твоей трусливою душой,
Подлец, осмелился пойти за мной?

Пауза. Муканна обращается к Оташу.

Трус, как предатель, здесь лишь смерть найдет,
Убей его! Избавь от всех хлопот.

Напряженное молчание. Оташ уводит Хакима. Длинная пауза.

Отец и мать мои здесь рождены,
И деды здесь мои погребены.
Здесь колыбель народа моего.
Здесь честь и слава рода моего,
Уйду ль отсюда? Стану ль подлецом,
За жизнь свою дрожащим беглецом?
Иль этой крови пригоршня одна
Дороже мне, чем вся моя страна?
Мне ль подлым бегством жизнь свою спасти,
Покрыть себя позором навсегда,
Чтобы родные горы на пути
Вставали и рыдали: «Ты куда?»
Чтоб я бежал народа моего,
Не вынеся великих мук его?
Чтоб сторонились дети от меня,
Чтоб застонал в могиле мой отец? . .
Нет! Не дождешься ты такого дня!
Как смел ты предлагать мне жизнь, подлец?
И пусть придет хоть тысяча смертей,
Мне угрожая, — прочь не отступлю!
На миг не брошу я страны моей
И, умирая, прочь не отступлю!

Пауза.

Но терпит поражение иногда
И справедливость. Туча день мрачит.
Судьбы великой падает звезда,
В земле зарыто — золото лежит.
Но справедливость в мире не умрет!
Но золото под спудом не сгниет!
Но солнце, тучу разогнав, встает!

Костер разгорается. Осаждающие поджигают крепость снаружи.

Скажите всем: я буду жить всегда!
Я не умру, о други, никогда!
В живой душе народа буду жить!
В желании свободы буду жить!
Когда народ богов себе искал,
Одну свободу богом я назвал,
На путь свободы вывел я его.
Друзья! Любви бессмертной божество —
Сегодня к вам призывает Гульайин:
«Все, как один, на бой! Все, как один!
Пусть, как пожар, в вас ненависть горит!
Да сгинет враг!» — она вам говорит.

Пауза.

О Гульайин! Ты в памяти моей
Сияешь мне чем дальше, тем светлей,
Любовью ты бессмертна, жизнь моя...
Свободою бессмертен буду я!

Пауза.

Внемли, кто хочет лик увидеть мой!
Мой лик откроется в заре побед.
Мой лик в очах людей, идущих в бой,
Заблещет вновь, как путеводный свет.
О мать! Пусть ярче твой костер горит,
Пусть небо он и землю озарит!
С мечтой заветной, с солнцем бытия
Сольется ныне в нём душа моя.
Сегодня вечным стану я огнем,
Призывом к мести подымусь я в нём!
Покамест хоть один есть враг в родной стране,
Отмщение — отныне имя мне!

Все

Отмщение!

Муканна

Клянемся же, друзья:

Врагу живыми не дадимся мы!

Муканна прощается с друзьями, обнимаясь с ними. Каждый из них повторяет: «Врагу живыми не дадимся мы!», «Отмщение!». Они простились. Костер пылает.

Муканна бросается в пламя.

Занавес

1942—1943

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание объединяет избранные стихотворные произведения трех классиков узбекской советской литературы: Гафура Гуляма, Айбека и Хамида Алимджана, глубоко и широко отразивших в своем творчестве ту эпоху в жизни Узбекистана и всей нашей страны, которая ознаменована борьбой за претворение в действительность идеалов Великой Октябрьской социалистической революции. Различные по характеру дарования, по манере письма, эти выдающиеся мастера художественного слова заложили прочный фундамент современной узбекской поэзии, высоко подняли авторитет родной литературы.

В творческом наследии трех поэтов, наряду с лирикой, важное место занимают произведения эпического характера; отсюда соответствующие рубрики внутри разделов: «Стихотворения», «Поэмы». Что касается творчества Х. Алимджана, то раздел, посвященный ему, строится следующим образом: «Стихотворения», «Баллады и поэмы», «Драматическая поэма». Внутри разделов материал расположен в хронологическом порядке. Датировка дается по наиболее авторитетным изданиям Г. Гуляма, Айбека и Х. Алимджана, вышедшим в свет ранее.

Ряд произведений в настоящем издании печатается в новых переводах, некоторые публиковавшиеся прежде переводы подверглись исправлениям с целью приближения их к оригиналу. Впервые публикуется на русском языке поэма Айбека «Рапа моего века».

Пояснения собственных, мифологических имен и географических наименований вынесены в Словарь. Там же объясняются слова, оставшиеся без перевода, специфические термины и названия, отражающие своеобразие национального быта Узбекистана и других народов Востока.

ГАФУР ГУЛЯМ

Первый сборник стихов Г. Гуляма «Динамо» вышел в 1931 г., второй — «Живые песни» — в 1932 г. В 1934 г. отдельным изданием вышла в свет поэма «Кукан». Затем на протяжении двадцати лет Г. Гулям неоднократно выступал в печати с новыми книгами своих стихотворений, среди которых необходимо особо отметить сборник стихов «Иду с Востока» (1943), удостоенный в 1946 г. Государствен-

ной премии СССР. Всего при жизни поэта на узбекском языке было выпущено около тридцати книг его стихотворений, поэм, стихов для детей (все они изданы в Ташкенте). Неоднократно выходили собрания сочинений поэта: Избранные произведения в четырех томах (1956—1959 гг., стихи и поэмы составляют первые два тома), Избранные произведения в трех томах (1963 г., издание включает только поэзию), Сочинения в пяти томах (1964—1967 гг., закончено уже после смерти поэта, стихи и поэмы составляют первые три тома). Наиболее полным изданием произведений Г. Гуляма является Собрание сочинений в десяти томах (1970—1972 гг., стихи, поэмы, стихотворные произведения для детей составляют 1, 2, 3, 10-й тома).

Переводы стихов Г. Гуляма на русский язык публиковались с начала 1930-х годов. В 1936 г. в Москве вышла в свет книга его поэм «Узбекистан». Широкую популярность принесла Г. Гуляму книга «Иду с Востока» (Ташкент, 1946). Всего при жизни поэта вышло в свет около двадцати его книг на русском языке, включая четыре книги избранных стихотворений. Сборник его стихов последних лет в русском переводе «Итог» (см. прим. 65) вышел посмертно, в 1967 г., в Москве, и удостоен Ленинской премии 1970 г. После смерти Г. Гуляма в Ташкенте в 1971—1975 гг. вышло в свет пятитомное издание избранных его произведений в русских переводах (первые два тома отведены стихотворениям и поэмам). В 1971 г. в Москве издан том избранных стихов Г. Гуляма.

Переводы, включенные в настоящий сборник, почти полностью взяты из этих двух последних изданий, по ним главным образом даются и даты написания произведений.

СТИХОТВОРЕНИЯ

2. Исторично создания этого ст-ния см. во вступ. статье, с. 10—12. *Хмара* — темное облако, туча. *Камских болгар*. Волжско-камские болгары (болгары) — народ ирано-тюркского происхождения, обитавший в Поволжье и с IX по XIII в., вплоть до монгольского завоевания, имевший здесь свое государство. *Фата-моргана* (лат.) — призрачное видение, мираж.

3. *Налитая всклянь* — т. е. вровень с краями. «*Монте-карл*». Монте-Карло — название столицы княжества Монако (на Средиземноморском побережье Франции), известной своими игорными домами.

7. К 20-летию Октября и принятию новой Конституции СССР Айбек, Маджиди и Г. Гуляма написали публицистическую поэму «Узбек-наме». Г. Гуляму принадлежал в ней пролог, который впоследствии и публиковался в его сборниках как самостоятельное произведение.

9. Обращено к знатной узбекской ткачихе тех лет *Маоджуде* Аминовой.

10—11. Написаны Г. Гулямом для его повести «Озорник» (1939). Вторая песня создана по мотивам народной песни.

12. *Ленский расстрел* — одно из самых кровавых злодеяний царизма: расстрел рабочих на Ленских золотых приисках 4 апреля 1912 г.

15. Непосредственным поводом к написанию стихов послужило, по свидетельству поэта, сообщение о том, что ташкентский кузнец Ш. Шамахмудов и его жена усыновили сразу нескольких детей, осиротевших в войну. Однако в стихах отразились и многочисленные драматические впечатления от встреч на ташкентском вокзале эшелонов с эвакуированными детьми (см.: Г. Гулям, *Путь не кончается*. — В кн.: «Биографии замысла», Ташкент, 1974, с. 25—27).

17. Написано 9 марта, в день похорон Юлдаша *Ахунбабаева* (1885—1943), первого председателя Президиума Верховного Совета УзССР. «Всеузбекский староста» высоко ценил поэтический талант и публицистический темперамент Г. Гуляма, внимательно следил за его творчеством, иной раз подсказывал ему актуальные темы («У нас всегда находилось, о чем поговорить, — вспоминал Г. Гулям, — и вдобавок мы взаимно наслаждались в разговоре сочной народной речью, которую оба знали и любили» (Г. Гулям, *Путь не кончается*. — Указ. изд., с. 32)). *Ота* — здесь: ласковое народное прозвище Ахунбабаева.

19. *Не жги храм Дианы вослед Герострату*. В 356 г. до н. э. Герострат сжег с целью прославить свое имя знаменитый храм Дианы в греческом городе Эфесе.

21. *С «Текстиля» слышен бас гудка*. Имеется в виду Ташкентский текстильный комбинат.

24. Написано ко второй годовщине окончания Великой Отечественной войны. *Такое не снилось и Шехерезаде*. Имеется в виду, что Шахразада, героиня знаменитого цикла арабских сказок, не спала тысячу и одну ночь.

32. *Предки черчиллей* — т. е. воинственно настроенная английская знать. Черчилль У. (1874—1965) — неоднократный премьер-министр Великобритании, отличавшийся враждой к Советскому Союзу. После победы над фашистской Германией — один из вдохновителей холодной войны против СССР. *Алабама* — название штата на юго-востоке США. *Шериф* — полицейский чиновник. *Беговатские топки*. Беговат — город Ташкентской области, ныне Бекабад, известен своим металлургическим заводом.

34. Посвящено американскому певцу, активнейшему борцу за мир П. Робсону (1898—1977). *Гарлем* — негритянский район в Нью-Йорке. *В хижине дядюшки Тома настанет рассвет*. «Хижина дяди Тома» — антирасистский роман американской писательницы Г. Бичер-Стоу (1811—1896).

35. *Даже перо не знает того, что знает старик* — узбекская народная пословица. *Арбузы в годы Рыбы слаще, чем в годы Овцы*. Многие народы Востока вели летосчисление по различным многолетним циклам — каждый год цикла назывался именем какого-либо созвездия (Овна, Рыбы, Змеи и т. д.).

41. *Тал* — тальник, суммарное название разных видов ивы.

42. *Самед Вургун* (1906—1956) — советский азербайджанский поэт.

48. *О Времени . . . стихи слагал* — имеется в виду ст-ние «Время» (см. № 19). *Мощный ток Фархада и голубое топливо Газли* — речь идет о ФархадГЭС и о бухарском газе, центром добычи которого является Газли. *Сменивший веретенца комбинат*. Подразумевается Ташкентский текстильный комбинат.

50. *Перед порталом мощным Улугбека*. Речь идет о медресе Улугбека в центре Самарканда (на Регистане).

55. *Маточник* — часть цветочного пестика, завязь.

57. *СамГУ* — Самаркандский государственный университет.

61. Написано к 40-летию УзССР, образованной 27 октября 1924 г.

65. Это и след. за ним 26 ст-ний (кроме «Зульфие», «Метанне яблока» и «Родине») до ст-ния «Нам тоже в чью-то память перейти. . .» (№ 95) составили целую книгу стихов, над которой Г. Гулям работал с 1964 г. до середины 1966 г. Последнее ее стихи были написаны незадолго до смерти. Книга с самого начала была задумана как «итоговая» — к 63-летию поэта (по древним восточным представлениям, это возраст, когда завершается «первая» жизнь человека и начинается «вторая») и должна была состоять из 63 ст-ний. В таком виде замысел, однако, осуществлен не был. При подготовке публикации пяти ст-ний в журнале «Огонек» редакция обратилась к поэту с просьбой озаглавить подборку. Автор предложил заглавие «Итог» (взятое из строки первого ст-ния подборки: «И от стены ложится наземь тень, и в ней — итог, и ясность, и награда. . .»). Это название (см. «Огонек», 1965, № 41) поэт распространил и на всю книгу. Порядок расположения ст-ний в «Итоге» в основном соответствует хронологическому, за отдельными исключениями: «Баллада о казни» следовала за ст-нием «Хурджун», «Побелели волосы твои. . .» после ст-ния «Сдало сердце — как мотор в полете. . .»; ст-ния «В горах» и «Вечер тени стирает с окон. . .» были помещены после ст-ния «Мы не видим, как хлопок цветет. . .». Кроме того, в состав книги входило написанное еще в 1960 г. «Воспоминание о друге» (№ 50).

67. По просьбе редакции республиканской газеты «Правда Востока» было написано поэтом к 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. При публикации редакция изменила название ст-ния на «Вечно юный» (см. «Правда Востока», 1964, 15 октября). Позже автор включил его в книгу «Итог» (при подготовке ее к публикации).

69. Написано к 50-летию народной поэтессы Узбекистана *Зульфийи* (полное имя — Зульфийя Ибраилова, род. в 1915). *Подруги друга моего*. Зульфийя была женой и соратницей Хамида Алимджана.

70. *Еще яблока я никому не бросала по правилам старины.* По хорезмскому обычаю, девушка на празднике объявляет своего избранника, бросая ему яблоко.

77. *Уток* — поперечные нити ткани.

80. *Бунты на хирманах растут.* Бунты хлопка — груды хлопка, уложенного в виде огромных усеченных пирамид на хирмане, т. е. на току, или на хлопкозаготовительных пунктах.

81. Написано по просьбе редакции газеты «Правда» для специального номера газеты, посвященного Узбекистану («Правда», 1966, 25 февраля).

84. *Аистиною тонкой чалмой.* Имеется в виду гнездо аиста на верхушке дерева.

96. Последнее написанное Г. Гулямом ст-ние.

ПОЭМЫ

97. Первый вариант поэмы был написан в 1930 г. и опубликован в 1931 г. В этом варианте, форма которого была в значительной мере подсказана фольклором, конфликты, по словам самого Г. Гуляма, «и в самом деле решались со сказочной быстротой». Вскоре, однако, автор коренным образом переделывает поэму, создав фактически новое произведение. Второй, окончательный вариант поэмы вышел отдельной книгой в 1934 г. и тогда же появился в русском переводе Б. Бессонова в альм. «Литературный Узбекистан» (Ташкент, 1934). *Пахтаой* — женское имя, буквально означающее «хлопковая луна». *Для мальчика — Пулат, чтоб был стальной.* Пулат буквально означает «сталь», «булат». *Стригунок* — годовалый жеребенок.

99. *Тала-таш* — словосочетание, которое можно перевести приблизительно как «полюшко-поле».

101. *Хайдар-чокки.* «Чокки» — прозвище героя, означающее «козлиная бородка».

102. *Альбион* — древнее название Англии. *Без черчиллей, без трумэнов.* Черчилль — см. прим. 32. Трумэн Г. (1884—1972) — президент Соединенных Штатов Америки в 1945—1953 гг., ярый враг Советского Союза.

АЙБЕК

Первый сборник стихов Айбека — «Чувства» — вышел в свет в 1926 г., второй — «Флейты сердца» — в 1929 г., третий — «Факел» — в 1932 г. В том же 1932 г. появился и небольшой сборник избранных ст-ний, объединивший некоторые произведения из первых трех книг. Начиная с этого времени и до 1955 г., когда вышла книга «Песня солнца», включавшая стихи и поэмы Айбека разных лет, от-

дельных изданий его лирики не появлялось. Публиковались отдельными изданиями поэмы, которые, как и все прочие поэтические книги Айбека на узбекском языке, выходили в Ташкенте: «Дильбар — дочь эпохи» (1933), «Бахтыгуль и Сагындык» (1934), «Девушки» (1947), сборник «Поэмы» (1949), включавший кроме названных выше еще и «Хамзу», «Кузнецца Джуру», «Навои»; «Зафар и Захра» (1952), «Мой дед» (1957), «Гули и Навои» (1968). В 1960-е годы выходят сборники: «Стихи» (1963), «Пламенные годы» (1965), «Задуманные песни» (1966). Этот последний прижизненный сборник объединил лучшие из ранних стихов Айбека и часть стихов последних лет, когда поэт вновь обратился к лирике. При жизни писателя вышло собрание его произведений в четырех томах (1957—1959 гг., стихи и поэмы составляют первый том). В 1968—1975 гг. осуществлено десятитомное Собрание сочинений Айбека (произведения поэзии занимают здесь первые два тома). В 1975 г. ташкентское издательство «Фан» совместно с Институтом языка и литературы имени Пушкина АН УзССР начали издание Полного собрания сочинений Айбека; к настоящему времени вышло в свет 14 томов этого двадцатитомного собрания (стихи и поэмы занимают первые четыре тома).

Русскому читателю произведения Айбека стали известны уже в начале 1930-х годов. Были переведены почти все его поэмы. В 1958 г. в Москве вышло в свет двухтомное издание произведений Айбека, во второй том которого вошли стихи и поэмы. Тот же состав поэтических переводов повторен и в пятом томе пятитомного издания сочинений Айбека (Ташкент, 1963—1964). Вскоре после смерти писателя в Москве вышел сборник его избранных стихотворений «Прощание» (1971), куда кроме уже известных произведений вошел цикл «Из трех тетрадей», объединивший раннюю лирику и стихи последних лет, до тех пор на русский язык не переведившиеся.

Переводы, включенные в настоящее издание, взяты частью из пятитомного Собрания сочинений 1963—1964 гг., частью — из сборника «Прощание», частью — из периодических изданий. Некоторые переводы выполнены специально для данного сборника; перевод поэмы «Рана моего века» извлечен из личного архива поэта В. А. Рождественского (1895—1978).

СТИХОТВОРЕНИЯ

114. *Смарагд* — изумруд.

121. *Большевой* — так произносилось по-узбекски слово «большевик».

131. *Зовут ту девушку Тансик, и имя ей под стать*. Тансик буквально означает: «самая прекрасная».

160. *Я слушал саз проснувшейся свободы*. Речь идет о независимости, обретенной Пакистаном в 1947 г.

161. Памятник Алишеру Навои был установлен в 1949 г., во время празднования в Ташкенте 500-летия со дня рождения великого узбекского поэта. Юбилей, который должен был отмечаться в 1941 г., отодвинула война.

162. Ст-ние представляет собою начало задуманной, но незавершенной поэмы о *Бабуре*, в которой Айбек воскрешает образ выдающегося полководца, государственного и литературного деятеля. Сын правителя Ферганы Умаршейха (внука Тимура), Захиреддин Бабур (1483—1530) родился в Андижане, двенадцати лет от роду унаследовал отцовский престол и около двадцати лет правил в Фергане, пока в 1514 г. не потерпел решающего поражения от Шейбанихана и вынужден был навсегда покинуть родину. С горсткой воинов он захватил власть в Кабуле (Афганистан), позже овладел Индией и положил начало империи Великих Моголов. Оставленные им мемуары «Бабурнаме», замечательный памятник литературы, равно как и его стихи, свидетельствуют о владевшей им до конца жизни тоске по родной земле.

ПОЭМЫ

171. *Вай балам* — о дитя мое.

174. Алишер *Навои* (1441—1501) — величайший узбекский поэт и одна из самых ярких фигур среднеазиатского средневековья — приковывал к себе исключительное внимание Айбека. Как он сам говорил, Навои был для него «спутником почти всей сознательной жизни» (см.: Айбек, История, литература, современность. — В кн.: «Биографин замысла», Ташкент, 1974, с. 51; подробнее об этом см. во вступ. статье, с. 21). Поэма «Навои» в какой-то мере может рассматриваться как поэтический эскиз к будущему монументальному одноименному роману (1945), однако в ряду поэтических произведений Айбека она занимает совершенно самостоятельное и видное место. «Хамса» («Пятерица») — вершина творчества Навои, цикл из пяти поэм: «Смятение праведных», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», «Вал Искандара», «Семь планет». *Унсия* — дом Навои в Герате. *Кровь, что безвинно пролилась*. Речь, в частности, идет и о гибели внука султана, приказ о казни которого *Хусейн Байкара* (1438—1506) подписал в пьяном виде, по наущению придворных интриганов. Как показал Айбек в своем романе «Навои», это трагическое событие, по-видимому, и послужило причиной разрыва между *Хусейном Байкарой* и его приближенным Навои. *Он говорил об этом шаху*. Навои, в качестве сановника, а позже и первого министра правителя Хорасана, неоднократно говорил Хусейну Байкаре об опасности его все ужесточавшейся и близорукой внутренней политики, осуждал моральное разложение султана и его двора. *Вот эта тучная махина — Твой просвещенный шах и есть!* Навои первоначально возлагал большие надежды на Хусейна Байкару, видя в нем задатки просвещенного и справедливого государя, но со временем разочаровался в нем.

176. Эта поэма, наряду с прозаической «Пакистанской повестью» и некоторыми другими произведениями (см., например, ст-ние «В Карачи»), навеяна поездкой Айбека в Пакистан в 1949 г. *Кат* — палач.

177. *Сабир Рахимов* — первый узбекский генерал, погиб на фронте в конце Великой Отечественной войны.

178. *Хамза* Хаким-заде Ниязи (1889—1929) — узбекский советский писатель, музыкант, педагог, театральный и общественный деятель, один из основоположников узбекской советской литературы. Революционный накал поэзии Хамзы, его творческие поиски в драматургии, его яркая личность, обстоятельства его трагической гибели — оказали и продолжают оказывать заметное воздействие на узбекскую литературу. Немного найдется узбекских писателей, которые так или иначе не обращались бы к образу Хамзы. Его личность вдохновляла Хамида Алимджана (см. в наст. издании его балладу «Шохимардан», № 238), Камиля Яшена, Уйгуна, Шейхзаде, Зульфью, Рамза Бабаджана, Хамиду Гуляма, Тураба Тулу, Мирмухсина и многих других. Поэма Айбека принадлежит к лучшим страницам «хамзианы» и достоверно воссоздает как обстоятельства последнего периода жизни, так и психологический облик поэта. *Сель* — талая или ливневая вода с гор, которая, вовлекая в свой поток грязь и камни, достигает огромной разрушительной силы. *«Виллис»* — марка американского легкового автомобиля. *В чайханах — перепелок перепалки*. Перепелка («бедана») — излюбленная в Узбекистане певчая птица; в чайханах развешивали клетки с перепелками. *Домла в чалме и с ивовым прутом*. В начальной мусульманской школе широко практиковались телесные наказания учеников. *«Эй, стреляем!»* — известное агитационное стихотворение Хамзы. *Звание народного поэта*. Хамзе, первому в истории республики, было присвоено в 1926 г. звание народного поэта Узбекистана.

179. *То кокандцы идут на нас*. Имеется в виду один из трагических эпизодов междоусобных войн в XIX в. Бухарского и Кокандского ханств; ханства располагались на территории нынешнего Узбекистана.

180. Поэма посвящена трагедии японского города Хиросимы, на который 6 августа 1945 г. американская авиация сбросила атомную бомбу. *Уже минуло двадцать лет*. В год написания поэмы (1965) исполнилось двадцать лет со дня хиросимской трагедии.

181. В основу поэмы положена народная легенда о Гули, возлюбленной Навои, записанная в 1926 г. проф. А. Семеновым. Легенда эта уже была использована в литературе — в известной драме Уйгуна и И. Султанова «Навои», на основе которой позже был сделан фильм. Работая над романом «Навои», Айбек отказался от включения этой легенды в роман, так как считал, что тайна личной жизни Навои (тот странный в его время и при его общественном положении факт, что он всю жизнь оставался холостым) объясняется прежде всего особенностями его личности. Любовная линия в романе «не была необходимой. Не она... определяла героя — им владела другая страсть — страсть к творчеству» (Айбек, История, литература, современность. — В кн.: «Биографии замысла», с. 57). Однако саму легенду Айбек ценил высоко: «... в ней есть тот «второй» план, который с изумлением обнаруживаешь в творениях фольклора, пленивших нас сначала своей предельной безыскусностью. В сущности, питье, которое в легенде выпивает поэт (его дала Навои Гули, чтобы он больше не смотрел на других женщин. — А. Н.), есть только метафизическое изображение горя, которое отравило его последующую

жизнь. . .» (там же, с. 55—56). Вероятно, это и побудило Айбска под конец жизни обратиться к легенде и написать на ее основе самостоятельное произведение. *А вазир к тому ж холостой*. Должность вазира (первого министра) при дворе Хусейна Байкары Навои занимал в пору особенно приятных отношений с правителем Хорасана, когда поэту был пожалован титул «эмира эмиров». *Дать ей воду, науке кров И больницы для бедняков*. Находясь у кормила власти, Навои сделал многое для облегчения экономического положения народа: по его приказу были улучшены ирригационные системы, построен ряд общественных зданий, Навои привлек в Герат ряд видных ученых, историков, поэтов, художников. *Завещал ему царство дед*. Хусейн Байкара, внук Тимура, и в самом деле был одним из наиболее удачливых военачальников среди тимуридов его поколения. *Вы в поэзии тоже султан*. Явный комплимент: «султаном» в поэзии Байкара, конечно, не был, хотя им оставлено интересное стихотворное наследие. *Семь небес*. В мусульманской средневековой космогонии небо представлялось разделенным на семь сфер (одна внутри другой), каждая из которых управлялась Солнцем, Луной и пятью известными в то время планетами.

ХАМИД АЛИМДЖАН

Первый сборник Х. Алимджана «Весна» вышел в свет в 1929 г. (Самарканд — Ташкент). В 1931 г. появились «Огненные волосы» (Ташкент — Баку), а в 1932 г. — сразу две книги стихов: «Состязание» (Ташкент — Самарканд) и «Смерть врагу» (Ташкент). Последующие поэтические книги Х. Алимджана на узбекском языке выходили в ташкентских издательствах: в 1936 г. — сборник «Вечер на реке», год спустя — книга избранных стихотворений, в 1939 г. — сборник «Родина» и отдельное издание поэмы «Айгуль и Бахтияр», в 1940 г. — сборник «Счастье», в 1941-м — отдельные издания поэм «Семург, или Паризад и Буньяд» и «Зайнаб и Аман». В 1942 г. появился сборник стихов и поэм «Мать и сын», книга стихов «Возьми оружие в руки», в следующем году — сборник стихов «Вера» и отдельное издание «Муканны». В 1944 г., вскоре после трагической гибели поэта, в Ташкенте вышли сборники избранных произведений Х. Алимджана на русском и узбекском языках. В последующие годы сборники произведений поэта издавались неоднократно. В 1957—1960 гг. в Ташкенте было осуществлено трехтомное издание сочинений Х. Алимджана, где стихотворные произведения составили первые два тома. Наиболее полное из существующих — пятитомное издание сочинений поэта — вышло в 1970—1972 гг. в Ташкенте (первые два тома этого издания включают стихи, баллады, поэмы, стихотворные переводы, третий том — драмы и драматические поэмы).

Переводы поэзии Х. Алимджана на русский язык делаются уже в первой половине 1930-х годов (см., например, альм. «Литературный Узбекистан», Ташкент, 1934). Поэмы «Зайнаб и Аман», «Айгуль и Бахтияр», «Семург» переводились на русский язык неоднократно. В 1942—1944 гг. в Ташкенте на русском языке выходят сборники Х. Алимджана «Джигиты уходят на фронт», «Когда цветет урюк», «Стихи о любимой земле», отдельное издание поэмы «Зайнаб и

Аман». Впоследствии книги избранных произведений, отдельные издания поэм и драм Х. Алимджана выходили многократно. В 1979 г. в Москве вышел том «Избранного» Х. Алимджана, для которого переводы многих произведений были выполнены заново. Переводы, включенные в настоящее издание, взяты большей частью из этой книги. Поэма «Семург» дается в старом переводе С. Сомовой, заново отредактированном и исправленном переводчиком.

СТИХОТВОРЕНИЯ

187. *Турсуной* Саидазимова — одна из первых узбекских актрис, убитая в мае 1928 г. своим мужем, мракобесом Хаджикулом.

192. *Ильхам, Уйгун* — друзья Х. Алимджана, его соученики по Самаркандской педагогической академии: будущий узбекский поэт Уйгун (род. 1905) и его двоюродный брат Ильхам Исхаков.

200. *Гидромонитор* — землесосный снаряд.

205. *Фазыл Юлдаш* (1872—1955) — один из выдающихся узбекских сказителей-бахши, от которого записано множество фольклорных эпических и лирических текстов (в частности, полный цикл «Алпамыша», дастаны о Гюроглы и т. д.). Х. Алимджан был организатором и участником многих фольклорных экспедиций; под впечатлением от искусства сказителя написаны это стихотворение и «Хвала домбре» (см. № 212), посвященное Абдулле-шаиру, другому известному бахши.

206. *Офелия* — персонаж трагедии В. Шекспира «Гамлет».

208. *Зульфия* — см. прим. 69.

212. См. прим. 205.

225. *Ведун* — волшебник, заклинатель; здесь — укротитель.

БАЛЛАДЫ И ПОЭМЫ

238. *Не боясь ужасного колодца*. Женщин, нарушивших адат, фанатики бросали в колодец.

241. В основу поэмы положена история реально существовавших лиц, причем автором сохранены их подлинные имена. О главной героине поэмы Зайнаб Амановой поэт узнал впервые в 1935 г. из газеты «Еш ленинчи» («Молодой ленинец»). В декабре 1935 г. Зайнаб, в числе других знатных хлопкоробов республики, награжденных орденами, побывала в Ташкенте, и поэт с нею беседовал, а позже, во время своей поездки по Зеравшанской долине, посетил ее колхоз. В январе 1936 г. был опубликован его очерк «Зайнаб», где уже просматриваются сюжетные линии будущей поэмы, впервые обнаруженной в декабре 1938 г. Аман, позднее погиб на фронте, Зайнаб работала в послевоенное время председателем колхоза. *Книга судеб* — Коран.

242. *Съевший кожу змеи* — узбекская поговорка, применяемая к выдавшему виды, опытному человеку. *До семи небес* — см. прим. 181.

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

245. Исторической основой произведения послужили события антиисламского и антифеодального восстания в Средней Азии в конце VIII в. Его возглавил Хашим ибн-Хаким, родом из Мерва, по прозвищу *Муканна* (арабск.), т. е. «закрытый покрывалом», — по преданию, Муканна закрывал лицо куском зеленого шелка. В молодости он служил военачальником в войсках Абу Муслима (см. Словарь). Сторонники Муканны, «люди в белых одеждах», ставили своей целью уничтожение социального неравенства, освобождение из-под гнета арабов и насаждаемого ими ислама (соотечественники Муканны исповедовали религию зороастризма с его культом огня). Восстание началось в Хорасане, близ Мерва, в 776 г., но вскоре охватило весь Мавераннахр, продолжалось несколько лет и было жестоко подавлено арабами с помощью местной знати. Муканна, запершийся в крепости с остатками своих сторонников, при взятии ее арабами покончил с собой (783 г.).

Действие первое. *«Обитель Огня»* — храм огнепоклонников-зороастрийцев. *Бисми-иллахи, рахмани-рахим* — начало одной из сур (глав) Корана, означающее: «Во имя бога милостивого и милосердного»; эту фразу мусульмане произносят, приступая к любому делу. *Ля илях илля ллах Ва Мухаммадин расулу ллах* — изречение из Корана: «Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммад его пророк». *«Дома Огня»* — храмы огнепоклонников-зороастрийцев. Действие второе. *Пламя Страшного суда*. По мусульманскому, как и христианскому, вероучению, Страшный суд настанет в дни конца света, когда все умершие и живые люди предстанут перед судом бога. *Вино законом их запрещено*. Согласно Корану, правоверные мусульмане должны воздерживаться от употребления алкогольных напитков. Действие третье. *Ахриманов сын* — здесь: чертов сын.

СЛОВАРЬ

- Абай** Кунанбаев (1845—1905) — казахский поэт-просветитель, родоначальник новой, письменной казахской литературы.
- Абдулла-курбаши** — один из главарей басмаческого движения.
- Абу Муслим** — арабский полководец, иранец по происхождению; в середине VIII в. поднял в Хорасане восстание против власти омейядских (см.) халифов, закончившееся захватом власти в халифате потомками Аббаса, дяди пророка Мухаммада (см.).
- Авиценна** — см. *Ибн Сина*.
- Адат** — свод правил у многих мусульманских народов; адат регламентировал поведение человека в частном и общественном быту.
- Аждыхар** — дракон в мифологии среднеазиатских народов.
- Азан** — призыв к молитве, возглашаемый с минарета.
- Азраил** — ангел смерти.
- Айван** — род террасы, навес, прикрепляемый к стене дома.
- Айша** — одна из жен пророка Мухаммада (см.), выданная за него замуж в девятилетнем возрасте.
- Ака** (буквально: «старший брат») — почтительное обращение к мужчине.
- Аксакал** (буквально: «седобородый») — старейшина, пожилой, уважаемый человек.
- Аксамит** — старинное название бархата.
- Аксу** — см. *Коксу*.
- Акын** (казахск.) — народный поэт-певец.
- Алай** — имеется в виду Алайский хребет, замыкающий с юга Ферганскую долину.
- Алатау** — название горных хребтов в Средней Азии.
- Алача** — полосатая хлопчатобумажная или полупелюшковая ткань кустарного производства.
- Александр** — Александр Македонский (см. *Искандар*).
- Али** — двоюродный брат и зять пророка Мухаммада (см.), четвертый его преемник на халифском престоле, последний из так называемых «праведных халифов» (см.), основатель шиизма, второго из двух основных направлений в исламе (первое — суннизм). Почитается как отважный полководец. Убит во время между-

усобиной войны. Многочисленные предания указывают на разные места захоронения Али.

Алиф — первая буква арабского алфавита, имеющая вид вертикальной черты; в поэтическом языке — символ прямоты и стройности.

Алтынопкан — город в Средней Азии, известный своей горнорудной промышленностью.

Альчик — косточка из коленного сустава барана или теленка, используется как игральная кость.

Амалдар — чиновник.

Амангельды Иманов (1873—1919) — казахский народный герой, вождь национально-освободительного движения, впоследствии революционер-коммунист.

Амбра — воскообразное ароматическое вещество, вырабатываемое в кишечнике кита.

Амин — волостной начальник.

Аму — Амударья, одна из двух крупнейших рек Средней Азии, известная своим бурным течением и переменами русла (см. *Джейхун*). Образуется слиянием Пянджа и Вахша, впадает в Аральское море.

Анхор — канал в Ташкенте.

Апа (буквально «старшая сестра») — почтительное обращение к женщине.

Арасту — Аристотель (см.).

Аргамак — порода быстрых и легких верховых лошадей.

Аристотель — древнегреческий философ и ученый (384—322 до н. э.), почитаемый на Востоке под именем Арасту.

Арча — можжевеловый.

Арык — небольшой искусственный канал или канава, служащие для орошения и водоснабжения.

Асфандияр Бахадур-хан — последний хивинский хан (1910—1920), отличавшийся большой жестокостью.

Афлатун — Платон (428/7—348/7 до н. э.), древнегреческий философ, чье учение пользовалось популярностью на средневековом Востоке.

Афрасьяб — легендарный царь Турана (см.), известный своим коварством, заклятый враг Ирана; один из героев «Шахнаме» Фирдоуси.

Ахриман — в зороастрийской религии бог тьмы, олицетворяющий зло и находящийся в вечной непримиримой борьбе с богом света Ормуздом (Ахурамаздой).

Ашички — игра в кости, альчики (см.).

Бабур Захиреддин (1483—1530) — прославленный полководец, основатель империи Великих Моголов, поэт, автор книги «Бабурнаме».

Баир — скакун.

Бай — богач.

Байбачча (байвачча) — байский сын.

Байкенд (Пайкенд) — город в древнем Согде (см.).

Бакишиш — подавание.

Балх — город на территории современного Афганистана.

Барзу — герой иранского эпоса, внук Рустама (см.), сын Сохраба,

героев «Шахнаме» Фирдоуси. В тексте «Шахнаме» имя его, однако, не упоминается — оно появляется лишь в более поздней поэме «Барзунаме», которая прилагалась к поэме Фирдоуси как ее продолжение и принадлежала, по-видимому, перу Ата ибн-Якута.

Барчин — героиня народных эпических сказаний, посвященных Гороглы.

Басра — город в Ираке.

Батыр — богатырь.

Бахрам Гур — сасанидский царь Ирана (420—438), герой многих легенд; славился как охотник на диких ослов.

Бахши — народный сказитель.

Бача — мальчик-прислужник.

Баяут — название нескольких совхозов в Голодной степи.

Бедиль Мирза Абдукадыр (1644—1721) — поэт и мыслитель, жил в Индии, писал на языке фарси.

Бек — правитель области; почетный титул, прибавляемый к имени.

Бекасам — полосатая шелковая материя.

Бенаи Камаледдин (1453—1512) — таджикский поэт и историк, современник Навои (см.).

Бешбармак — казахское и киргизское национальное блюдо: бараний бульон с кусками мяса и нарезанным тонко раскатанным тестом.

Бешик — деревянная колыбель, обычно подвешиваемая к потолку.

Бобо — дед, старик.

Богара — посевы на неполивной земле, часто на склонах предгорных холмов — адыров.

Бозсу — распространенное в Средней Азии название реки; речка в Ташкенте.

Бостандык — поселок в Ташкентской области, в предгорьях, в долине Чирчика (см.).

Буза — алкогольный напиток, изготавливаемый из проса, мелкого риса и т. п.

Бузи — ткач-кустарь, производивший «буз», грубую хлопчатобумажную ткань.

Бурхан — монгольский идол.

Вазир — визирь, первый министр.

Вайдот — восклицание, выражающее страх, боль, отчаяние.

Вуадиль — предгорный поселок в Алайской долине, неподалеку от Хамзаабада (бывш. Шахмардан), одно из красивейших мест Узбекистана.

Газель — форма восточной поэзии, род двестишый с единой рифмой через строку, с обязательным упоминанием имени автора в последнем двестишии; в другом значении — разновидность антилоп, отличающихся быстротой бега и стройностью.

Газли — город в Узбекистане, центр добычи бухарского газа.

Гауризанкар (Гауришанкар) — горная вершина в Гималаях, до 1913 г. ошибочно отождествлялась с Джомолунгмой (Эверестом), высочайшим пиком Гималаев и высшей точкой земного шара.

Герат — город в Афганистане, в прошлом — столица Хорасана (см.).

- Гиждуван* — город в Бухарской области.
- Гиссарские овцы* — порода овец, которых разводят на горных пастбищах Гиссарского хребта, служащего водоразделом Амударьи и Зеравшана.
- Гуджа* — похлебка из дробленой джугары (см.) или кукурузы.
- Гузар* — площадь в селе.
- Гултаг* — перевал в горах близ Шахимардана (см.).
- Гульканд* — сладкий пирог или варенье из лепестков роз.
- Гури:я* — в мусульманской мифологии прекрасная дева, улаждающая праведников в райском саду.
- Гырат* — легендарный крылатый конь.
- Гяур* — см. *кяфыр*.
- Дал* — буква арабского алфавита, имеющая вид ломаной линии; в поэтическом языке — символ души или тела, согбенных под непосильным бременем.
- Далай-Нор* — озеро на северо-востоке Китая.
- Дастан* — народно-эпическое произведение, основанное на легендах и преданиях; поэма.
- Дастархан* — скатерть; в переносном смысле — угощение.
- Дервиш* — мусульманский монах, приверженец мистико-аскетического учения; многие дервиши вели скитальческий образ жизни; в переносном смысле — странник, нищий.
- Дехканин* — крестьянин, земледелец.
- Джамбул* Джабаев (1846—1945) — казахский народный поэт, акын (см.).
- Джами* Нураддин Абдурахман (1414—1492) — ирано-таджикский поэт.
- Джейлау* — горное пастбище.
- Джейран* — вид антилопы, распространенной в Средней Азии; см. *газель* (во втором значении).
- Джейхун* (буквально: «бесноватый») — арабское название Амударьи.
- Джейхун-рыба* — гигантская сказочная рыба.
- Джидда* — лох восточный узколистный, дерево со съедобными сладко-терпкими плодами.
- Джинн* — злой дух громадного роста и страшного вида, умеющий мгновенно менять свой облик и творить чудеса.
- Джугара* — сорго, злаковое растение.
- Джума* — пятница, седьмой день мусульманской недели.
- Джунгаид* — глава союза нескольких туркменских племен (1911 г.), перед Октябрьской революцией фактически контролировал государственную власть в Хивинском ханстве; позже один из руководителей басмаческого движения.
- Джучи* (ум. 1226) — старший сын Чингисхана (см.), монгольский полководец.
- Див* — см. *дэв*.
- Диван* — здесь: собрание стихотворений одного или нескольких поэтов, с определенным порядком расположения материала.
- Дирхем* (от греч. «драхмэ») — арабская серебряная монета, которую начали чеканить около 695 г.; в разное время вес ее колебался от 2,7 до 3,4 г.
- Домбра* — щипковый двухструнный музыкальный инструмент.

Домла (лит. «домулла») — учитель; почтительное обращение к образованному человеку.

Дост — друг.

Дувал — глинобитный забор.

Дульдуй — легендарный конь-скакун.

Дутар (тар) — щипковый двухструнный музыкальный инструмент со сравнительно слабым, нежным звуком.

Дэв (див) — демон.

«*Ер-ер*» — см. «*яр-яр*».

Ёпрай (йопирай) — междометие, выражающее удивление, восхищение.

Залят — налог со скота и имущества, взимаемый с богатых в пользу бедняков.

Заминдар — землевладелец.

Зебинисо — таджикоязычная поэтесса Индии (1639—1702).

Зеравшан — река в Средней Азии, долина которой густо заселена (города Самарканд, Бухара, Каттакурган и др.).

Зиндан — тюрьма, темница.

Зулейха (Зулейка) — см. *Юсуф*.

Зулькарнайн (буквально: «двурогий») — прозвище Александра Македонского (см. *Искандар*), данное ему в Коране.

Зухра — восточное название планеты Венеры, считавшейся покровительницей музыки.

Ибн Сина — Абу Али (латинизированное Авиценна, ок. 980—1037) — среднеазиатский врач, философ, естествоиспытатель, поэт.

Ибрагим — арабский вариант имени библейского патриарха Авраама.

Имам — духовный наставник у мусульман, лицо, руководящее молитвой в мечети.

Ирадж — легендарный царь Ирана, герой «Шахнаме», книги иранского поэта Фирдоуси.

Иргай — кизильник, крепкоствольный кустарник, который употреблялся, в частности, для изготовления посохов.

Иса — арабский вариант имени Иисуса Христа, почитаемого мусульманами в качестве пророка, воскрешавшего мертвых.

Искандар — Александр Македонский (356—323 до н. э.), герой многих восточных преданий. Согласно одному из них, Искандар построил громадную стену (так называемый Вал Искандара) для защиты своих владений от вторжения варварских народов Гога и Магога. Иногда с этой мифической стеной путали Великую Китайскую стену.

Ичкари — внутренняя, «женская» половина дома, в отличие от ташкари (внешней, гостевой).

Ишан — мусульманское духовное лицо, наставник группы дервишей (см.).

Йопирай — см. *ёпрай*.

- Казий** (кази) — судья, судивший по законам шариа (см.).
- Казы** — особо приготовленная колбаса из конины.
- Каймак** — густая пенка, сливки с топленого молока.
- Калам** — тростниковое или камышовое перо; в переносном смысле — вообще перо, орудие вдохновения.
- Каландар** — странствующий дервиш (см.).
- Кальян** — см. *чили́м*.
- Камча** — плетень.
- Канар** — мешок из джутовой ткани для транспортировки хлопка.
- Кандагар** — город в Афганистане.
- Капсан** — религиозная подать (обычно — зерном), взимаемая в пользу сельского духовенства.
- Карагач** — распространенная в Средней Азии разновидность вяза, долговечное дерево с прочной древесиной.
- Каркара** — река в Киргизии.
- Карнай** — большая латунная труба длиной до 2—3 м, издает резкий, сильный звук, используется и как музыкальный, и как сигнальный инструмент.
- Карнайчи** — музыкант, играющий на карнае.
- Карши** — город в Узбекистане, центр Кашкадарьинской области.
- Каса** — чаша, формой напоминающая пиалу.
- Касыда** — дидактическое стихотворение или панегирик, ода, посвященная какому-либо человеку или событию.
- Кашгар** — город в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
- Кашкадарья** — река на юге Узбекистана.
- Кейван** — восточное название планеты Сатурн, символ судьбы, рока.
- Кетмень** — род мотыги с широким, как у лопаты, лезвием, насаженным перпендикулярно к черенку.
- Кеш** — один из городов древнего Согда (см.).
- Кизяк** — спрессованный и подсушенный навоз, используемый для отопления.
- Кинза** — съедобная трава, употребляемая с мясной пищей.
- Кир Великий** — царь персов (558—529 до н. э.), прославленный завоеватель.
- Кишлак** — деревня.
- Клеопатра** — царица Египта из династии Птолемеев (68—30 до н. э.), славилась красотой и умом.
- Кобыз** — смычковый двухструнный инструмент.
- Коксу** (буквально: «голубая вода») — распространенное название горных рек, так же как и Аксу («белая вода»); здесь — название двух горных речек, у слияния которых в Шахмардане (см.) и был расположен ложный мазар Али (см.).
- Коксултан** — мелкая слива.
- Комса** — просторечное сокращение от слов «комсомол», «комсомольцы».
- Кон Фу-цзы** (или Конфуций, 551—479 до н. э.) — китайский мыслитель, политический деятель и педагог, основатель конфуцианства.
- Копкари** — см. *улак*.
- Коран** — священная книга мусульман, содержит постулаты веры, изложение нравственных, правовых, бытовых норм, представляю-

щих собою будто бы запись «откровений» пророка Мухаммада (см.).

Кошчи — члены «Союза кошчи», организации узбекского трудового крестьянства, сходной с комбедами (комитетами бедноты) в Российской Федерации. Объединяла бедняков, батраков, издольщиков, боролась с байским охвостьем и кулаками, существовала с 1919 по 1930 г.

Куббон — озеро в горах Алая (см.), над Хамзабадом.

Кува — древний город в Ферганской долине.

Кукнар — наркотик растительного происхождения.

Кукнарист — наркоман, употребляющий кукнар (см.).

Кулах — остроконечная войлочная шапка.

Куляш Байсеитова (1912—1954) — казахская певица, народная артистка СССР.

Кумган — металлический кувшин.

Курбан-хаит — праздник жертвоприношения, который мусульмане справляют весной, после поста.

Курбаши — главарь большого басмаческого отряда, вожак басмаческой банды.

Куркилдак — канал в Ташкенте.

Курмана — подарок невесте на смотринах за «погляденье».

Курпача — узкое ватное стеганое одеяло, которое подстилают, когда отдыхают на суе, сури и т. д.

Кусак — полураскрывшиеся хлопковые коробочки.

Кутейба ибн-Муслим — арабский полководец, наместник Хорасана (см.), сыграл важную роль в окончательном завоевании арабами Средней Азии в начале VIII в.

Кяфыр — немусульманин, неверный, в переносном смысле — безбожник.

Лал — рубин.

Лама — буддийский монах в Тибете и Монголии.

Лехор — город в Пакистане.

Лейли — возлюбленная Меджнуна (см.).

Лунги — набедренная повязка, передник.

Лунчи — банщик, выдающий набедренные повязки.

Лутфи — узбекский поэт-лирик (1366/7—1465/6), живший в Герате (см.).

Мавераннахр (буквально: «то, что за рекой») — арабское название территории между Амударьей и Сырдарьей.

Мазар — могила, гробница.

Майдан — площадь.

Мактаб — см. *медресе*.

Мангал — жаровня.

Маргилан — город в Ферганской долине, известен крупным шелковым комбинатом.

Марьям — Мария, мать Исы (см.).

Мастава — суп.

Махалля — городской квартал; одна из городских общин.

Маш — род мелкого гороха, хорошо растущий на каменистых, сухих почвах; служит для приготовления многих распространенных национальных блюд.

Машираб Бабарахим (1657—1711) — узбекский поэт-вольнодумец; за смелые обличения правящей верхушки и корыстного духовенства был повешен в Балхе. Образ его, окруженный легендами, стал символом духовной одержимости.

Меджнун (буквально: «одержимый») — прозвище Кайса (ум. ок. 700 г.), арабского поэта, героя широко распространенного на Востоке сказания о Лейли и Меджнуне. Разлученный со своей возлюбленной Лейли, он сошел с ума и умер. В нарицательном смысле — человек, потерявший голову от любви.

Медресе — мусульманская религиозная средняя школа, где готовили служителей культа. Туда поступали после окончания начальной школы — мактаба.

Мекка — город на Аравийском полуострове со священным храмом Каабой, религиозный центр ислама, место паломничества.

Мерв — древний город в Туркмении (ныне Мары), в дельте реки Мургаб.

Мешхед — город в Иране.

Мираб — должностное лицо, ведающее распределением воды для поливов; вообще — специалист по орошению.

Мирза — писец; прибавление к имени, указывающее на образованность.

Мирзачуль — город в Голодной степи, ныне Гулистан, центр Сырдарьинской области.

Мобед — зороастрийский жрец, мудрец, наставник; зороастризм — древнеиранская религия огнепоклонников, получившая распространение в Средней Азии и Азербайджане.

Мударрис — преподаватель медресе.

Мулла — мусульманский священник; почтительное обращение к образованному, грамотному человеку.

Муллабача — ученик медресе.

Мулькабад — сказочный город, нередко упоминаемый в фольклоре.

Муса — арабский вариант имени библейского пророка Моисея, почитаемого мусульманами.

Мутавалли — попечитель имущества мусульманской религиозной общины, ханаки (см.).

Мухаммад (570—632) — арабский религиозный и государственный деятель, основатель ислама, почитаемый мусульманами как пророк.

Муэдзин — служитель мечети, призывающий к молитве с минарета.

Мюрид — ученик, последователь шейха (см.), ишана (см.), пира — духовного наставника.

Навои Алишер (1441—1501) — узбекский поэт, ученый, государственный деятель, основоположник национальной классической литературы.

Най — род свирели или флейты.

Намаз — обряд молитвы у мусульман, совершаемый пять раз в течение суток.

Наманган — город в Ферганской долине, областной центр.

Наматак — шиповник.

Наме — книга; составная часть названий многих произведений литературы, истории и т. д.

Нар — верблюд-самец; олицетворение силы и мужества.

Нарын — отварное мясо, нарезанное соломкой и перемешанное с тонкой лапшой.

Нас, насвай — особо приготовленная табачная смесь, закладываемая под язык.

Нахшаб — древнее название города Карши.

Нефуд — пустыня на севере Саудовской Аравии.

Низами Гянджеви (1141—1203) — азербайджанский поэт, автор всемирно известного цикла из пяти поэм («Пятерицы»).

Ной — библейский патриарх, спасшийся во время всемирного потопа в ковчеге, который, по легенде, пристал к горе Арарат. Согласно Библии, от трех сыновей Ноя — Сима, Хама, Яфета — ведут свое происхождение разные человеческие расы. Ной почитается мусульманами как святой.

Омач — соха.

Омейяды — династия арабских халифов (661—750), основанная Музавией из рода Омайя после убийства Али (см.).

Ота (буквально: «отец») — почтительное обращение к старшему, пожилому человеку.

Ошхона — столовая.

Падишах — царь, повелитель.

Пайкенд — см. *Байкенд*.

Палван — сокращение от «пахлаван» (см.).

Пахлаван — богатырь, борец.

Паранджа — верхняя женская одежда в виде халата с ложными рукавами, покрывающая женщину с головой. Обязательное дополнение к парандже — чачван, сетка из конского волоса, закрывающая лицо.

Пери — сказочная красавица, волшебное существо, имеющее вид прекрасной крылатой женщины и охраняющее людей от злых духов.

Рабат (буквально: «ворота») — вначале это слово означало укрепленную стоянку на караванном пути, позднее — постоянный двор.

Раджа — титул феодальных князей в Индии.

Райхон — ароматная трава: базилик или мята.

Рикша — перевозчик пассажиров на легкой двуколке, в которую он сам впрягается.

Рубаб — четырех- или шестиструнный щипковый музыкальный инструмент.

Рубай — форма восточной классической поэзии, четверостишие, в котором рифмуются первая, вторая и четвертая строки и которое заключает в себе законченную поэтическую мысль.

Рум — так на Востоке именовалась Византия, а в более широком смысле — весь Запад.

Руми — одно из прозвищ Искандара (см.).

Рустам — герой иранского эпоса, могучий и благородный витязь, воспетый в «Шахнаме» Фирдоуси.

- Сагиб** (сахиб) — в средневековой Индии обращение к крупному феодалу, означающее «господин»; позднее сагибами там стали называть европейцев-колонизаторов, преимущественно англичан.
- Саз** — старинный струнный инструмент; символ поэтического таланта, мастерства, вдохновения.
- Сай** — горный ручей.
- Сайхун** — арабское название Сырдарьи.
- Салам, салам алейкум** (буквально: «да будет мир с вами») — распространенное на Востоке приветствие.
- Салар** — канал в Ташкенте.
- Самса** — печеный пирожок с мясом или овощами.
- Самум** — горячий и очень сухой ветер, дующий в пустынях Аравийского полуострова и Северной Африки.
- Сандал** — углубление в глинобитном полу в середине жилого помещения: в него кладут раскаленные угли, сверху ставится столик, накрытый одеялом, а под одеяло суют ноги люди, сидящие вокруг сандала, — традиционный способ обогрева в старых среднеазиатских домах.
- Саратан** — один из летних месяцев мусульманского календаря, самое жаркое время года.
- Сардар** — военачальник.
- Семурге** — иранское и тюркское название сказочной птицы, легенды о которой есть у многих народов Востока (арабы называли ее Анка, народы Юго-Восточной Азии — Гаруд и т. д.). Встречается в арабских и персидских народных сказках, в «Шахнаме» Фирдоуси. По легенде, Семург живет на краю света, на мифической горе Каф, и обладает свойством становиться невидимой.
- Сиам** — старое название Таиланда.
- Сим** — один из сыновей Ноя (см.).
- Сино** — см. *Ибн Сина*.
- Сияб** — река, протекающая через Самарканд.
- Сиявуш** — один из героев «Шахнаме» Фирдоуси, сын царя Кей-Ка вуса, умерщвленный по приказу Афрасьяба (см.).
- Согд** (Согдиана) — древняя историческая область в бассейне Зеравшана, где с середины I тысячелетия до н. э. существовала высокая земледельческая и городская культура; центром Согда была Мараканда (нынешний Самарканд).
- Суфа** (суфа) — глинобитное возвышение, устраиваемое в саду или во дворе для отдыха и сна.
- Сури** — деревянная кровать типа нар или просто деревянный настил в саду или во дворе для отдыха и сна.
- Сурнай** — духовой инструмент, близкий по звучанию к гобою.
- Сюзане** — коврик с вышивкой или аппликацией.
- Табиб** — лекарь, знахарь.
- Табут** — носилки, на которых несут умершего; в переносном смысле — прах.
- Таксыр** (буквально: «господин») — почтительное обращение к очень уважаемому человеку.
- Такташ Хади** (1901—1931) — татарский советский поэт.
- Такыр** — пониженный участок пустыни с гладкой глинистой поверхностью; символ бесплодной почвы.

Тал:бур (танбур) — трехструнный щипковый музыкальный инструмент.

Танап — мера площади, равная примерно $\frac{1}{2}$ га.

Тандыр — круглая глиняная печь для выпекания лепешек.

Тановар — узбекская народная танцевальная мелодия.

Тар — см. *дугар*.

Тегирмон — мельница.

Текинский ковер — ковер, сотканный мастерами туркменского племени теке; ковры теке пользуются всемирной известностью.

Темучин — см. *Чингис*.

Тимур (1336—1405) — среднеазиатский полководец и государственный деятель, основатель огромной империи со столицей в Самарканде. Его завоевания сопровождались массовым истреблением покоренного населения, беспощадным разорением городов и стран.

Товба — непереводаемое восклицание, означающее обычно крайнюю степень удивления, восхищения; заклятие вроде «да простит меня», «да охранит меня» и т. п.

Той — свадебное празднество, праздничное пиршество.

Тулпар — сказочный скакун.

Тур — правитель Турана (см.), один из персонажей «Шахнаме» Фирдоуси.

Туран — историческая область; по представлению средневековых авторов находилась в Средней Азии.

Тут — тутовник, шелковичное дерево.

Улак (копкари) — «козлодрание», конно-спортивное состязание, участники которого вырывают друг у друга козлиную тушу.

Улема — высшее мусульманское духовенство.

Улугбек Мухаммад Тарагай (1394—1449) — внук Тимура (см.), правитель Самарканда, выдающийся астроном и математик.

Уртак — товарищ.

Усма — черная (черно-зеленая) краска для бровей, получаемая из растений.

Учкурган — старинный узбекский город в Ферганской долине, недалеко от Намангана (см.).

Факир — фокусник, чародей.

Фархад — герой широко распространенного на Востоке сказания о любви Фархада и Ширин, могучий каменотес, являющий собой образ верного возлюбленного, который во имя любви совершает подвиг и гибнет. Этот сюжет положен в основу поэм Низами (см.) и Навои (см.).

Физули Мухаммад Сулейман-оглы (1494—1556) — азербайджанский поэт.

Фуркат — настоящее имя Закирджан Халмухаммедов (1859—1909), узбекский поэт, мыслитель, публицист.

Хаджи — человек, совершивший паломничество (хадж) в Мекку (см.).

Хаджидж ибн-Юсуф — арабский полководец VIII в., наместник Ирана, известный своей жестокостью.

- Хазарское море* — Каспий.
- Хайям* Омар (ок. 1040—1123) — ирано-таджикский поэт, автор прославленных рубай (см.).
- Хакан* — титул тюрко-монгольских правителей.
- Халима* Насырова (р. 1913) — узбекская певица, народная артистка СССР.
- Халимахон* — уменьшительное от Халимы (см. *Халима* Насырова).
- Халиф* — титул духовного главы мусульман; первым халифам принадлежала вся полнота духовной и светской власти.
- Халфа* — помощник учителя в мактабе, начальной мусульманской школе.
- Хам* — один из сыновей Ноя (см.).
- Хамаль* — один из месяцев мусульманского календаря.
- Хамза* Хаким-заде Ниязи (1889—1929) — зачинатель узбекской советской поэзии и национальной драматургии, выдающийся общественный деятель Узбекистана.
- Ханака* — дервишская (см.) обитель, монастырь.
- Ханка* — озеро в Приморском крае, на границе с Китаем.
- Харадж* — налог, в том числе и поземельный, взимаемый в пользу халифа (см.).
- Хауз* — водоем для питьевой воды.
- Хафиз* — певец; литературный псевдоним великого ирано-таджикского лирика Шамсиддина Ширази (1325—1390).
- Хафтияк* (буквально: «одна седьмая») — избранные места из Корана; книга служила учебником в мусульманских школах.
- Хашар* — добровольная общественная взаимопомощь при каких-либо работах.
- Хидыр* (Хизыр, Хызр) — мусульманский святой. Был героем еще до-мусульманских легенд; хранитель подземного источника живой воды, из которого он сам однажды испил, обретя бессмертие. По легенде, сопровождал Искандара (см.) в его странствиях по пустыне. Почитается как покровитель пустыни и растений.
- Хирман* — площадка в поле, куда сносят собираемый урожай, ток.
- Ходжа* — представитель привилегированного сословия, тех, кто причисляется к потомкам четырех первых халифов (Абу-Бекра, Омана, Усмана, Али), а также духовное лицо, учитель; почтительное обращение к ученому человеку.
- Ходра* — площадь в Ташкенте.
- Хорасан* — историческая область, северо-восточная часть Иранского плоскогорья, одноименное средневековое государство со столицей в Герате (см.).
- Худжра* — келья.
- Хурджун* — переметная сума.
- Хусейн* Байкара (1438—1507) — правитель Хорасана (см.), поэт.
- Хут* — один из месяцев мусульманского календаря.
- Чайрикер* — издольщик.
- Чанг* — народный многострунный музыкальный инструмент, род арфы.
- Чапан* — стеганый халат, служивший верхней одеждой.
- Чапани* — человек, ведущий свободный, «богемный» образ жизни.
- Чарас* — сорт винограда.
- Чартак* — курорт в Узбекистане.

- Чарыки** — грубая обувь из сыромятной кожи.
- Чаткал** — одна из вершин Чаткальского хребта в Западном Тяньшане, где берет начало река Чирчик (см.).
- Чачван** — см. *паранджа*.
- Чекмень** — верхняя мужская одежда, полукафтан в талию.
- Чигирь, чигирик** — колесо с ковшами, служащее для подъема воды из арыка или реки.
- Чигит** — семена хлопчатника.
- Чилим** — кальян, прибор для курения табака через воду.
- Чилляк** — сорт винограда.
- Чимган** — небольшая долина в горах, недалеко от Ташкента, излюбленное место отдыха.
- Чин** — Китай.
- Чинар (чинара)** — восточный платан.
- Чингис (Чингисхан)** (ок. 1155—1227) — монгольский хан и полководец, организатор грабительских завоевательных походов, создатель огромной державы, распавшейся после его смерти.
- Чирчик** — река в Западном Тяньшане, протекающая и по территории Ташкентской области, впадает в Сырдарью. Энергия реки уже в 1930-х годах использовалась каскадом электростанций.
- Чорак** — светильник, коптилка.
- Чуст** — город в Ферганской долине.
-
- Шаир** — поэт-сказитель и народный импровизатор у народов Средней Азии.
- Шайтан** — сатана, дьявол.
- Шам** — одна из пяти обязательных мусульманских молитв, совершаемых в течение дня. В другом значении Шам — географическое название (Сирия или Дамаск).
- Шара** — Гюль-Шара Жиенкулова (р. 1912), казахская танцовщица, народная артистка КазССР.
- Шариат** — неписанный свод мусульманских религиозных, гражданских, уголовных законов и правил, основанных на Коране.
- Шахзаде** — царевич, принц.
- Шахимардан** — поселок на склоне Алайского хребта, место гибели Хамзы Хаким-заде Ниязи (см.), ныне Хамзабад.
- Шахрихан** — город в Ферганской долине.
- Шаш** — древнее название Ташкента.
- Шейх** — глава мусульманской общины, секты, школы; почетный титул, даваемый поэтам и ученым.
- Шербет** — сладкий напиток, сироп.
- Ширази** — см. *Хафиз*.
- Ширин** — см. *Фархад*.
- Ширинтак** — сорт дыни.
- Шурпа** — суп.

Эдем — рай.

Юнон — Греция.

Юсуф — мусульманский вариант имени библейского Иосифа Прекрасного. Легенда об Иосифе и любви к нему жены Пентефрии

трансформировалась на Востоке в народное сказание о Юсуфе и Зулейхе, ставшее основой многих литературных произведений.

Янычары — турецкая регулярная пехота, организованная в XIV в. Использовалась турецкими феодалами в захватнических войнах и отличалась крайней жестокостью.

Яркенд — город в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

«Яр-яр» — свадебная песня.

Яфет — один из сыновей Ноя (см.).

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

- 1—2. *Между с. 128 и 129.* Гафур Гулям. С фотографии середины 20-х гг.
На обороте: Гафур Гулям. С фотографии 1964 г.
- 3—4. *Между с. 160 и 161.* Айбек. С фотографии 1936 г.
На обороте: Айбек. С фотографии 1944 г.
- 5—6. *Между с. 480 и 481.* Айбек. С фотографии 1967 г.
На обороте: С фотографии 1943 г. Слева направо: Гафур Гулям, Зульфия, Хамид Алимджан, Айбек.
- 7—8. *Между с. 512 и 513.* Хамид Алимджан. С фотографии 1926 г.
На обороте: Хамид Алимджан. С фотографии 1951 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Три поэта. <i>Вступительная статья А. Наумова</i>	5
---	---

ГАФУР ГУЛЯМ

СТИХОТВОРЕНИЯ

1. Зима и поэты. <i>Перевод В. Соколова</i>	49
2. На путях Турксиба. <i>Перевод В. Державина</i>	50
3. Готов стать знаменосцем. <i>Перевод В. Липко</i>	54
4. Нурмат и Саври. <i>Перевод Т. Сикорской</i>	58
5. Узбекистан. <i>Перевод Л. Длигача</i>	61
6. Помню. <i>Перевод А. Наумова</i>	65
7. Узбек-наме (<i>Пролог</i>). <i>Перевод В. Державина</i>	68
8. Майское. <i>Перевод А. Наумова</i>	73
9. Мавджуда. <i>Перевод В. Потаповой</i>	74
10—11. Две песни. <i>Перевод А. Наумова</i>	
1. «Я по дальней дороге, рыдая, пойду...»	75
2. «Бурная речка, бушует поток...»	76
12. Проводы. <i>Перевод В. Сикорского</i>	76
13. Зима. <i>Перевод В. Державина</i>	78
14. Жду тебя, сын мой. <i>Перевод С. Сомовой</i>	80
15. Ты не сирота. <i>Перевод С. Сомовой</i>	83
16. Женщина. <i>Перевод Л. Пеньковского</i>	86
17. Прощай. <i>Перевод А. Наумова</i>	89
18. Моя золотая земля. <i>Перевод С. Сомовой</i>	93
19. Время. <i>Перевод С. Сомовой</i>	95
20. Разум и перо. <i>Перевод В. Луговского</i>	97
21. Ташкент. <i>Перевод П. Шубина</i>	98
22. Снег. <i>Перевод С. Северцева</i>	100
23. Первое стихотворение в новом году. <i>Перевод В. Соколова</i>	101
24. Семьсот тридцать дней. <i>Перевод А. Наумова</i>	104
25. Бесцеремонность. <i>Перевод В. Сикорского</i>	106
26. Чернильница. <i>Перевод С. Северцева</i>	107
27. Полюбуйся на узбекские крыши. <i>Перевод Б. Слуцкого</i>	108
28. Волосы. <i>Перевод С. Северцева</i>	109

29. Ковер. Перевод В. Сикорского	109
30. Лето. Перевод Т. Стрешневой	110
31. Осенний саженец. Перевод Я. Ильясова	112
32. Слово чести. Перевод Н. Гребнева	113
33. Диплом. Перевод С. Северцева	115
34. Поэт Поль Робсон. Перевод С. Болотина	116
35. Наши старики. Перевод Б. Слуцкого	118
36. Капля меда. Перевод В. Сикорского	120
37. Детям. Перевод Р. Казаковой	121
38. Лучшая моя строка. Перевод С. Северцева	122
39. Весеннее утро (Ода стране труда). Перевод А. Наумова	123
40. Праздничное письмо. Перевод В. Липко	126
41. Трудовая весна. Перевод А. Наумова	129
42. Поэт — поэту. Перевод С. Северцева	131
43. Гранат. Перевод С. Северцева	132
44. Разгадка сна. Перевод С. Северцева	135
45. Подруге. Перевод А. Наумова	136
46. Предпраздничные дни. Перевод А. Наумова	137
47. К нам приезжайте погостить, друзья! Перевод К. Симонова	138
48. Священное время. Перевод А. Наумова	141
49. Дочерям моим — шелководам. Перевод А. Наумова	144
50. Воспоминание о друге. Перевод А. Наумова	145
51. Плата за соль. Перевод В. Державина	147
52. Первому космонавту. Перевод Р. Казаковой	148
53. Начало лета. Перевод В. Липко	149
54. Учимся думать. Перевод А. Наумова	150
55. Букет Мирзачуля. Перевод Н. Грибачева	151

Переводы Р. Казаковой

56. Цветник	153
57. Ну и что ж.	154
58. Вымпел	155
59. Вишня	156

Переводы А. Наумова

60. Ученому приятелю	156
61. Сорокалетье	158
62. Пою весну	160
63. Афганской девушке	160
64. Русскому брату	163
65. «Я уходил от песен и любви. . .»	164
66. Годы	165
67. Баллада о казни	166
68. Побелели волосы твои	167
69. Зульфии	168

70. Метание яблока (Песня хорезмских девушек). Перевод Р. Казаковой	169
---	-----

Переводы А. Наумова

71. «Как два магнита в тягостной войне. . .»	169
72. «Снова девушки где-то запели. . .»	171

73. Машина времени	171
74. «Я отдал жизнь не званьям...»	172
75. Ничья	173
76. Хурджун	174
77. Утро	175
78. В горах	175
79. «Вечер тени стирает с окон...»	176
80. Осенняя страница	177
81. Родине	180
82. «Песни народной стенанья, и боль...»	181
83. «Как шелуха слетают ложь и зависть...»	182
84. Сад	183
85. Часы стучат	183
86. «Цветок опавший превратится в плод...»	185
87. «Ты — как слово. Как ветер. Как ветвь...»	186
88. «Оцени, осени меня, осень...»	187
89. «Месяц молодой, мой старый друг...»	187
90. «Сдало сердце — как мотор в полете...»	188
91. «Эти песни не хотят на пенсию...»	190
92. «А женщина похожа на Луну...»	190
93. Ах, не плачь, мое сердце	191
94. «Мы не видим, как хлопок цветет...»	192
95. «Нам тоже в чью-то память перейти...»	193
96. Вечерняя газель	194

ПОЭМЫ

97. Кукан. <i>Перевод В. Липко</i>	196
98. Вышивка. <i>Перевод В. Липко</i>	217
99. Юлдаш. <i>Перевод Л. Длигача</i>	223
100. Свадьба. <i>Перевод В. Липко</i>	236
101. Два акта. <i>Перевод Л. Квашина</i>	242
102. Два Востока. <i>Перевод В. Липко</i>	251

АЙБЕК

СТИХОТВОРЕНИЯ

103. Над могилой матери. <i>Перевод А. Наумова</i>	259
104. Чья земля? <i>Перевод С. Виленского</i>	260
105. Рабочему. <i>Перевод С. Виленского</i>	260
106. Песня («Не дразни — ведь я тебе не пара...») <i>Перевод А. Наумова</i>	261
107. Весна. <i>Перевод А. Наумова</i>	261
108. Мой голос. <i>Перевод С. Виленского</i>	262
109. Самаркандская девушка. <i>Перевод С. Виленского</i>	262

Переводы А. Наумова

110. «Безымянная в сердце тревога...»	263
111. Звезда летит	264
112. Прочти саду	264

113. В лугах	265
114. У моря, весной	265
115. Осенний день	266
116. Листопад	266
117. «Сколько раз повторить твое имя...»	267
118. Свети, звезда	267
119. «Сети полночи странны и нежны...»	268
120. Ах, ничто не забыто	268
121. Когда я вернулся	269
122. Комсомольская песня. <i>Перевод С. Виленского</i>	271
123. Женщина-кондуктор. <i>Перевод А. Ромова</i>	272
<i>Переводы А. Наумова</i>	
124. «Это лето милосердно...»	272
125. «Снова в знойном саду моей думы...»	273
126. «Полночь досыта звезд половила...»	273
127. «Стих ветер...»	274
128. Возвращение	275
129. Осень	275
130. Узбекистан	276
131. Тансик. <i>Перевод А. Ромова</i>	277
132—134. Избавление. <i>Перевод С. Виленского</i>	
1. Весной	279
2. На хирмане	280
3. Избавление	281
135. «Как вечный отголосок...» <i>Перевод В. Львова</i>	283
136. Вечерняя звезда. <i>Перевод С. Виленского</i>	284
137. Наматак. <i>Перевод Н. Тихонова</i>	285
138. Прощание. <i>Перевод Н. Тихонова</i>	286
139. Однодневная прогулка. <i>Перевод А. Наумова</i>	288
140. Прометей. <i>Перевод Гл. Ссменова</i>	290
141. Вечер. <i>Перевод А. Наумова</i>	292
142. В горах. <i>Перевод А. Наумова</i>	292
143. «Смотрю ли с вершины на синий простор...» <i>Перевод Б. Лейтина</i>	293
144. Мир распахнут перед тобой... <i>Перевод С. Виленского</i>	293
145. Горят в ночи. <i>Перевод С. Виленского</i>	294
146. Машраб. <i>Перевод Б. Лейтина</i>	294
147. Первый снег. <i>Перевод Н. Тихонова</i>	297
148. Твоя радость. <i>Перевод В. Державина</i>	297
<i>Переводы А. Наумова</i>	
149. Второе лето	299
150. Лей, ливень	299
151. Отцу	300
152. Бабочка на асфальте (<i>Маленькое происшествие</i>)	301
153. Дорога	302
154. «Всё тебе — мои ночи и взоры...»	303
155. Бессонница	303
156. Праздник славы. <i>Перевод В. Державина</i>	304

157. Председательница. <i>Перевод К. Симонова</i>	305
158. «Милой глаза, что влекут так безудержно, вспомни!..» <i>Перевод Н. Тихонова</i>	307
159. В Мавзолее Ленина. <i>Перевод А. Наумова</i>	307
160. В Карачи. <i>Перевод А. Наумова</i>	309
161. Перед памятником. <i>Перевод А. Наумова</i>	310
162. Бабур. <i>Перевод В. Орловой</i>	311

Переводы А. Наумова

163. Тюльпаны	313
164. «Когда с души спадает тяжкий гнет...»	314
165. «Поздний ветер заплакал в печали...»	314
166. «Огонь погас, остался лета жар...»	315
167. «Юность — бутон, страсть — словно цвет...»	315
168. «Нет предела мечте — как и небу...»	315
169. «По тайным тропам, от звезды к звезде...»	316
170. Памяти Анны Ахматовой	316

ПОЭМЫ

171. Мечь. <i>Перевод А. Наумова</i>	318
172. Бахтыгуль и Сагындык. <i>Перевод Д. Голубкова</i>	323
173. О кузнеце Джуре-Кяфьре. <i>Перевод В. Луговского</i>	343
174. Навои. <i>Перевод А. Наумова</i>	350
175. Скрипач. <i>Перевод А. Наумова</i>	361
176. Зафар и Захра. <i>Перевод В. Орловой</i>	367
177. Девушки. <i>Перевод С. Сомовой</i>	381
178. Хамза. <i>Перевод А. Наумова</i>	418
179. Мой дед. <i>Перевод Р. Сефа</i>	447
180. Рана моего века. <i>Перевод В. Рождественского</i>	459
181. Гули и Навои. <i>Перевод В. Рождественского</i>	468

ХАМИД АЛИМДЖАН

СТИХОТВОРЕНИЯ

182. Обновление. <i>Перевод Т. Спендиаровой</i>	501
183. Восток. <i>Перевод П. Семьнина</i>	502
184. Молодая сила. <i>Перевод М. Замаховской</i>	504
185. Воспоминание о Неве. <i>Перевод Р. Морана</i>	505
186. В степи. <i>Перевод Р. Морана</i>	506
187. Сорванный лист (<i>В день смерти Турсуной</i>). <i>Перевод Р. Морана</i>	506
188. Дочь Азербайджана. <i>Перевод М. Замаховской</i>	507
189. На берегу Балтийского моря. <i>Перевод М. Замаховской</i>	508
190. Детство. <i>Перевод Л. Руст</i>	509
191. Приди (<i>Из дневника</i>). <i>Перевод Р. Морана</i>	511
192. Сняб. <i>Перевод Л. Руст</i>	512
193. В Узбекистане. <i>Перевод Л. Руст</i>	515
194. Великий поход. <i>Перевод В. Державина</i>	518

195. Юность. Перевод С. Сомовой	520
196. Мастерство. Перевод В. Державина	521
197. Весна. Перевод Л. Пеньковского	523
198. Другу-сборщице. Перевод К. Арсеновой	524
199. Бахри. Перевод М. Семьицина	525
200. Ночь у реки. Перевод В. Державина	527
201. Горная газель. Перевод С. Сомовой	528
202. В Чимгане. Перевод С. Сомовой	529
203. У Черного моря. Перевод Р. Морана	530
204. Южной ночью. Перевод Р. Морана	531
205. Воображение певца. Перевод В. Державина	532

Переводы С. Сомовой

206. Смерть Офелли	534
207. Утро после дождя	537
208. «В года цветущей юности моей...»	537
209. «Я вижу пчел в сверканье цветника...»	538
210. Когда цветет урюк. Перевод Л. Пеньковского	538
211. Как прозрачна река... Перевод С. Сомовой	539
212. Хвала домбре. Перевод В. Державина	540
213. «Счастлив я, что сад возделал я в родной своей стране...» Перевод М. Замаховской	541
214. «Если выжмет слезу беда — не смирюсь...» Перевод Р. Морана	541
215. Настроение. Перевод Р. Морана	542
216. Поиски ночи. Перевод К. Арсеновой	542
217. Казахстан. Перевод А. Шпирга	543
218. Счастье народа. Перевод К. Арсеновой	544
219. Родина. Перевод Л. Руст	545
220. Река прозрачна, даль ясна. Перевод Р. Морана	546
221. Ответ. Перевод Р. Морана	547
222. Пушкин. Перевод В. Любина	547
223. «Попрощалась... Томимая счастьем, пошла...» Пере- вод В. Державина	548
224. Самарканд 21 января 1924 года. Перевод В. Державина	549
225. На берегах Чирчика. Перевод В. Державина	551
226. Узбекистан. Перевод Л. Пеньковского	552
227. Москва. Перевод С. Сомовой	554
228. Возьми оружие в руки. Перевод В. Державина	555
229. Письмо. Перевод В. Державина	556
230. Другу, идущему с Востока на Запад. Перевод В. Левика	558
231. Деревце. Перевод С. Сомовой	559
232. Джигит. Перевод В. Державина	560
233. Любовь. Перевод Л. Пеньковского	561
234. Россия. Перевод В. Державина	563
235. Шинель. Перевод В. Державина	564
236. День твоего рожденья. Перевод С. Сомовой	565
237. Когда уходили на Восток (Из цикла «Эвакуация»). Пере- вод В. Державина	567

БАЛЛАДЫ И ПОЭМЫ

238. Шахмардан. <i>Перевод А. Шпирта</i>	570
239. Жизнь старика. <i>Перевод В. Бугаевского</i>	577
240. Повести двух девушек. <i>Перевод В. Липко</i>	585
241. Зайнаб и Аман. <i>Перевод Ю. Нейман</i>	594
242. Семург, или Паризад и Буньяд. <i>Перевод С. Сомовой</i>	638
243. Баллада о бойце Турсуне. <i>Перевод В. Державина</i> . . .	667
244. Слезы Роксаны. <i>Перевод Р. Морана</i>	672

ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПОЭМА

245. Муканна. <i>Перевод В. Державина</i>	682
Примечания	761
Словарь	774
К иллюстрациям	788

Г. Гулям, Айбек, Х. Алимджан

СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1980,
800 стр. План выпуска 1980 г. № 487

Редактор *В. С. Киселев*

Художник *И. С. Серов*

Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*

Техн. редактор *З. Г. Игнатова*

Корректоры *Ф. Н. Аврунина* и *И. Г. Клейнер*

ИБ № 2314

Сдано в набор 02.06.80. Подписано к печати 28.10.80. М 15274. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 42,42. Уч.-изд. л. 39,14. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1809. Цена 4 руб.

Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение, 191186, Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Б о л ь ш а я с е р и я

Второе издание

ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

Стихотворения и поэмы

НИКОЛАЙ УШАКОВ

Стихотворения и поэмы

ЛЕСЯ УКРАИНКА

Избранные произведения

ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ

Стихотворения и поэмы

ВААН ТЕРЬЯН

Стихотворения

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

М а л а я с е р и я

Третье издание

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Стихотворения и поэмы

ИЛЬЯ ЧАВЧАВАДЗЕ

Стихотворения и поэмы

«ПОЭТЫ АРМЕНИИ»

«ПОЭТЫ УЗБЕКИСТАНА»

«ПОЭТЫ КИРГИЗИИ»

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

Б о л ь ш а я с е р и я

Второе издание

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

Стихотворения и поэмы

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

Стихотворения и поэмы

ПАВЕЛ АНТОКОЛЬСКИЙ

Стихотворения и поэмы

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

Стихотворения и поэмы

СИМОН ЧИКОВАНИ

Стихотворения и поэмы

САЯТ-НОВА

Стихотворения

АЛИШЕР НАВОИ

Стихотворения и поэмы

«ПОЭТЫ КАРАКАЛПАКИИ»

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Напечатано	Следует читать
9	9 св.	Наманге	Намангане
559	9 св.	волчих	волчьих
616	5 св.	дивичий	девичий
700	17 св.	сыном!	сыни!

